THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят пятый год издания

Кн. 284 **НЬЮ-ЙОРК** **2016**

Главный редактор Марина Адамович

Редакционная коллегия:
Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Генрих Иоффе, Елена Краснощекова, Валентина Синкевич, Владимир фон Цуриков

Ответственный секретарь – Рудольф Фурман
Редакция – Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Марина Гарбер, Илья Куксин

The New Review, Inc.:
T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; C.Geacintov; V.Galitzine; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd; N.Lobanov-Rostovsky; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff; O.Radish; I.Sikorsky; V.Sinkevich; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW
№ 284, Сентябрь 2016
© 2016 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012.
Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.
POSTMASTER: send address changes to The New Review,
611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Сергей Захаров – Время влажного песка. Повесть 5
Ина Близнецова – Прощание с осенним парком. Стихи 33
Елена Игнатова – Стихи 36
Елена Улановская – Пальмы на асфальте. Повесть 39
Валентина Синкевич – Стихи 59
Эдуард Старосельский – Был да сплыл. Документальная повесть ... 63
Наталья Крофтс – Стихи 98
Александр Бараш – Время первых дождей. Стихи 103
Александр Верник – Стихи 106
Дана Голина – Стихи 110
Евгений Брейдо – Долг. Рассказ 113
Ара Мусаян – Капли на стекле. Миниатюры 127

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

«Огонь бывает только настоящим...» О книге А. Ремизова
«Огонь вещей» (*Публ. – А. С. Урюпина*) 138
«Точку ставить рано...» РОВС. Приказы 1939 года
(*Публ. – Ю. Сандулов*) 152

К 100-ЛЕТИЮ С. С. МАКСИМОВА

Сергей Максимов – Рассказы 1950–1960-х годов
(*Публ. – А. Любимов*) 169

ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

Ксения Кривошеина – Неэвклидов палиндром имен и судеб,
небесных и не очень 189
Сергей Шиндин – Габриэль Гершенкройн 207
Елена Дубровина – «Чужие звезды».
Русские поэты в Абиссинии 240
Сандра Шульберг – «Нюрнберг: урок на сегодня».
История одного фильма 263
Шесть монологов Эрнста Неизвестного
(*Лит. запись – М. Адамович*) 309

СООБЩЕНИЯ. ЗАМЕТКИ

Людмила Оболенская-Флам – Двадцатый год Комитета
«Книги для России» 321
Марина Адамович – Апология эмиграции, или
Роман Борисович vs Роман Николаевич. Диатриба 330
Сергей Голлербах – Вторая волна 346

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Сергей Голлербах – Глезер Александр Давидович (1934–2016); Эрнст Неизвестный (1923–2016) 349

БИБЛИОГРАФИЯ

Андрей Мартынов – Алексей Белков. Всегда за Россию! История периодической печати Русского Охранного Корпуса; ***Виктор Леонидов*** – «Вера жена Бориса»: Дневники Веры Алексеевны Зайцевой; Marina Tcvetaeva. Poésie lyrique (1912–1941) Poèmes de Russie. Poèmes de maturité; ***Григорий Стариковский*** – Марина Гарбер. Каждый в своем раю; ***Ольга Соколова*** – Николай Боков. Созерцания и вздохи 354

ОБ АВТОРАХ 366

РЕДАКЦИЯ «НОВОГО ЖУРНАЛА» ПОЗДРАВЛЯЕТ

Валентину Алексеевну Синкевич

С ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕМ!

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ ТВОРЧЕСТВА!

Вадима Прокопьевича Крейда

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ!

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЯЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Ренэ Герра

С СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ!

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Сергей Захаров

Время влажного песка

Удачно и вовремя умер тесть, оставив разбазаренной семье половину столетнего дома, – да к чему он, дом этот, сейчас?

А волки наши уже не выли – лишь тявкали кое-как. На пустыре, у заброшенной бани, не ходили больше девочки, не звенели звонками, и мальчик – последний побежавший когда-то мальчик, волочивший неподъемный портфель свой, зацепившийся с грохотом за порог, – хлопнул гулкой дверью, как выстрелил, и исчез за кирпичным углом – чтобы никогда не вернуться больше.

Недосмотренные, скакали в обиде по ветвям белки, нож охотничий мертвого старика пылился на кухонной полке, вещи сыновы сложили и снесли в подвал, а соседка – приторная Ольга Евгеньевна – выпросила внуку красные башмачки.

Весной же, шагавшей неукротимо победным маршем, – уложили два баула, отдали баптистке один из ключей, выкурили по сигарете на дорожку и, вызвав такси «Бегемот», съехали на Госпитальную вниз, к реке, где у тестя ушедшего – покосившийся дом, участок, сад – съехали до сентября.

Тысячецветным маршем шагала весна, набухала малина почками – недоброй старухой глядела жизнь, рыжей сукой бегала по стерне, и времена шороховские – беспамятны были и неразличимы.

* * *

Искать виноватых – разве есть человеку слаще занятие?

Ты подожди-подожди, мы все сделаем, соберем, сошьем и склеим, и ничего еще не потеряно – может быть. Там, внизу, у железной реки – битый временем, но прочный еще дом, цветущая, с городом несоизмеримая тишина, а после – ждать осталось всего ничего – будет день, и память больная слезет змеиной шкурой, и останется легкий свет – пушистый и легкий свет, в точности, как волосики на головке Андрюхи – помнишь, как мучались мы, пытаясь его причесать? Помнишь, как мучались мы с этим дождем, ливнем, потопом?

И вой мамашин – проклятый, жилы наружу тянущий мамашин вой!

Теперь же – совсем немного осталось ждать – в саду, где нарож-

дается жизнь, где воздух липкий, сладко-тягучий, густой – воздух совокупления, и потоком грядущей любви – кто мешает начать сначала? Кто мешает попробовать еще раз – теперь, когда вот-вот затянется рана, уйдет черно-желтая тяжесть, и останется – легкий свет?

Но – речи Алены оставляя за кадром, – Шорохов искал виноватых. И первым в грязном ряду находил – себя.

* * *

Спал Шорохов, свесив тяжко с кровати руку; дороги перепутанные толстых вен стремились безудержно к вытертым половицам.

Удачно и вовремя умер тесть, оставив семье дачу в городе, – да к чему она, эта дача, сейчас?

...Проснувшись в предельной ясности, долго не мог он понять, откуда густейшая в комнате тьма, какой не бывает даже ночью, – догадался, наконец, что не городская это квартира, а половина приречного дома, и темно от закрытых Аленой ставней.

И, как бывало всегда, минуту или две лежал он в полном бездумье, чист и расслаблен был мозг, а после, разом и вдруг, мутная вздыбилась волна, Шорохова укрыв с головой, – день давал пищу, ту самую дрянь, какой питался переводчик более года. И он, повернувшись в скрипучей кровати, слушая задавленный стон пружин, благодарен был даже за эту минутную передышку, данную ему по недосмотру – или из милости?

Пройдет, все пройдет, забудется, исчезнет, – ты же сильный, здоровый мужик, ты справишься с ними непременно, с такими-то тварями, сволочами, ублюдками, – повторяя эту жалкую в беспомощности и бесполезности своей молитву, он водил рукой по тяжелым, туго свитым мышцам, находя успокоение в каменной их гладкости, – находя, чтобы миг спустя потерять.

Наставник, однако, не приходил. Вместо этого заскрипело с той стороны, лязгнуло трижды железо, и свет утренний надежно утвердился в деревянной комнате. Шорохов перевел дыхание, серое, жесткое лицо его смягчилось, а Алена – зеленых глаз металл, каштановая прядь – белея обтекаемым телом пловчихи, была уже в комнате и присела на край скрипнувшей жалко кровати. Слабый запах лекарств, проснувшейся только что женщины и вина: когда-то что угодно отдал бы за это Шорохов – когда-то, но не сейчас.

Доброжелательно и тускло разглядывал он белый изгиб ноги, а жена, убеждаясь в соблюденном покое, заговорила, обволакивающе и хрипло.

– Сегодня Воскресенье ведь, Дим, – лицо его краткой дернуло судорогой. – Сходили бы в церковь, а? Ты ведь мучаешься, Дим, мучаешься и страдаешь, носишь в себе, словно каплю малую боясь

расплескать... А ведь одно осталось, что даст освобождение, – слово веры. Я вот год почти хожу, и если бы знал ты, какое чувствуешь облегчение! Если бы знал ты – торжественная эта атмосфера, и орган, и лики святых, – уже само по себе способно исцелить. А батюшка – отличный парень. Молодой еще, но внимательный и чуткий, и толковый, и проповеди читает просто замечательно – пошли, Дим, а? Пройдемся до парка пешком, никуда не спеша, в церкви побудем, поставим свечи, – увидишь, сразу тебе полегчает!

– А кто сказал тебе, что мне тяжело? – никто не пришел, и он даже приободрился – настолько, что приобнял Алену за тренированные плечи и притянул к себе.

Заурчав довольно, она повозилась, устраиваясь в кровати, – и, ожидая, затихла. Мнимая покорность зубастого зверька – в искусстве обольщения бухгалтер Алена определенно была на высоте. Стиснув ожесточенно зубы, вырывая ждущее тело из податливого халата, сминая его в жестких руках, засматривая болезненно-напряженно в полуприкрытые глаза – умирал и рождался Шорохов, и вечер сделался дальше. Сладкий сироп любви – неважно, что срок годности его давно вышел.

* * *

Спрашивая о Боге, пусть ответят сперва сами: что есть человек и каковы непременные условия истинности его бытия?

В прошлый четверг, после того, как нахлынувшая из-за темной воды туча окропила Госпитальную кратким дождем, в скрипе и шорохе, в нарождающемся свете явился Ян Камоцкий – человек Божий, врачующий истерзанные безверием и химией души. Бывший инженер и школьный товарищ Шорохова, ушедший неожиданно и непонятно в религию, – переводчик был искренне рад. В начинающем зеленеть саду, за дубовым, столетней жизни, столом имели они неспешную беседу.

– Человек, мясным рожденный куском, животной живет жизнью, пока, не набравшись знаний и опыта, не обретает возможность самостоятельно производить мысли. Научившись же этому, сам он должен создать тот осознанный Внутренний Закон, по которому собирается прожить земные годы. Создав же этот идеальный Закон, должен человек по возможности неукоснительно ему следовать – иначе не быть ему человеком. Бог же возникает там, где Законы самых разных людей совпадают в одном, – в стремлении естественном к свету и добру. В каждом из живущих заложена частица Бога, но среди двоих – вдесятеро Он сильнее, а там, где десять к свету устремленных душ, – стократно Его присутствие. В нашем понимании вера

ничего общего не имеет с насилием, ограничениями и запретами. Истинная вера не нуждается в окаменевших догмах, но полную предполагает свободу в выражении любви, справедливости и добра. Потому говорю тебе, Дим, – какими бы путями ни ходил человек в жизни, непременно придет он к пониманию Бога, как пришел в свое время я, – огонь пройдя, воду и медные трубы.

Катится печальная повесть неправедной когда-то жизни... Улыбается же Камоцкий часто, наивно и хорошо, сияет зубов белизна, и трудно поверить Шорохову, что изо дня в день проходят перед Яном десятки бывших людей, вытряхивают гнилые ошметки душ, а он – работает, отвергнув себя, и помогает: помогает разглядеть в душевном мусоре ту самую частицу Божью, какая в каждом, даже падшем окончательно, человеке – есть.

Темен мир шороховский, и храм его – разорен, но искренняя убежденность пастора – приятна. Приятно знать, что есть еще люди, нерушимо уверенные в окончательном торжестве света, – но кто поможет ему, Шорохову, кто даст возможность обрести хоть малый самый покой?

Костистые кулаки его лежат на столе. Вспоминая студенчество, поедая зажаренное Аленой мясо, вдыхая во все легкие весну, оттаивает душой Шорохов, но знает уже наперед: недлительное это отдохновение – до темноты.

Камоцкий, уходя, оставил адрес молитвенного дома и телефон: жизнь полна неожиданностей, о каких и не подозреваешь, – до поры.

* * *

Расплетя скользкие, подсыхать начинающие тела, грея отголоски отгремевшего только что взрыва, изучая трещины потолка, – так молчали они довольно долго, и в тишине, нарушаемой лишь черной, в белых отметинах кошкой, что, расхаживая из комнаты в комнату, царапала по дереву коготками, да треснувшим часовым ходом, – привычная была отдаленность.

Виденное тысячу раз: угол кафельной печи, стены, оклеенные сплошь конфетными обертками (тесть, всю жизнь проработавший на кондитерской фабрике «Гладиатор», не считал нужным тратиться на обои, рулонами таская карамельное это многоцветье), стол на слоновьих ногах, переживший две мировые шкаф, керосиновая лампа, исключительной ясности телевизор «Филипс», взятый из городской квартиры; терновый, с листьями запыленными, венец, репродукция Эдгара Дега «Женщина, расчесывающая волосы» – иллюзия утраченного покоя, обманчивая тихость овладели на миг Шороховым. Но, шевельнувшись, тут же услыхал он шаги за окном и, не видя, знал

уже, кому они принадлежат. Он дернулся было встать – но вполз в открытую форточку притушенный голос Наставника, ненавидимый и неизбежный, как старость и смерть, – и Шорохов, покорно и несчастливо, лег.

– Не спешите, Дмитрий Николаич, не торопитесь жить – вам это уже ни к чему. Я подзадержался сегодня слегка – а вы уж и хвост распустили, и перья подняли, и духом воспряли. Признайтесь: надеялись ведь, что никто не придет, – была мыслишка такая, а? Знаю-знаю – была. Только не ребенок вы, и давно пора бы понять: мы вас уже не выпустим, как бы ни хотелось вам этого. Не тот это, дорогой мой, случай. Мы ведь обещали: таким редкостным тварям, как вы, – не будет покоя, нигде и никогда, ни за какие деньги. Убить собственного сына – много ли подонков таких найдется в целом мире?! За это расстреливать нужно, четвертовать, вешать, сжигать на костре! Но в одном вы не сомневайтесь – мы вас уже не выпустим. Не вы-пус-тим!

Шорохов слышал, как, шелестя гниющими прошлогодними листьями, он отошел – но тут же вернулся. Теперь в утерявшем приятность голосе его неприкрытая билась злость, захлебывалась ядовитой слюной. Взглянув на Алену, Шорохов видел, что жена, тихонько посапывая, дремлет. Нагота узкого и крепкого ее тела казалась теперь неприятной, и Шорохов, с пола подняв одеяло, прикрыл его. Голос же заоконный наливался и креп, жаля безжалостно обнаженный шороховский мозг.

– Выпустить – ни за что! Ты что же, ублюдок, думал – так просто тебе с рук сойдет? И мечтать забудь, и не надейся! Сука! Сссука! Подохнешь скоро сам – но до этого мы тебе устроим веселую жизнь! И так ведь дрожишь и озираешься, боишься на улицу выйти – знаешь, что все такую тварь ненавидят! Такая, как ты, мразь не имеет права на жизнь – сам понимать должен, если окончательно еще не свихнулся. Тебе, кстати, недолго осталось – с нашей-то помощью.

Он визжал и бесновался там, за окном, и Шорохов, не пытаясь даже протестовать, лежал, с тем же выражением покорности на сером лице, и слушал, ожидая, пока ярость Наставника утихнет. И в самом деле – выплеснув бешеный свой заряд, тот заметно сник, а может быть, устал, и нормальным почти голосом кинув: «мы вечером вернемся, ты на стену у нас полезешь», – пошел прочь. Какое-то время Шорохов еще слышал слабеющее «убийца» – наконец, стихло. Теперь, проведя рукой по лбу, он обнаружил, что истекает холодной влагой и, нашарив в кармане джинсов платок, тщательно утерся.

В старом доме, в разоренном храме – волки наши уже не выли, но тявкали кое-как. Подведенный к черте, переводчик пытался держать удар, но таяла вера весенним льдом, и сил оставалось – всего ничего.

За печью, в правом углу, в матерчатой сумке, свернув голову прозрачной бутылке, захлебываясь и задыхаясь, закатив глаза в потолок, укреплял Шорохов законное право на жизнь, ненависть и борьбу, но мальчик, зацепившись неловко за порог, хлопнул гулкой дверью, как выстрелил, и исчез, чтобы никогда не вернуться больше, – и здесь было над чем задуматься.

* * *

Если наказанием за грех является смерть – почему же другие умирают за грехи наши?

Тайна. Тайна! Тайна? От кого и перед кем таишься ты, ничтожное существо? От кого схоронить пытаешься гнилую свою суть? Неслышной поступью вора, опасаясь разбудить жену, устремляйся в темный свой закуток, ройся в пыльном тряпье, жги спасительный водки огонь! Блаженны нищие духом – но Царствия Небесного не обрести тебе никогда. Делай тайну пред тем, кого можешь ты обмануть, – но не пытайся в обман ввергнуть всевидящих, потому как бессмысленны и тщетны эти попытки. Лей в горло, пей из горла, чтобы струйка ядовитая сбегала на грудь, отмечая тебя несмываемым и проклятым запахом. Дальше и больше: глотай жадно, глуши голоса, стачивай памяти острейшие шипы, ищи эфемерный покой – и, падая, неизмеримо окажешься ниже.

Я ведь знаю – я все знаю. Сколько раз, в бессмысленной надежде успеть и увидеть, бежал Шорохов к окну – но лишь тень ушедшего, отзвук близких шагов удавалось застать ему. Научившись со временем понимать, он не бросался уже по первому зову, гвоздями воли прибивая себя к месту, – но сути это изменить не могло. Она, суть, заключалась в том, что единственный мальчик исчез, – и с этим нужно было ненавидеть и жить.

Жить и ненавидеть... Даже не помышлял Шорохов, что так тяжел окажется груз, а враг – искушен и безжалостен. Не оставалось больше тайн, каждый шаг его тут же становился известен, и наготове держались тупые, специально для него предназначенные иглы, – но сдача окончательную означала смерть.

И потому было нужно это: рыться в пыльной материи, насущное извлекая лекарство, лить из горла, душить отчаянный страх... – но с настойчивостью садиста крутила память один и тот же видеоролик, страшнее какого за всю жизнь не видал Шорохов.

* * *

И та из них, что громче всех смеялась, зеленую спрятав сталь, самкой молоденькой уверенно скользила в тяжелой воде, непосред-

ственна была, азартна и хороша, – гражданской стала женой и принесла Шорохову первенца-сына, что был ему радостью, смыслом и солью земли – с той поры, как выявила Алена врожденную свою суть и перманентная завязалась война. С той неизбежной поры – но Андрюха вырастал и оформлялся в маленького Шорохова.

С утра заводился компьютер и самые разные делались переводы. Переводы, дающие хлеб, – не оглядываясь, знал Шорохов, что сын здесь, в комнате: улегшись на ворсистом румынском ковре, рассматривает увлеченно глянцевые листы похождений капитана Кусто – где поднимается к верховьям лосось, лакомятся рыбой кадьякские медведи, выпускают фонтаны голубые киты, – или, отложив книгу, катает неподъемные, по силам его, с истершимся воронением гантели, тщетно пытается, двумя ухватив ручонками, оторвать упрямое железо от ковра.

И Шорохов, забывая о работе, часами готов был наблюдать. Усадив Андрюху на колени, он рассматривал пристально сыновьи глаза и, не найдя враждебной теперь зелени, облегченно, во всю ширь улыбался, – чтобы в ответ увидать такую же улыбку сына. «Андрюха замечательным растет пацаном», – думал с непривычной нежностью он, глядя, как увлеченно воюет сын с неподдающейся тяжестью. Алена, разумеется, воспринимала все несколько иначе.

Алена многое воспринимала иначе; со временем непосредственность ее обратилась в истеричность, а азарт сменился упрямством, – так что уже к двадцати одному году она являла собой полную копию невротической мамы, коею, в свою очередь, усиленно не любил Шорохов. Когда летела с полок посуда и крушился хрусталь – переполненный безвыходной злостью и чугунным бессилием, сжимая в кулаке поющую ярость, хватал Шорохов сына и гнал автомобиль к городскому парку.

Там, в дубовом подножии, была у них своя скамейка. Усевшись на темное дерево, они извлекали кульки с загодя купленной для братьев меньших снедью – и гости не заставляли себя ждать. Тут же, ведомые безошибочно инстинктом и чутьем, стайкой взбалмошной слетались воробьи, и Андрюха, по-шороховски улыбаясь, пухлой ручонкой оделял пернатую мелочь пшеном, заботясь, чтобы хватило на всех. Чуть позже являлись лениво надуто-самодовольные голуби, ходили, вальяжно переваливаясь, на красных мясных лапах, зерна склевывали нехотя и свысока.

Но Шорохов с Андрюхой, поглядывая в обширную крону, ждали другого – и, наконец, две рыжих молнии, скользнув виртуозно в ветвях, совершали головокружительный спуск по стволу, и, рассмотрев внимательно визитеров, отбрасывали всякие предосторожности, перебирались на скамью и еду брали прямо из рук. Наблюдая, с какой

непостижимой ловкостью управляются белки с лакомством, душой слушая радость деревьев и птиц, ощущал Шорохов, как мертвой листвой осыпается с него недавняя ненависть. И Андрюха, больше всего любивший спонтанные эти посещения, с горящими счастьем глазами Андрюха – служил ярчайшим доказательством вечности жизни.

Слушая гудки прогулочных катеров, покупая мороженое у пешеходного моста, разглядывая отреставрированный недавно Дворец и Собор Петра и Павла, они неспешно меряли выложенные фигурной плиткой аллеи.

Умиротворенность и возвращенную любовь привозил Шорохов домой, и Алена – трогательная, виноватая, нежная, норовящая тут же перевести диалог в постельную плоскость, – вновь была той самой безнадежно обаятельной девочкой из бассейна. Впитывая жадно тела друг друга, они скрепляли заключенный только что мир – мир кратковременный, зыбкий, больной.

В истинной его стоимости не обманывались оба.

* * *

Отыскав старое полотенце, Шорохов обтер тщательно бутылку – там оставалось меньше половины – и тщательно же ее скрыл. Подавлена была враждебность, и голоса сменила поющая низко тишина.

Жить.

Вглядевшись в зеркальную копию, он покачал недовольно круглой, стриженной коротко головой и решил немедленно себя упорядочить – за неделю болезни тяжелый и резкий, лишенный малейшего намека на щетину, тщательно следящий за внешностью своей Шорохов исчез окончательно.

Неделя? Последний раз обострение было месяц назад. Бреясь, он вспоминал, и выходило по всему, что еще семь раз взойдет и утонет солнце, прежде чем о нем позабудут, – до поры. Одно было особенно нехорошо: с каждым разом давление, по силе своей и протяженности, возрастало, и червем холодящим шевелилась мысль: а что если теперь – навсегда?

У всех проходит, говорили ему, – уникальнейший, не знающий поражений доктор – Время – исцелит и тебя, но год мучительный миновал, прополз на чешуйчатом брюхе, а боль прежняя оставалась, только ушла в глубину, чтобы губительные и жестокие совершать вылазки. Неужели дается это каждому? – не мог Шорохов в это поверить.

Рукою водя по выбритой гладко коже, он стискивал, разжимал и снова стискивал зубы, изыскивая насущный резерв.

Алена, подойдя расслабленной самкой, губами коснулась шеи, блеснула из-за плеча влажными подозрительно глазами – он, обернувшись, растрепал ей волосы и не говорил ничего: пусть поступает, как сочтет нужным.

– Уходишь куда-нибудь, Дим? – она потянула халат вверх и крайне серьезно, повертываясь перед зеркалом так и этак, принялась изучать высочайшего качества ноги.

Шорохов, не отвечая, прошел в спальню. От пола до потолка бежали веселенькие конфетные ряды, и женщина Дега все расчесывала темные свои волосы... В шкафу отыскал американскую, ненадеванную еще рубаху, по прошлому зная опыту, что Наставник и те, кто с ним, – единой не простят мелочи. И потому, для верности, он побывал еще раз за печью – особенно тщательно гладились брюки, а итальянские, замечательной кожи туфли – до зеркального полировались блеска.

Снаряженный таким образом, он мог пытаться противостоять – и, проглотив две сосиски, обжегшись чаем, сказав Алене, что заедет домой за нужными позарез материалами и обернется в два часа, – поцеловав винные ее губы и обещав вечернюю церковь, он потянул на себя туго идущую дверь.

* * *

Она, мама, выйдет на балкон и, подперев седеющую голову, будет ждать.

И солнце вливалось живительной лавой, не предвещая беды, играло на лаковом боку купленного недавно автомобиля, на коже сумки Алениной и пряжке сынова ремня – годичной давности апрельское солнце. В последнее из воскресений – когда праздновал что-то Полесский город и площадь огромная Ильича клубилась шашлычным дымом, гремела музыкой и разряженные толпы горожан поглощала без остатка и следа – оставив позади химикатные горы, широколапый, приземистый и мощный зверь шороховский бежал солнечной трассой к маме.

Она, мама, выйдет на балкон и будет ждать.

На сорок восьмом километре они свернут влево, минуют еловый лесок, а там – асфальта стрела, высокая насыпь, и с маминого пятого этажа дорога вся – как на ладони. Она, мама, наготовив бессчетно еды, удерживая до поры жгущую сердце радость, вглядываться будет подслеповатыми глазами – ведь не каждый день приезжает к ней сын с семьей! И не каждый из месяцев – уточнить бы мог, в пику себе, Шорохов – но жизнь тогдашняя закипала и лилась через край, время выбирая подчистую.

Жизнь тогдашняя, исполненная пепла, подозрительности и сомнительной, на припадки болезни походящей любви, достойна была все же называться жизнью. Поглядывая в зеркало на светлое личико сына, изучающее серьезно модель микроавтобуса, – в новенькой тельняшке и джинсах Андрюха выглядел старше своих шести – Шорохов снова и снова убеждался в ее ценности. И зацелованная солнцем позавчерашняя девочка, спрятавшая зеленый металл за темные стекла, пудрящая аккуратный носик, прикуривающая для него сигарету, Алена созвучна была шороховскому настрою.

Торпедой блестящей проглатывая километры, вспарывая воющую грозно воздушную твердь – Андрюха, завороженный движением, сидел неслышно, бросив игрушку и взгляд немигающий устремив вперед – приближали они неизбежный предел.

Еловым монолитом надвинулся лес.

Неизбежный – мигом единым треснул хрупкий мир, и дальше – бешеными понеслось скачками.

Неизбежный. Брошенная походя фраза – он и не вспомнил бы, о чем было сказано, – в прах повергла утренний свет. Как бывало это всегда, напрочь исчезла в яростном пылу ничтожная причина, и тотальная, решительно и безоглядно, разразилась война. Гремели и сталкивались, высекая снопы жаркие искр, характеры; кровавые, с придыханием и азартом, наносились удары, – совместные, они замечательно распознали грязноватые тайны друг друга, и знание это научились эффективно применять.

Теперь упало за черные ели солнце, и Шорохов, чертыхаясь и разбрызгивая слюну, сотрясаемый сладкой и яростной дрожью, предъявлял ей жестокое в предвзятости своей обвинение, а Алена – точно так же дрожащая, с пошедшим красными пятнами лицом, – голосом пронзительным и резким хлестала его наотмашь. Поглощенные без остатка, они едва не проскочили поворот – в последнее из мгновений краем глаза выхватив указатель, сжигая резину, кинул Шорохов автомобиль влево и, не слушая испуганного верещания жены, продолжал давить акселератор.

Андрюха, слушая жестокие эти дебаты, наблюдая в силу входящий огонь, примолк совершенно и лишь поглядывал испуганно темными, как у Шорохова, глазенками – но беспощадно сужался мир, и не было в нем места пухлощекому, в купленной давеча тельняшке мальчугану, сжимающему безотчетно бордовую игрушку.

В минуту миновав лесок – дорога утренняя совершенно была пустынна – на финишную прямую вышел автомобиль, и осталось всего два по нитке отмерянных километра, поворот направо и железнодорожный переезд. И мама, разумеется, уже видела рвущую воздух

машину – как раз тогда, с пугающей, по глазам полоснувшей ясностью открылось Шорохову, что ТАК заведено, и до скончания века будет ТАК, и не дано ему сломать сучий Аленин характер, но дано – мучиться и страдать до исхода дней, не умея вычленить ненависть и оградить любовь, – и безысходность эта была неподъемна.

Узким двигаясь коридором, задевая плечами за жаркие стены, с любопытством постороннего наблюдал Шорохов, как стрелка, разменяв две сотни, ползла дальше вправо, но звуки стали вдруг не нужны, и последнее, что запомнил он, – мел рассыпавшийся Алениного лица и краткое ощущение безграничной свободы, а дальше – вздыбилась в звоне и грохоте земля и покрывалом шершавым укутал переводчика сон.

* * *

С опаской потянул тугую дверь Шорохов, ступил на подгнившие доски крыльца и, слушая, замер.

Звонили отдаленно и нежно соборные колокола, хозяйка второй половины, белоснежная старая дева, отдаленная – дальше некуда – родственница, сошла царственно с каменных ступеней и, стоя спиной к Шорохову, оделяла кошачье племя мясными обрезками. На скрип она обернулась, и тут же, видел переводчик, помрачнело ее лицо, а губы, едва заметно шевельнувшись, проговорили негромко: «нелюдь». После же, взяв себя в руки, она, с обычным выражением снисходительности и превосходства, улыбнулась и нормальным, чересчур даже громким голосом (она была глуховата) произнесла отчетливо «здравствуйте».

И Шорохов, сойдя с крыльца и пробуя улыбаться, завел стандартный разговор о погоде, а сам дивился безукоризненному ее притворству – ни словом, ни взглядом единым не выказала больше она естественной своей ненависти. Но было уже сказано слово, и Шорохов, внутренне щетинясь, вежливо распрощался и пошел к калитке. Только сражаясь, возможно победить, твердил безусловным заклинанием он, – глянул с надеждой на безупречный туфельный блеск, поправил ремень и, волю взяв наизготовку, вывел себя наружу.

* * *

Идет. Вышел, ублюдок, на улицу, – ведь какую наглость надо иметь! Хорошие, от Бога, люди болеют и умирают тысячами – а эту тварь ничего не берет! Ты посмотри, как зыркает, как косится волчьим манером – что ему сын, он и мать родную, не задумываясь, порешил бы. Нелюдь! Тысячи безвинных гниют в тюрьме – а этот подонок расхаживает свободно по городу! Неужели уснул Он и не видит

этого беззакония? Неужели не видит Он, как попирается безжалостно справедливость? Вырядился, как на свадьбу, – в рубище, в лохмотьях ему ходить! И, главное, не кается, сволочь – все о своих каких-то твердит правах! Правах! С кем собрался ты бороться, если сам себя давно продал! И там, внутри, где невозможно лгать себе, измышляя несуществующие оправдания, давно вынес ты обжалованию не подлежащий приговор – хотя бы на это тебя хватило!

Желание нестерпимое повернуться и бежать – бей, сворачивай голову! Долби чугунную стену, пусть в каждом из домов за шторами плотными – знают. Пусть злость змеиная ползет в оконные щели, выдавливается из подъездных дверей – бей страх, сворачивай голову! Затаиться и ждать – себе сделаешь хуже. Триста метров: влажная пустынность улицы, а там – цирка нетленный купол, пекло людское, сплоченное всеобщей ненавистью. Идти в самый жар – и гореть, утверждая право свое жить, двигаться и дышать среди них, – утверждая право никому не давать отчет, кроме действующей временами совести.

Восстанавливая право изгнать посторонних – потому как не им, посторонним судить, не им ходить под ночными окнами, не им визжать ложно и яростно! Яростно и ложно, говорю я – пусть посмеет утверждать кто-то, что там, на последнем километре, хотел я сыну смерти! Пусть один хотя бы найдется, кто не будет при выходе моем показывать спину, кто не станет жечь глазами, любезности расточая в лицо, кто сможет, наконец, расставить завершительно точки – нет!

Дергано и быстро, в предельном напряжении, шагал Шорохов, утирая платком вспотевший мгновенно лоб, миновал купол, арку и стал у перехода. Пара расфранченных и зеленых девочек ожидала рядом, и та, что повыше, оглядев бегло переводчика, что-то сказала подруге на ухо, – после, уже вдвоем, они взялись изучать его с пристальным интересом, пока светофор не сменил окраску. И этому одно лишь могло быть объяснение – девочки, разумеется, знали. Девочки знали – но Шорохов уже выхватил из серой толчеи на остановке ту самую, широкую, дорогим пиджаком обтянутую спину и, не видя лица, знал наверное, кому она принадлежит.

Лицо – к чему видеть его, если в тяжелом шевелении лопаток, когда он, объясняя что-то товарищу, разбрасывает длинные руки, если в нервном подергивании ежиком стриженой головы читаю я вражье это слово – Наставник? Ни разу не видав его – только тень, спину ускользающую да шорох шагов удавалось застать мне, – в тысячной толпе я мгновенно его узнаю. Это не открытое ни разу лицо странным образом мне знакомо, будто каждый день я проходил

мимо рекламного щита с его изображением – проходил и смотрел, не видя.

Смотрел и не видел, но сохранила память – золоченые очки, шрамик тонкий над правой бровью, жестокие и печальные, за дымными стеклами, глаза и сжатые упрямо губы. Когда-нибудь я настигну его там – в том самом, тесном и жарком железном рукаве, до размеров какого сузился однажды мир, лишая места пухлощекого мальчугана в тельняшке, – моего мальчугана, ты понял? В тесном, сужающемся неумолимо коридоре, я нагоню тебя, чтобы слушать с наслаждением визг: уйдет время патоки и сгущенного молока, и приступит – влажный песок. Совсем недолго, всего ничего – зачем же уходить сейчас?

Не слушая и не видя, удерживая спину в зрачках, почти бежал к остановке Шорохов, и било в виски ключевое слово – успеть. Но, неожиданно и бесшумно, самым коварным образом, вывернулся из дорожного потока семнадцатый автобус, и в толпе выходящей растаял бесповоротно Наставник – напрасно вращал подбежавший Шорохов круглой головой. Уехав или бежав, бросив тающее медленно «ждать», он все же должен был оставить кого-то вместо себя. Сломав две спички, выдувая бесполезный дым, кожей спины чувствуя надзор, Шорохов двинулся знакомым до камня проспектом.

Вскидывая коротко взгляд и утыкая его тут же в меряющие фигурную плитку блестящие носы туфель, он оставил за собой ресторан «Заря», торгующую модной обувью «Верону», гастроном, музучилище, колледж искусств, нотариальную контору, круглосуточный «Зубренок» и свернул на свою улицу. Тут же, рожденный воздухом, вымелькнул из-под арки потерянный давно человек, сумкой дорожной задев переводчика, – отчего зазвенели бесстыдно пустые бутылки, а сердце Шорохова отчаянный и безнадежный совершило скачок. Зажав его мокрой рукой, оправляясь от тенью упавшего, бритвенной остроты страха, он так глянул на нищего, что тот, бормоча распухшим языком извинения, поспешил исчезнуть, унося бесценную тару.

Вот они, нервы! Теперь, как ни странно, он почувствовал облегчение и пошел куда тише прежнего, слушая, как теряет напряженность и силу внутренний звон, а каждый шаг не стучит уже в виски опостылевшей «нелюдью». Ненависть, какую видишь и осязаешь, чей пронзительно-резкий запах не спутаешь ни с каким другим, упругой стеной встающая ненависть, о какую он в кровь разбивал кулаки и отступал, побежденный, – неодолимая ненависть города временно отступила.

Вверх-вниз, как на американских горках, – у черных ворот выполз-вернулся волю режущий страх, и Шорохов, не входя, путь

свой направил в «Символ». Битая разгулом блондинка выставила на прилавок панацею и рядом устроила сигареты; явное ее безразличие он расценил как хороший симптом, воротился, прошел сквозь литье и попал без происшествий к себе.

* * *

...Уснув и проснувшись – в низкой траве нашел себя Шорохов, правая рука шарила в пустом кармане, пытаясь обнаружить несуществующие сигареты. Неизмеримо важное силился и никак не мог вспомнить он. То, что оставила память, – яблоком спелым висящее солнце, свежесть утреннюю и моторную мощь – никак не мог увязать он с этой, настырно в глаза лезущей зеленью, влажным песчаным откосом и звенящей пустотой. Было, было это важное – а он силился и не мог никак вспомнить.

Ступив два раза неуверенными ногами, он поднял левую руку – измятая сигаретная пачка зажата была в сведенных мертво пальцах. Разогнув их один за другим, среди десятка изломанных отобрав целую, он закурил и вынужден был опуститься в траву, но клочьями рвался туман и воскресало ближайшее – ненависть привычная и привычное же бессилие, прозрение, страшное в своей пустоте, скованность и безграничная свобода, как бывает, когда рвется замкнутый круг и открывается дверь клетки, – но разве можно заранее знать, что ведет она в клетку иную, лишь с более толстыми прутьями?

Истина непременно должна быть жестока. Теперь, знал Шорохов, нужно обернуть лицо свое и возвратиться, чтобы узнать о скрытом в недавнем сне. И он, аккуратно и медленно, пошел, стараясь не ступать в бурые лужицы, к искореженному, в жирный торф зарывшемуся «Рено».

Теперь мы смяли зеленый металл, и стекол осколки – как съеденные зубы. В мягкую чернь ушедший, с хребтом сломанным зверь, и Алена, сидящая чуть поодаль, с крашеным кровью лицом, ищущая что-то в сумочке Алена, – возрастала истина, но главного так и не мог открыть Шорохов.

И от болезненного морщась незнания, он присел на корточки рядом с женой и увидел, что струйкой тонкой натекает из разбитой головы кровь, ложбинкой бежит меж бровей, и дальше, по измазанным щекам, – будто плачет она кровавыми слезами.

– Ну что же это, черт побери, такое – а? – она смотрела недоуменно-задумчиво. – Ведь помню, что брала с собой пудреницу, перед самым отъездом в сумочку бросила. А теперь десять раз все перерыла – никак не могу найти! Темная такая, с золотыми буквами на крышке – тебе... или вам... нигде не встречалась?

Шорохова она не узнала и, глянув еще раз со вспыхнувшей и угасшей тут же надеждой, продолжала искать.

Поднявшись, он пошел к разбитому автомобилю. Усыпанный осколками салон был разгромлен и пуст, но здесь начала разматываться стремительно нить, и, пройдя изрытой землей, обнаружив вывороченную заднюю дверь и, чуть дальше, игрушечный микроавтобус, он знал уже, что искать. И, не глядя под ноги, увязая в зыбкой торфяной подушке, побежал туда, где празднично и ярко, заметные издалека – как он не увидел их раньше? – веселились в сырой траве фиолетовые и белые полосы.

* * *

Зона относительной безопасности – теперь, ослабив галстук, скинув пиджак, слушая, как скрипит задавленно-нежно паркет, чувствуя защиту двойной, запертой надежно двери, мог Шорохов перевести дух.

Пройдя пыльными, месяц уже как пустующими комнатами, поправив отцову фотографию на стене, отобрав необходимую литературу и диски, он выставил одну из пшеничных бутылок на журнальный столик – но вечер еще не был близок, еще можно было терпеть, ожидая исхода, и страх недавний истаял-миновал. В положенном месте обнаружив спортивный костюм и изрядно потертые борцовки, переодевшись и захватив ключи, пыльной лестницей Шорохов спустился в подвал.

Попав за наружную дверь, пробираясь на ощупь – все до единой лампы были выкручены предприимчивым соседом – поворачивая каждый раз направо, он нащупал, наконец, холодное и гладкое железо своей двери. Взвизгнув ржаво, она отошла – в первом помещении сколоченные грубо деревянные полки были уставлены пустыми банками; иной, бесполезный и нужный, хозяйственный скарб громоздился на неровном полу.

Сдвинув умерший пылесос, повернув короткий ключик, проник Шорохов за дверь другую, деревянную, где в довольно обширной комнате две груши свисали с потолка, пол устелен был спортивными матами, а на вбитых в лакированную доску гвоздях висели боксерские перчатки. Взглядом просветлевшим осматривал Шорохов постерами забранные стены, брошенную в углу скакалку, штангу, изготовленную за пять пузырей на Вагоноремонтном, и прочие мужские игрушки.

Ушло давно время соревнований, и забылась уличная слава, – но и годы спустя похаживал Шорохов в спортивный этот мирок, где проводил когда-то изматывающие и счастливые часы. Андрюха, норовивший увязаться каждый раз за ним, следил с восторгом, как стонет под

тяжкими ударами длинная, чуть ли не до пола, груша, натянув на пухлые ручки перчатки, пытался бить и сам – но мал, мал и слаб еще был человечек. И полагал Шорохов: год-другой подождать – не зная, что жизнь полна неожиданностей, о каких и не подозреваешь, – до поры.

За все время песка ни разу не был в подвале Шорохов, и теперь, разминаясь, чувствуя неподатливую деревянность тела, с особенной ясностью понимал он, что значит это: сквозь пальцы истаявший, не прожитый им, но в книге отмеченный год.

Год потери лица: когда не помнишь и помнить не желаешь свое, но держит взбодренная страхом память – ежик короткий волос, шрамик белый над правой бровью, очки туманные с золотыми дужками, сжатые упрямо губы, жестокие и неуловимо печальные глаза... Я абсолютно уверен, что встречался с ним ранее, – иначе откуда все эти подробности?

Я абсолютно уверен, что когда-то – годы назад – видел и знал широкую эту спину, длинные, висящие тяжело руки, да и привычка эта: рассказывая или слушая, дергать периодически шеей, – тоже мне хорошо знакома. Но вспомнить, как ни пытаюсь, я не могу – хотя именно этот, называемый Наставником, как никто другой способен рождать во мне бесконечный и яростный страх. Бесконечный и яростный – пусть неподъемна вина моя, но как может утверждать он, что там, на последнем километре, намеренно желал я сыну смерти?

Сыну, в котором я искал и находил чистого себя? Сыну, что вырастал точным моим повторением, и смыслом, ранее недоступным, полнил жизнь, – разве мог я желать ему смерти? И будь у меня возможность выбора – разве не взял бы я смерть вместо него?

Но случилось так, что Алене и мне суждены были царапины и ушибы – Андрюха же, с раздавленной грудью, умер в клинике четыре часа спустя. Случилась так, что задняя, открывшаяся и вырванная с корнем дверь – когда швыряло безбожно автомобиль в торфяной ложбине – выпустила мальчика первым в суженный до отказа мир, места в котором ему уже не нашлось. Случилось так, что я, а никто другой, бежал, спотыкаясь и падая, к неподвижному, странно маленькому его тельцу, – бежал, зная сердцем, что безнадежно опаздываю.

Но не прожитый, лишь отмеченный в книге, песком ушедший, мучительно долгий год – неужели мало этого высокому, в дорогом пиджаке, палачу?

Вколачивая всю ярость и страх – хлопала гулко о кожу кожа, пот струящийся кусал глаза, занавешивая их жарким туманом, звенели тугим напряжением руки и ноги – снова входил Шорохов в зону относительной безопасности, где во всем была конечная, сомнению не подлежащая ясность. Мужчина, кем бы он ни был, должен играть в

мужские игрушки и быть готовым к справедливой войне – иначе какой он, к чертовой матери, мужчина! Зачем нужны мужчины, не приспособленные к жестокости и войне, – если потребуют того обстоятельства?

Тут была предельная ясность, и Шорохов работал на совесть, возвращая телу послушность и силу. Заниматься делом, восстанавливать храм свой – смутно вспомнился Ян Камоцкий, и тень промелькнула неясной надежды, будто птица светлая махнула, пролетая, крылом – промелькнула и пропала разом.

Стащив перчатки, он посидел, отдыхая, на низком стульчике, и, чувствуя приятно гудящую во всем теле усталость, пошел неторопливо наверх.

* * *

Но ведь была же, была эта девочка – белея обтекаемым, узким своим телом, ступая уверенно гладкими ногами, восходила раз за разом наверх, и, постояв секунду на краю, летела стремительно к голубой воде, входя чисто и за собой оставляя лишь узкий фонтанчик брызг. Она, казалось, и создана была для воды – настолько совершенны, отточены и легки выходили все ее движения. Студентка-первокурсница Экономического – зажигательная своей непосредственностью, блеском влажным малахитовых глаз и желанием жадным испробовать все и как можно скорее – разве могла она миновать Шорохова?

В стареньких джинсах, истрепанных ботинках и чересчур свободной майке, совсем не обтягивающей неразвитую ее грудь, неотразима была Алена – он проглотил бы ее целиком, со всеми нежными потрохами. И тогда, и позже, несмотря ни на что, – но листало календарь время, прочность стали обрел малахит, и девочка из бассейна потерялась в дождливых осенних улицах, а как воротить прежнее – о том понятия не имел переводчик.

Выйдя из ванной, он разыскал-таки пепельницу, рюмку и нож, срезал аккуратно желтую пробку, медленно налил и медленно же, обжигая язык, выпил.

Любили мы, как умели, – а умели из рук вон.

Подтачивая то и дело боевые клинки, кидались беззаветно в бой, кромсали истово душевную плоть, как считалось – во имя той же любви. Кромсали и верили, что делаем это во благо. Но вера наша обернулась дождем, нестерпимым воем совершенно седой, с трясущейся головой, старухи, неестественно маленьким, словно игрушечным, гробиком сына и стуком погребальных молотков. Вера каменной обернулась пустотой, отстраненностью от мира и мучительным

сознанием собственной бесполезности – и кризисы были неизбежны, отмечая черными вехами не прожитый путь.

Но ведь пройдет, как проходит у всех, и ни к чему искать виноватых – там, где утрачен смысл. В конце концов, что может он припомнить из последних, сну предшествующих мгновений? Ведь именно его автомобилем был оставлен отчетливый тормозной след, и, как установят позже, «Рено» взлетал с отключенным двигателем – значит, пытался Шорохов остановить крах?

Пытался – не мог не пытаться.

Плещется пламя за хрустальным стеклом. Выпив, закуривает Шорохов и льет снова – рука его совсем не дрожит.

Не мог не пытаться. Ведь он, а никто другой, отключил зажигание – а между тем, припомнить этого так и не мог. Как и многого другого – вплоть до момента, когда нашел себя стоящим спиной к катастрофе, на сочной, ядовито-зеленой траве, перед влажным песчаным откосом, в сосредоточенном поиске сигарет.

И после многое осталось за кадром, память сохранила беспорядочные, лишенные всякой внутренней связи эпизоды. Запомнилось, например, Шорохову, что врач скорой помощи – желтолицый, дебелый, скучный, с крепким запахом лука изо рта, – был в невероятно пыльных ботинках, шнурок на правом развязался и почему-то исключительно раздражал Шорохова.

Непредсказуемая в выборе своем память не смогла удержать главное, но осталось это: общее, сдержанное и приятное оживление, когда, придя с неприютной, залитой холодным дождем улицы, рассаживались за поминальным столом. И – болгарский консервированный перец, терпкий, теплый и сладкий, одним видом своим вызывавший у Шорохова рвоту. И откровенно голые, против воли в глаза лезущие, ноги юной соседки слева, Алениной двоюродной сестры. Когда он пошел курить в кухню, пошла и она – выдувала дым в потолок, вздыхала с непритворным сочувствием и разглядывала Шорохова в упор наивно-бесстыжими глазами прирожденной бляди.

Запомнились братья Алены – одинаково темноликие, молчаливые и огромные – трудно было поверить, что эти монстры зачаты в одной с ней утробе. И дождь – не дождь уже, а ливень, барабанящий угрозисто в мутные стекла, уже тогда кричавший понятным Шорохову – и безжалостным – языком. И Оля Спецовка, безошибочным нюхом алкоголички чуявшая все поминки и свадьбы, произносившая ложные слова соболезнования, взглядом алчным шарившая в поисках рюмки, напившаяся в хлам и вышвырнутая с позором на лестницу, – он и сам бы напился, но водка, тяжестью оседая в желудке, мозг оставляла совершенно трезвым.

Нам предстояло еще узнать, что волки, рожденные выть, забудут о священной этой обязанности, и девочки перестанут звонить в звонки – там, на пустыре, у заброшенной бани, – а все потому, что мальчик хлопнул гулкой дверью, как выстрелил, и исчез за кирпичным углом – чтобы никогда не вернуться больше.

Многое предстояло еще узнать нам. Но тяжелый и жесткий, с висящими тяжело руками и шрамиком над бровью, был давним нашим знакомцем, до поры лишь скрывающим истинное свое лицо. Войной живущие днем, сплоченные пьяной и жалкой откровенностью ночью, сплетались в жарко-скользкое единое существо – но кратки и беспомощны были эти секунды, и все тяжелей – похмелье.

Поправив в пыльном зеркале галстук, забрав звякнувшую вразнобой сумку, ключи перебирая в прохладном кармане – вышел Шорохов на площадку, щелкнул замком и зашагал стертой лестницей вниз, но, до первого дойдя этажа, замер резко и стоял, прислушиваясь: слишком знаком был голос, чтобы остаться неузнанным. С минуту он слушал, а после медленно и бесшумно поднялся на площадку между третьим и четвертым этажами и, с осторожностью великой, выглянул в окно.

Худшие из опасений его подтвердились.

* * *

В те светлые еще времена, когда и думать было нельзя, что время влажного песка – не за горами, когда был парк с резными чурбанами, Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой, стариком Черномором и тридцатью тремя богатырями; когда скользили по стволу рыжие белки и кормились прямо из рук; когда семьями, на трех машинах, ехали за шестьдесят километров к Озеру, ставили палатки и жили лагерем по нескольку дней – невыразимо приятен был запах шашлыков, и пение под гитару у костра, и рейды за кувшинками аж на самую середину Озера, и наваристая, с дымом, луком и перцем, уха, и восторг, с каким вскрикивал Андрюха, попадая из пневматической винтовки в консервную банку, и алая, исходящая паром вода в прохладный рассветный час – одним словом, когда жив был сын и Шорохов знал о счастье не понаслышке – уже и тогда существовал этот, называемый почему-то Наставником, – который сидел сейчас во дворе за шатким, небесного колера столиком и беседовал с двумя неизвестными.

Но нет, одного из них он все-таки видел – и совсем, причем, недавно. Обтрепанный и грузный, в какой-то женской, яркими цветами расшитой кофте и тренировочных, в пятнах въевшейся намертво грязи брюках, с лицом давно бывшего человека – именно он смертельно напугал Шорохова, вывернув из подворотни с набитой пустыми бутылками сумкой. Другой же – в костюме джинсовом, вытерто-черном,

поджарый, смуглый и длинный, с изломанным носом на недобром лице, – совершенно был ему незнаком.

И Шорохов, выглядывая аккуратно сквозь грязное стекло, слушая довольно громкий их разговор, – говорил все больше ТОТ, сидящий к нему спиной, – чувствовал, как тело его бьет мелкой и частой дрожью, какая бывает лишь у людей, испытывающих сильный страх.

– Значит, так. Войдете оба и будете ждать в подъезде, внизу. Вот-вот он появится – пять-десять минут. А я здесь останусь, поблизости – на всякий случай.

– Да какой там «всякий случай»! – недобрый, с ломаным носом. – Я ж таких фраерков за километр насквозь вижу! Он же, сука, из дома выйти боится, дрожит и оглядывается, как баба последняя! Какой он, на хрен, мужик – и из-за такого лоха пацан безвинный ушел! – Все правильно, Андреич, – это Цветной. – Сделаем мы его, без проблем сделаем. Так что готовь, Андреич, бабки-бабулечки, выкатывай лавандос – а то трубы у нас горят, и терпеть – никакой нету возможности. Скорей бы сука эта вышла!

– Ну все, за работу! – сидевший спиной встал, и поднялись тут же двое других, а Шорохов бежал стремительно наверх, к лаком крытой деревянной двери 147.

* * *

Вот он – Страх! За горло схваченный холодными, липкими пальцами, агонически метался переводчик пыльными комнатами, но ухватил, поймал-таки нить разумения: выгреб кухонный ящик, шарил, звеня, и вытащил, наконец, отцов нож – коротко, широко и хищно мелькнул зеркальный клинок, – а затем уложил его во внутренний карман пиджака, эбонитовой рукоятью вниз.

Не этих двоих, но жесткого, в дорогом пиджаке хотел я достичь – слишком губителен был жизнь поедающий страх. Мог бы я вот так – ударить в живое тело ножом? Теперь я скажу – нет. Но тогда было не «теперь», а он слишком был силен, чтобы мог я рассчитывать на силу своих – пусть и кандидатских в прошлом – кулаков. Двигаться и делать! Промедление смерти подобно – вспомнилось читанное в далеком детстве. Из сумки наружу – половину водочной бутылки: пей из горла, лей в горло! Бей страх, сворачивай голову – иначе лишишься своей. Была-оставалась слабящая дрожь – но не было другого пути. Я хлопнул дверью и выступил на клетку, ожидая.

Они поднимались вдвоем, нога в ногу, занимая всю ширину лестницы. Я замечательно помню, как, подойдя к краю площадки (так у меня было больше преимуществ), сказал, голосом неприятно-дрожащим и тихим:

– Дальше не пойдете – иначе буду бить до последнего! – и сам поразился, насколько беспомощно, непохоже на обычного меня, прозвучали эти слова.

Они стали, и тот, с ломаным носом, посмотрел недоуменно.

– А в чем дело, братан? Мы звонить идем. Я – Светки Шкуры племянник. Я не догоняю – что тебя не устраивает?

Ложь его показалась мне малоубедительной, и я молча ждал. Они переглянулись, лица разом упрямое обрели выражение, – и двинулись наверх.

Первым я ударил обтрепанного и грузного, в женской кофте: он провалился разом вниз, а я бил уже второго – все той же левой рукой. Помню, что попал я неважно, и смуглый, хватаясь за перила, сбежал на несколько ступеней вниз – и продолжал стоять. Правую руку он сунул в карман куртки и глядел на меня – и здесь зверь мой сломал клетку: я знал, у него там нож. И, вытащив свой, мстя за недавнюю свою слабость, метнулся к нему.

Вижу, как сейчас: ближе к стене, левым плечом вперед, в расслабленных пальцах левой руки легла удобно гладкая рукоять, отчетливо и звонко поет свободная ярость, время уже не бежит ручейком, но медленно, мучительно медленно падает гулкими каплями в пустоту – я спускаюсь к смуглому в джинсовом костюме и вижу, как серой пылью кроется недоброе его лицо.

Я мог ударить и убить: он стоял совершенно неподвижно, с непонятной мне обреченностью, – если бы не тот мистический, спасительный миг просветления, остановивший меня у предельной черты. Впервые за много дней, я ПОСМОТРЕЛ ИЗ СЕБЯ и увидел по глазам полоснувшую истину: они НА САМОМ ДЕЛЕ шли звонить и не имели ко мне ни малейшего отношения, а подслушанный разговор за столиком никогда не существовал в действительности. Я говорю «мистический» совершенно обоснованно: не случись его, я бы лишил жизни невиновного и окончательно поломал жизнь себе. Я ведь знал ее, свою ярость, – зверя, действующего обдуманно и жестоко; зверя, какого легко отпустить на волю, но почти невозможно загнать в клетку, – и потому нисколько не сомневался в исходе.

...Какое-то время я стоял, тяжело дыша и слизывая жаркие капли пота, – я видел все в истинном свете. Видел высокого, с побелевшим лицом, глядящего с покорностью и тяжелым мучительным недоумением... Такой взгляд мне пришлось наблюдать однажды у женщины, потерявшей сознание на улице и приведенной в себя случайными прохожими, среди каких был и я: она, открыв глаза, села и, глядя вот так, с покорной готовностью к худшему, все повторяла слабым голосом: «Где я? Что они со мной сделали?»

Я видел грузного, в ярко-женской, на пуговицах, кофте: он, сидя на корточках, опустив соломенную, грязноволосую свою голову, ощупывал рассеченную и сломанную переносицу, а капли, черные на лету, убегали на истертый бетон, вишневым растекались сиропом.

И дальше я оставался собой – в карман вернув нож, повел их к себе и, суетясь, оказывал медицинскую помощь, а в качестве моральной компенсации предложил смуглому, как наименее пострадавшему, спуститься в магазин за водкой и закусью, что он с неприкрытым удовольствием и исполнил.

Непривычно оживлен и разговорчив был я тогда – обретение утерянной реальности зажгло во мне тысячу разных надежд. Я извинялся за имевший место инцидент, объясняя агрессивность свою некими, тут же измышленными врагами, за каких – по глупейшему, но простительному вполне недоразумению, – принял своих спонтанных знакомых.

Я был возбужден и радостен – мир, оказывается, вовсе не так враждебен и, как ни удивительно, сохранил местечко и для меня, после годичного моего отсутствия. Никогда, никогда больше не вернется время влажного песка – повторял про себя то и дело я, слушая малопочтенный, между товарищами возгоревшийся спор.

При уходе я дал им еще денег; мы жали друг другу руки, но глядели они хмуро и, спускаясь не мытой давно лестницей, о чем-то спорили довольно громко – да разве важно это было тогда?

* * *

Близость непоправимого еще бродила во мне, чуть приглушенная алкоголем. У красной совы в левом глазу было 16 – и столько же высвечивал правый глаз. Пройдясь неспешно осенним ковром, я позвонил на Госпитальную, Алене, – линия была мертва.

Как же побежало, покатилось все это – пьяные ночи и нетрезвые дни, опущенные головы и в пыль раскрошенные надежды... Начиная с зимы, я стал особенно остро бояться людей – их ненавидящих, прожигающих насквозь взглядов. Дошло до того, что даже поход в магазин, за сто метров, превратился в тяжелейшую из пыток. Я вынужден был оставить место в фирме и пробивался переводами, какие носила мне из Бюро Алена.

Алена... С ней ведь тоже что-то происходило – но вряд ли это представляло для меня хоть малый интерес. Я давно смирился с фактом, что той, любознательной и живой, девочки из бассейна больше нет. Я не мог простить ей – но не жалел и себя. Почему не расстались мы? Да по той лишь причине, что носили в себе общую боль – не нужную, кроме нас, никому. Так казалось мне все эти месяцы – но не мог ли я ошибаться?

Когда наваливались стены, и вновь попадал я в узкий, жаркий железный рукав, ведущий в один конец, – сунув деньги и лекарство в карман, надев излюбленную, мягкой кожи, куртку, шел я в ночной город и шатался опасными улицами до утра, затевая ссоры и надеясь, что, рано или поздно, закончится это плохо, – не закончилось. Кому-то нужно было, чтобы я жил, – жизнью отравленной и не своей.

Но теперь, глядящий СВОИМИ глазами, должен я был придти к главному отрицанию: тот, кто ходит под окнами, позволяя увидеть лишь спину, кто терзает меня страшными в несправедливости своей обвинениями, кого я боюсь, как не боялся никого и никогда, со шрамом малым на жестком, странно знакомом лице – не существует вовсе, и страх мой непременно сгинет без остатка и следа: ведь я теперь – глядящий своими глазами. «Нет тебя – слышишь? Нет, и никогда не было, и страхам моим – конец! Я – свободен!» – проговорил громко я. Мне всегда казалось, что мысль, оформленная в слова и высказанная вслух, – особую, окончательную имеет убедительность.

Я выпил еще – по случаю торжественному и понятному – и, чтобы еще раз увериться в новообретенной свободе, смело распахнул балконную дверь и, выйдя, смотрел и слушал: тишина и спокойствие были в предвечернем городе, не змеился ненавидящий шепот, и даже тени недавнего мучителя не мог я отыскать.

И я, веря и не веря, пошел в комнату Андрюхи, где решительно избегал бывать после черного, годичной давности, апреля. О сыне, пожалуй, ничего уже не напоминало – лишь книжный шкаф, набитый сплошь детской литературой да цветная фотография в рамке на столе. Все прочее было снесено в подвал либо подарено монументальным братьям Алены, у которых подрастал целый выводок ребятишек, – и я вполне был согласен с этим, полагая, что память заключается не в игрушках или тряпье. Но как же тяжела она – память!

Тяжела и неподъемна, но тогда, разглядывая фотографию сына – где он с растрепанными, на солнце выгоревшими волосами, смотрит чуть-чуть исподлобья и так же слегка улыбается, но радость, отчего-то сдерживаемая, так и брызжет золотыми искрами из темных, совсем как у меня, глазенок, – тогда я и сам улыбался, внутри ощущая лишь легкую, светлую грусть – чувство, мною почти забытое. Мы платили за неумение любить, но кто возьмет на себя ответственность заклеймить нас жестоким этим словом – убийцы?

Многое открылось мне тогда. Неожиданно и вдруг, отчетливое явилось понимание: да, случившееся непоправимо, но что делаю я, всю сознательную жизнь с убежденностью фанатика бубнивший: мужчина должен быть сильным, он должен уметь за себя постоять и

защитить то, за что в ответе?.. А что же я? Год существую я аморфным, раздавленным страхом существом, хоронюсь от света и людей, лишенный и намека на пресловутую силу! Где борьба: не в том ли, что, вычеркнув себя из жизни, закрывшись на пудовый засов, изнутри грызу я себя чувством вины? Вливая жадно прозрачный яд, таскаю себя ночными улицами и ввязываюсь в пьяные драки?

И то непоправимое, что едва не случилось сегодня и что мне еще предстоит осознать в полной мере, – разве не есть свидетельство падения и пепла? Распустить слюни и выть в безысходности и тоске... – Вглядываясь в лицо Андрюхи, все больше убеждался я в собственном заблуждении. Стальной упругости замечательной прут, обращенный в кусок алюминиевой проволоки, – что может быть ничтожней? Стискивая зубы, искать прежнюю сталь – вот чем должен был я заняться в первую очередь.

* * *

Еще раз я звонил Алене около семи – трубку брать никто не спешил. В соборе Петра и Павла, в прохладе золотой и восковой строгости, – что усмотрела для себя обаятельная и безнадежно упрямая девочка из бассейна? Выстаивая бездвижно часы среди верующих истово и любопытствующих праздно, зажигая тонкий свечной воск, – в чем искала она облегчение? Во что уверовал – или заставил себя уверовать – бывший инженер и бизнесмен-банкрот Ян Камоцкий, ныне пастор адвентистов Седьмого дня?

Я, имевший собственное представление о Боге, одинаково ровно относился к католикам и протестантам, к адвентистам и пятидесятникам, полагая, что вера – личное дело каждого, но решительно отказывался понять, почему Алена, воротясь из церкви, запирается в своей комнате, пьет купленное на обратном пути вино, курит беспрерывно и плачет. Неужели к этому подвигали ее церковные визиты?

Позже одиночество гнало ее ко мне, но и я, тянущий потихоньку из пшеничной бутылки, редко бывал лоялен – до кого же можно здесь достучаться!? Теперь же, освобожденный, я вытащу нас обоих. Сова сообщала половину восьмого и я, последнюю приняв рюмку, заторопился в деревянный дом.

* * *

«Символ», аптеки зеркальные стекла, сквер Влюбленных с небьющим фонтаном – теперь я выбрался на Проспект и шел свободным человеком. Если раньше я избегал смотреть и видеть, то теперь, напротив, разглядывал с открытым, назойливым даже интересом каждого, идущего мне навстречу. Я болел, долго болел и исце-

лился, и потому все, попадающие в поле зрения, – молодежь, заполонившая желтые скамьи, пьющая пиво и хрустящая чипсами; и молодые мамаши, не вмещающие телеса в одежду, горделивые и святые, с колясками цвета сирени; и разнаряженные семьи, ведомые принявшими по случаю Вербного Воскресенья на грудь отцами, – все без исключения были мне приятны.

Я и пошел-то помедленнее, не желая, чтобы триумфальная моя прогулка завершилась так скоро. У булочной на углу встретился мне один из прежних знакомых, преподающий физику в Университете, – лысый, красноносый и неплохой во многих отношениях человек, – и я долго, с изголодавшимся каким-то интересом расспрашивал его о новостях и говорил сам. Расстались мы, уговорившись встретиться в день Пасхи – и тогда уж погудеть, как следует.

Я двинулся дальше – и через десяток метров столкнулся с Яном Камоцким – смуглым, белозубым, улыбчивым, этаким итальянцем отечественного производства. Глядя в глаза ему, заулыбался и я, обещав в конце беседы – он сворачивал на Комсомольскую – непременно как-нибудь побывать на субботней службе.

Вот как в действительности обстоят дела! – размышлял, приближаясь к Цирку. Нет тотальной ненависти, и мнимых врагов нет, зато друзей у меня – на каждом шагу. Так что – будем жить!

Будем жить. Девушка, схожая на редкость с Аленой семилетней давности, – узкобедрая и крепкая, длинноволосая, в кожаном пиджачке, – шла навстречу мне со стороны площади Победы. Настолько велика была иллюзия, что я замедлил шаг, вглядываясь в округлое, в точности, как у Алены, лицо, – а та, поравнявшись, чуть улыбнулась, пристала на миг, и, бросив негромко: «Ничего у вас не выйдет – так и знайте. Рано обрадовались!» – пошла себе дальше.

Воя надсадно и пугающе, три пожарных машины – одна за другой – промчались в сторону Вокзала. Укатилось солнце за серые дома. Заглядывая в урны, нестерпимо громко шурша рваным пакетом, прошел нищий. Рухнуло шаткое благополучие, опасный городской шум надвинулся и стал осязаем, а там – изучая мелькающие лихорадочно, запыленные носы туфель, быстрее и отчаянней, – не шел, а почти бежал уничтоженный Шорохов.

...Кто, этот? Да я бы на его месте на улицу выйти боялся – не то что по Проспекту разгуливать! Вы слышали? Он, подонок этот, размечтался было – все уже позади. Все только начинается! Нет, не могу я видеть этого! Сейчас прямо догоню и прибью, как пса бешеного, –давайте, пацаны, со мной! Ничего, ничего человеческого в нем не осталось! Светка Шкура рассказывала, он сегодня чуть племянника ее не заразал в подъезде – шел человек с другом в гости. Пес бешеный и есть!

Да что говорить, если сына, кровь свою, жизни лишил не задумываясь, – нелюдь! Тварь! Сука! Ссука! Сссука! Вечером – пусть, сволочь, ожидает гостей!

Мелькнула впереди знакомая спина – горбясь, перебежал Шорохов дорогу и потянул тугую белую дверь круглосуточного. Не слушать, игнорировать, не замечать! Не верить тому, чего не было, нет и быть никак не может, – челюсть двинет клином интеллигент Шорохов! Ведь только что, пять минут назад, исключительно чист и благорасположен был мир, – утирая пот, запихивал Шорохов в сумку спасительное стекло, рвал замок и спешил прочь, плечо выдвинув вперед и взглядывая воровато в зеркало витрины.

Еще не стемнело; гостиница «Цирк» – коробка шоколадных конфет в семь этажей; вот он, в язвах выбоин, асфальт, микроавтобус на мертвом приколе, груженая ледяной рыбой фура; а там, на задах огородов, – громоздкие конструкции возводимого стадиона. Вот они – облезло-вишневые ставни, подгнивший забор и калитка с секретом – шелестя травой, спешил Шорохов укрыться в ненадежном бастионе.

* * *

Оберток карамельных веселые ряды, две мировых пережившая мебель, увлечения девичьи Алены: «Лед Зеппелин», Дженис Джоплин, Джон Леннон в инвалидной коляске, «Роллинги» и «Нирвана», глядящие с каждой стены. И женщина Дега, сдобная самка, все засчесывает густые волосы, – как будто нет в ее жизни важнее занятия.

Влажен зеленый металл, в глазах Алены – оживленная ложь. В деревянной коробке – дым и Джон, поющий о паранойе и любви. Шорохов, насупившись, слагает уличные доспехи – до неизвестных времен; из сумки, не таясь, тащит пшеничный продукт, ножом – тем самым, с коротким и хищным клинком, забытом в пиджачном кармане и обнаруженном лишь сейчас, – рвет податливую пробку, пьет из горла, морщится и, нашарив под кроватью пепельницу, закуривает.

– Это называется: два часа! Я не знала, что и думать, – пошел и на весь день исчез! Ты позвонить-то, предупредить хотя бы мог? Хотя я сама недавно из церкви вернулась.

Она ходит в стареньких, в обтяжку, джинсах и футболке с нелепой надписью «HATE ME BECAUSE I AM BEAUTIFUL» перед Шороховым, – ходит, словно позирует, после садится рядом и ластится пьяной кошкой.

Могут говорить и могут молчать – Шорохову, с грубо отобранной у него надеждой, – не до разговоров. Он равнодушно смотрит, как льет Алена в высокий бокал и пьет, запрокинув голову, мелкими

глоточками, зажав хрусталь в тонких, с розовыми кончиками, пальцах. Могут молчать, но могут и говорить. Язычок Аленин заплетается, и сценарий известен заранее: треп, ностальгия, слезы, скандал, примирение, секс – в последовательности строго определенной.

– Хватит! – вслух говорит он. – Хватит!

Алена, растворенная, лепечет в потолок, стекло прозрачное неумолимо пустеет. А там, уже темной улицей, от Цирка до набережной и назад, прохаживаться будет неуловимо знакомый, называемый почему-то Наставником, – тяжелый, с жестким лицом, с шрамиком малым над левой бровью и длинными руками мучитель.

Он, тяжелый и жесткий, знает все наперед – не хуже самого переводчика.

Знает и видит: Алену, невозможно и привычно пьяную, блуждающую скошенными комнатами, виляющую инстинктивно сногсшибательной своей задницей, – нужно ведь за что-то цепляться! – избитую после бледным смертельно Шороховым и вышвырнутую из скрипучей кровати... Видит самого переводчика, устроившего под подушкой нож и ждущего прихода гостей – мелкой, слабящей дрожью исходящего Шорохова, зажавшего бутылку с лекарством в неверной руке.

– Хватит! Пожалуйста – хватит! – твердить будет он, зная заранее, что тщетны униженные эти просьбы. – Оставь меня в покое, слышишь?! Я на все согласен – но не мучь меня больше! Я стану другим, таким как ты хочешь, – но сделай так, чтобы все ушло, чтобы завершилось оно, – время влажного песка! Чтобы не было теней за ночными окнами, и воя, и жестоких в несправедливости своей обвинений. Со всем согласен и все признаю – но должно же хоть какое-то быть милосердие!? Должно ведь, а?

Он, жесткий, с висящими тяжело руками, – лишен шороховской слепоты, и тайн, больших и малых, для него не существует. Может быть, поэтому он непривычно сдержан, сосредоточен и тих. Совсем скоро он расстанется с переводчиком на срок неопределенно долгий – на вечный, возможно, срок.

В пять утренних часов он исчезнет, а Шорохов, спавший и не спавший, встанет с железной кровати и курить пойдет на крыльцо, чтобы на обратном уже пути обнаружить Алену, спящую сидя у веселой стены, – холодную и жалкую Алену с заплывшим глазом и разбитыми губами – самую обычную, в общем-то, Алену.

Он отнесет ее в постель, и позже, прижав к себе, с забытой нежностью согревая холодное тело, по волосам гладя, каштановым и густым, уснет Шорохов, – тяжелый и жесткий, с тонким шрамом над левой бровью и жилисто-длинными руками человек.

Уснет, чтобы проснуться окончательно исцеленным, разве что самую малость усталым, – проснуться и пробовать любить во второй раз. Дело за тем лишь, чтобы отыскать ту самую, безнадежно обаятельную девочку из бассейна, с узким и крепким телом, с бесстрашием воина и непосредственностью девятиклассницы, – ту, что ушла когда-то, забыв предупредить, долго бродила одна и – заблудилась в дождливых осенних улицах.

Каталония

Ина Близнецова

ПРОЩАНИЕ С ОСЕННИМ ПАРКОМ

Не выхожу на воздух, а вхожу, не стучась,
к нему на правах приживалки, раз благосклонно погода
позволяет прожить мой кровный полуденный час
в близлежащем парке в который раз за три года –
и в один из последних. И берет смешная досада,
что не вовсе мне внятен жаркий чужой разговор:
сад прощается с летом, или лето прощается с садом,
и кто покидает кого.
Сквозная прохлада прохватывает виски:
не найдет ли в одном
в стоге сена потерянную иголку?
Щека ощущает солнце, как касанье родной руки,
не знающей, задержится ли, и как надолго.

С запоздалого одуванчика свеченье во сто свечей
дождь обил, наведя воздушный десант на мысль о земном призваньи –
и теперь у решетки забора – Пажеский корпус лучей,
гимнасий для практики фехтованья.
Так много лучей, что иных, должно быть, подкинули звезды;
не принятых в благородные приютила хвоя.
И с перебоем сердца доходит, что воздух
помимо света чем-то там осиян.
И что-то такое сказалось этим сияньем,
так просто, что дух захватывает от такой простоты –
как стоика отрывая от достойной беседы с друзьями,
гонец из столицы: «Цезарь хочет, чтоб ты...»

День перемены ясности приходит извне, неожидан и вряд ли понят,
и сад в своей статной силе пред ним листом встрепенувшимся встал –
видя зорче, чем я, и видя, как на ладони
меняет русло судьбы и жизни черта.
Но и мне развернула свиток сошедшая с вышних кросен
ткань, что еще вчера сошла бы за тень:
день перемены ясности – не затем, что приходит осень,
но, может, осень приходит затем.

Каждый зеленый комочек в порывах ветра слышит осколки звона
с чем-то похожим на – «не сносить головы»,
и раздираются плавного шелка разводы
на каждую ветку каждой метелки травы.
И нужно увидеть прозрачность листвы, опоенной солнечной брагой,
без наивных «иду на вы», как рыкнула бы гроза, –
чтоб распрямиться клинком с беспечной гибкой отвагой
и взглянуть своей жизни глаза в глаза.

И тогда разящим уколом напомнит ребру
из каких составов творимы наши камены –
день, хрустящий, как первый неразменянный рубль,
или как последний рубль неразменный!

Тени высокой листвы осыпают асфальт
пригоршнями отсветов прошлой жары,
полые объемы чаш придвигая внизу качанием верхних веток –
так, что вспомнишь дитячьей ночи стеклянные елочные шары,
находившие свет отразить, где, казалось, не было света.
Одеяло под темной елкой, батареи несытый бурк –
и подходит, пробуя память, как ломкий наст, как пробует смех несмеяна, –
в пух несчетных своих паутинок и пыльные шали кутает меня Оренбург.
И ничто из того, что вокруг, не более явно.

Есть кристальная память, чьим зеркалам лицо
не отражать, а впустить – легко, как зайцу ушами прядать.
Полуденный свой надел закатаю в такое вот кварцевое яйцо,
вспыхивающее на свету завитками солнечной пряди.
Чтобы когда «потерпеть» найдет на свое «погодить»,
и откажет послушнейшее из терпений –
яйцо золотого царства с обеих рук покатить –
и вокруг взыграют последние летние тени.

Что саду, глотнувшему осени, как студеной воды из крынки,
сбившееся на «прощай» сегодняшнее мое «пока»? –
сезонный тайфун,
ураганная струйка ветра, взвихрившая три травинки
и двадцать пылинок песка.
И во мне – не детское требовательное тепло,
ищущее ответа в звуках осенних прялок,
но три года полудней, когда по усам текло,
и попадало в рот, и в глазах застряло.

Когда ни труды ни дни не в ладу с судьбой, –
чтобы ее притяжение с ног не сбило,
у человека должно быть место свиданий с собой.
И это им было.

Скамейка готовно подставит под спину жесткие свои бока,
спокойствие дерева, знавшего много дождей, сообщая коже.
И за кронами, облапившими полнеба, едва видны облака.
Но они остаются со мной, и об этом позже.

Нью-Йорк

Елена Игнатова

* * *

Как, не ударясь в крик, о фанерном детстве,
бетонном слоне, горнистах гипсовых в парке,
творожном снеге Невы, небе густейшей заварки,
о колоколе воздушном, хранившем меня?
Вечером мамина тень обтекала душу,
не знала молитвы, но все же молилась робко.
В сети ее темных волос – золотая рыбка,
ладонь ее пахла йодом... сонная воркотня.
Всей глубиною крови я льну к забытым
тем вавилонским пятидесятым,
где подмерзала кровь на катке щербатом,
плыл сладковатый лед по губам разбитым.
Время редеет, скатывается в ворох,
а на рассвете так пламенело дерзко,
и остается – памятью в наших порах,
пением матери на ледяных просторах,
снежными прядями над глубиною невской.

* * *

Всадник бел на оснеженной горе.
Дрогнет яблоко в кожуре,
зарумянясь на замше перчатки.
Вышли деды: «Здравствуйте, генерал!»
Овчина шапок. «Здравствуйте, генерал!
Будь вам наши яблоки сладки».
Мне приснился Скобелев-генерал,
невысокий, утоптанный перевал,
крап кровавый и кремень Шипки.
Турок нам то, что твой басмач,
славянин – воитель и бородач –
переможет, конечно, в сшибке.
Заведу избу, а в ней образа,
а под ними картинку – в горах гроза,
и гарцует Скобелев на лошадке...
Вот и пристань – здравствуйте, генерал!
Коммунисты – слышали, генерал?
Нам былого сумерки сладки.

СПАС-НА-КРОВИ

Теперь скажу: тяжеловесный Спас
поставлен на крови царя и террориста –
сюжет трагический. Но отчего ребристый,
лазоревый, глазурный, в завитках,
собор сверкает весело для глаз?
О, Александр больной, о, нищий Гриневицкий!
Две горсти праха спорят до сих пор:
– Тиран, душитель, если б знал ты тяжесть...
– Дурак, мальчишка, если б знал ты тяжесть...
Но общая их повенчала тяжесть –
оплывший цветом, лакомый собор.
Ай, молодцы художники России,
отпраздновали, счистили, замыли,
любая кровь – фундамент для искусств.
И молодцы сапожники России,
собор под склад сначала запустили,
потом взорвать хотели да забыли...
И он стоит теперь, смертельно-пуст,
неясный символ, странное творенье –
храм Светлого Христова Воскресенья.

* * *

То была роза, в которую я влюбилась, –
декабрьская роза.
Когда говорим: «Эдем», –
мы в наших снегах представляем сад
роз в декабре. Я срываю декабрьскую розу,
подобную тем.
Да, когда говорим: «Эдем», –
мы в наших снегах представляем дол,
оливой и лавром заросший до плоских небес.
Олень, запутавшийся рогами в розах,
ягненок, лев... Ни воздыханий, ни слез.
На той стороне оврага, за головами роз
дол Аялона грубый, как парусина,
с тех пор, как солнце Иисуса Навина
оплавило край его. И кровью истек
пылающий городок за стенами из рафинада.
Горы людей, ослов, коз...
Кровь выпущена как надо.
Нет, декабрьская роза, Эдем – не волшебный сад.

На подошве праха его холмы, на подкладке крови –
все, как в наших снегах, но только древнее стократ,
и ржавчиной смерти деревьев забрызганы кроны,
и декабрьская роза, тугая, как Божий свиток,
как гнев Господень – на сердце ложится мне.

* * *

Всхлипнуть, припасть к офицерской шинели –
особый колониальный восторг.
Запад есть Запад – а это Восток.
Видишь, куда мы с тобой залетели?
Здесь застоялся воздух знакомый
пятидесятых, повернутых вспять.
Заповедник детства.
Опять, опять
апельсином и золотом пахнут погоны
на кителях молодых отцов.
Как много нас за столом, как тесно!
Сон младенчества.
Клан родовой
сомкнут, как крона, над головой –
вечного дерева. Запах его телесный.
Не просыпаться. В губах матерей
вкус серебра и мяты,
как бессмертны и как богаты
мы были любовью их...
Нас уносили в сон, в темноту:
очнешься – кругом пустыня в цвету,
тихое пение за стеною
о ямщике, что клонится в снег,
о роднике, где горячий свет
над ледяною водой живою.

Иерусалим

Елена Улановская

Пальмы на асфальте

ПРОЛОГ

Четырнадцатого января 1991 года за несколько часов до окончания ультиматума американского президента семья Мурашевых в полном составе прибыла в аэропорт Шереметьево.

Перед проверкой чемоданов Рина нервничала так, как будто провозила наркотики. Во-первых, у них был перевес на три килограмма – в последнюю минуту она вспомнила, что не взяла Гошику ни одного запасного теплого костюма, а в Израиле все-таки зима. И пижамы для родителей... Володя смеялся над ней, а она вспоминала, как ее тетя из Сухуми все время куталась в пуховую шаль и жаловалась на промозглую сырость и ужасный климат, тогда как в середине января за окном среди сочных зеленых листьев желтела хурма, и море плескалось о берег с летним шорохом, и шелестели тополя... Во-вторых, среди вещей в Гошиных носочках были запрятаны дедушкины запонки с крошечными бриллиантиками посередине и его же золотые часы. Это были последние семейные реликвии, и продать их не поднялась рука – так, как продали в скупку серебряные рюмочки, из которых пили на свадьбе родители Рины, и пепельницу с обезьянками из красной яшмы, с которыми очень любил играться Гошик, как когда-то любила делать маленькая Рина. А когда пограничники открыли чемоданы и стали перебирать вещи, – свитера, юбки, белье, – Рину затошнило: чувство омерзения подступило к горлу. Первый раз публично попирались ее права, и в эту минуту она поняла, насколько это унизительно. Вдруг незнакомая доселе волна ненависти подняла в ней целый пласт памяти предков: погромы, обыски, липкий страх...

«Они делают то, что им приказывают, – убеждал Володя жену, когда они прошли досмотр и были допущены в «предбанник» перед посадкой в самолет. – Это их работа.» «Если бы они были порядочными людьми, – горячилась Рина, – они бы не стали тут работать.» «Она забыла, – подумал Володя, – как еще год назад, до решения об отъезде, она убеждала меня устроиться в милицию, как сделал его друг детства Пашка, закончивший Минский политехнический институт.» В милиции платили лучше, чем Володе на его работе. Володя

так глубоко задумался, что не заметил, как Рина толкает его ногой, а сама, отвернувшись, давится от смеха и прыскает в кулак. Эти быстрые переходы настроения у жены Володя очень любил, хотя всегда им удивлялся. Ему, в отличие от Рины, очень трудно было так быстро перестроиться. Вот и сейчас он даже не улыбнулся, когда толстая блондинка напротив начала снимать с себя одежду, как матрешка уменьшаясь на глазах.

С трудом стащив шикарную норковую шубу, осталась в другой, полегче, «под котика», из которой смогла высвободиться только с помощью мужа. Тому даже пришлось для этого встать на скамейку. Последним слоем оказался длинный, из мягкой черной кожи плащ. Все это, видимо, предназначалось для продажи в Израиле, но в чемоданы уже не влезло. Володя представил, чем набиты их баулы, и покосился на Рину.

Ее покупки «на продажу» закончились приобретением трех «посадских» платков и пухового свитера, которые так и сгнили потом в подвале вместе с чемоданом...

Рина снова толкнула его в бок. Она уже согнулась от смеха, когда Володя увидел, что теперь та же самая дама, с ловкостью фокусника, начала вытаскивать из рукавов плаща длинные мочалки и кожаные ремни. Тут и ему пришлось отвернуться, закашлявшись от подступившего смеха, и он подумал, что все-таки счастливый у его жены характер, а он вот каждую минуту возвращается в прошлое, вместо того, чтобы жить сегодняшним днем и наслаждаться настоящим.

* * *

Таксист долго кружил по центру Хайфы в поисках адреса, который вручила ему Рина. Центр города представлял собой круг с отключенным фонтаном посередине, – видимо, чтобы не расходовать ночью воду, – и несколько пальм вокруг. Они как будто росли прямо из асфальта. Вечнозеленая растительность, запахи, очертания домов, которые стали понемногу вырисовываться в предрассветных сумерках, напоминали Туапсе зимой, где Рина с Володей проводили свой запоздалый медовый месяц. Сходство усиливал сам таксист, своим видом и непонятным языком напоминавший жителя Кавказа. «Просто чурка какой-то», – тихонько сказала Рина Володе. «Это мы чурки, – ответил Володя, – он же с нами пытался на английском говорить, а мы двух слов связать не можем.» От центральной площади звездой отходили улицы, причем одна карабкалась прямо вверх, на гору... Таксист несколько раз проехал каждую из них туда и обратно. При этом с истинно восточным темпераментом он каждую минуту

звонил диспетчеру... Единственное слово, которое они умудрились выхватить из этого непостижимого телефонного разговора, было название улицы, нелепо звучавшее на гортанном, совершенно чуждом их уху языке. Наконец водитель свернул в какой-то переулок и что-то радостно прокричал, показывая рукой в окно. Они увидели, что на стене, освещенной фонарем, начертаны краской какие-то иероглифы и номер дома, который им был нужен. Шеф показал знаками, чтобы они подождали и заскочил в подъезд. «Хочет удостовериться, что довез нас правильно, – сообразил Володя – ответственный.» Буквально через пару минут из подъезда выскочил их спаситель, торжественно улыбаясь, с чувством выполненного долга, а за ним торопились родители Рины, одетые, как будто и не ложились.

Водитель выставил их баулы и чемоданы, пожал руку Володе, потрепал по щеке заспанного Гошика и моментально уехал. Как оказалось, родители действительно не ложились, ждали детей. Они обрадованно засуетились: тесть начал хватать чемоданы, и даже Володя немного расчувствовался, увидев их радостное и в то же время чем-то жалкое оживление.

– Устал отец, – у Рининой мамы появилось умильное выражение лица, – вчера намучился в очереди за противогазами.

– Какие противогазы, у вас что – учения гражданской обороны? – пошутил Володя.

– Вам ничего не сообщили? Мы думали – вам вылет перенесут. Сегодня вечером Саддам начнет бомбить, а бомбы у него химические...

Рина с Володей переглянулись... Не то что бы они не знали об ультиматуме американского президента Ираку, но, как и все советские люди, абсолютно не верили тому, что говорится по телевизору... Тем более, билеты на самолет, полученные бесплатно в Москве в израильском посольстве, все равно поменять было уже невозможно. И вот они здесь, пятнадцатого января, – и сегодня, судя по всему, будут бомбить Израиль, то есть их...

– Да вы не переживайте, – стали успокаивать родители, – мы уже приготовили липкую ленту – щели заклеивать, чтобы отравляющий газ не зашел внутрь. И радио купили. Сегодня пойдем получать с вами противогазы в большой синагоге. А Гошику дадут специальный противогаз для малышей, с вентилятором!

– Ну давайте, что вы стоите, заходите в дом, – пытались они вывести Рину и Володю из оцепенения. И произнесли на иврите уже знакомые три слова, которые, как заклинание, повторяли и служащие в аэропорту, оформляя их документы; этим самым выражением представитель Моссада закончил свой разговор с Володей; их же все

время повторял водитель такси, когда колесил ночью по Хайфе в поисках нужного дома. Расхожая эта фраза, как оказалось, в переводе имела очень простое значение – «Все будет хорошо».

«Что же может быть теперь хорошо, – думала про себя Рина, с трудом карабкаясь по крутым узким каменным лестницам на верхний этаж, – что может быть хорошо, если сегодня будут бомбить. У нас же мир во всем мире...»

Володя молча нес Гошика, который каждую минуту просыпался и снова засыпал... Сзади тяжело пыхтел тесть с двумя баулами. Они остановились на вержнем этаже перед металлической дверью с маленьким решетчатым окошком посередине.

– Что это? – поразился Володя.

– Ничего, ничего, – захихикал тесть, – оказалось, что мы сняли квартиру у наркомана. Вы не представляете, какая тут проблема снять квартиру. Тысячи людей приехали одновременно. Он, кстати, то есть хозяин, в это окошечко наркотики выдавал, – тесть вытащил из кармана огромный ключ и начал со скрипом проворачивать его в замке, пытаясь ее открыть, – но он смешной, этот парень, – продолжал Ринин отец, посмеиваясь, – дверь металлическую поставил, а окна в ванной нет. К нам уже два раза в квартиру влезали, наркотики искали. Ничего, представь, не взяли, кроме французских духов. Эстеты, – снова хихикнул отец Рины и распахнул дверь.

– Ну, пожалуйте, господа, в наши пенаты, – он театральным жестом распахнул дверь. Володя с Гошиком на руках шагнул первым...

Вся квартира состояла из двух комнат и длинного, узкого коридора с ободранными стенами, который одновременно представлял собой кухню. Кухня-коридор плавно переходила в балкон, опоясывающий весь дом. На этот же балкон выходили окно ванной, о котором упоминал тесть, только стекла в нем не было со времен Британского мандата*. Арочный вход открывал салон**, – огромную, мрачную проходную комнату без единого окна. Единственная дверь в комнате вела в спальню, куда Володя и понес укладывать Гошика. Она оказалась угловой, в виде беседки пятиугольной формы, три стены из пяти – окна... Уже светало, и в этих окнах, как в калейдоскопе, глазам Рины открылось море. «Самое настоящее, как в Крыму», – воскликнула она в восхищении, тут же забыв все тяготы бессонной ночи. «Нет, как в Туапсе зимой, помнишь, наш медовый месяц», – обнял ее за плечи Володя. Рина благодарно прижалась к мужу...

---

* Британский мандат в Палестине – период, в течение которого был установлен режим управления Великобритании по мандату Лиги Наций.

** салон – гостиная.

Еще в такси, по дороге в Хайфу, когда в кромешной тьме за окном фары машины выхватывали то фрагмент огромного мексиканского кактуса, то здание с плоской крышей типа самолетного ангара, Рина ни на минуту не выпускала Володину руку... Они были одни против этого страшного, чужого мира,– он и она, и их ребенок,– и не было для нее человека ближе, роднее и надежнее. Все, что было с ней перед отъездом, – поездки в Москву за визами, Игорь, волнение в крови, когда она думала о нем, их последняя встреча у нее дома, – все смыло приливом новых впечатлений, немыслимой ответственностью за свою жизнь и жизнь своей семьи, неожиданным и окончательным взрослением...

* * *

Хлопнула дверь, – Игорь с матерью вернулись вместе.

– Смотри, – громко провозгласила мать, и это звучало, как «смотри, дармоед», – три сетки овощей набрали... И всё – за три шекеля. На месяц хватит. Хорошо, Игоря по дороге встретила.

Игорь скинул с плеча противогаз в общую кучу и пошел на кухню ставить чайник.

– Ну что, – отец направился за ним, – какие новости, что говорят, – будут бомбить?

– Будут, будут... – матери как будто нравилось дразнить отца. – Сегодня вечером и начнут. Сейчас пойдем делать герметизированную комнату. В твоей комнате, Игорь, там всего одно окно, – обратилась она к сыну. Игорь только пожал плечами.

– Игорь, – засуетился отец, – почему ты так спокоен, на тебя что, ничего не действует?

«Спокоен?» Все эти три с половиной месяца в Израиле он был совершенно спокоен... Спокойствие пришло на следующий день после приезда. Он пошел на почту, чтобы отправить вызов родственникам и не смог этого сделать только потому, что забыл, как будет «марка» на английском, а на иврите еще не выучил... а все его попытки объяснить на пальцах или показать на конверте, что ему нужно приклеить марку, не увенчались успехом. Толстая тетка на почте упорно не хотела понимать и, судя по всему, получала удовольствие от его унижения. Игорь выскочил на улицу, хлопнув дверью. В эту минуту Игорь дал себе слово, что никто и ничто больше не сможет вывести его из равновесия, пока он не будет изъясняться на иврите в любом месте и на любую тему и сможет указать любому выродку, где его место. На память пришла картина Сальвадора Дали, изображавшая голову человека с выдвинутыми из нее ящичками. Так вот, все свои ящички, забитые воспоминаниями из прошлой жизни, Игорь задвинул крепко-накрепко, закрыл на ключ и ключ бросил в море... Так он прожил три с половиной месяца...

А сегодня один из ящичков выскочил, замочек сломался, и Игорь понял, что никакой силой не сможет закрыть его обратно. В большой синагоге он увидел Рину и не поверил своим глазам. Отскочил за колонну, чтобы перевести дыхание, – тут кто-то закрыл ее спиной, и она исчезла. Он выскочил на улицу, расталкивая возмущенную очередь, вернулся обратно, но напрасно: Рины как след простыл. «Может быть, показалось?» – думал он, примеряя предложенный ему противогаз. Потом, не слушая объяснений, рассеянно кинул в коробку шприц с атропином, как будто только сегодня утром он не беспокоился о том, хватит ли у него силы воткнуть в себя иглу, если начнется химическая атака.

Он никак не мог заставить себя уйти из синагоги, не верил, что упустил, не верил, что обознался, не верил, что показалось. Он не ожидал, что эта встреча его так взволнует, – таким далеким и нереальным казалось все, произошедшее с ним перед отъездом. Сейчас Игорь вспомнил, что Володя, Ринин муж, собирался на несколько месяцев передвинуть свой отъезд. Ему стало понятно, что семья Мурашевых приехала вчера или, может быть, даже сегодня, в день войны, и сразу же отправилась получать противогазы. Странно, что он не видел Володю. А может быть, Рина приехала без него? Кровь бросилась ему в лицо от этого предположения... Тут он подумал о ребенке. Что же с ними будет, когда начнут бомбить? Почему же их привезли сегодня, почему не задержали? Впрочем, чему тут было удивляться, Сохнуту не выгодно было останавливать победный приток олим*. Игорь заскрипел зубами. Ему стало жалко Рину. «Если жалеешь, значит любишь», – всегда говорила бабушка. Он задумался, жалел ли он когда-нибудь прежних своих подруг, и пришел к выводу, что жалеть их было особенно не за что. Все они, как одна, были ухоженные, красивые, вполне уверенные в себе и благополучные.

* * *

Когда Володя с Риной вернулись с противогазами из Большой синагоги, тесть обклеивал окна спальни широкой изоляционной лентой, купленной в огромном количестве по большой скидке на рынке.

– Но ведь здесь окон больше, чем стен, – разнервничалась Рина, в очередной раз осматривая безнадежным взглядом их пятиугольную беседку, – известно, что при взрыве стекла лопаются.

– А что делать, Риночка, – отец развел руками. В салоне и дверей-то нет, какая уж тут изоляция.

– Ничего, – бодрым голосом заявил Володя, как будто бы готовить свой собственный дом к возможному попаданию бомбы было

---

* Новые репатрианты (*иврит*)

для него рутинным занятием, – мы окна крест-накрест лентой заклеем, как фильме «В шесть часов вечера после войны», – помните?

– Кроватку Гошика надо к внутренней стене подвинуть, – услышала свой голос Рина и не поверила, что это говорит она, – я сегодня в синагоге слышала, что к внешней ставить нельзя, она первая обрушится от взрыва.

«Как же так, – продолжала Рина уже про себя, – что же я сделала со своей жизнью, с Гошиком, с Володей?» Только два дня назад они гуляли втроем по Красной площади. Правда «гуляли» – громко сказано, они шли полусогнувшись, чтобы ветер и снег не били в лицо, и волокли за собой Гошика. Судя по всему, Гошик чувствовал себя лучше всех. В серебристом чешском комбинезоне, замотанный шарфом выше ушей, он держался ручками в двойных рукавичках за маму и папу, подгибал постоянно ноги, чтобы повиснуть у них на руках, и представлял себя по очереди – то космонавтом на холодной Луне, то белым медведем...

Они подошли к мавзолею и как раз попали на смену караула. И пусть кумиры уже были низвергнуты, но так же, как раньше, волновала чеканная поступь солдат, красный флаг над Кремлем, бой курантов. И чувство защищенности, незыблемости, взращенное в них, наивных, этой колоссальной безумной державой, вернулось на секунду, и вспомнилась прежняя детская гордость за свою страну. Даже Гошик затих, как будто хотел запомнить эту минуту. И все это было только позавчера, а сегодня она выискивает в этой византийской беседке с видом на море, которую кто-то по ошибке записал комнатой, хоть одну внутреннюю стену, которая может спасти ее ребенку жизнь.

К счастью, поток Рининых горьких воспоминаний и сожалений был прерван матерью: «В войну тоже кушать нужно, еще неизвестно, когда мы из этой комнаты выйдем», – позвала она за стол. Сегодня на обед были котлеты из мяса, ободранного с индюшачьих крыльев, – самого дешевого на том единственном рынке в Хайфе, в окрестностях которого им «повезло» снять квартиру. Рецептом этих котлет мама Рины гордилась по праву, и все женщины в ульпане* его переписали. На невозможной смеси английского и иврита объяснили учительнице, какая находка этот рецепт, чему та была немало удивлена, так как всю жизнь считала, что крылья индюшки несъедобны и их при разделке выбрасывают.

Зимний день заканчивается быстро даже в теплых странах. Зашло солнце; незаметно подступили сумерки. На город сошла тишина.

---

* Бесплатные школы по обучению ивриту. Ульпан «Алеф» – первая ступень, «Бет» – вторая ступень.

Тесть подозвал Володю к окну: ни одного человека на улице, ни одного открытого магазинчика, даже известный наркоманский притон на углу, где день и ночь сомнительная публика играла в нарды, задраян наглухо. Володя поправил отлепившуюся от стекла изоленту и посмотрел на море. В Хайфском заливе стояло несколько военных кораблей.

– Американские, – сказал Володя, – надо же, находимся прямо в эпицентре международного конфликта.

Рина, укачивая Гошика, только сильнее прижала малыша к себе, – и тут раздался душераздирающий вой сирены.

* * *

Володя тоскливо глядел на учительницу, которая то вскакивала на стол, то прыгала с него, и тоненькая ее косичка, которая, казалось бы, никак не была связана с коротко стриженной курчавой головой, прыгала вместе с ней. «Как обезьянка», – подумал Володя. Он никак не мог заставить себя сосредоточиться на словах, значение которых мора* так старательно пыталась объяснить; зато Рина не сводила с нее глаз и повторяла все звуки, как на сеансе гипноза. Володя знал, что это не поза: уже завтра, на рынке или в магазине, в разговоре с соседкой или с воспитательницей Гошика, жена употребит все эти слова, как будто слышала их с детства. Иврит прилипал к ней, вливался в нее, поглощался ею с невиданной быстротой. Володя был близок к тому, чтобы поверить, что именно еврейское происхождение Рины чудесным образом помогает ей постигать иврит с такой быстротой, тогда как он, «гой», – как называл он себя в отчаяньи, – никак не мог приспособиться ни к этим «иероглифам» справа налево, ни к этим невероятным звукосочетаниям... Войну, тесноту в доме, противогаз, который доводил его до исступления, даже истерики Рины и ее матери при каждой сирене, а также капризы Гошика, – всё мог он стерпеть, но иврит... Почему-то своим неуспехам в иврите Володя приписывал охлаждение к нему Рины. Именно сейчас, когда он думал только о ней и когда хотел ее больше, чем когда-либо, когда легкие движения ее ресниц и покачивание ноги, закинутой одна на другую, в классе во время урока, приводило его в волнение; когда жизнь в спальне с Гошиком, к которому теща считала себя вправе подойти в любое время дня и ночи, исключала всякое проявление нежности, и заниматься любовью приходилось глубокой ночью в кромешной тьме и под одеялом; – именно сейчас, когда он больше всего нуждался в ее ласковых руках и мягких губах, – она как-то мягко, но настойчиво выворачивалась из его объятий, не давала прикоснуться

---

* Учительница в школе (*иврит*)

даже к груди, и ночная любовь под одеялом заканчивалась простым соитием, обычным выполнением супружеского долга.

Володя не знал, насколько близок он был к истине. Что-то переломилось в Рине после приезда в Израиль: после месяца непрерывного, ежевечернего ужаса у кроватки Гошика, после первого шока от трущоб, где им пришлось обитать, после осознания своей нищеты и беспомощности. Восхищение мужем, который всегда был на голову выше всех в учебе; его ореол столичного жителя, его заработки, успехи в бизнесе, поездки в Москву, подарки ей и Гошику, вечеринки с друзьями, – все кануло в небытие. Рядом с ней в классе каждый день находился плохо выбритый, раздраженный, не такой уж молодой и совсем не привлекательный мужчина, с опухшим от недосыпания и аллергии лицом. Иврит ему не давался. Дальше алфавита дело не шло. Домашние задания он принципиально делать не хотел, и все попытки жены помочь ему воспринимал в штыки. Как-то не по-мужски задирался на каждое слово Рининой мамы, грубил тестю и срывал свою злость на Гошике. И после этого ночью, когда она от немыслимой усталости и пережитого за день волнения по поводу очередной бомбежки засыпала так, как будто падала в тяжелый обморок, он требовал от нее любви. Он уже не был ни опорой, ни защитой, а только бессмысленным, раздражающим приложением к ней и ее ребенку. И видит Бог, ее роман с Игорем, который хоть и не поблек в памяти, но как-то потерял значение на фоне ежедневной борьбы за существование, не был причиной ее окончательного охлаждения к мужу. С первого дня приезда в Израиль Рина не жила, а выживала. «Выжить, выжить», – говорила она себе, когда учила иврит; «выжить» звучало в голове – когда заклеивала дверь и натягивала Гошику противогаз с моторчиком, «выжить» отдавалось эхом – когда ночью в двери ломился очередной наркоман. Рина слушала, сцепив зубы, причитания матери, почему же они не поехали жить в Иерусалим, и думала только об одном – «выжить». Да, это она, Рина, боясь близкого соседства арабов, выбрала Хайфу, а теперь Иерусалим – это единственный город, который не бомбят. Она проиграла во всем, но она должна выжить, и для этого – забыть все, что было раньше ее жизнью: русские книги и русские песни, улицы родного города, друзей своей юности, ласки любимого и жалость к мужу.

* * *

Игорь въезжал в центральную аллею Техниона*. Охранник на воротах вскочил на подножку автобуса, скользнул взглядом по пассажиром и дал водителю добро: «Проезжай». Игорь прильнул к окну.

---

* Технион – Израильский технологический университет в Хайфе.

Высокие сосны по обе стороны дороги приветственно махали мохнатыми лапами длинных веток, как будто звали въезжавших: «к нам, к нам». Позади остались раскаленные улицы Адара*, жара и вонь центрального рынка; загазованный нижний город, где грузовой порт и центральная автобусная станция усиленно вырабатывали смог, равномерно расстилающийся над Хайфским побережьем. На фоне этого светлые корпуса Техниона, прячущиеся в тени бесконечных сосен, тенистые аллеи с группками студентов, на лицах которых можно было прочитать единственно важное для них событие – прошедший или будущий экзамен, казались другой страной или даже другой планетой. Ни проблемы хлеба насущного, ни тяжелая ежедневная, изнуряющая работа, ни жара, ни интефада**, – ничто, казалось бы, не касалось этого райского места, где сосновые верхушки простирались во все стороны до самого горизонта, куда ни упадет взгляд... Город сбывшихся надежд великих еврейских утопистов прошлого... Город науки... Город будущего.

Тем не менее, как только Игорь нашел контору по управлению делами олим, он понял, что картина райского въезда в Технион так же обманчива, как и все на свете. Растрепанная, пухлая, местечкового вида тетка с большим тонким носом презрительно ткнула неожиданно костлявым пальцем в диплом Харьковского политехнического института. «Что это? – сморщив свой гибкий нос, воскликнула она на иврите, несмотря на то, что Игорь обратился к ней на английском. – Что это за учебное заведение и что это за город? На вторую степень мы принимаем только талантливых мальчиков из московских и ленинградских вузов», – победно посмотрела она на Игоря. Игорь молчал. Не потому, что не мог возразить, – он боялся, что своим ивритом только подтвердит заявление этой наглой тетки. Именно потому, что с выпускниками МИФИ и Бауманского состязаться будет трудно, он решил для себя, что учиться в Технионе он будет, чего бы это ему ни стоило. Игорь знал, что действует успокаивающе на неврастеников, вот и сейчас уже через пару минут он получил список профессоров, которые могли бы заинтересоваться его кандидатурой. На прощание дамочка даже немного пококетничала, вымазав предварительно губы отвратительной оранжевой помадой, назвала его «мотек»*** и пообещала похлопотать о стипендии.

«Типичная восточная ментальность, – подумал Игорь и с отвращением вытер руку о джинсы после ее взволнованного рукопожатия, –

---

*Адар – старый район Хайфы

**интефада – вооруженная борьба палестинских арабов против Израиля

*** мотек – сладкий (*иврит*)

думать одно, говорить другое, а делать третье... Когда же я к этому привыкну?»

Теперь все будние дни Игорь занимался в библиотеке Техниона. Как и раньше, он предпочитал не бывать дома. Давно забытая обстановка читального зала: очкастые библиотекарши, ряды книг на полках, библейская тишина, – все то, что навевало сон и скуку в былые дни учебы в Политехе, сегодня казалось неземным блаженством и вызывало благоговейный восторг. Прохлада кондиционированных помещений, тихий шепот студентов, склонившихся над книгами и конспектами, выгодно отличались от нестерпимой белизны раскаленных крыш и гортанных криков обитателей бедных кварталов, где ему приходилось работать по субботам. Игорь был не из тех людей, кто оставляет в жизни место случайностям, – толстый учебник в триста страниц, по которому нужно было готовиться к вступительному экзамену по теоретической механике он, без долгих раздумий, дословно перевел на русский и просто выучил наизусть.

* * *

Володя все чаще искал повод не возвращаться домой сразу после ульпана. Война закончилась, и его присутствие во время тревоги перестало быть необходимостью. Иногда ему казалось, что Рина была этому даже рада. Учеба в ульпане заканчивалась через пару месяцев, но его учеба закончилась, так и не начавшись. В который раз отговорившись поисками работы, Володя сидел на пляже и рассеянно листал особо модифицированный, очень удачный учебник иврита, который купила ему Рина, не пожалев пятьдесят шекелей, и говорил себе: «Думай, Володька, думай». По левую сторону море шипело и брызгалось пеной, а по правую простиралась Хайфа; казалось, по крышам можно сбежать до самого моря. Вчера в самом начале занятий мора затеяла странную игру с предсказаниями. Она стала по очереди называть тех немногих учеников, чья ментальность никогда не позволит им стать настоящими израильтянами. Ему даже показалось, что сделала она это исключительно из-за него, самого отстающего в классе. Володя, гордость матери, лучший ученик школы, единственный студент, получавший в институте Ленинскую стипендию, – был не в состоянии выговорить на иврите простую фразу.

Решение, как ни странно, пришло от самой Рины. Понаблюдав несколько недель, как Володя бессмысленно изучает крыши Хайфы, она принесла объявление, сорванное с какого-то столба, где предлагали работу с проживанием. Работа заключалась в сборке караванов в Кирьят Гате, на юге страны. Ему опять показалось, что она даже как будто бы и не расстроилась от мысли об этой неожиданной разлуке.

Жизнь Рины была еще более наполнена, чем когда-то в институте. Очнувшись от ужасов ежедневных сирен, она стала жадно поглощать звуки, краски и запахи новой страны. Первое, что она искала глазами, когда вставала, – это море. Море меняло цвета несколько раз в день. Она знала точно, что первой ее покупкой, когда она начнет зарабатывать деньги, будет фотоаппарат. Тогда, кроме моря, она сможет снять рынок: развалы ярко желтых бананов, оранжевых апельсин, иссиня-черных маслин в корабельных бочках... И зеленую игуану на зеленом кактусе, который растет у входа в ульпан, как обычный репей.

Ульпан был второй любовью Рины после моря. Снова учить уроки, зубрить перед контрольными, прятать шпаргалки, – Рине казалось, что она вернулась в детство. Мора с прыгающей косичкой была ей как подружка, – приходила в восторг от ее успехов и так же, как Рина, темнела лицом, когда Володя не мог ответить на самый простой вопрос. А подготовки к еврейским праздникам? Здесь Рина была по-настоящему в своей стихии. Пурим напоминал ей обычный новогодний карнавал, и она с превеликим энтузиазмом помогала всем готовить костюмы и руководила репетициями спектакля, в котором, как настоящая примадонна, получила роль царицы Эстер. Спектакль прошел на «ура», только Володя сидел, сжав руки в кулаки. Он не понял ни одного слова, и шумиха, раздутая вокруг этого детсадовского утренника, выводила его из себя. Утром следующего дня он уехал на автобусе в Кирьят Гат и к вечеру получил место в вагончике и рабочую одежду.

У Володи был строительный опыт, в стройотряде в Тюмени. На него-то он и рассчитывал. Тогда они строили коровник в деревне, которую до горизонта обступала тайга... Работали летом, и не раз кто-то, пытаясь отогнать надоедливую мошкару, промахиваясь, попадал кирпичом себе по голове. А по вечерам в бараке под назойливое зудение той же мошкары читали вслух рассказы Хэмингуэя, которые Володя прихватил с собой. О том, как герой умирал под сеткой от москитов...

В Кирьят Гате москитов не было, как не было вообще ничего живого. Зато была стекловата, которую нужно было запихивать между перегородками из гипса. Не помогало ничего – ни маска, ни мокрая тряпка, которой советовали обматывать рот. Стекловата забивалась в глаза, в рот, в уши, в легкие... Иногда Володя начинал задыхаться... Парень, с которым он поселился в одном вагончике, был врачом. Он-то и объяснил Володе, что у него астматический компонент, который может однажды привести к настоящему приступу астмы. А потом пришел апрель, а с ним – хамсины. Жаркий ветер пустыни

забивал глаза, рот и легкие, хотя места от стекловаты в них оставалось немного. Жара казалась нереальной, какой-то марсианской, как у Шекли... К счастью, эти мучения прервал праздник – пейсах...

В Ашкелоне Володя должен был присоединиться к семье для участия в бесплатной экскурсии в печально известный по советским телевизионным новостям сектор Газы...

Как Рина согласилась туда ехать да еще с Гошиком, – осталось для Володи загадкой. Впрочем, они давно уже не обсуждали ни маленькие, ни крупные вопросы совместного существования. Да и само существование не было теперь совместным. Володя даже почувствовал неловкость, ложась с Риной в одну постель. К счастью, ее позвал Гошик: он боялся темноты, особенно в чужом месте. Рина уснула с ним в обнимку на противоположной кровати при включенном свете. Они посапывали в такт, а Володя лежал, опершись на локоть, и смотрел на их такие бесконечно родные мордашки, – и не мог насмотреться... «Как будто прощаюсь», – вдруг испуганно подумал он и выключил свет.

Завтрашний день принес столько впечатлений, как будто сыпал из рога изобилия... Для Гошика главным потрясением и любовью на всю жизнь стало кокосовое печенье, невиданное прежде лакомство. Его можно было получить в любом количестве на завтрак, на обед и на ужин, так что обязательную фаршированную рыбу в пасхальный вечер в Гошика запихнуть не удалось.

Здание новой синагоги представляло собой шестиконечную звезду, а в холле был маленький музей. Оказывается, жители Неве-Дкалим, поселения, где они гостили, заняв помещение женской школы, были потомками тех беженцев, кого в свое время насильно выселили с полуострова Синай. Фотография дома, разрушенного экскаватором; бородатого мужчины, вцепившегося в двери уже несуществующего дома, и женщины в платке, с каменным лицом, вокруг которой собралась плачущая детвора, долго еще стояла у Рины перед глазами. Потом их в бронированных автобусах отвезли на пляж гостиницы, расположенной на берегу моря. Он был обнесен колючей проволокой: на воротах, несмотря на жару, стояли автоматчики в полном обмундировании, а курортники нежились в шезлонгах, раскинутых на белом песке, попивали коктейли из прозрачных треугольных бокалов, с символической вишенкой, – просто реклама пляжей Пальмы-де-Майорка...

Наверное, эта колючая проволока стала для Володи последней каплей... Или слова московского кандидата наук, который со своей молодой женой проходил абсорбцию в этом забытом Богом поселении. «В Москве можно сейчас купить квартиру за три тысячи долла-

ров, – произнес он за ужином, пряча за очками предательски повлажневшие глаза, – если продать все – холодильник, плиту и стиралку, которые мы купили по скидкам, да еще подзанять у друзей и знакомых, то можно вернуться в Престольную.»

* * *

Рина расхаживала по комнате на своих длинных ногах и не могла остановиться. Володя, ее Володька, муж, друг, любовь ее детства, – бросает ее, бросает Гошика, их мальчика, – и уезжает. Уезжает! Куда?

– У тебя еще до отъезда в Москве была женщина, – вдруг соображает она, – со мной ты спать не хочешь, а с тобой никто другой спать здесь не захочет – ты даже иврита не знаешь. Так ты решил уехать к ней?..

– Не в этом дело, я устроюсь и заберу вас, – Володя понимал, что почти все, что говорит Рина, нелогично и несправедливо, но кто же будет искать логику в словах оскорбленной женщины?

– Куда заберешь? В Москву? В разруху? Да там каждую минуту может случится переворот, резня, погром. Нет Москвы, – той что была. На что ты собираешься обречь своего ребенка? Чего ты испугался здесь? Войны? Тяжелой работы? Ты думаешь, что в Москве сейчас легче? – Володя ждал последнего удара: «Ты как твой отец!»

Но Рина не сказала этого... Пожалела? Да, ему хотелось жалости, хотелось понимания. Понять! Неужели она не может понять, что дело не в войне и не в тяжелой работе. Все ему чуждо здесь: язык, люди, понятия, цвет неба и вкус воды. И даже воздух, воздух был здесь чужим.

* * *

Рина сидела за кухонным столом с листочком бумаги и проставляла плюсы и минусы в своей нынешней жизни. Гошик спал, сладко посапывая в соседней комнате. Каждые пять минут она вскакивала и бежала к раковине сморкаться и умываться, – слезы текли ручьем... Рулон туалетной бумаги заметно уменьшался... Все красные плюсы и синие минусы – их было значительно больше, – смешались и размазались, но это был единственный способ как-то систематизировать проблемы, количество которых уже зашкаливало. Как ни крути, все упиралось в деньги, которые нужно было срочно начать зарабатывать... За этот месяц за аренду квартиры заплатил Володя, но нужно было еще чем-то питаться... И Гошик не должен почувствовать, что он остался без отца. Слезы тут же хлынули рекой, и Рина опять подскочила к раковине – проплакаться. Она пожалела, что не перевезла от родителей свой инструмент, который недавно пришел с багажом.

Игра всегда ее успокаивала. Рина вспомнила, как они получили ящик, который специально был изготовлен в виде пианино, чтобы при погрузке не перепутали, где верх, а где низ, – и первое, что они увидели, оторвав крышку, вернее, дно – панель с клавишами, валявшуюся отдельно. Не меньше, чем месяц квартплаты, стоила им починка пианино, а теперь инструмент бессмысленно простаивает в квартире родителей, и перевозка его сюда будет стоить еще одного месяца аренды. От этих, более трезвых размышлений, слезы ее высохли, и она пошла готовить одежду для Гошика на утро.

Красавица-воспитательница в детском садике была очень доброй: всем детям давала рассматривать золотые кольца, которыми были усеяны ее смуглые руки. Звали ее просто – Шоши. Эта же самая Шоши учила их петь песни на Пурим и на Пейсах, и даже Гоша сразу понял, что мамина специальность – музыкальный работник – здесь не пригодится. Нужно было искать работу.

Конечно, единственно возможной работой оказалась уборка квартир, и через неделю Рина уже мыла в соседнем доме.

Ее хозяйка Дебора работала на ответственной должности в большой фармакологической фирме, и у нее всегда катастрофически не хватало времени. Рина видела ее всего раз, когда получала ключи. «Вобла», – подумала Рина, посмотрев на высоченную, сухую фигуру с маленьким ежиком пегих волос и крошечными очками на носу. «Вобла» вдруг улыбнулась, на щеках определились очаровательные ямочки, и сердце Рины растаяло. «Вот квартира – показала хозяйка широким распахнутым жестом, как будто дарила Рине, – вот ключи. У меня только две просьбы», – Дебора говорила с Риной на болгарском, кое-где вставляя русские слова. Рина ее понимала, недаром по белорусскому у нее была пятерка. Тоже ведь славянский...

– Первое, – когда будешь слушать музыку, возвращай кассеты обратно в коробки, а то я потом путаюсь; второе, – не вытирай книги мокрой тряпкой. Впрочем, ты русская, книги читаешь, – махнула она рукой.

Больше Рина ее не видела: деньги за уборку ей оставляли в тумбочке в прихожей, а по праздникам она находила там же дорогую коробку конфет. У «болгарки», как называла ее про себя Рина, она убирала по средам и тратила на уборку вместо шести часов, которые ей оплачивали, не меньше восьми. Рина застревала около каждой книжной полки: интересней всего было рассматривать книги на иврите, она уже начала привыкать к тому, что обложка и имя писателя находятся в конце книги. Несмотря на огромную коллекцию классической музыки, Рина включала песни на иврите и, размахивая шваброй, распевала во весь голос, копируя Эти Анкри или

Шломо Арци, а приходя домой, пыталась найти слова этих песен в словаре...

Зато по пятницам, на этаж ниже, в квартире у старой «польки», культурная программа была совершенно другой. Старуха встречала Рину со шваброй в одной руке и тряпкой в другой, чтобы не терять ни минуты оплаченного времени. Книг и музыки у нее не было, зато был разговорный иврит. Шесть часов она передвигалась за Риной на складном стуле по квартире, пока та терла тряпкой окна, панели, кафель, – и говорила говорила, говорила... Монолог шел на иврите, что было Рине, безусловно, полезно. Когда Рина, обессилев, снижала темп, бабка вскакивала со стула, выхватывала у нее щетку и двумятремя энергичными движениями заканчивала работу. Она торопилась, у нее было приготовлено новое задание: грязь, забившаяся в щели между мраморными плитками пола. Рина, ползая на коленках, вычищала пол старой зубной щеткой. В каждый ее приход хозяйка выискивала какой-нибудь очередной, забытый Богом угол своей огромной квартиры, и посылала туда Рину на прорыв.

– Полы в центре комнаты, – говорила она, – я и сама могу помыть, и мне за это, между прочим, никто не платит...

Нужно отдать должное, та же бабка и уговорила Рину переучиваться на медсестру. Впрочем, Рина и сама уже об этом подумывала, – сколько же можно работать рабыней Изаурой... Из трех школ для среднего медицинского персонала Рину согласились принять только в одну. И только потому, что Дебора поговорила со своим начальником, а тот со своим другом, который, по счастливой случайности, приходился дядей жене директора школы... Трудности переезда, война, отъезд Володи, изнурительные уборки, – все это оказалось ничем по сравнению с учебой. Впервые за свою жизнь Рина не была отличницей. И даже хорошисткой... Чтобы получить свой проходной балл на экзамене, приходилось прибегать к помощи одноклассников: подкармливать маминым печеньем девочек и кокетничать с мальчиками, которых, на удивление, было большинство... Все ее соученики пришли в медшколу сразу после армии, были моложе ее лет на десять, и иврит был их родным языком. Зато на практике, в больнице, Рине не было цены... Куда им, детям, даже прошедшим через армию, понять страдания больных. Студентов отправляли в самые тяжелые места; Рина специализировалась в онкологическом отделении: больше никто туда пойти не согласился... Она на удивление быстро научилась брать у больных кровь... Эта процедура требовала большой сосредоточенности, вены у онкологических больных от постоянных вливаний и химиотерапии ссыхались, превращались в жгуты, и нужно было иметь какие-то особенные способности или, точнее,

необыкновенное чутье, чтобы попасть в нужную точку... Рину часто просили подменить какую-нибудь из сестер в лаборатории, что давало ей возможность избегать гнетущей атмосферы палат онкологического отделения, в которых витал дух смерти, и проблески надежды душились созерцанием очередной опустевшей койки... Кроме того, у нее появлялся свой угол, где она оставалась одна в промежутках между процедурами. Это обстоятельство использовал заведующий отделением, чтобы перекинуться с ней несколькими словами наедине... Нельзя сказать, что Рина так уж сильно зависела от него. Оценки за семестр, пусть не самые плохие, были проставлены, а испортить ей оценку по практике он бы уже не смог, – слишком хорошо ее знали в отделении. Почему же тогда она позволяла ему говорить всякие вольности, держать ее за руку, и, даже иногда касаться груди? Только потому что он был ей не слишком неприятен? Или потому, что ей было так одиноко... Да, выглядел он неплохо: военная выправка – много лет был армейским врачем. Не очень седой, не очень полный, хорошо выбрит, хорошо говорит... В одну из ночей, когда они дежурили вместе, всё зашло слишком далеко. Назавтра она сказалась больной и не вернулась больше в больницу, благо да конца практики оставалась всего неделя. Но при распределении ей это припомнили, – так она попала в одну из самых безнадежных больниц Хайфы – итальянский госпиталь.

* * *

Кто бы осмелился так запросто упоминать слово «смерть», то никуда, которое ожидает каждого за порогом жизни... Все делали бодрые лица, похлопывали по плечу, а потом не знали, о чем говорить с больным. Уже несколько недель Игорь вечером после учебы приезжал к отцу в больницу. Мать оттуда и не выходила... Химиотерапию только начали, а пациента уже поместили в итальянский госпиталь. Все понимали, что это значило. К девяти вечера прием посетителей заканчивался, и Игорь, пожимая отцу руку, пытался не обращать внимания на то, как страшно она похудела, и тут же спешно убегал, чтобы потом, по дороге домой опять проклинать себя за трусость.

Сегодня Игорь, услышав, что отцу поставили окончательный диагноз, решил пропустить занятия и первый раз приехал в больницу рано утром...

– Извините, секундочку, – заведующий отделением и старшая сестра представляли больным нового работника, вернее, работницу, которая, неожиданно побледнев, прислонилась к стене.

– Наши новые кадры. Между прочим, девушка говорит по-русски. Зовут эту симпатичную медсестричку – Рина; она год работала в онкологическом отделении больницы Рамбам, очень большой опыт... Мы

уверены, что ее помощь облегчит нам работу, в первую очередь с русскоязычными больными. Надеемся, что вы найдете с ней общий язык... Завтра она приступает к работе. А сегодня, извините, она поможет нам. В шесть вечера у нас назначена серьезная процедура...

Закончив представление, заведующий отделением увлек свою маленькую группу в соседнюю палату, не дав никому опомниться... Игорь посмотрел вслед Рине; он не знал, плакать ему или смеяться...

Рина знала, что Игорь будет ждать ее после работы столько, сколько нужно, хотя они не перемолвились и словом. Она была так в этом уверена, что перед выходом позаботилась позвонить родителям, чтобы забрали Гошика из школы и, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, направилась к единственной оставшейся на стоянке машине.

Каблуки ее стучали по асфальту. Виновата ли она перед Володей? Не безумие ли это – начинать вновь отношения с Игорем, – кровь бросилась ей в голову. Главное, ей и сейчас, как год назад, хочется прикоснуться к нему рукой, губами, всем телом, – и то, что она не могла сделать этого так долго, казалось ей неестественным и жестоким наказанием. «Любовь», – подумала Рина, и ее обдало жаркой волной... Разве можно забыть, как отчаянно ждала она его звонка, когда приехала из Москвы с визами для вылета в Израиль? Рина каждый раз спускалась в кабинет Александры Васильевны, методиста их детского садика, где стоял телефон, под предлогом взять какую-то книгу, ноты или карандаши. Она нарочно медленно перебирала книги на полках, вела долгие беседы с Александрой Васильевной, и ей каждую минуту казалось, что вот сейчас за ее спиной зазвонит телефон: иногда Рина специально становилась боком, чтобы видеть аппарат...

А иногда Рине казалось, что вот Игорь возьмет и приедет в Минск, и будет ждать ее около работы или на ближайшей автобусной остановке. Трудно поверить, но каждый раз, когда она выходила из садика, – специально присаживалась, как бы поправить Гошику шарфик, а сама при этом незаметно осматривалась. Потом они с Гошиком неторопливо возвращались домой пешком, дышали морозным воздухом, и она выглядывала Игоря в толпе людей, вываливающих из дверей Центрального универмага; и каждое такси, выпускавшее пассажира, привлекало ее внимание. Рина понимала, что похожа на сумасшедшую, но чувствовала, что может встретить Игоря каждую минуту и в любом месте. Однако меньше всего она ожидала встретить его дома...

«И поделом, – все корил себя Игорь, – сам упустил свой шанс, свою женщину.» Тогда, вернувшись из Москвы с визами в Израиль, Игорь так и не позвонил Рине, хотя она дала номер телефона детского

садика в Минске. Много раз он поднимал трубку и представлял, как кто-нибудь зовет: «Рина Аркадьевна, вас к телефону», – и она встает от пианино и на своих высоченных каблуках спешит к телефону, знакомым жестом отбрасывая назад непослушную челку, и малыши цепляются за нее, и среди них ее сын. Рина берет трубку, слушает Игоря и говорит ему: «Да, да, да», – и глаза ее светятся счастьем, а ребенок смотрит и чувствует, как кто-то чужой отбирает у него любовь мамы...

Был у него и другой сценарий, когда Рина подходила к телефону сама, а дети оставались в зале с воспитательницей; она брала трубку и долго молчала, а потом говорила только одно «нет», – и он понимал, что другой мужчина, ее муж, отец ее ребенка, стер своими прикосновениями следы его, Игоря, поцелуев, и его терзала животная ревность и мучительный страх услышать это короткое «нет».

Но ведь и у Рины был его номер телефона... Тем не менее Рина не позвонила ни в первую неделю, ни во вторую, а когда Игорь совсем потерял надежду, позвонил из Минска Володя. «Ну что ж, – подумал Игорь, когда разобрался, кто с ним говорит, – вот сейчас все и решится...» Он был в таком напряжении, что не сразу понял, что Володя говорит о каком-то новом компьютере, который они купили для кооператива, и о деньгах, которые ему, Игорю, они готовы заплатить за установку программ... И вдруг до него дошло: Рина, он поедет к Рине, он ее увидит, посмотрит в глаза и сразу поймет, есть ли у него надежда.

Игорь отказался от предложения Володи остановиться у них в доме – предпочел гостиницу в аэропорту. Лучше пару раз смотаться на такси в аэропорт и обратно, чем смотреть, как Рина расхаживает по дому в домашнем халате, а Володя где-то в коридорчике между гостиной и кухней прижимает ее к стенке, пока ребенок сидит на ковре и играет в кубики. Почему-то именно так представлял себе Игорь правильную семейную жизнь, такую, какой не было у его родителей, и такую, какую ему необычайно остро захотелось сейчас иметь с Риной.

После длинного рабочего дня в Володином НИИ, где Игорь с огромным удовольствием возился с новым компьютером, Володя затащил-таки его к себе домой. «С женой познакомлю, – соблазнял он Игоря, – пацана моего посмотришь. А какой борщ Рина варит, закачаешься...» Рина борщ как раз не сварила, и с работы они с Гошиком пришли поздно: стояли в очереди за майонезом. Увидев Игоря, Рина оцепенела, подумала, что он приехал за ней. «Сейчас все решится», – мелькнуло в голове и поэтому, когда Володя начал знакомить ее с Игорем, Рина даже не сразу сообразила, что речь идет об их каком-то

совместном проекте. А назавтра Игорь уезжал прямо с работы в аэропорт, и Володя должен был его провожать; ни о какой встрече наедине, даже на секунду, не было и речи. Они успели посмотреть друг другу в глаза, и это была и любовь, и прощание. Перед самым уходом, в том самом коридорчике между гостиной и кухней, пока Гошик играл на ковре в кубики, а Володя присел ему помочь, Рина всунула Игорю в карман куртки несколько листков, исписанных мелким почерком. «И когда только успела написать, – поразился Игорь, – ведь никуда не выходила...» Но какого было его удивление, когда в гостинице, не снимая куртки и не отряхнув от снега ботинки, он вытащил из кармана Ринино письмо и увидел, что это были стихи. С ботинок уже натекла лужа, с куртки валил пар, а он читал, перечитывал и не мог остановиться, столько чувства и боли было в этих не совсем складных, но таких дорогих ему строчках...

...Игорь услышал стук Рининых каблуков еще до того, как из темноты вырисовалась ее стройная фигура... «Хорошо, что снял номер в гостинице, – подумал он – черт с тем, что это стоило ему месяц работы на крыше...» Игорю не хотелось объясняться с матерью. Ему не хотелось называть даже имени Рины. Ему было страшно спугнуть свое счастье. Им еще многое предстояло обсудить и обговорить, у них теперь есть время.

...Потом они сидели на кровати и крепко держались за руки, не замечая этого сами. «Дай Бог, – думал Игорь, который не верил ни в бога ни в черта, – дай Бог она еще родит мне ребенка.» «Дай Бог, – вторила ему в уме Рина, которая давно разуверилась во всем и всех, – дай Бог, рожу ему ребенка.»

Им не хотелось разговаривать, они жадно смотрели друг на друга, и каждый знал, что они уже никогда не расстанутся.

Хайфа – Бостон, 2008–2015

Валентина Синкевич

* * *

Памяти Бориса Рыжего

Тот Свердловск, что дымом
фабричным зако́пчен, –
был он ему отец или отчим?
Был он раем иль адом?
Этого мы не узнаем.
Город мог быть не тем,
чем должен был быть поэту,
бросавшему часто монету
«жить иль не жить»?
Современный Гамлет-Базаров –
завсегдатай улиц и баров,
со шрамом на детской щеке,
с сигаретой во рту иль в руке,
и стаканом верным и вечным...
Был он, как будто, беспечным,
и строки лилися фонтаном,
и все не казалось обманом –
и стихи, и Свердловск, и сама
даже жизнь – не была ведь тюрьма.
Да, хотел, чтобы был Петербург,
Александр Семенович – друг,
Рейн Евгений с великою тенью
взглядом скользнул бы по стихотворенью.
И Северная чтобы Пальмира
обернулась наградой в полмира...
И помнил: жена была Ира...
И стакан наливался полнее...
А все оказалось сложнее.
Гораздо сложнее.
И рухнуло вдруг...

ФОНАРЬ

Такой вот звук. Такая вот печаль.
Такое понимание пространства.
Фонарь
в рассвет
три раза прокричав,
туман рассеял, возвратясь
из странствий.
Михаил Мазель

Он слышит многие наречья,
и видит сказочные чудеса –
фонарь, стоящий так по-человечьи, –
склонясь к земле, но глядя в небеса.
А может быть в мои глаза
он смотрит строго исподлобья?
Так пусть ломают люди копья:
он тоже почестей достоин.
Ведь и один бывает в поле воин
не побежден, а убежден,
что победителем рожден,
а победители не умирают:
они идут, ползут, летают,
они стоят – пусть в одиночку, но живут!
Фонарь описывал поэт рукой умелой,
и мыслью одарял своею смелой.
А для меня фонарь давно был королевич.
Он знает: здесь живет Синкевич
и пишет странные свои стихи
И, может быть, дела не так уже плохи,
коль снова пишутся стихи.
А он горит на тротуаре малолюдном.
Всю ночь горит. И мы в союзе обоюдном
живем давно. Я и фонарь.
И он не старый тот звонарь,
что отзвонил навек у Короленко.
Нет. Здесь у меня бумага, стол и стенка
полным-полна шаталовских картин.
А за окном – всегда один,
как самый верный паладин,
стоит фонарь, посверкивая ночью.

И нет тумана. Всё воочью,
всё будто бы как было встарь:
стихи, картины. А за окном фонарь.

Июль 2016

* * *

Милый ад: ни пушек, ни ружей.
Старый ад с хромым сатаной!
Чем он хуже кровавой лужи,
Именуемой – шар земной!

Иван Елагин

Сядем, память моя, и за стол, и за чай,
посидим, погрустим хоть немножко.
А потом, будто так, невзначай,
мы отыщем в былое дорожку.

Поведет она прямо в Россию – опять и опять.
Я ведь знаю: мое там сокрыто наследство.
Где-то там, я все время пытаюсь узнать...
Молча смотрит в глаза мне суровое детство.

А за дверью моей – вон театр и весь мир.
Гамлет там. И во время антракта
ходит с ним сам великий Шекспир,
размышляя: быть или не́ быть в эпоху терактов.

Вдохновенный Елагин шар свой земной
называл кровавою лужей.
Только, Иван Венедиктович, может быть, мой
станет вдруг гораздо похуже?

Но довольно об этом. Вот стол, и вот чай.
Посижу, погрущу хоть немножко.
А потом – будто так, будто так невзначай
в сборник Фета открою обложку.

Август 2016

В АМЕРИКЕ

Я люблю Америку – очень давно уж мою.
Отдала ей много драгоценного времени.
Песни нежные на родном до сих пор ей пою
я – из другого края и племени.

Часто все брала у нее на бегу, на лету, –
тишь Вермонта впитывала и грохот Нью-Йорка.
Все прижимала к сердцу и подносила ко рту –
только бы не пошатнуться, и не упасть только.

Воды Тихого омывали усталые ноги мои,
Атлантический бурно катил свои волны.
А надо всем этим пели мои соловьи,
и плыл торжественный звон колокольный.

И с небоскребами я как-то сжилась-срослась.
Пусть не судят меня строго индейские боги –
я ведь помню, *где* давным-давно родилась
и *куда* вели тогда все дороги.

А сейчас так уютно, спокойно здесь мне.
Ночь. Тишина. Мягкое одеяло...
Только слышится будто бы в полусне:
«Во́ поле березонька стояла...»

Август, 2016

Эдуард Старосельский

Был да сплыл

хроника одной эмиграции

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

Все эмигрантские судьбы схожи разнообразием, – замечу я без претензии на равенство с Львом Николаевичем.

Эмигрант! Это звучит гордо! За двести сорок лет существования Америки бессчетное количество различных растений, насекомых, птиц и различных иных видов живых организмов переселилось в Соединенные Штаты Америки. Среди них миллионы людей всех цветов и оттенков кожи, политического, экономического и религиозных спектров; среди которых, конечно же, романтики и просто непоседы. Чем им было плохо на прежнем месте? Напомню: «человек ищет где лучше» и сам волен решать, где ему жить.

В начале двухтысячных, по дороге из Нью-Йорка на Ялтинский кинофестиваль я делал остановку в Москве. Знакомый по фестивалю продюсер предложил мне поучаствовать в телевизионной передаче на канале НТВ. Подозрение, что приглашают за мои заслуги в кино, я тут же отмел. Оставалось предположить, что интересен я только как бывший соотечественник. Если вы не Рахманинов, Бродский или Довлатов – звание это в РФ совсем непочетное. Тем не менее, уронить честь и достоинство его мне совсем не хотелось.

Прямо из аэропорта я прилетел в Останкино.

Эх, Останкино! Когда башня только строилась, я пятнадцатилетним подростком уже трудился в «почтовом ящике 822» города Ленинграда. «Почтовыми ящиками» тогда назывались засекреченные предприятия, работающие на оборонную промышленность, военные части и трудовые лагеря. Вне сомнения, такие адреса «на деревню дедушке» необходимы и в наше время, так как для многих враг не дремлет и по сей день.

В том восемьсот двадцать втором ящике, в качестве радиомонтажника я напаивал наконечники на провода для Останкинской телебашни. Разноцветные провода по двадцать-тридцать штук торчали из свинцовой трубы, словно щупальца. Труба метров в десять была

тяжелая, но гибкая, так как свинец – метал мягкий. Труба за трубой я напаивал наконечники на провода, а кто-то другой, уже в самой Останкинской башне, ударным трудом соединял их между собой. Строили башню долго, но закончили все равно «досрочно». Смотрит народ – не нарадуется. Во всем белом свете такой не сыскать! Упирается башня в небо, как хвост гигантского дракона, а внутри – свинцовые позвонки – те самые, с моими наконечниками. И побежали по этим позвонкам решения и призывы партии и правительства к трудовым коллективам. Побежали вперемежку с парадами, песнями и плясками из самого чрева идеологического аппарата партии до самых до небес. Оттуда, с острия на кончике хвоста, распылялись они по умам и душам населения нашей Великой и Необъятной, и в этом есть и моя заслуга.

Прошли годы. Теперь эти же самые провода должны были вывести в эфир то, что останется от передачи со мной после монтажа. Ведущий звучал доброжелательно и быстро расположил к себе. Сначала шли обычные анкетные вопросы: «Как живешь?», «Где работаешь?» И вдруг: «Почему уехал?» Вопрос не простой уже потому, что ответом можно обидеть хозяина, а с ним и многочисленную аудиторию телезрителей. Я заволновался. Как выяснилось потом, – напрасно. Такие передачи изготавливались исключительно для живущих за границей, вроде меня.

Но вопрос остался. Почему я уехал из СССР тридцать с лишним лет назад? Ответить в двух словах не получалось. Помню, была такая статистика: «Пять процентов уезжали по политическим, остальные по материальным мотивам – за лучшим бытом».

Социально активным я никогда не был. Все ограничивалось кухонными пересудами. Какой дурак будет бросаться с ножом на паровоз? «Наш паровоз, вперед лети...» К моему стыду, до сих пор эта дворовая мудрость определяет мою политическую и социальную сущность. Советская власть навсегда погасила желание участвовать в гражданской жизни общества. И не у одного меня. Даже эмигрировали как-то по-кухонному: все поехали – и мы тоже. Хотя среди знакомых моего круга таких нет, у каждого были веские причины.

Так почему я уехал? Может быть, потому, что моей первой любимой книгой, навсегда засевшей в голове, был роман Даниеля Дефо, и Робинзон Крузо пробудил во мне желание путешествовать? Третьекласснику, мне уже тогда хотелось быть выброшенным на необитаемый остров и самостоятельно выстроить свою жизнь, – главное, чтобы никто не указывал как надо. За Робинзоном появился Мартин Иден, затем компания пополнилась персонажами из романов Дюма, Золя, Марка Твена... Советской власти запретить бы буржуаз-

ную литературу вовсе, ведь она спокойно обходится без принудительного коллективизма и без Павки Корчагина с его девизом, оставшимся недоступным моему пониманию. Как можно прожить, чтобы не было стыдно?.. Стыд – одно из душевных качеств человека и не только человека: кажется, собаки ведут себя иногда, как будто им стыдно. Стыд – необходимое чувство. Нам бывает стыдно за сказанное или содеянное, – это нормально. Бесцельно прожитые годы жалко, как время потерянное. В масштабе страны стыдно за бесцельно загубленные миллионы человеческих жизней – в войнах и лагерях. Если человек просто живет честной жизнью, то он невольно создает что-нибудь полезное для родных, близких, общества, а значит, стыдится ему нечего.

Моей целью было приобретение свободы. Надоели невыносимо медленно тянувшиеся пятилетки, идеологические постулаты, напомаженные портреты членов Политбюро и красные полотнища, призывающие к борьбе за мир, ударному труду и к победе коммунизма. С экранов телевизоров какие-то люди при костюмах и в галстуках рапортовали о победах на «трудовом фронте», хотя сам труд оплачивался государством неохотно. С трудом хватало от получки до получки. Выпивка была главным связующим фактором общества. Ячейка государства – «на троих» – стала крепче и важнее семьи. По-крайней мере, так мне казалось. Пьянство укрощало, ограничивало в желаниях, компенсировало отсталое медицинское обслуживание и нехватку лекарств, а главное, позволяло говорящим головам оставаться у власти. Население вместо того чтобы воспротивиться, «стучало» на недовольных. Мне казалось все это невыносимым.

В конце семидесятых в среде моих знакомых по рукам ходили магнитофонные записи лекций на тему «Неопознанные Летающие Объекты». Конечно, зримых доказательств инопланетян никто предоставить не мог. Однако мы верили в возможность существования иного разума и иной жизни и что начинается она за пределами СССР.

Двадцать пятого февраля тысяча девятьсот семьдесят девятого года меня лишили советского гражданства, и через две недели я покинул пределы отчизны, пределы любимого Ленинграда и родной коммуналки, чему и был рад.

СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ, ЗАВТРА ТАМ

Самолет Ленинград – Вена! Сердце яростно бьется в грудной клетке. Сердце тоже рвется на свободу. В полупустом «Ту-104» человек десять «беженцев» (такой статус мы получили после лишения нас гражданства). Мы сидим в хвосте самолета, кто со слезами на глазах, кто с улыбкой на лице, я – с дыркой на локте моего свитера. Не пото-

му, что мне нечего было надеть в дорогу, просто я оставил все «приличное» родным: солдатскую дубленку, чешскую кепку, венгерские джинсы и британские полуботинки на тяжелейшей негнущейся подошве – в надежде, что в американской Туле самоваров хватит на всех. Отъезжающим тогда обменивали по официальному советскому курсу сто рублей на сто тридцать долларов. Вот это был курс! Как тут не затосковать по счастливому прошлому.

От ста тридцати к посадке в самолет осталось долларов тридцать. Остальные были потрачены в «Березке». Пусть помнят, что был такой я, – угощал жвачкой, французским коньяком, «Мальборо» дарил. Да-а-а-а. Был да сплыл...

Впереди в салоне сидят официальные лица, без улыбок и слез, – скучают. Видно, надоело им летать туда-обратно. Если бы не импортное шматье... В меня же вселился какой-то дух зловещий – дух победы. Сижу и тихонько напеваю себе: «Броня крепка и танки наши быстры...» Честное слово! Значит не прошло даром советское патриотическое воспитание, хоть не на танке и без боев, а все же стремительно продвигаемся на запад, туда, где «окопался враг».

Приземлились. Вена сдалась без боя. Первое, что бросается в глаза, – отсутствие людей в военной форме. Думаю: «Нас не ждали».

Подходит маленький человек с портфелем (все люди моего роста и ниже – «маленькие» люди).

– Ну, кто едет в Израиль?

Из десяти прибывших отделились трое. Маленький человек был явно расстроен. Без энтузиазма он еще раз обратился к нам и пообещал, что в Израиле всем будет лучше. Мы виновато склонили головы.

Когда я объявил маме, что уезжаю (вовлечь ее в этот процесс не было никакой возможности), мама заплакала: «Только не в Израиль».

В конце сентября сорок первого, она – студентка первого курса Харьковского пединститута, провела неделю на вокзале, тщетно пыталась достать билет на какой-нибудь поезд, идущий в юго-восточном направлении. Ее родители эвакуировались в Ташкент и там ожидали приезда дочери. Поезда, набитые ранеными и эвакуированным оборудованием, проходили мимо, а если останавливались, то чтобы заправиться водой и запастись углем. Билеты доставались немногим и только тем, у которых на руках была соответствующая бумага. Голодная, мама сидела и плакала. Мимо проходил молоденький лейтенант. То ли мама ему приглянулась, то ли война не успела истребить до конца человеческое в нем... В общем, пожалел он маму, поделился своим пайком и добыл у вокзального коменданта ту самую

бумагу, по которой предписывалась продажа билета «на предъявителя». Первый поезд проходил ночью. У кассы уже толпился народ, сражавшийся за свое место в очереди. Мама была одной из первых. Тут к ней и подошла семейная пара и, безошибочно распознав ее национальность, заговорила на идиш. Это были польские евреи – беженцы. Они предложили маме постоять за нее в очереди и купить билеты на всех, – количество счастливцев в бумаге указанно не было.

История сия заканчивается плачевно. Мама уступила свою очередь в кассу, отдала товарищам по несчастью предписание коменданта, а сама беспечно уснула на привокзальной лавочке. Утром, когда она проснулась, не было ни поезда, ни билетов, ни ее новых знакомых. Еще с неделю мама прожила на вокзале, питаясь в основном кипятком с хлебом.

В детстве, я помню, на вокзалах, прямо на платформе, всегда торчал кран. Откроешь его – а оттуда кипяток. Теперь – только подставляй чашку с растворимым кофе или сушеным китайским супом... Но тогда, да и в мое время тоже, сухих супов не было, а был один кипяток.

В какой-то момент маме удалось, наконец, сесть в поезд с ранеными, направляющийся в Ташкент.

Здесь, в Америке, я неоднократно встречал старых польских евреев, ни один из них не вызывал у меня подозрений в причастности к содеянному на харьковском железнодорожном вокзале. Я рассказывал им мамину историю. С их стороны я не замечал никаких обид – ничего, кроме сострадания в наполненных влагой глазах.

Две недели, проведенные в Вене, раскачивают ваше представление об окружающем мире. Вы думали, что если человек – еврей, то будь он по профессии хоть сварщик, он все равно читал Кафку и даже в молочной столовой за столом не сморкался в салфетку. В Вене вы быстро начинаете понимать, что евреи тоже бывают разные. Ваше детское представление о приметах, по которым представители других народов безошибочно определяют вашу национальность, значительно расширяется. Тихий библиотекарь, застенчивый кандидат наук, толстый, страдающий астмой доктор, директор булочной, постоянно сосущий леденец, инженер закрытого предприятия, сыплющий скабрезными анекдотами в присутствии малолетнего племянника, – составляют далеко не полный список представителей моего народа. Евреи бывают грузинские, бухарские (узбекские), закарпатские и т. д. И, на мой взгляд, они ничем не отличались от народа, среди которого проживали. Я был неправ! Среди евреев из восточных

республик поражало большое количество людей религиозных, принадлежавших иудаизму, несмотря на то, что веками они жили среди мусульман. Многие уже в Австрии начинали скучать по родной земле Узбекистана – климату, фруктам и большому собственному сад, где собирались компании друзей «на шашлык».

Южане казались большими патриотами республик, в которых они родились и выросли, – бóльшими, нежели люди севера СССР. В Америке мне довелось бывать на грузинских вечеринках, где часто кто-нибудь затягивал: «Расцветай под солнцем, Грузия моя... Не найти в других краях таких красот. Без тебя и жизнь мне не мила...» Грузинские евреи утирали слезы, и я тоже. В компаниях москвичей никто и никогда не пел «Подмосковные вечера», а ведь мелодия тоже неплохая.

Впервые с многоцветьем эмигрантской среды я столкнулся в венской гостинице, куда нас привезли из аэропорта. Чугунная, в стиле барокко, лестница четырехэтажной гостиницы, была оккупирована представителями еврейской диаспоры всего Советского Союза. Они плотно сидели на мраморных ступеньках, подпирали спинами облупившиеся стены, висели на перилах, наблюдая в квадратный лестничный проем вновь прибывших. И курили. Курили импортные сигареты. Курили так, как не курили работяги в моем «почтовом ящике». Разглядеть что-либо сквозь дым практически было невозможно. Только голоса звучали отчетливо.

– Откуда? Куда? Икру везете?

Как оказалось, местные перекупщики скупали у вновь прибывших товары, разрешенные к вывозу из Союза. Эмигранту, кроме воспоминаний, разрешалось прихватить с собой две баночки черной икры, фотоаппарат «Киев» и дымковскую игрушку. Запрещались: какие бы ни были драгоценности, боевые награды, фотографии в военной форме и иконы. Иконы не разрешались не потому, что иммиграция была еврейская, просто за границей торговля иконами, равно как и полотнами Рембрандта, Рубенса, Поленова, Репина, всегда была прерогативой государства. Правда, я был знаком с одним человеком, который сделал состояние на торговле иконами за границей. Как ему удалось вывезти их в таком большом количестве, – одной таможне известно.

Пятнадцать-двадцать процентов эмигрирующих из Москвы и Ленинграда составляли простые русские люди с высшим образованием и без всяких еврейских корней. Их тоже не устраивала перспектива прожить жизнь под мудрым руководством коммунистической партии. С приглашением от «тети Дворы из Хайфы» они являлись в ОВИР (отдел виз и регистраций) и требовали разрешения на выезд... на свою историческую родину.

Переспав ночь в номере с незнакомыми мне, но равными по статусу соотечественниками, наутро я отправился на почту сообщить волнующимся в Ленинграде родным, что добрался хорошо и уже скучаю по ним.

На самом деле мы волновались не меньше.

Прежде всего, Запад напугал нас своей непонятностью. Непонятен язык. Непонятно, почему продавцы в магазинах улыбаются. Как устраиваться на работу без трудовой книжки? И многое, многое другое. Мы не понимали, что делать и какое будущее ждет нас впереди.

Для многих радость встречи со свободой сменилась растерянностью. Растерянность – одно из главных состояний, в которое мы погрузились в Вене. Мы вдруг ощутили, что оставшиеся в Союзе друзья, родители, дети, мужья и жены, любимые и даже не любимые, как и воспоминания детства, студенчества, первого поцелуя... – все это вдруг оказалось навсегда потерянным. Никто не сомневался, что СССР будет существовать вечно и вернуться назад нельзя. И мы спешили на почту, чтобы еще хоть несколько минут послушать родные голоса из прошлого.

Возле почты толпился русскоязычный народ. Основную массу составляли завсегдатаи. Они чуть ли не каждый день звонили домой застрявшим на родине родственникам. Люди стояли небольшими группками, скорей всего, по принципу землячества. Среди толпы выделялся подтянутый человек лет тридцати пяти, восточного типа, в соломенной шляпе, белом костюме и белой накрахмаленной рубашке. Человек подходил то к одной группе, то к другой и бесцеремонно вступал в разговор. По его рассказам, последние два года проживания в Вене он невыносимо скучает по родине и каждую неделю подает заявление в советское посольство с просьбой разрешить ему вернуться. Он уверял, что за несколько лет эмиграции пожил в Австралии, Канаде и Америке.

– Австралия – глушь, большая деревня

– В Америке человека эксплуатируют нещадно.

– А Канада – ваще г-но!

Мы стояли и слушали, опустив головы, ожидая своей очереди в будку с международным телефонным аппаратом. Я видел, как на некоторых лицах растерянность сменялась испугом. Испуг переходил в панику. Но тут подошла моя очередь звонить, и я быстро забыл незнакомца в белом костюме.

Позже, получив конверт с австрийскими марками от представителя HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), еврейской организации помощи иммигрантам, я понял, откуда берутся деньги у беженцев, подобных мне. Я в компании нескольких человек направился в сосед-

нюю закусочную. Там съели по паре венских бутербродов, запили ароматным кофе... отъезд из СССР больше не казался такой уж роковой ошибкой. Венский кофе творит чудеса!

Нагулявшись, мы вернулись в гостиницу. На мраморной лестнице, в ожидании «свеженьких», по-прежнему толпился наш люд, наполняя гостиницу гамом и привычными запахами. Вдруг с улицы вошел человек – тоже в белом костюме и соломенной шляпе, но лет на пятнадцать старше первого. Он задрал вверх голову, пробежал взглядом по свесившимся со всех четырех этажей эмигрантам, поморщился и с тяжелым восточным акцентом, прокричал:

– Пенхасов! Мордухай Пенхасов! Приехал?! Кто-нибудь знает?

Люди затихли. В гостинице воцарилась тишина. Тишина была такой, что слышно было, как потрескивают шейные позвонки у тех, кто отрицательно качал головой.

Постояв молча с минуту и не дождавшись ответа, человек в белом вдруг объявил:

– Я вижу, ви тут все будете мильёнерами! – и вышел из гостиницы.

Каждый раз, когда я встречаю персонаж мужского пола в белом костюме, вспоминаю это его предсказание, которое все еще плохо сбывается. По крайней мере, по отношению ко мне.

Вена... Уютный городок... С оперным театром и зоопарком. В театр мы не попали, любовались снаружи. Зато в зоопарк ходили все, и я тоже не упустил такую возможность. На третий-четвертый день меня вызвали в Сохнут (израильское агентство, контролирующее переселение евреев в Израиль). Пригласили человек тридцать из недавно приехавших.

Сохнут располагался на втором этаже жилого дома. Ни тебе вывески, ни охраны внизу подъезда, – только бумажка с адресом в кулаке.

Прихожая в Сохнут была похожа на приемную врача: белые стены, вдоль них стулья. Мы зарегистрировались в окошечке и уселись в ожидании. Вызывали семьями, с детьми и стариками, – выкрикивали фамилию, и очередная семья со всей мишпухой (родственниками – на идиш) исчезала за дверью приемной. Через какое-то время, все выходили из кабинета понурые. У женщин на глазах были слезы.

– Уговаривают ехать в Израиль. Стыдят.

Еще свежи воспоминания, как совсем недавно нас стыдили на комсомольских и профсоюзных собраниях за то, что уезжаем в Израиль. И тут стыдят.

Дошла очередь и до меня. Я собрался с духом и робко, насколько хватило этого духа, постучал в дверь. «Доктор» – лысый, подтянутый, с красным лицом, сидел за столом, рассматривая бумаги.

– Фамилия? – спросил он на чистом русском языке, подняв на меня глаза.

– Старосельский!

Своим страдающим взглядом он сканировал меня с ног до головы. Пауза затянулась. Он явно о чем-то размышлял и что-то прикидывал.

– Профессия?

– Режиссер.

«Доктор» вздохнул с облегчением.

– Куда едешь?

– В Америку.

Краснота на его лице превратилась в задорный румянец. Он протянул мне руку.

– Счастливого пути!

Ошеломленный краткостью беседы и отсутствием побочных эффектов, я вышел. На меня устремились сочувствующие взгляды соотечественников. И только тут до меня дошло, что Израилю режиссеры не нужны. Израилю требуются инженеры, трактористы, сталевары, радиомонтажники, детские врачи, нянечки, водолазы, строители, – потому что Израиль строится, растет, крепнет, размножается, и ему не до меня... Мне стало совсем нестыдно, и я с легким чувством проболтался до самого вечера, пытаясь увидеть Вену глазами своего отца, освобожденного из плена советского солдата, прослужившего весь сорок шестой год в этом уютном и тихом городке.

Через несколько дней нам было сказано: «С вещичками на выход», – едем в Италию. Мы сели на поезд и покатили.

Ехали ночью, кажется, часов семь. Прошел слух, что везут в Рим. Рассвело. Вдруг поезд затормозил посреди каких-то сопок. Ни тебе вокзала, ни платформы, ни оркестра, ни пионеров с букетами. Мы выпрыгнули прямо на насыпь, и толпой, между этих сопок, направились к автобусам. Официальный представитель объявил:

– Отсюда в Рим поедем на автобусах. Чтобы арабские террористы не совершили какую-нибудь диверсию.

Сообщение о возможной террористической атаке не было принято всерьез.

– Какие террористы? Мы хоть уже и не-дружественные – советские, но едем-то не в Израиль.

В автобусе стояла толчея. Устав от долгого сидения в поезде, дети бегали взад-вперед, родители кричали на них, они же пытались занять место получше. Такова природа человека и проявляется она уже в детском возрасте. Вокруг стоял визг и гам, как в переполненной пионерами бане.

В автобус пошел круглый человечек маленького роста. Он пробормотал что-то по-итальянски, но никто и не думал обращать на него внимание. Тогда он слегка присел и, хлопая себя по коленкам, завопил:

– Бамбини! Бамбини!

Это «бамбини» в нашем сознании тут же связалось с недавним предупреждением об арабских террористах. Мгновенно все затихли и замерли. Некоторые пригнулись в ожидании, что сейчас жахнет. Итальянец же продолжал кричать и похлопывать себя до тех пор, пока кто-то не сообразил, что «бамбини» – это «дети», а хлопки по коленкам означали: «Посадите детей на колени! Черт подери!»

РИМ

Рим! Городишко древний. Куда ни глянь, – развалины, фонтаны, булыжные мостовые, – красота!

Через день нас внесли в какие-то списки, посадили опять на автобус и отправили в Ladispoli (по-иммигрантски – Ладисполь), приблизительно тридцать пять километров от Рима, на лазурный берег Тирренского моря. Там «собиралася компанья» со всех уголков покинутого СССР.

Нам выдали деньги на квартиру и питание, это что-то вроде командировочных. Только работы от нас никакой не требовалось. Хочешь – скучай, а не хочешь – ищи себе занятие.

Первая полезная фраза, которую тут же выучили иммигранты, и я в том числе, была: «Quanta costa?» (Сколько стоит?), и, конечно же, счет до десяти. На ладиспольском рынке все продавалось и покупалось на «mile lire», самую малую номинацию бумажных денег. «Миле лире», хоть и звучит как «миллион лир», все же переводится как «тысяча», и в те годы она равнялась пятидесяти американским центам. Не то, что сейчас.

Италия – страна соблазнов! Впрочем. выехавшему из СССР, любая страна казалась страной соблазнов. Выдаваемые нам тысячи лир исчезали с ладони, словно снежинки в теплую погоду.

Я снял себе комнату в компании двух ребят из Днепропетровска. Делать было нечего. Поговаривали, что на оформление визы в Америку может уйти пара месяцев. Мечтающие переселиться в Канаду, Австралию или Новую Зеландию и вовсе ждали по девять месяцев. Пока же каждый вечер мы собирались у фонтана, на центральной площади Ладисполя, и обменивались свежей информацией: где купить дешевые продукты, в каком доме сдается недорого квартира или просто угол. Кто-то рассказывал, что устроился на подработку в строительную компанию – подтаскивать кирпичи. Многие

проявляли интерес, но адресок брать не спешили. Один знакомый, профессор математики из Киева, с гордостью объявил, что его взяли в Римский университет преподавать. Все с искренней завистью смотрели на счастливчика, – устроился по специальности все же. Фима-одессит, занимавшийся куплей-продажей барахла на римском рынке «Американо», вздохнул и в полной тишине произнес:

– Эх, профессор! Мне бы вашу голову, я бы на Американо такое вертел!

Римский рынок «Американо» назывался так потому, что основная масса его обитателей – эмигранты из СССР – направлялась в Америку.

Фима рассказывал, что однажды был свидетелем того, как один эмигрант продал на Американо целый чемодан презервативов! Презервативов не оказалось в реестре запрещенных к вывозу товаров народного потребления. Трудно поверить? – Поверьте, я Фиму хорошо знал, выдумать эту историю он просто не мог. Что-либо вообще выдумать лежало за пределами его возможностей, – а ведь родился в Одессе.

Советские презервативы – «самые надежные в мире» – стоили тогда 3 копейки! По Риму шлялось достаточное количество марксистов, убежденных, что будущее за коммунизмом, а, значит, идеологически правильно будет пользоваться товаром из СССР. Человек, провернувший столь блестящую сделку, достоин пусть самой маленькой, но премии по экономике. Хотя после реализации сего товара материально не нуждался.

Денег не хватало. И мы всей комнатой решили переехать на десять километров южнее, в городок-деревеньку Passo Oscuro (по-иммигрантски – Пассоскуро). Там мы сняли домик в два раза дешевле, чем в Ладисполи, – метров пятьдесят от моря. Экономили на еде. Прошел слух, что в Риме есть рынок, где за копейки продают громадные индюшачьи ноги.

Ноги действительно оказались мощные и подтверждали теорию о том, что птицы – это прямые потомки динозавров; а главное, они были невероятно дешевые. Варить их приходилось вертикально даже в самой большой кастрюле, – поперек они не умещались. Теперь, после всех расходов, включая кино и мороженое, деньги оставались в количестве «на одни джинсы в неделю», в то время как в СССР джинсы стоили почти две зарплаты, включая отказ от кино и мороженого. Индю-шачьи ноги поедались на завтрак, обед и ужин. Через недели две мы не выдержали и отказались от них навсегда. До сих пор, попав в этнографический музей, где выставлены скелеты динозавров, я невольно упираюсь взглядом в их ноги.

Между тем, я познакомился с родственником хозяйки дома, парнем лет двадцати пяти, по имени Понзио, что означает «моряк». Понзио действительно был моряком рыболовного флота. Каждую ночь его баркас, с Понзио в качестве капитана, штурмана и юнги в одном лице, выходил в открытое море. К шести утра он уже возвращался с уловом. Как-то Понзио предложил мне сыграть в шахматы. В шахматы последний раз я играл в детстве. Как у обычного любителя, никакого шахматного образования у меня не было, если не считать встречу с Михаилом Талем в Доме культуры милиции имени Дзержинского. Таль тогда рассказывал различные байки из шахматной жизни, – и это все, что хотела знать публика. Начало E2 – E4 мне подсказал мой товарищ по третьему классу, и это все, что я знал об игре в шахматы.

Наши турниры приобрели регулярный характер. Понзио играл еще хуже меня. Я легко обыгрывал его. Он никогда не обижался. Совсем наоборот, проникался еще большим уважением ко мне и всей советской шахматной школе, о которой столько хорошего читал в газетах и видел по телевизору.

Близость жилья к морю имеет свои прелести. Встаешь утром и идешь на берег окунуться, смыть тоску, навеянную снами из прошлой жизни. Прошлое снилось всем и каждую ночь. Мы уезжали навсегда, и былая жизнь могла иметь продолжение только в снах.

Каждое утро вместе с солнечными лучами меня встречала добродушная улыбка Понзио. Он шел со мной к морю, валился на песок и терпеливо дожидался, когда я закончу процедуру омовения. Мы возвращались в дом и садились за шахматы. Понзио быстро проигрывал, но не уходил. Потягивая кофе, который, на правах родственника хозяйки, сам варил, он подробно рассказывал о том, что произошло на рыбалке. Наконец усталость брала верх над крепостью выпитого кофе, и Понзио шел домой спать.

Благодаря этим утренним шахматным завтракам в нашем меню появилась свежая рыба, которую практически за бесценок отдавал нам итальянский друг.

В Рим можно было ездить на попутках. В Италии, действительно, все дороги ведут в Рим, так что выходишь на дорогу, голосуешь, и через пять минут кто-нибудь на «Фиате» размером с «Запорожец» тебя подберет. Денег никто не брал. Зато охотно вступали в оживленный разговор. Итальянцы не говорят по-русски, мы не знали итальянского, тем не менее беседа проходила оживленно, выстраиваясь на фонетических догадках и лингвистических предположениях с обеих сторон. К концу поездки удавалось выяснить, откуда мы, куда едем, имя хозяина машины, – и мы расставались как старые добрые знакомые.

В один из выходных... Впрочем, в Риме любой день недели выглядит как выходной. Народ никуда не спешит, по-нашему – просто бездельничает. Тоннами уплетает мороженое, дремлет на фонтанных парапетах, в открытых кафе потягивает кофе и курит, курит, курит. Но аромат итальянских сигарет и некурящему приятен. В один из таких дней, недалеко от центра города, среди развалин (повторюсь: в Риме все среди развалин) я обнаружил кинотеатрик, где крутили итальянских классиков. В зале обычно сидело человек десять, не больше. При желании можно было оставаться на следующий сеанс, – никого не выгоняли. Смотри себе все подряд: Феллини, Антониони, Пазолини, Бертолуччи... – я насмотрелся их до того, что мне казалось, без дубляжа понимаю, о чем они говорят.

Однажды из Рима навестить хозяйку приехал ее сын с женой и двумя совершенно очаровательными девочками лет десяти. Сына хозяйки звали Чезаре, что означает «волосатый». Возможно, он родился с копной на голове. Жена звалась Джульеттой (кудрявая). Наша Джульетта давно и благополучно пережила возраст Джульетты из рода Монтекки. Может быть потому, что не шлялась по карнавалам в поисках любовных приключений, где околачиваются юные бездельники из знатных семей, а сидела дома у телевизора и смотрела «Как стать миллионером».

Чезаре и Джульетта оказались необыкновенно добродушными и гостеприимными людьми. В первый же вечер они устроили нам ужин. На столе появилось красное и белое вина, затем громадное, дымящееся блюдо с черными ракушками. Величиной ракушки были чуть больше тыквенных семечек. Кто в детстве не собирал на пляже ракушки! Правда пустые, содержимое уже кем-то было съедено. Ракушки наших хозяев обещали неизведанные доселе ощущения. Поставив передо мной тарелку спагетти, благоухающую оливковым маслом, Чезаре бросил в нее горсть ракушек. Побывав в кипятке, некоторые из них слегка приоткрылись, другие, плотно сомкнув половинки, напоминали улыбку Джоконды. Ловко орудуя специальным ножом, Чезаре принялся показывать, как нужно извлекать моллюски из раковины. Остальные члены семьи, включая детей, не дожидаясь конца инструктажа, принялись лихо щелкать «морские семечки». Комната наполнилась всасывающими разнотональными звуками. Побывав в тарелке макарон с оливковым маслом, ракушки выскальзывали из моих рук и попадали на одежду, оставляя жирные пятна. Честно скажу: я бы тогда предпочел мелко нарезанную докторскую, за рубль пятьдесят килограмм. Я сгреб оставшиеся ракушки на край тарелки и принялся за макароны.

За столом было шумно. Десяток выученных итальянских слов вперемежку с вином позволяли нам весь вечер вести оживленную беседу с хозяевами. Часам к одиннадцати блюдо с ракушками превратилось в посудину с шелухой, и нам казалось, мы знаем друг друга много лет и дружба эта никогда не кончится.

Дружба не кончалась долго. Чезаре стал чаще навещать свою маму, даже в рабочее время – посреди недели. Работал он в какой-то мастерской по ремонту электроприборов. Как видно, летом электроприборами в Риме не пользовались, и ремонтировать было нечего. Погода в конце апреля стояла теплая, и мы часто с Чезаре уезжали на его мини-«Фиате» на какой-нибудь пустынный пляж. Пустынные пляжи хороши тем, что на них топлес загорают юные нимфы, которые без всякого стеснения позволяют солнечным лучам ласкать их «прелести». Там же на пустынных пляжах загорают одинокие мужчины, делающие вид, что их ничего не интересует, кроме солнечных лучей.

Однажды мы с Чезаре укатили на такой пляж, купили себе по мороженому и, выбрав местечко поуютнее, залегли. Там и здесь были разбросаны небольшие песчаные дюны и полупрозрачные кустики. Нужно сказать, что мы с Чезаре в беседах никогда не смаковали истинные причины этих поездок.

Внезапно, совсем невдалеке, послышался знакомый мне голос. Для Чезаре, пожалуй, это был даже родной голос – голос жены Джульетты. Подчиняясь рефлексу самосохранения, мы уткнулись в песок носами. Опасность миновала. Джульетта с подругой прошли мимо, не обратив на нас никакого внимания. Они расположились невдалеке и продолжали щебетать о чем-то своем.

Джульетта работала в магазине по продаже мехов. Как видно, летом в Италии снижалась не только потребность в ремонте электроприборов, но и спрос на меховые товары. Эта мысль не давала Чезаре покоя, и он, поднявшись в полный рост, пошагал навстречу судьбе. Супружеская пара обменялась обычным в такой ситуации диалогом: «Почему не на работе?» – «Меня отпустили, нет клиентов». После чего мы все вчетвером втиснулись в автомобиль Чезаре и покатили в Пассоскуро. В машине стояла тишина. Все, кроме водителя, с любопытством разглядывали природу за окном, как будто видели ее в первый раз. Чезаре, не моргая, смотрел на дорогу, наклонившись к лобовому стеклу.

Впрочем, к вечеру семейная буря утихла, и мы благополучно все вместе ужинали.

Жизнь в Италии становилась все понятней и увлекательней. Подкопив немного денег, мы отправлялись на экскурсии по стране –

север, юг... Хорошо асфальтированные дороги опутывали всю страну и поражали четкостью разметки. Предприимчивые соотечественники организовали экскурсии по достопримечательным местам Италии. Проводились они на родном – русском – языке.

Помню в Пизе, постояв какое-то время под Пизанской башней, мы, не дождавшись, когда она упадет, отправились к автобусу. По пути экскурсовод Моня продолжал что-то рассказывать о достопримечательностях города. Между тем к нашей небольшой группе присоединилось несколько человек, которых я не видел раньше в автобусе. Они были совсем не похожи на нашего брата-иммигранта, потерявшего вместе с гражданством гордость и достоинство – качества, обязательные для советского человека, находящегося за границей. Мы шумно спорили о том, что нас ждет в Америке, иногда разбавляя свои доводы нецензурной лексикой. Незнакомцы – двое мужчин и одна дама – шли какое-то время рядом, затем остановились, заподозрев неладное. Дама спросила, из какого мы города. По выговору можно было предположить, что она откуда-то из Сибири.

– Мы из Рима, – ответил Моня.

Предположив, что это шутка, дама сообщила:

– Мы по путевке обкома партии, а вы?

– Мы – иммигранты!

Тут незнакомцы попятились, будто на них в самом деле падала Пизанская башня, развернулись и быстрым шагом направились туда, где их уже разыскивали.

Скоро, совсем скоро меня вызвали на собеседование в Американское посольство, где я заполнил необходимую для въезда в США анкету. Клерк пробежал глазами по ней и спросил:

– В каком городе вы хотели бы поселиться?

– Конечно же, в Лос-Анжелесе! Там, где делается кино! – он так и записал.

Через неделю пришла бумага, в которой сообщалось, что я отправляюсь в Нью-Йорк.

Нам сделали прививки, и 15 июня 1979 года мы вылетели в Америку. В этот раз летели на Боинге вперемежку и равноправно с обычными пассажирами, направляющимися из Рима в Нью-Йорк. Песен я не пел, сидел смирно. Из аэропорта на автобусе нас привезли в Бруклин, прямо в гостиницу St. George. Жара, духота – это вам не Пассоскуро! В море так запросто не окунешься. У автобуса толкались странные люди. Один из них был подозрительно знаком: клетчатые штаны, байковая рубашка, засаленная ковбойская шляпа, надвинутая на глаза.

Из-под шляпы торчала седая борода с ржавым пятном посередине – там, где предполагался рот. В центре пятна торчала сигара. Она, как неразорвавшаяся ракета, попыхивала дымком, угрожая вот-вот долбануть. Такие же ржавые мишени на рубахе и штанах. Хотелось сказать: «Товарищи, а вот это уже лишнее. Чувствовать себя как дома мы все равно не сможем, а карикатуры на американцев из журнала 'Крокодил' поднадоели».

Мы получили денежное пособие и направились в номера. Внутри гостиницы – сплошной ампир! Стены, пол, потолок, мебель, все – ампир. Франция – эпохи Наполеона Бонапарта. Этот ампир мучительно доживал свой век на чужбине. Сквозь черные трещины на облупившихся стенах гуляли сиплые сквозняки. Паркет вздыбился, а местами даже свернулся, как засохший лист.

В ванных комнатах и туалетах из стен торчали ржавые трубы, словно кости диназавров в местах раскопок. Унитазы и раковины отказывались служить человечеству и умоляли: «добейте нас».

Очевидно, гостеприимные хозяева считали, что именно здесь мы будем чувствовать себя как дома.

То там, то здесь эхом разносилась русская речь.

– Таня, у вас горячая вода есть?!

– Есть! Только краны дурацкие!

– Ваще дебилы! Куда мы приехали?..

В гостинице, длиной с квартал, коридоры километровые. Мы идем и идем...

Заглядываю в пустой номер. Громадные окна без занавесок. В потоках солнечных лучей кружится пыль. Еще в детстве, в чернобыльском сарае моей бабушки, я обратил внимание на то, как пыль кружится в солнечных лучах, пробивавшихся из щелей. Вроде бы пыли вокруг не видно, но в лучах ее столько! Она не падает вниз, а вращается в солнечном потоке, подчиняясь какому-то другому, еще не объясненному закону физики. Для меня в этом было что-то космическое, вечное.

Люди, занимавшие мой номер, давно выехали, а пыль осталась и продолжала кружиться в лучах как напоминание о тех, кто здесь останавливался.

За долгие годы жизни в Америке я встречал многих, кому однажды надоело быть пылинкой во мраке – в сплоченных рядах пролетариата, в прослойке интеллигенции или среди тружеников села. Им хотелось самим решать свои проблемы, выбирать жизнь по своему усмотрению и где захочется, а не прописываться, рапортовать и единогласно голосовать. Им хотелось двигаться во всех возможных направлениях, говорить, что придет на ум, критиковать власть и не бояться. Не бояться! Им хотелось свободы! Пусть пылинкой, но им

хотелось попасть в солнечный поток. И таковой в нашем сознании была Америка.

Теперь, через тридцать с лишним лет жизни в США могу с уверенностью заявить: благодаря войнам, террористическим актам, экономическим потрясениям, политической «корректности», государственным запретам, связанным с заботой о здоровье граждан, – многие из американских свобод семидесятых-восьмидесятых потеряны навсегда!

Наш номер оказался громадным. Все в нем было такое же старое, как и в остальной гостинице. Но стол, стулья и кровати – еще на четырех ножках. Матрасы, конечно, повидали на своем веку, но белье – чистое. В кране горячая и холодная вода. Начинаем жить в Америке!

Адаптация проходит не так быстро, как бы хотелось. Нажитый жизненный опыт часто служит препятствием.

– Курица невкусная. Разве это помидоры!

В среднем, чтобы почувствовать себя на новом месте как дома, необходимо прожить два года. С этого дня пошел отсчет.

Вечером Дима, спортсмен с высшим образованием из Кишинева, Ян, русский, официант из вагона-ресторана, объехавший весь Советский Союз, но так и не научившийся любить родину, и я, – вышли на осмотр окрестностей. Дома большие. Стоят плотно друг к другу. Подворотен нет. Римских развалин тоже. Зато припаркованные машины – громадные. Некоторые – просто диваны на колесах. Устали. Возвращаемся в гостиницу, – и тут первый шок! Прямо рядом с входом в гостиницу – дверь в бар. Из нее доносится ритмичная музычка. Просовываем головы: в полумраке, на фоне сверкающих бутылок, прямо на стойке бара в каком-то немыслимом ритме двигается совершенно обнаженная – как на картинке журнала «Чешское фото» – чернокожая девушка. Через минуту мы оказываемся за стойкой бара.

Идеально сложенная танцовщица то появлялась в лучах вращающихся фонарей, то исчезала в них, сливаясь с таинственной темнотой бара. Удивительно, как музыкальный ритм, под который она вскидывала бедра, в точности совпадал с ритмом наших сердец.

Сколько времени мы прибывали в этом гипнотическом состоянии, сказать трудно. Вывел нас из него голос наклонившегося через стойку бармена:

– Дринк! Заказ нужен, – сказал он тоном, не допускающим возражения. Не сомневаюсь, ему уже приходилось иметь дело с нам подобными.

Легко сказать – «заказ нужен». Я не знал названия напитков даже в советских барах, а тут требуется по-английски. К счастью, Ян в своем вагоне-ресторане наведывался не только на дальневосточные стройки и сочинские санатории, но частенько заглядывал в московские бары «Интуриста». На понятном себе английском он заказал джин и тоник. Бармен, не дожидаясь, когда каждый из нас подтвердит: «ми сэйм» (мне тоже), – бросился ловко смешивать, разбавлять, трясти и разливать по стаканам. Нам было все равно, что пить. Нас мучила жажда и голод женской ласки. И мы пожирали глазами то, что только возбуждает аппетит.

Ритм музыки ускорялся, а с ним и биение наших сердец. Тонкое, атлетически сложенное тело девушки извивалось, как огонек свечи от близкого дыхания. Ее маленькая грудь тоже взлетала и опускалась в такт музыки, а бронзовые ягодицы дрожали, обгоняя барабанную дробь. Что-то гипнотическое, похожее на землетрясение, происходило вокруг. Казалось, все на барной стойке так же задрожит, закачается люстра, и с полок посыплются бутылки с джином и тоником... Мы были согласны сгинуть под их обломками, лишь бы еще минуту, еще мгновение побыть свидетелями этого восьмого чуда света.

Музыка внезапно оборвалась. Танцовщица прошмыгнула за занавеску. К нам подошел бармен и голосом Зевса предложил рассчитаться. В шоковом состоянии от увиденного и стоимости напитков, равной недельному пособию иммигранта, мы направились к выходу. Музыка вновь заиграла, из-за занавески опять появилась танцовщица... Жаль, что наши головы не вращаются на сто восемьдесят градусов, как у некоторых животных. Вращение происходило исключительно в наших головах. Мы разбрелись по номерам.

Нужно сказать, что в Америке людям, не умеющим так ловко трясти ягодицами, тоже есть чем заняться. Пару лет спустя Дима-спортсмен открыл свою школу карате. Ян занялся покупкой и продажей антиквариата, затем женился на состоятельной американке – сотруднице ООН, переехал в квартиру на Парк Авеню и навсегда исчез из моей жизни. Еще в Италии я повстречал семью из Львова – маму, папу и двух девочек лет восьми. Саша-папа не переставая вздыхал: «В Кишиневе я был замдиректора обувного магазина, ну как я прокормлю семью? Здесь любой обуви завались». Нам, одиночкам, было непонятно его волнение, и мы по-доброму подтрунивали над ним.

Где-то года через два я шел по Манхэттену. Вдруг рядом со мной затормозил новенький «Мерседес», из него высунулся Саша:

– Эдька! Привет! Садись! Подвезу.

Я послушно сел.

– Куда тебе?

– Да... Вот я иду...

И Саша повез меня, по дороге рассказывая, как пришла ему идея торговать на развес, прямо на улице, разного сорта орешками и сухофруктами:

– Ведь торгуют греки сосисками – хот-догами. Купил тележку, весы, сухофрукты с орешками, постоял денек и понял – попал в точку. Подзаработал, купил еще тележку, одну, другую. Сдал их в аренду русским иммигрантам. Они довольны: пособие получают, да еще и наличные зарабатывают. А тот, кто прошел «школу советской торговли», еще и на обвешивании «бабки» делает. А что мне, я свой процент с ренты получаю...

Помню, Сашины орешки и сухофрукты продавались на развес по всему Манхэттену. В то время никакого разрешения городских властей на торговлю не требовалось, – тоже одна из свобод, которая давно утеряна. Сушеные фрукты и орешки теперь продают в красивой упаковке, любого размера и повсюду. Может быть, Александр и запустил идею в производство? Пусть это – не изобрести телевизор или придумать Google, но все же...

Нам дали две недели на то, чтобы найти квартиру и покинуть гостиницу. Кто-то из знакомых подбросил адресок в Латинском Гарлеме, на сто пятьдесят третьей улице. Квартира находилась на пятом этаже в доме без лифта и принадлежала эмигрантке «второй волны». Многокомнатная, с просторной кухней, эта квартира казалась Меккой для одиноких эмигрантов и многодетных тараканов, всем семейством беспрепятственно разгуливающих по жилищу.

Моя комната была самая маленькая. Мне не привыкать: я вырос в коммуналке и тоже в доме без лифта. Тараканов не помню, зато клопы были, и сколько мы с мамой не обдирали обои, избавиться от кровопивцев не могли. Война с клопами продолжалась до тех пор, пока не изобрели ДДТ, – теперь это эффективное оружие считается «химическим» и повсеместно запрещено. Да, еще: здесь, в моей комнате из «мебели» было лишь окно. Но в Америке и это не проблема: сосед посоветовал вечером походить в округе у «хороших» домов:

– «Они» по вторникам и четвергам выбрасывают старое барахло. Постарайся успеть до ночи, ночью его подбирают мусоровозы. Мы так все обставлялись.

В этот же вечер я обзавелся матрасом и цветным телевизором. Матрас был подростковый, с него свешивались ноги, но все лучше, чем на полу. Телевизор отлично работал и ловил все американские каналы.

В квартире, кроме шоферов ночных такси, жил известный артист Борис Амарантов. До эмиграции Борис был прославленный советский мим; он снимался в кино и выезжал за границу. Если заглянуть в интернет, то легко убедиться, что Борис Амарантов задолго до Майкла Джексона шагал «лунной походкой». Но в одной из поездок Борису надоело изображать бег на месте, и он «предал родину». На самом деле, каким предателем он мог быть? Мим не работает в «почтовом ящика», секреты ему не известны. Разве что... секрет видимости движения вперед. К тому времени этим секретом вся страна владела в совершенстве.

Бывало по вечерам он приходил в мою комнату и подолгу, за чаем, рассказывал о своей жизни. Пожалуй, это была тоска по утерянной славе.

– Понимаешь, Эдька, выступаю на Братской ГЭС... Две тысячи работяг и все скандируют: «Боря! Боря!» А здесь – тоже, поехал на конкурс мимов – и занял четвертое место. Первые – двое черных, третий – латиноамериканец.

Не знаю, на что он жил. Иногда просил купить что-нибудь из еды... В период моего пребывания в этой американской коммуналке Борис не работал. Думаю, с «четвертым местом» он мог бы устроиться в какой-нибудь клуб или на круизный корабль и там неплохо зарабатывать. Ведь подрабатывал же Эмиль Горовец на такси, и ничего. Но Боря не мог освободиться от тоски по былой славе, а потеря высокого статуса для нашего брата – хуже безденежья. Может погубить.

Спасением для эмигранта, потерявшего популярность и материальный успех на родине, служит только осознание обретенной свободы. Это состояние ума и души перевешивает меркантильные привязанности. Оно позволяет начать все сначала, но не гарантирует легкой жизни и не ограждает от повторения ошибок.

УСТРАИВАЮСЬ

В поисках какого-нибудь заработка я набрел на русский магазинчик. Владельцем оказался некто Гриша – бывший замдиректора по хозяйственной части Ленинградского Театра Комедии. Магазинчик, точнее лавочка, называлась «Самовар». Находилась она на северной стороне четырнадцатой улицы, между Третьей и Второй авеню. Гриша продавал все, что эмигрантам удавалось довезти до Нью-Йорка. В то время разрешалось вывозить мебель! И люди везли. Не думайте, что советская власть была настолько глупа, чтобы запросто позволять вывозить лакированные гарнитуры венгерского или даже финского производства. Отправка мебели пароходом стоила в три раза дороже самой мебели. Можно сказать, что на этих контейне-

рах в значительной мере держалось благополучие советского торгового флота. К тому же и упаковка стоила громадных денег. А теневые заработки таможенников? Не «откатил» – глядишь, в день отъезда тебя заподозрили в контрабанде. Ты отметил с родственниками и друзьями свой отъезд, у тебя уже билеты на руках, а тебе звонок из портовой таможни: мол, приезжайте на досмотр гарнитура. Нет, лучше сразу войти в положение служащих таможни, – ведь у них зарплаты маленькие, семьи большие, да еще начальство. Деньги все равно вывозить нельзя – не перечислять же их на строительство Байкало-Амурской магистрали?

Мебель плыла долго и редко доходила целой. Мебелью Гриша не торговал, но с ней в «Самовар» приплывали фотоаппараты «Киев», палехские шкатулки, «хохлома», «гжель», «дымка» и другая всячина, переходившая за лимит дозволенного к выезду, – включая самовары. Внутри магазинчика был длинный коридор и несколько комнат-кладовых. Одну из таких кладовых Гриша предложил мне за пятьдесят долларов в месяц, – это было меньше, чем я платил в Латинском Гарлеме. В кладовой стояла кровать и тумбочка, а что еще надо? Окно! Окно!

Окна не было... Ну нет окна – и не надо; когда спишь – свет выключен, и есть окно или его нет – не видно. И вообще, не прорубать же его? А если прорубать – то куда? Правда, мне часто снился сон: в бесконечном поле, среди высокой травы и диких цветов лежу я на старой, с облупившейся краской, железной кровати. По полю гуляет ветер (как у Тарковского в «Зеркале»). Помню, как я жадно вдыхал его прохладное дуновение, ужасно боясь проснуться.

РАБОТА

В бюро по трудоустройству предложили работу на трансформаторном заводе. Завод находился в Бруклине, а я уже освоился в «Самоваре», но думаю:

– Почему нет? Поработаю, не понравится – буду искать другое место. Трудовой книжки не требуется, знание языка – тоже, комиссии проходить не надо.

Приезжаю на завод. Какой же это завод? «Цехом» и то не назовешь. Четыре русских эмигранта, один польский турист и хозяин. Хозяин – молодой инженер, примерно моего возраста, – Леон, родился в Польше.

– Польша... Польша...

До начала войны в ней проживало больше трех миллионов евреев.

– Почему так много?

– Потому что «рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше».

После Второй мировой войны в Польше осталось около ста

тысяч евреев. Благодаря антиеврейской компании польского правительства 1967–1968 годов из Польши эмигрировало пятьдесят тысяч евреев. Одним из них и был юноша Леон. Получив в Америке инженерное образование, он только и делал, что конструировал небольшие трансформаторы, а мы – рабочие – изготавливали их. Точнее, при помощи молотка набивали катушки из медной проволоки «ш»-образными стальными пластинами.

В наш трудовой коллектив кроме меня входило еще четыре беженца и тоже из представителей гуманитарных профессий. Эти четверо до эмиграции были знакомы с очертаниями молотка исключительно по изображению его на гербе СССР. Пятый же – Лешек, турист из Польши, – владел молотком с пеленок. На него-то и ложились основные тяготы по набиванию трансформаторов.

Я тогда с удивлением узнал, что в Польше можно было запросто купить туристическую путевку в США. Некоторые поляки вместо того, чтобы, приехав в Америку, наслаждаться ее достопримечательностями, устраивались на работу. Нелегально протрубив несколько лет, они возвращались домой и на заработанные доллары покупали дома. Никто их за это не сажал в тюрьму или психушку. Меня поразило это. Социализм тоже бывает разный!

Леон был для нас главным конструктором, начальником цеха, председателем профкома и кассиром. Главное, во всех этих качествах он оставался мягким, добрым человеком и прощал нам неумение обращаться с проводами и железом. Когда кто-нибудь из нас, опоздав к началу рабочего дня, отшучивался: мол, «троллейбус сошел с рельс», – Леон снисходительно улыбался, не наказывая провинившегося. И это нас, совестливых, дисциплинировало.

Во время работы мы много трепались, никогда не работали сверхурочно. И только Леон с Лешеком оставались «выполнять план».

Проработал я там месяца четыре. Затем случилась забастовка работников нью-йоркского метро. (Оно тогда было частным. Плата за проезд составляла 50-60 центов. Зарабатывал я $3.75 в час.) Мне пришлось остаться дома, потому как от «Самовара» в Бруклин можно было добраться только на метро. Другого пути я не знал, да и не очень хотел знать.

По этой причине я шлялся по магазину и невольно получал уроки, «как нужно торговаться с клиентом». Уроки давал хозяин Гриша: «Я вам скажу так: торговаться при покупке товара и при продаже его – это две большие разницы». Этот урок я запомнил на всю жизнь, но применять его в своей практике мне почти не довелось.

Какой-то старик принес на продажу совершенно разбитые дым-

ковские игрушки. Гриша отказался брать их даже за копейки. Старичок просил сделать одолжение, и я пообещал Грише, что склею статуэтки так, что не будет видно. Гриша согласился. Я приобрел необходимые для починки материалы и восстановил первоначальный вид козликов и петушков – не придерешься. С этого дня началась моя карьера реставратора в Соединенных Штатах.

Когда все битые, треснувшие, сломанные «матрешки», «хохлома», «гжель», «палех» были отремонтированы, хозяин предложил мне найти помощника и начать делать дымковскую игрушку прямо в магазине. Я должен был лепить, а помощник раскрашивать. Гриша дал объявление в газету «Новое русское слово». Его слово было услышано, и через несколько дней в дверь магазина зашла пара. Их лица показались мне знакомы. Тут же выяснилось: мы учились вместе в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Театральный режиссер Лева Шехтман и его жена Рина, художник-кукольник, закончили тот же институт несколькими годами раньше.

Лева как режиссер в производстве дымковской игрушки не пригодился, а вот Рина оказалась прекрасным художником-реставратором. Гриша обязался платить нам по часам, и мы с небывалым энтузиазмом принялись за изготовление дымковских цацек. Через два дня энтузиазм улетучился. Себестоимость изготовленной нами фигурки превышала стоимость оригинала в три-четыре раза. По бесчеловечным законам капитализма хозяин магазина, как говорят в Америке, «выключил рубильник», и предприятие закрылось еще до получения рабочими первой зарплаты. Мы с Риной потеряли работу, зато у нас остались краски и прочие материалы.

Тут в нашу судьбу буквально ворвался Борис М-ский, ленинградский бизнесмен, в свое время курировавший антиквариат в районе Невского и Пяти углов. В те далекие времена в СССР бизнесмены вроде Бориса проходили курс повышения квалификации в местах без особых удобств, к тому же огороженных колючей проволокой. Здесь же у Бориса был офис на Пятой авеню, куда он и нанял нас на работу.

Борис бегал по галереям, добывал антиквариат, а мы с Риной реставрировали его, постепенно оттачивая мастерство: я – по восстановлению потерянных частей, Рина – по их покраске. Она делала это так умело, что хозяин вещи не мог отличить, где начинаются и заканчиваются границы реставрации. Хотя нужно заметить, что по музейным канонам эта граница между оригинальной и отреставрированной частью должна быть четко видна.

Нашими клиентами были галерейщики и антикварные дилеры; и те, и другие стремились продать вещь как можно дороже. Значит, быть она должна состояния хорошего – без щербинок и трещинок.

Боря специализировался на фарфоре, и мы набивали руку на старых вазах и статуэтках Мейсена. Бизнес просуществовал месяца три, и мы с Риной ушли от Бориса, несмотря на его обаяние. Борис обладал артистической притягательностью и врожденным юмором. Например, после того, как наши пути разошлись, он остался должен нам деньги. При каждой случайной встрече, а промежутки между ними составляли годы, он отшучивался: «Не волнуйся, у меня, как в Швейцарском банке, – не пропадет и х... получишь».

ОСВОЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА

Подходил к концу восьмидесятый год. На очередных выборах победил наш человек – актер. Тем не менее мы грустили. Боря, хоть был и неидеальный босс, но все же добывал нам какую-то работу. У Рины – семья: семилетняя дочь, муж Лева, который старался жонглировать между подработками и театром. Я хоть и жил один, но питался как все – не святым духом, а приобретенными на заработанные деньги продуктами.

Ринин двоюродный брат работал в одной большой страховой компании. Он предложил мне прийти и заполнить анкету на должность страхового агента. Я купил себе черную рубашку, желтый галстук и отправился на интервью. Гарик заполнял на меня анкету, а я сидел и думал: «Мне придется уговаривать людей покупать страховки для ‘их блага’, когда на самом деле это для моего собственного блага – ну, и страховой компании». Эта мысль как-то не находила себе удобного места в моей голове. К тому же само слово «агент» было незримо связано с сокрытием того, кто ты есть на самом деле... К счастью, на работу в страховую компанию меня не взяли. Рубашка и галстук пригодились позже, но далеко не сразу.

Лева тогда ставил спектакль в маленьком кукольном театрике, принадлежавшем совершенно замечательной женщине – Лии Волос. В основе постановки лежала неизвестная мне сказка. Скорей всего, это была сказка одного из народов, проживающих на территории США. Сюжет ее прост: влюбленные друг в друга красавица-принцесса и юноша из бедной семьи пытаются узаконить свои отношения путем сочетания браком; препятствием на их пути становится турецкий паша, который похищает принцессу. Причем похищает ее неоднократно, потому как молодой любовник с неизменным постоянством освобождает суженую из лап любвеобильного турка. На роль Турка Лева подыскивал актера с опытом. Почему он выбрал меня, остается загадкой. Опыта в похищении чужих невест у меня никакого не было. Но я, конечно, согласился, и мы начали репетировать. Пьеса игралась на английском. Я очень старался и даже

пытался наделить своего героя турецким акцентом. Лева послушал и говорит:

– Знаешь, старик... не нажимай на акцент, он у тебя и так в самый раз.

Я играл турецкого пашу с русским акцентом – сначала в Нью-Йорке, на английском, потом в Мексике на международном фестивале кукольных театров – на испанском. Фестиваль проходил в столице Мексики в громадном зале, похожем на московский Дворец съездов. По-моему, спектакли игрались бесплатно, за счет правительства Мексики. Зал всегда был полон. Играть было сложно. Для кукольного спектакля не доставало камерности. К тому же в зале повсюду сидели молодые мексиканские мамаши и бесцеремонно кормили своих младенцев грудью. Но несмотря на все это, спектакли проходили хорошо. Публика реагировала аплодисментами на каждую шутку. Мексиканский профсоюз кукольников наградил меня званием «Почетного члена». О правах и обязанностях членства мне не известно до сих пор. Но почетное это звание ношу с гордостью.

Мексика произвела на меня сильное впечатление древними пирамидами, действующими вулканами, острой едой и прокоммунистической литературой, продающейся на каждом углу. Профили Ленина, Сталина, Троцкого и еще каких-то, мне не известных теоретиков и практиков этого движения, зияли на обложках брошюр. Так вот почему Троцкий спасался в Мексике! Бедняга не предполагал, что обилие марксистской литературы не исключает наличие ледорубов.

Вернувшись с фестиваля, где я быстро привык не думать о необходимости иметь крышу над головой и кусок хлеба, я решил, что пойду по галереям, попробую поискать работу там.

Нью-Йорк – всемирный центр торговли изящными предметами старины. Здесь в антикварных лавках вы по-настоящему могли узрить красоту резной китайской мебели, восточных ваз, немецкого фарфора, итальянской бронзовой скульптуры, австрийского стекла, русских ювелирных изделий работы самого Карла Фаберже. Все это корыстолюбивые и ловкие граждане европейских стран, спасаясь от революций, захватнических и освободительных войн, вывезли в Америку.

Многие из вещей, потрепанные переездом, требовали реставрации. Такую работу я и искал для себя.

В одной из громадных галерей на Пятой авеню меня встретил хозяин – то ли иранец, то ли сириец (тогда выходцы из этих стран преуспевали, благодаря приветливости и восточной деловитости).

– Вообще-то у меня есть постоянный реставратор – китаец, – заметил хозяин, – но он приболел, а у меня срочный заказ.

После слова «китаец» я, конечно, тут же сник. Кто же будет конкурировать с китайским реставратором! Хозяин вынес четыре скрепленные между собой терракотовые женские головки, шириной сантиметров семь. Головки, вне всякого сомнения, принадлежали греческим нимфам. Возраст их был не меньше пары тысяч лет. Хозяин, без тени иронии, заявил, что ему нужны потерянные части тела от плеч до ног. Я тоже не дрогнул и пообещал принести законченную работу завтра днем.

– Но, но, но! – улыбнулся хозяин. – Мастерская китайца здесь, на балкончике. Ты там найдешь все необходимое для работы.

Если кто бывал в американских лофтах на первых этажах, то знает, что потолки в них высокие и часто доходят до уровня потолков второго этажа. Поэтому ничего удивительного нет в том, что под потолком находился балкон. На него вела крутая чугунная лестница. Там стоял рабочий стол со всем необходимым для работы. С балкона обозревалась вся галерея. Оттуда казалось, что она завалена персидскими коврами, скульптурами, восточной мебелью и другой удивительной всячиной. На самом деле, это только казалось. Все находящееся в галерее было расставлено, положено и прислонено таким образом, что, куда бы ты ни бросил взгляд, обязательно натыкался на вещицу-другую, о которой невольно думал: «Ах! если бы были деньги...»

Терракотовые женские головки, скорей всего, принадлежали этрусскому мастеру. Мне уже виделось, как пальцы древнего скульптора ласково скользят по мокрому куску глины, извлекая из него изгиб шеи, плечики, грудь одной красавицы за другой. Сквозь складки прозрачной ткани обнажалась красота в своих классических формах. Именно она общедоступно была представлена в Ленинградских музеях, и именно она оставила неизгладимый след в моей юношеской памяти. По этому следу я и направился.

Еще в самом начале своей реставрационной карьеры я обнаружил в хозяйственном магазине эпоксидную глину. Податливая, как обычная, она быстро сохнет и через час превращается в камень. Я долепил утерянные тела этрусских девушек и спустился в галерею. Хозяин повертел статуэтку в руках:

– Хорошо, осталось покрасить.

– Покрасить?! – подумал я. Действительно, долепленная часть какая-то серая, совсем не терракотовая.

Здесь надо уточнить, что я – дальтоник. Обнаружилось это на призывном пункте во время прохождения медкомиссии. Врач листал перед моим носом книгу с цветными картинками и просил назвать, что на них изображено. Картинки состояли из цветных точек и напоминали работы импрессионистов. Я безошибочно называл изображения,

вплоть до седьмой страницы. Я запнулся на ней, не в силах определить что-либо, имеющее смысл. Тщетно доктор продолжал вертеть перед моими глазами загадочную страницу, – я не мог различить на ней изображение. Тогда он заявил:

– Не видишь зеленый цвет! Желтый видишь, красный видишь. А зеленый нет! Шофером тебе не быть.

«Ну да ладно, – подумал я. – И не собирался.»

Во-первых, в те времена профессия шофера по сложности приравнивалась мною к профессии космонавта. Во-вторых, в силу финансовых обстоятельств о собственной машине, как и о космическом корабле, даже мечтать не приходилось. Это в Америке у меня появилась машина, и на права я сдал без проблем. Наверное, тут они ничего не знают о существовании той самой книги с картинками из цветных точек.

Итак, я держал в руках серые тела этрусских девушек и размышлял. Дай мне лучшие краски на свете, самые дорогие колонковые кисточки, награди почетным званием «народный художник», – я все равно не смогу в точности подобрать нужный цвет. Рина может, но она в другом месте. И вдруг мне в голову пришла мысль...

С болью в сердце я отколол со спины одной из девушек кусок родной терракоты. Растер его в пыль и посыпал влажную поверхность долепленной части. Подсушил – и был таков.

Хозяин оценил мою работу в пятьдесят долларов и обещал позвонить.

Он сдержал слово, позвонил через день и предложил зайти за новой работой. По его голосу можно было предположить, что этрусские красавицы очаровали наивного покупателя не только своими головками, но и долепленной частью тела.

Хозяин вручил мне небольшую плоскую вазу, сантиметров двадцать в ширину, с узким невысоким горлышком. Ваза, скорей всего, была греческой – приблизительно в том же возрасте, что и терракотовые головки.

В наши дни действуют жесткие законы, запрещающие вывозить любые предметы старины из стран, в которых ведутся археологические раскопки. Наверное, такие законы существовали и тогда, но они просто не соблюдались.

И когда я держал в руках идеально сохранившуюся древнюю вазу, я трепетал от восторга. Хозяин указал на три щербинки на горлышке и попросил заделать. На этот раз он сказал, чтобы я взял вазу домой, так как китаец вышел на работу и на балконе нет места.

Вазу, завернутую в полотенце, я положил в сумку. Сумка была из тонкой синтетической ткани и походила, скорее, на мешок с тесемками

вместо ручек. Радостный, я выскочил на улицу. Работы с вазой было на двадцать минут, а платил галерейщик сорок долларов. Не успел я сделать и ста шагов, как какой-то прохожий слегка зацепил мою сумку, тесемки соскочили с плеча – и она шлепнулась на тротуар. Я замер. Сумка тоже лежала неподвижно. Наличие внутри того самого драгоценного предмета старины формально никак не подтверждалось.

Это был наш первый серьезный заказ. Именно он проложил путь нашей карьере реставраторов: мне – на следующие два года, а Рине – по сей день. Как тут не поверить в примету, что разбитый фарфор – на удачу. Но тогда эта мысль не приходила в голову. Я осторожно поднял сумку и сам, разбитый, побрел домой. Высыпав на стол содержимое сумки, мы с Риной в ужасе уставились на осколки. Судьба подкинула нам серьезное испытание...

К концу дня удалось склеить все осколки. На столе осталась только горстка пыли. На просвет получилось что-то вроде резной китайской вазы.

Волшебная эпоксидная глина! Она крепкой хваткой сцепила осколки и заполнила промежутки между ними. Следующие два дня Рина потратила на сокрытие следов моей неосторожности.

Галерейщик провел пальцем по узкому краю горлышка, одобрительно улыбнулся и полез в карман за наличными. Горлышко было настолько узким, что случайно заглянуть вовнутрь вазы было невозможно; чтобы обнаружить там необработанные швы, необходим был повод и фонарик.

Согласен, то, что мы сотворили, – подделка. Но прошу принять во внимание: ваза была найдена случайно, на каком-то из греческих островов; если бы ее не откопали, человечество не узнало бы о ее существовании, а это все равно, что ее нет! Затем вазу продали, нелегально вывезли и нелегально ввезли, перепродавали десятки раз... Так что вина лежит не только на нас. Мы – маленький осколочек-пылинка в длинной цепи незаконных и неэтичных поступков людей, промышляющих антиквариатом.

Если бы обнаружилась подделка, наша эмигрантская судьба могла пойти совсем по другому руслу. Мы бы голодали, а потом мне пришлось бы стать страховым агентом. Я бы разбогател, возможно, и провел бы свои старческие дни на Мальдивах в компании... страшно подумать кого.

Но галерейщик не обнаружил подделку. С ним установились дружеские отношения, он рекомендовал нас как достойных реставраторов другим дилерам. Благодаря им наша реставрационная мастерская быстро встала на ноги.

Среди клиентов были любопытные личности. Скажем, некто

Лея, девушка с крупной грудью и тонкой талией. Несмотря на женственность фигуры, черты лица выдавали ее мужское начало, определенное еще в утробе матери.

Лея была девушка добрая, мы подружились. Она специализировалась на фарфоровой скульптуре компании Мейсон. Несмотря на то, что в восемнадцатом веке Мейсон считался самым крепким фарфором в мире, к концу двадцатого у многих статуэток уже были отбиты пальцы, руки, ноги, а иногда снесены и потеряны головы. Эти недостающие части мне и приходилось долепливать, а Рине раскрашивать и придавать им фарфоровый блеск.

Примерно через год мы закрыли свою домашнюю мастерскую. Нас пригласил на постоянную работу хозяин галереи мистер Розенберг. Галерея находилась в самом центре Манхэттена, на пятьдесят седьмой улице, между Лексингтон и Третьей авеню. Не понимаю как, но мистеру Розенбергу удавалось покупать и продавать греческие и римские бюсты двухтысячелетней давности, которые до этого я видел только в музеях. Поступали они в галерею с завидным постоянством. То ли в римской империи каждый гражданин был обязан иметь в своем доме бюст цезаря или сенатора, – и легионы ваятелей рабским трудом создавали сотни мраморных портретов вождей, то ли кто-то из предприимчивых одесситов на «нью-йоркской Молдаванке или Арнаутской» с помощью скульпторов-эмигрантов тиражировал старину... Нет, пожалуй в этом случае мистер Розенберг заказывал бы сразу с носами.

Сначала нам никак не удавалось придать долепленному уху или носу мраморный блеск. По старинке мы задували их краской – под цвет мрамора. Матовые или лакированные, они все равно отличались от оригинала. Я попробовал присыпать еще сырые носы сахарным песком, – и на них тут же появился нужный блеск. В скором времени мы так поднаторели в этом ремесле, что дай нам Венеру Милосскую – мы и ей такие бы руки прилепили!

Нашествие мраморных бюстов не прекращалось, и хозяин открыл новую галерею. Галерея была в Калифорнии, в курортном городке, – там, где богатые пенсионеры ищут юных красавиц из Восточной Европы. В тот городок и направлялись «чудом» сохранившие свою первозданность античные бюсты.

Однажды утром нас встретил смеющийся мистер Розенберг.

– В калифорнийской галерее случился пожар, – объявил он, продолжая хохотать.

Кто радуется пожару? – спросите вы. Радуется тот, кому страховая компания возместит ущерб.

Мистер Розенберг хохотал над тем, что долепленные нами носы

и уши от высокой температуры расплавились и превратились в леденцы. Мы виновато подхихикали. С тех пор я зауважал мистера Розенберга за то, что он, смеясь, прощался с утраченным имуществом.

И все-таки я оставил реставрационный бизнес. За небольшую ренту переселился в пустую квартиру хозяйки кукольного театра. Занялся подработками в кино и постановками в небольших драматических театрах. С января восемьдесят второго начался следующий этап моей жизни.

ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ

Когда я только приехал в Нью-Йорк, то был искренне удивлен, что «еврей», по мнению коренных жителей, – это не национальность, а вероисповедание. То, что в Союзе называлось гражданством, в США – национальность. Иными словами, я, как человек не религиозный, был уже не еврей. Нет, постойте! Когда мальчишкой мне приходилось участвовать в дворовой драке, меня били за то, что был я «жидом», – вовсе не имея ввиду мое вероисповедание. Начальники отделов советских кадров, заглянув в мою трудовую книжку, морщились, читая графу «национальность», – и сверяли квоты. О соседях по коммуналке и говорить не приходится... А одна из одноклассниц в девятом призналась, что хочет выйти за еврея – потому что «евреи не пьют»... Бедная, она совсем не знала евреев.

Я и подумал, что надо бы сходить в местную синагогу и разобраться.

Года за два до переезда в Америку я впервые побывал в синагоге. Это было в Ленинграде. Я слышал, что по праздникам там поют солисты Мариинского театра (за большие деньги). Какой студент откажет себе в удовольствии послушать лучшие оперные голоса на дармовщину? Да и не мешало бы ощутить себя, наконец, частью еврейского народа. Религиозных позывов я не испытывал. Верующего еврея видел только на карикатурах.

Не помню, что за праздник, но синагога была набита народом. Со мной ради интереса пошел мой друг А. Его – смуглого, с бородой – больше принимали за еврея, чем меня. К нему подходили мужики с еще бóльшими бородами и задавали вопросы, на которые мог ответить только завсегдатай синагоги. Мы потолкались с полчасика в толпе у входа и, выяснив, что никаких солистов не предвидится, отправились по домам. Не могу сказать, что я тогда обнаружил в себе внутреннюю связь с религией предков, – ничего, кроме любопытства, я не испытывал. Вернувшись на Театральную площадь, я вскочил в тринадцатый трамвай, который повез меня домой, на проспект Газа. Трамвай проходил мимо той самой синагоги. Рядом стоял какой-то

человек в штатском, совершенно трезвый. Наклонившись к окну, он внимательно разглядывал толпившихся на тротуаре верующих. Вдруг, распрямившись, произнес:

– Собрать бы этих жидов всех вместе и выкинуть из страны разом!

По моей грудной клетке пробежал холодок. Я стоял, перепуганный, и думал: «Может быть, я и не религиозный еврей, но если этому человеку выпадет право выписывать ‘путевки’ в газовую камеру, он церемонится не будет». В этот момент я почувствовал себя евреем как никогда раньше.

Второй мой визит в синагогу состоялся приблизительно через три года и двадцать минут. Двадцать минут требовалось, чтобы дойти от «Самовара» до синагоги Янг Израэль («Молодой Израиль») на шестнадцатой улице. По какой-то причине в Америке не называют синагоги именами святых; все проще: «Центральная синагога», «Пятой авеню», часто – с добавлением «Израиль». Скажем, «Beth Israel» – «Дом Израиля». Это имя носит не только синагога, но и самый большой госпиталь Нью-Йорка, в котором практикуют врачи всех известных конфессий.

В синагоге «Янг Израэль» меня встретили с энтузиазмом. Вручили Тору на русском и усадили на скамью рядом с каким-то подростком. Я обратил внимание, что все присутствующие одеты празднично: мужчины – в костюмах, на женщинах – неброские, элегантные платья. На подростке тоже был костюм и галстук. И только я был в потертой курточке и поношенных брюках. Мой юный сосед раскрыл Тору на нужной странице и ткнул в нее пальцем. Я погрузился в чтение. На «трибуне» (только так тогда я мог назвать это возвышение) раввин читал на древнееврейском. Какие-то части текста присутствующие громко повторяли за ним. Я же, не издавая звуков, открывал рот, пытаясь попасть в такт. У российских певцов это называется «петь под фанеру». Где-то к полудню служба закончилась, и раввин объявил на английском, мол, в нашем полку прибыло! Прошу любить и жаловать! На слове «любить» прихожане, как потом выяснилось, люди обеспеченные – врачи, адвокаты и бизнесмены, – окружили меня, подхватили под руки и усадили на стул. Затем, прямо на стуле, подняли над головами и устроили вокруг меня хоровод. Они кружились и с искренней радостью подбрасывали меня к потолку. Такой прием растопил бы самое холодное сердце самого убежденного атеиста!

С этого дня я регулярно, по субботам, посещал синагогу. Со мной знакомились, приглашали к себе в дом на субботние обеды, интересовались моей жизнью в СССР, предлагали помощь, в том числе и в изучении языка. В основном это были люди с эмигрантски-

ми корнями. Если ты американский еврей, живущий в Нью-Йорке, пусть даже во втором или третьем поколении, тебе с детства случалось слышать идиш, польский, русский, украинский или какой-нибудь другой восточноевропейский язык. Ну, а память всегда хранит бабушкино лицо и ее настойчивую просьбу: «кушай», «еще одну ложечку – последнюю». Ах, этот куриный бульон! А разве можно забыть хриплый голос деда, сидящего в кресле напротив телевизора с зажатой между пальцев сигаретой.

– Во что вытворяет этот «Крущев»!

И в адрес генерального секретаря сыпались проклятия на английском, подкрепленные словечками из того самого смешного и непонятного языка, на котором дед разговаривал с бабушкой.

Среди моих новых знакомых оказался молодой адвокат Мэл Розен. Мэл был старше меня на два года, но успел завидно разбогатеть. Я же, как и положено беженцу, – гол как сокол. У Мэла новая жена была балериной. Мэл увлекался фотографией, он показывал мне свои работы и я, насколько позволял мне мой английский, высказывал свои соображения. Когда-то выдающийся Иоселиани заметил, что кино – это «движущаяся фотография». Раз так, то значит и в фотографии я что-то понимаю.

Жили молодожены (молодоженами в Америке называют всех новобрачных, независимо от того, в какой раз они совершают обряд обручения) на Десятой стрит, между Пятой и Шестой авеню, в собственном доме. Да! Мэл только что купил этот четырехэтажный «браунстоун» в одном из лучших районов города, в двух шагах от Вашингтон-Сквера. Кроме спальни на втором этаже и кухни, обставленных необходимой мебелью, дом был абсолютно пуст. Лифта тоже не было, поэтому на четвертый этаж приходилось подниматься по деревянной скрипучей лестнице.

Жена-балерина была прима Аргентинского и солистка Лондонского балетов; она танцевала с Нуриевым, Плисецкой и другими балетными звездами. Лилиана Бельфиоре... Ее родители – чехи; спасаясь от ужасов Первой мировой войны, они эмигрировали в Аргентину. Лилиана гордилась своими европейскими корнями и както призналась мне, что знает одно русское слово.

– Когда к нам в Буэнос Айрес приехал балетмейстер из Большого театра, – застенчиво начала Лилиана, – он часто на репетиции повторял одно слово: «ху-о»...

Лилиана была, что называется, девушка-огонь! На ее красивом славянском лице горели глаза таким пламенем страсти, что бедный Мэл был готов тут же раскошелиться, не спрашивая: «А зачем это тебе?» – и Лилиана не стеснялась пользоваться своими чарами.

Рассчитывая на мой опыт реставратора, они брали меня с собой в антикварные магазины как консультанта по старинной мебели и всякой другой всячины, которая могла бы украсить семейное гнездышко.

Если вы окажетесь на южной стороне Десятой стрит, между Пятой и Шестой авеню, то в ста метрах от Пятой, на уровне первого этажа, увидите два витража. Они красуются по обе стороны ступенек, ведущих к входной двери. На одном витраже изображена лилия (в честь Лилианы), на другом – роза (от фамилии Мэла – Розен). Настолько горд своей любовью был Мэл, что заказал эти витражи!

Все шло замечательно. Дом приобрел антикварный уют. Повсюду звучала классическая музыка. Мэл и Лилиана часто устраивали вечеринки, на которых кроме меня появлялись художники, артисты и, конечно, балетные танцовщики.

Однажды Мэл спросил меня, не знаю ли я русского композитора, который напишет балет для Лилианы. У меня был такой знакомый, талантливый музыкант из Ленинградской филармонии – Володя Шалыт. Я их свел. Балет написать очень трудно, поэтому Володя, не стесняясь, попросил за работу двадцать тысяч. По тем временам это были большие деньги. Договорились, что Мэл будет платить по частям, по мере написания актов. Мы обсудили сюжет, и Володя, получив первый взнос, принялся «композировать».

Каждую неделю мы собирались в репетиционном зале, куда Володя приносил только что созданный, «из-под клавишей», кусок будущего балета. Лилиана осваивала музыку – пробовала различные «релеве». Мэл высказывал свои пожелания, выписывал Володе аванс на следующую часть, после чего мы расходились по своим делам до следующей недели. Так продолжалось с месяц. Володя уже получил значительную часть от общей суммы, но постановка дальше, чем port de bras (правильное прохождение рук с наклоном головы), не двигалась. То ли нужен был настоящий хореограф, то ли мы все занимались не своим делом. Мэл заявил, что не собирается платить больше ни цента, пока «производство» не сдвинется с места. Все переговоры между Мэлом и Володей велись через меня, так как последний посвящал все свободное время написанию балета и на английский у него не оставалось ни времени, ни желания. Мэл просто считал, что обойдется и без русского. Мне пришлось быть в роле гонца, приносившего плохие новости обеим сторонам. Узнав от меня, что ему замораживают плату, Володя решил, что это мои проделки, и больше не выходил на связь. Мэл, в свою очередь, очевидно заподозрил меня в сговоре с соотечественником. Проект развалился. Наши отношения охладели.

Мы не виделись с полгода. Вдруг он позвонил. Я только что закончил постановку «Графа Нулина» в La Mama (в то время

популярном экспериментальном театре Нью-Йорка). Спектакль шел на английском, и я пригласил Мэла. Не подозревал я тогда, что Пушкин больно тронет его не успевшую зажить душевную рану. Помните заключительную часть поэмы? –

Когда коляска ускакала,
Жена все мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам. <...>
Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет.
Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.

После спектакля мы зашли в какое-то питейное заведение, где он рассказал мне, что произошло с ним за то время, пока мы не виделись. Может быть, эта история обыденна, но меня она потрясла.

Лилиану пригласили в Буэнос-Айрес для участия в новой балетной постановке. Мэл отправился с ней. На месте они решили, что хорошо бы иметь в Буэнос-Айресе постоянное жилье, а не ютиться в квартире матери Лилианы.

Покупать – так покупать дом! В скором времени в богатом районе подходящий дом был найден и куплен. Молодой паре грезились перспективы радужной и комфортной жизни, и они купили первым делом кровать. Комфорт с одной кроватью в доме – не комфорт. На следующий день Мэл отправился на поиск мебели, которая могла бы достойно украсить дом балерины с мировым именем. Лилиана доверяла вкусу мужа и осталась дома. Она выросла в небогатой рабочей семье и о таком жилье могла только мечтать. Теперь же было самое время насладиться осуществившейся мечтой в одиночестве. Лилиана порхала в «бризе» (маленький прыжок с продвижением вперед или назад) из одной пустой комнаты в другую... Впрочем, это мои предположения.

Счастливый муж выбрал все необходимое и, заказав доставку, отправился домой.

Приоткрыв входную дверь, Мэл тут же почувствовал сладкий запах сигарет.

– Опять закурила, – расстроился он и, сняв туфли, тихонько,

чтобы застать проказницу в момент нарушения данного слова, поднялся по лестнице на террасу второго этажа, где находилась спальня. Как только его голова поравнялась с уровнем пола, он увидел голую ногу сидящего на кровати мужчины. Женская рука утомленно гладила его по колену.

Когда на следующий день привезли мебель, в доме уже никого не было. Мэл снял номер в гостинице, а Лилиана уехала к маме. Мебель увезли обратно в магазин, а с ней и надежду на то, что все устроится, и жизнь пойдет своим чередом.

У жизни своя очередность. Владелец колена оказался владельцем ведущих в Аргентине газет и журналов, а значит, – дум и надежд политической элиты страны. Дуэли среди еврейских мужей всегда были непопулярны. Мэл и Лилиана развелись. Как бывает часто, за семейным крахом следует финансовый. Дом пришлось продать. Для быстроты цена была значительно занижена. После очередного наводнения техасское предприятие Мэла погрузилось под воду так глубоко, что восстановить его не было никакой возможности. Страховые выплаты были мизерными; Мэл потерял больше двух миллионов долларов. Мой друг был раздавлен, стерт, перемолот, разжалован жизнью до пятнадцатилетнего подростка, впервые познавшего безответную любовь.

Мы с ним больше не виделись. От этой истории остались те витражи на Десятой улице Манхэттена, между Пятой и Шестой авеню. Каждый раз, случайно оказавшись возле дома Мэла и Лилианы, я ненадолго замираю у тех витражей с изображением лилии и розы. Мне видятся за светящимися окнами силуэты гостей, слышатся их голоса, смех и вальс Штрауса. Меж силуэтов гостей порхает балерина, за ней с обожанием следит Мэл. Где-то там, в толпе, затерялась и моя тень «нового американца», познающего Нью-Йорк молодого советского эмигранта середины восьмидесятых прошлого века.

Банально ! А разве наша жизнь не состоит из банальностей? Из поколения в поколение они повторяются и наполняют жизнь страстями. Сколько их еще предстоит пережить?

2016

Наталья Крофтс

О НАС

В порыве, в огне и в пылу безотчетно сметая
налаженный быт, превратив его в жаркую небыль,
взорвется накопленной страстью вулкан Кракатау –
и ринется в небо.

Под рокот и грохот, в горячке искрясь от каленья,
он рад как ребенок свободе от уз и уступов.
И долго еще будут волны голубить колени
обугленных трупов.

А после – уляжется буря, и, дни коротая,
спокойное море разнежится, пепел размочит.
Но жадно потянется к небу Дитя Кракатау.
Пока еще – молча.

АНУБИС ЕДЕТ В ОТПУСК

Он ждет и ждет. А их все нет и нет.
Он потирает лапки и зевает.
И время, у порога в кабинет
жужжавшее так зло, заболевает –
завравшись и зарвавшись – застывает
безмозглой мухой, влипшей в аллингит.

Анубис дремлет. Наконец, шаги –
нетвердые. И робкий стук. И скрип
тяжелой двери. «Здравствуйте, голубчик.
Входите», – зверь листает манускрипт.

А посетитель, немощный старик,
бледнеет, разглядев его получше, –
сидит шакал, чудовище, посредник
страны загробной, мук на много лет.
И жалкий, грязный, тощий как скелет,
старик тоскливо шепчет:
«Я – последний».

На радостях шакал вильнет хвостом –
«Дописан каталог – вся желчь и сплетни,

людские дрязги, вой тысячелетний...
Какой, однако, препротивный том –
подробная и тщательная опись.
...А вам, голубчик, в третий каземат,
там ждет вас белозубая Амат».

Закроет опус.
И уедет в отпуск
на опустевший Крит – гонять котов,
искать волчицу на руинах Рима...
В наряде из несорванных цветов
земля прекрасна и необозрима.
Ни войн, ни смут, ни жертвенных костров.
До новых рас. До новых катастроф.

* * *

Отраженье гор на воде – впритык
к отраженью туч. Ухожу за край.
Погоди. Остаться бы. Я привык
говорить себе: «Поиграй».

Ты играй, не бойся, что будет час –
леденящий миг на краю зари –
незнакомый голос прошепчет: «Раз...»
Ближе: «Два»... И потом –
«Замри».

Я замру. Надолго. На сотни лет.
Накренится небо, прольет кагор.
Остаются – вечность. Мой хрупкий след.
Отраженье туч. Отраженье гор.

* * *

Кровью грудь небесная багрянится –
скоро ночь. И тьма – в который раз.
Радость, как ворованные пряники
прячу прочь от завидущих глаз.

Воет выпь. Сквозь шум и околесицу
воет век, беснуясь на цепи,

задыхаясь, бормоча нелестное.
Жизнь моя, как винтовая лестница,
крутится, шатается, скрипит.

Ничего. Я ночь переиначиваю:
прочь от новостей и скоростей,
суеты да толп, живущих начерно.
Говорите, тьма нам предназначена?
Улыбнусь. И позову гостей.

Гости всё – синички да соловушки,
рады в эту ночь найти приют.
Пусть они просты, птицеголовые,
но зато – послушай, как поют!

Радость раскрошу, гостей попотчую,
дом украшу – мак да первоцвет –
песни запишу неровным подчерком.
Пусть пичуги прыгают по полочкам.
Громче пойте! И придет рассвет.

ВЕДЬМА

«Ты не ведьма ли? – шептал
в омут ноченьки. –
Рысья, бесья красота –
с червоточинкой.
То – змеей в моих руках,
то ты – призраком,
птицей дикой в облаках,
раскапризною,
то ж – не тронешься с колен
перед папертью...
Улетаешь на метле?
Ну и скатертью!»

Мне бы взвыть да лечь костьми,
мне б вымаливать:
«Приюти меня, прими –
явь ли, марево.
Отогрей да пожалей –
жить под тучами

средь скитальцев-журавлей
я измучилась».

Да не клонится глава –
и не молится;
хоть права, хоть не права –
за околицу,
да в закатный неуют
апельсиновый...
Что ж мне в сердце не забьют
кол осиновый?

СИЦИЛИЙСКОЕ

Между столиков траттории,
развлекая оплывших фей,
распевает «Аве, Мария»
постаревший больной Орфей.

Пар почтительно встал над мокко,
да сирокко несет трофей –
дань Магриба, пески Марокко –
чтобы их осенил Орфей.

Словно в сказке, со всей Катании
собрались – не пройти в кафе –
почитатели: меж котами и
голубями поет Орфей.

Что же люди? Жует упрямо и
равнодушно вокруг народ.
Лишь – съедаема – рыба пряная
Восхищенно открыла рот.

* * *

Мы тихонечко сходим с ума.
Мы – всё дальше от света и неба.
В подворотни уходят дома.
Наша быль превращается в небыль.
Вьюга хлещет – озлобленно, остро.
Коктебель. Уже кажется – остров.

И на нем робинзонствует Макс.
Мы тихонечко сходим с ума.
Озверевший, удушливый мат.
Или пат. Патология мести.
Открутите назад циферблат.
Год – тринадцатый. Мы еще вместе.
Так смешны и беззубы доктрины.
Жив Сережа, смеется Марина
и антично божественен Макс.
Бухта. Сочная южная тьма.
Коктебель. Не сойти бы с ума.

Мы забудем. Умрем и воскреснем –
через век, чтобы утром воскресным
вдруг увидеть знакомый маяк,
свой когда-то утраченный остов.

Сингапур. Полусказочный остров.
И на нем робинзонствую я.

Австралия

Александр Бараш

Время первых дождей

ПЕРЕЛЕТ

Еще 50 лет назад это были корабли, как на рубеже новой эры.
Последние несколько десятилетий – самолеты.
Но они приближаются к берегам Святой Земли – тоже со стороны моря.
И есть ощущение перехода: от одной стихии к другой.

Самолет из Рима, на котором я прилетел в Израиль,
приземлился ночью. Духота и влажность,
семейственность и простота нравов. У таксиста,
везущего в гостиницу, вместо салфеток – рулон туалетной бумаги.
Ночной портье, похожий на сапожника-ассирийца
в московской подворотне, – угостил крепким кофе.

Вошел в номер, принял душ, но все равно словно блин в масле.
За окном – море, чернота и прозрачность, глубокие, как обморок.
Это мой новый дом, на песке, в буквальном смысле.
Жесткий, будто волна, если к ней не повернуться боком.
Что это уходит из-под ног? А, это прошлое. Золотое детство
в шапке-ушанке под латунным небом. О'к, всему свое время.
Для того, чтобы выжить, – сто́ит умереть, и потом воскреснуть, если
это, конечно, получится. Хочется верить.

Как потом выяснилось, в этот день на шоссе под Иерусалимом
террорист повернул руль пассажирского автобуса в пропасть.
Но я узнал об этом только через несколько месяцев,
когда начал читать газеты и слушать новости –
Какая связь
между приземлением самолета с сотней репатриантов,
мной в том числе, – и терактом? Похоже, закон сохранения энергии,
в данный момент, в данном месте. Смерти нет, а «просто»
переселение душ. Если ведешь себя хорошо, окажется,
что это – репатриация.

* * *

Голова в полосе отлива. Воздух сед и скрипит, как кровать.
Расскажи мне, Иосиф Флавий, об умении выживать

Слева пальма, а справа ибискус. Небосвод – сухой водосток
Это выход – по кругу и наискось переход из стекла в песок

Я свидетель почти бесплатно, но никак не пойму в чем здесь суть
Объясни мне, Иосиф Флавий, как слепить прозрачный сосуд

Золотому уменью все бросить и в другом измереньи собрать
Научи, хитроумный Иосиф, – фарисейству не умирать

Новый день – как пакет для мусора чист бесцветен и пуст пока
Слева пальма, а справа ибискус. Голова затекла как рука

КАСТЕЛЬ

1

Каждый день, забирая сына из детского сада,
я вез его в ближайший парк на склоне горы Кастель,
на своем древнем «Пежо», блекло-голубом,
как выцветшие глазки старушки из дома напротив.
Время от времени она встречалась на улице:
сидит на каменной оградке под кряжистой фигой
и в ответ на детский «шалом»
выдает прохожему ребенку
горстку орешков, леденцов и тянучек
из целлофанового мешочка.
Он это принимал как естественный
порядок вещей, вроде как с дерева упало.
Правда, когда-то и мне в Москве году в 1964
у метро «Павелецкая» один пьяный дядечка
тоже купил мороженое,
до сих пор помню – пломбир.

2

Парк на месте легендарного боя
за стратегическую высоту во время Войны за Независимость
(история в жанре «300 спартанцев», но с героями «Одесских рассказов»
и бюджетом «Белого солнца пустыни»).
Здесь всегда висели сторожевые крепости на подъезде к Иерусалиму,
и сейчас над изгибом долины, с обзором на юг и на север,
на своем аутентичном месте – сидит, как железобетонный пес,
дот времен Британского мандата в полной боевой готовности:
свежая краска, запах смазки.

Но пока
из-под шкуры политики не вылез череп истории
и очередная война не подвела черту под прежней жизнью,
давай собирать камни и шишки,
бегать наперегонки до ближайшей мусорной урны,
карабкаться по камням на верхнюю детскую площадку,
а потом, сидя на валуне в тени под эвкалиптом, –
пить воду из одной бутылочки
и тихо обсуждать твое будущее и мое детство.

3

Сколько мы проковыляли вдвоем,
после яслей, детского сада, после школы,
один с камнями и палками, другой с сигаретой в зубах,
в Кастеле, Эйн-Кереме, в соснах под Театроном...
Гравий детских площадок, усыпанный листвой вязов,
высохшие стебли пальм – гигантские рыбьи скелеты,
варраны, шуршащие в пакетах из-под чипсов,
вороны, протестующие против холода в 40-градусную жару
(«кар» – значит «холодно» на иврите). И это длилось годами.
Осень сменялась весной. Лето выжигало травы
и нагревало воду в питьевых фонтанчиках.
Потом опять приходила осень – время первых дождей,
где-то в октябре, после Нового Года...
На самом деле перманентное лето прерывалось на время
сезоном дождей, как терпенье слезами.
И мы брели через время, пока оно текло в нас.
Один – маленький – впереди. Второй – взрослый – следом.
С одинаковым видом капризной сосредоточенности
на потоке самоотдельных бессвязных мыслей.

Иерусалим

Александр Верник

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

I

Я лишь затем, чтоб суметь облечь
себя с тобою в скупую речь,
нет, не в слова, а в голос.
Так только и можно к утру сберечь
ночное свечение тусклых плеч,
не реснице моей твой волос.

Я так хотел, чтобы ты поняла,
что все обстоятельства жизни, дела
скучны, как уроки в школе.
Счастливый город живет у реки,
в нем мы с тобою ученики
науки любви и боли.

II

Ты спишь давно, а я давно не сплю,
но эта прорва времени меж нами
мне не препятствует во сне сказать «люблю»,
а если не во сне, то между снами.

Глагол огня, глагол воды и сна,
глагол-безделка, но с такою силой,
что насмерть влет последняя весна.
А ты из сна: «Спокойной ночи, милый».

РЕФЛЕКСИЯ

Геннадию Беззубову

Страх мой, срам мой стал невелик,
однако и раньше он чукчей был,
декабрь песком обложил язык,
а он тебя не любил.

Ночью стреляют что эти, что те,
привычно скучно диктор юлит,

я раздражен, а в темноте
скалится пес, скулит.

Надо бы действие остановить,
надо бы деток попридержать,
рифмой глагольной на выстрел завыть,
руки разжать...

* * *

Елене Игнатовой

Бессмысленна полночная слеза.
Дурак поет: «Не сыпь мне соль на рану».
И некого винить, в конце концов.
Скажи мне кто двенадцать лет назад,
что вдруг по-басурмански трекать стану, –
я рассмеялся б шутнику в лицо.

И то сказать, из прошлого таращить
на будущее зенки – в черный ящик –
восторг и страх, томление души!
И пусть пока милее день вчерашний
(я жил тогда), мне ничего не страшно,
и «камни в серьгах так же хороши».

Дурак поет, заходится, блажит
и в горни выси за собою тащит.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Олегу и Алене с любовью

Я живу так, как меня несет,
поднимаю слово, что плохо лежит.
Мне известно – никто не спасет,
даже если красный зверек мимо не пробежит.

А если и спасется кто,
какой-никакой:
– Вишь ты, жить захотел, –
какой-никакой спасется

и вернется домой,
он не помнит домашних дел,
и домашний кот
не узнает и отвернется, не улыбнется.

И отвалит он, куда глаза не глядят
(никуда не глядят),
точно зомби какой,
будто долбаный голем из Праги.
А умеет что? – Сочинять лексикон щенят,
оставляя значки на закапанной чаем бумаге.

А куда он пойдет? – он чужой, и креста на нем нет,
он захочет на остров, где вереск на красном граните, –
лишь минувшего след. А над Ладогой дождик и свет.
Ничего не сумеет. А вы все равно не гоните.

Потому что не время надежд, потому что закончилось время,
и рассвет упырем обратился в последний закат.
Остаются печаль и тепло – только памяти дивное бремя
прежних лет,
уходящих разумно назад.

ЧИТАЯ САШУ СОКОЛОВА

...Просто не хочу разговаривать!
Из диалога

Мне снится странный понедельник:
я ничего не понимаю
и не служу. Живу без денег,
пыль с одуванчиков сдуваю.

Мне разговаривать не надо,
вокруг стоят деревья сада.

А на моем печальном свете,
где запад посрамлен востоком,
никто не думает о лете,
не помышляет о высоком,

а жарят рыбу-пристипому,
а мучают собак и кошек

и ненавидят насекомых,
летящих на светло окошек.

Проснусь. Пойму, что так негоже.
Уйду гулять над речкой Уды.
И буду жить. Мне Бог поможет.
А разговаривать не буду.

БУКВАРЬ

Кате Капович

Голоса все еще нет,
а молчать о чем – не знаю.
Лексикон слепых щенят,
спотыкаясь, сочиняю.

Знать, такие времена
наступили, правый Боже,
что усталая страна
нелюбимой быть не может,

что домашнее зверье,
шлюхи, стукачи, кликуши
заставляют про свое
думать, плакать, верить, слушать.

Немудренный мой словарь
в эпилепсии корежит.
Тварь дрожащая – букварь.
Научи словам, мой Боже!

Научи меня скорей
под последнюю сурдинку
для зверей и для людей
сочинить букварь в картинках.

Иерусалим

Дана Голина

ПРЕВРАЩЕНИЕ В КАМЕНЬ

Сначала исподволь, потом – изволь, возьми! –
вбок беглый взгляд и беличье обличье...
а он не терпит никакой возни,
не привечает белок, кормит дичью
свою собаку-зверя, сам же ест
сучки сухие, горькие орехи;
в естественном отборе выбор средств –
не самоцель. Сметая все помехи,
он неподвластен влаге и любви –
избавлен от коробящих коррозий
и волен веки опустив, как Вий,
торжествовать в своей метаморфозе.

2014

* * *

Сиренево-серый, рисованный полдень
на мир, как на лист акварельной бумаги,
штрихом нанесен, намечая раскол, тень
тучи разбив на молекулы влаги

и света подтеки, раскол откровенный,
пусть сдержанный жестом пружинящей ветви,
меж небом, готовым открыть свои вены,
и городом, так не желающим жертвы!

Не смея сорваться, навзрыд вызревая,
набухшие капли грозят тротуара
порядку и сухости, сеть дождевая
туманит пространства стеклянную тару,

а дождь не идет, но всей тяжестью слоя
набрякшего давит земные пределы
и, озверевая, я капли застоя
притягиваю намагниченным телом,

поняв, что беда моя, смыслом наивным
совпав с колебаньем лилового тона,
шкалу перевесит и сбывшимся ливнем
обрушится на безучастность бетона.

2010

* * *

Все расставлено по местам,
на круги своя речь вернулась;
каждый волен за скобки сам
выносить своих плеч сутулость,

своих дум непосильность, снов
непонятность и невозможность
с кем бы то ни было ремесло
разделить, и, как гриб на ложность,

проверяется на язык
слова подлинность, мухомором
чуть горчит, огорчив, ярлык –
жест с натяжкой, любовь с зазором...

Все как должно, как повелось
с сотворения парных тварей:
силой прихоти – на износ,
чтоб потом, засушив – в гербарий:

как на простынях, на сукне
жадной памяти, анонима
разложив, чтоб булавкой к ней
приколоть: «не незаменима»...

2010

ОТПОВЕДЬ

Ни к чему убиваться и бить в набат,
ничего не случилось, что не должно,
просто привод у ржавой судьбы ножной –
нажимай на педаль и крути назад;

зарывайся в резон, закрывайся, ведь
за безумие не выдают призов,
кроме глаз, расширяющихся на зов,
как у юных распутниц и старых ведьм.

С зеркалами не всем удается трюк
и не каждому маяться поделом,
выкупай свое зренье козырным злом,
выпуская крапленую кость из рук;

не любому сподручен подвижный горб –
искривленью пространства вторящий хрящ:
ни домашний халат, ни факирский плащ
не сидят, а в конце не вмещает гроб;

уноси свои ноги, спасай свой ум
от вторжения логике чуждых чар,
предназначенность начисто развенчав
и порыв, как взрывчатку, запрятав в трюм.

2012

* * *

Как пленка засвеченный день, день в казну пустоты
и праздности, день проясненья догадок невнятных;
я праздники раньше справляла, держала посты
и данное слово, теперь отмечаю лишь пятна

размытого света, и сдавленный тон тишины,
скопившейся в выемках дня, как вода дождевая;
любое вмешательство в мысль – шарлатанство; смешны
родных притязанья на жизнь, что в уме доживаю,

свернувшись в уме же ежом, и понятно ежу,
что дел не осталось на свете достойных вниманья,
с которым я за разрастанием света слежу
рассветной, сырой, но уже провороненной ранью,

и нет среди самых любимых людей никого,
кто, став неотъемлемой частью меня, был мне ближе
вживлённой в кору симбионтом тоски вековой –
в ее микроскопе лишь контуры света и вижу.

2013, *Нью-Йорк*

Евгений Брейдо

Долг

Приказы были отданы самые ясные, только никто не понимал, что будет дальше. Офицеры перешептывались, солдаты радовались открыто, и чувствовалось по всему, что пойдет все совсем не так, как приказано.

Слухи ходили разные. Говорили, что Австрия заключит союз с Наполеоном, что царю надоели Бурбоны и Россия больше не будет воевать с Францией, что император пошлет своих дипломатов на Венский конгресс. Все как-то разом встрепенулись, загалдели, – в основном, конечно, армейские. Словно не было десяти лет непрерывной войны и тяжких поражений. Удивительная вещь – слава. А еще говорили, что Ней обещал королю привезти Наполеона в железной клетке. Глупость, конечно, но очень похоже на «храбрейшего из храбрых».

На сабле египетского паши, которую ему когда-то подарил первый консул в самом начале знакомства, было выгравировано арабской вязью: «Кто думает о последствиях, тот никогда не бывает смелым». Пламенный маршал особенно и не думал, его дело было водить в атаку батальоны, прорывать вражеские каре. Думал за него император. Он вообще за всех думал. И получалось так здорово, что дух захватывало, – пока императору везло. А когда перестало, пламенный маршал сам попробовал думать. Нда-а. Кончилось это хуже некуда. Хотя сказать он и не такое мог в экстазе. Только никто все равно не верил, что князь Москворецкий пойдет против императора. Рыжий полнеющий герой, увешанный орденами так, что не видно было, какого цвета под ними мундир, что он значил без Наполеона?! Его подвиги, титулы, слава, самый звук его воинственного имени принадлежат Империи. А с кем идти? Разве хоть один солдат или капрал поднимет оружие против Него?! Так что какая разница, что он там кому сказал.

Под Греноблем полк Анри перешел на сторону императора. Ну, так говорилось. Пустая фраза. На какой еще стороне мог быть полк, дравшийся под Маренго, Аустерлицем и Фридландом, пробившийся с Неем сквозь русские снега и казачьи сабли в отчаянном гибельном ледовом походе от Смоленска до Орши?! Полк, который Он сам водил под Люценом в атаку.

Просто император вернулся. И можно тут же забыть о жирном короле, его глупом братце и этих странных десяти месяцах. Будто и не было их никогда.

Впрочем, офицерам с белыми лилиями дали уйти – не 93-й. Даже если бы кому-то и захотелось вскинуть вслед карабин, – ясно было, что Он не одобрит. Все возбужденно и радостно нашивали трехцветные кокарды и присматривались заново к начальникам. Предали-то они, а не лилии. Не было в армии никаких других полков, кроме его собственных!

Они торопились встретиться с ним, как не торопились к своим матерям, возлюбленным. Старались догнать его, одновременно с ним войти в город. Но где там! Кто мог сравниться с ним в скорости! Они подходили к Греноблю, а он был на два перехода впереди, они снова без устали мчались вперед, а он уже входил в Лион. Страна забурлила, пришла в движение, батальоны маршировали через всю страну, чтобы только увидеть его.

Заголовки газет не успевали меняться:

«Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан.»

«Людоед идет к Грассу.»

«Узурпатор вошел в Гренобль.»

«Бонапарт занял Лион.»

«Наполеон приближается к Фонтенбло.»

«Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже.»

Пожалуй, Наполеону было за что презирать газетчиков.

На цоколе Вандомской колонны появился большой рукописный плакат: «Наполеон — Людовику XVIII. Король, брат мой, не посылайте мне больше солдат, их у меня достаточно».

Власть Бурбонов рухнула.

В 9 часов вечера 20 марта 1815 года император вступил в Париж.

Никогда город не встречал его так. Несметная толпа с оглушительными воплями бежала за каретой. Другая ждала у дворца. Карета остановилась. Под ликующие крики императора по главной лестнице внесли на второй этаж. Счастливые парижане оставались в Тюильри почти всю ночь. После самых фантастических побед и невероятных походов Париж не удостаивал его такого триумфа. Но победы, может быть, не такие громкие, одерживали и другие, однако никогда и нигде не случалось, чтобы безоружный человек, за 19 дней пройдя от бухты Жуан до Парижа, без всякой борьбы завоевал страну. Этот новый Наполеон хотел только мира, но все понимали, что принес он войну.

Полковник Анри де Труа был в кавалерийском эскорте, который император взял с собой, и теперь искал во дворце какое-нибудь

место, чтобы немного поспать. От Лиона они шли почти без передышки. Даже его привыкшее к походам худое жилистое тело требовало отдыха. Только императору он был не нужен – на своей половине дворца Наполеон уже формировал правительство и диктовал новые законы. Правда, позаботился и об офицерах – адъютант Его величества быстро и умело распределял комнаты, оставленные восторженными парижанами, – благо, помещение было знакомым.

Анри растянулся на постели в одной из маленьких боковых комнат – в Тюильри в них жила прислуга – и мгновенно заснул. Был он чуть выше среднего роста, по-прежнему силен, гибок и строен, несмотря на сорок с небольшим, и серые глаза с длинными ресницами смотрели спокойно и внимательно из-под гривы когда-то темных, а теперь уже полуседых волос. В движеньях не казался быстрым, зато они были скупы и точны. Он был ленив ленью человека бывалого: жизнь научила делать только то, чего нельзя не сделать. Анри служил, скорее, по многовековой семейной инерции, чем по призванию. Оттого, наверное, и оставался полковником; у Наполеона маршалами становились в тридцать пять. Бурбонам присягнул потому, что обещали уволить в отставку с полным пенсионом после полугодовой службы. Иначе платили только половину прежнего жалованья, Анри же, несмотря на почти тысячелетнее дворянство, был небогат, и золотой дождь императорских милостей тоже обошел его стороной. Наконец все формальности были соблюдены, отставка принята – и тут вернулся император.

Воевал Анри непрерывно с восемьсот пятого года, был в русском походе, и войны ему было достаточно. До сих пор не мог понять, как не замерз под Смоленском, тихо засыпая у костра возле своей палатки. Ему снилось что-то нежное, ласковое, – Ив, он гладит ее темные волнистые волосы, шелковые пряди рассыпаются под его ладонью. Разбудил адъютант маршала Нея с приказом немедленно поднять полк: они уходили от русских. Анри командовал полком улан – блестящей праздничной кавалерией, любимцев императора, проносившихся от победы к победе по европейским полям. Под Бородином именно они заставили отступить левый фланг врага – им командовал героический Багратион. Сейчас у него в полку не было ни одной лошади. Некоторые сохраняли седла, как хранят вещи умерших детей, – чтобы лелеять горести, а не надежду. Они шли, обросшие бородами, замотанные в какое-то трепье, голодные и растерянные, и от цыганского табора, помимо отсутствия предприимчивой жезнерадостности, отличались только недавно приобретенным уменьем строиться в каре, отражая атаки вражеской кавалерии. Сами они кавалерией больше не были.

– Мы пришли сюда всех победить, как всегда, – говорил он другу Бертрану, командиру первого эскадрона. Да какие там эскадроны, они бы не потянули и на пехотную роту. – Посмотри на нас.

– Если мы каким-то чудом отсюда выберемся, – вторил ему Бертран, громогласный рыжий великан из Прованса, – император уже не сможет на нас рассчитывать, мы больше не пушечное мясо.

Почему-то им было очень весело от этой мысли.

Сын богатого виноторговца, от природы веселый, отважный и беспечный, Бертран стал в этом походе угрюмым и раздражительным. Он по-прежнему бросался в каждую схватку, но вместо веселого молодечества глаза его сверкали злобной яростью. Эта ярость их и спасла.

У моста через Березину сбилось множество повозок, экипажей, солдат разных частей. Пробиться сквозь них не было никакой возможности, а проклятые казаки уже гарцевали на берегу. Вдруг брошенная кем-то из врагов граната пробила дорогу среди приникшей к земле толпы. Анри с Бертраном и еще несколько человек из бывших улан, перешагивая через лежащих, стали пробираться к мосту, но столкнулись с десятком таких же пеших вюртембергских гусар. Оборванные голодные гусары, видимо, пытались удержать подступ к мосту в ожидании своих товарищей, которые волокли издалека какую-то еду. Может, они и пропустили бы улан, но шедший впереди Бертран не собирался вступать в переговоры. Великан просто подхватил под мышки двоих, отшвырнул в разные стороны, грудью сбил третьего, и в образовавшийся проход цепочкой двинулись Анри и горстка его солдат.

Они перешли последними; от летавших вокруг гранат мост вспыхнул и вскоре обрушился. С другого берега Анри видел, как казаки или калмыки (такая же сволочь) рубили несчастных гусар, пытавшихся сдаться в плен. Казаки пленных не брали. И он не испытал тогда никакого стыда – только радость, что они с Бертраном не были на их месте. В смертельной опасности, увы, нет сочувствия к ближнему. Они выжили в русском походе! Под Дрезденом Бертрана разорвало ядром. А он теперь во сне и наяву видел тот мост и гусар, погибающих под казацкими саблями.

Анри де Труа был потомком рода куда более древнего и знаменитого, чем род французских королей. Среди его предков были трубадуры, рыцари, владетельные князья и даже знаменитый Блондель де Нель, менестрель Ричарда Львиное Сердце. Одна из правнучек де Неля вышла замуж за маркиза де Труа. Поскольку род де Нелей пресекся в мужском потомстве, де Труа испросили у короля разрешение добавить их имя к своему родовому имени, а заодно и арфа с башма-

ками перекочевали с герба де Нелей на герб маркизов де Труа. Арфа напоминала, что менестрель нашел короля Ричарда, томившегося в германском плену, по сирвенте, которую они когда-то вместе сочинили. А башмаки – о том, что де Нель два года ходил по Германии в поисках Львиного Сердца. Анри с детства привык сверять с Блонделем свои поступки. Никто не знал, как выглядел де Нель, поэтому маленький Анри воображал себя на него похожим. Нет, Блондель точно не одобрил бы того, как обошлись они с вюртембергскими гусарами, несмотря на весь ужас русского похода.

«Бывало и Наполеон приказывал расстреливать пленных в Египте, – думал Анри, ворочаясь как-то бессонной ночью в своей палатке. После гибели Бертрана ему часто снилось бог знает что, просыпался в холодном поту и больше не мог заснуть. – Вспоминал ли когда-нибудь об этом? Терзался ли? Вряд ли. Он бы сказал что-нибудь вроде: ‘На войне доблесть – лучшая из добродетелей’, – и навсегда забыл.» Анри представил себе довольного этой пышной фразой императора, невесело усмехнулся. Да, вполне в его духе. И ведь не поспоришь.

Бертран ошибся. Пришлось воевать еще два года, до полного разгрома, только уже в пехоте. Императору нужны были опытные офицеры, но лошадей осталось мало, а вырастить новых – куда дольше, чем набрать новых солдат. Лучшие конские заводы были в Пруссии, они их потеряли почти сразу, собственно, вместе с самой Пруссией. Французы принесли в Германию дух свободы, и немцы, едва вкусив его, тут же восстали против освободителей. Что, конечно, не бывает иначе.

Разгром и крушение империи оглушили Анри, как и всех, но, кажется, впервые у него были дом и семья. Ив была рядом, маленькая, нежная и страстная; искорки в ее черных, с загибающимися бархатными ресницами, блестящих и влажных глазах вспыхивали, как звездочки на небе, а от поцелуев на его губах долго потом блуждала дурацкая счастливая улыбка. И дети, которых он почти не видел среди беспрерывных походов, десятилетний крепыш Андре и крошечная Луиза, теперь с радостными криками бросались к нему каждый вечер. Анри не любил Людовика XVIII, он был неумным, недалеким и справиться со случайно свалившимся наследством никак не мог. Но король сделал для него то, чего не мог великий и всемогущий император, – вернул свободу. И вот теперь события последних 19-ти дней грозили перевернуть его жизнь.

Что же делать? Остаться в полку, подать теперь уже Наполеону прошение об отставке, пока война еще не началась? В том, что она

начнется со дня на день, нет никаких сомнений. Дальше ничего хорошего уже не будет, все хорошее только что произошло, остались кровь и беда, чем бы ни кончилось.

Анри, как тигр, метался по маленькому кабинету – два шага от кресла к столу, три от стола к стене и назад. Очень хотелось что-нибудь швырнуть на пол, разбить вдребезги, но ничего не было подходящего. Не было и гнева, только мучительная невозможность сделать выбор. Анри был тем, кто зовется «человек чести», он точно знал, что следует делать согласно неписаному кодексу рыцарства, и поступал именно так, как полагалось.

Сейчас впервые живое чувство жизни и властный зов долга разошлись в нем, а привычка слепо повиноваться долгу мешала вырваться из клетки, в которую сам себя загнал.

«Почему нужно снова идти воевать?! Сколько можно войны? На нас никто не нападал, пока не вернулся император. Союзники угрожают только ему. Какое мне до этого дело?.. Но я связал себя с этим человеком, связал чем-то, что сильнее законов. Чем? Да, узами долга. Они священны. Всегда долг! А что такое честь? Почему долг только перед Наполеоном, – а как же Ив, дети, я сам, наконец? Разве нет у человека долга перед собой?!

Но ведь это позор, что хочется просто остаться дома! Как может быть, что Ив и семейный уют важнее чести?! Не слишком ли дорого ценю я свою жизнь?

Де Нель тоже был в Крестовом походе. И он, наверное, тоже устал воевать. Да, но он не воевал 10 лет без передышки. А может, дело просто в том, что де Нель любил Ричарда? А я? Мои предки девятьсот лет служили королям. Они не думали о том, что такое долг. Они знали. Что сказал бы Нель о моих терзаниях? Да он бы просто счел меня трусом.

Нет, я, пожалуй, все еще храбрый человек. Это легко проверить. И даже, думаю, честный. Но какой смысл лгать себе? Я не воин, не великий маршал Ней, от подвигов давно устал и не алчу военной славы. Хлебнул ее досыта. И ведь, в сущности, ничего не изменится, останется ли император или вернется толстый нелепый Людовик. Тем, кто скупал церковные земли, может и не повезти, но у нас ничего нет, кроме полковничьего жалованья. Ив тоже никогда не была богата. С императором не придет ни покой, ни процветанье, хотя ему искренне кажется иначе. Одна нескончаемая война. Правда, там он творит чудеса...»

Переворот 18 брюмера был избавлением. После полной безнадеги Директории, бессмысленных решений, жлобства, тупости и воровства блистательный Первый консул, овеянный славой итальянских

побед, правительство из одних талантов (как же быстро они его покидают!), кодекс Наполеона, Маренго и долгожданный мир – что могло быть желанней и лучше! Он пошел служить гражданину Бонапарту со всей душой. Так хотелось поверить в Новый Рим, Царство разума, доблести и чести! А слава ведь была самая настоящая!

Первый консул был античным героем, они все болели Наполеоном. Империю перенесли легко. Пусть Бонапарт будет, кем хочет, если ему так нужно. Тем более, что англичане снова начали войну. И грянул Аустерлиц! Как же было тогда не служить! И кому служить, если не этому великому воину! В кампанию восемьсот первого года был в армии Моро, а в следующую в корпусе Ланна штурмовал Праценские высоты. Кто бы мог подумать тогда, что эти бегущие русские толпы устроят им потом двенадцатый год!

Когда же это кончилось? Наверное, в ту австрийскую кампанию восемьсот девятого. Тогда тоже была победа, только уже не такая. Но дело не в этом. Что-то надломилось. Люди не верили, как раньше. И это не только усталость от бесконечных походов, хоть и она тоже, конечно. Наполеон больше не был прежним. С гвардейцами он еще оставался маленьким капралом, «стригунком», как они его ласково звали, потому что был коротко стрижен. Для всех остальных – непогрешимый и непобедимый Император, памятник собственному величию. И все вокруг изменилось. Слишком много полицейских, фискалов, приказов, врагов. Поражения в Испании. Нет больше ни газет, ни салонов, ни шуток над властью. И никто не верил, что война когда-нибудь кончится.

Когда настал 14-й год, все стало даже проще. Нужно было драться за себя и страну. Армия сражалась, император продолжал побеждать, но что-то случилось с генералами, с новым имперским дворянством. Измена стала эпидемией, она была повсюду. Предавали маршалы, депутаты, слуги. Верный мамелюк Рустам, спавший под дверью императорской спальни с египетского похода, говорят, просто ушел и не вернулся. Так же поступил маршал Бертье. Сановники хотели наслаждаться богатством и миром. Наполеон им мешал.

Сейчас все иначе. Все дышит Наполеоном. И он безумно торопится – новая конституция, новые назначения, – а люди те же. Оборона у императора всегда одна – нападение. Армия вся, как натянутая струна. Она больше не потерпит измены. Император не принял даже Мюрата. Он, конечно, предатель, но воин, и ему нет равных, когда нужно прорвать вражеское каре. Армия одобрила, а Наполеон, наверное, потому и прогнал зятя, что не хотел ропота своих «ворчунов». С армией они всегда чувствовали друг друга так, как редкий мужчина чувствует любовницу.

Анри продолжал метаться.

Де Нель погиб через несколько лет после Ричарда, сражаясь за Ионна Безземельного, неблагодарное жестокое чудовище, а он был просто вассалом. Не любил его и не уважал, – никто не любил и не уважал Иоанна, – и ничем не был ему лично обязан. Не жизнь, а детская игра в «классики» с клетками из чести и долга.

Блондель не мог помочь своему потомку. Его считали павшим при штурме Шато-Гайара.

Полковник де Труа был, конечно, прав. Не было больше нужды в Империи. Наполеон – титан, создатель нового мира, но сам он в этом мире оказался лишним. Время подвигов прошло, пришло время обычных людей.

Через два дня Анри был неожиданно, без всяких с его стороны просьб переведен тем же чином в гвардию. Этой чести обычно добивались годами. Полковник был польщен и тронут. Нельзя сказать, чтобы сомнения оставили его, но он выступил в поход.

* * *

Блондель с Изабеллой уже четвертый год жили в небольшом замке Горд, подаренном королем Ричардом. Укутанный в облака, он стоял на отвесном уступе кривой рыжей скалы, издалека почти незаметном, и казался парящим в воздухе. Вокруг красные и жирно-коричневые пальцы скал вминались в густую голубизну неба. Сам замок был сложен из такого же охристого камня, другого не было в округе, и окружен черным сосновым бором, кое-где с неожиданно яркими зелеными пятнами елей и залысинами угловатых камней. Он состоял из крепостной стены с четырьмя башнями и донжоном внутри, построенными и укрепленными по последнему слову военной техники XII века. Единственная тропинка, извиваясь вдоль скалы, вела к замковым воротам. По ней мог шагом проехать один всадник или телега с провизией. Замок был абсолютно неприступен. Небольшой отряд мог обороняться в нем от целой неприятельской армии, и едва ли что-нибудь, кроме голода, было способно принудить защитников сдаться. Вид с замковой площадки открывался торжественный и остраненно инопланетный: повсюду глаз утыкался в кричащую охру, а плотный густой воздух был застенчиво-розового цвета.

Еще удивительней были хозяева замка. Придворная и светская, всегда в шуршащих новомодных платьях, грациозная быстроглазая Изабелла могла с одинаковой легкостью быть звездой большого шумного двора и хозяйкой маленького замка, где все общество состояло из мужа, двух старых друзей-труверов и десятка лучников. Это ее совершенно не тяготило, она с удовольствием играла роль госпожи в

своем маленьком мире. Что касается в одночасье поседевшего Блонделя, то после гибели Львиного Сердца он заперся в этом замке и не хотел показываться не только при дворе короля Иоанна, но и при веселом когда-то дворе вдовствующей королевы и Аквитанской герцогини Алиеноры. Правда теперь этот двор погрузился в несвойственный ему траур, поговаривали даже, что королева собирается провести остаток дней в монастыре. Это казалось невероятным всем, кто хоть чуть-чуть знал Алиенору, но было правдой. И дело вовсе не в том, что ей уже 78. После смерти любимого сына королева потеряла всякую волю к жизни.

В карете, меняя лошадей, где только удавалось, бывшая амазонка, проскакавшая когда-то с голой грудью пол-Палестины, домчалась до Лиможа. Король умер у нее на руках. Она вернулась к себе в Пуатье и больше ничего уже не хотела. Жизнь еще длилась, но вся была в прошлом.

Алиенора и в старости оставалась красавицей, лицо ее не увяло, а колдовского озорного шарма стало еще больше. Когда-то смех юной королевы рассыпался по всему дворцу мелкими колокольчиками, заразительный настолько, что начинали хохотать все вокруг, включая слуг и стражу. Теперь – тонкая всепонимающая улыбка из одних уголков губ, лучистый взгляд бездонных синих глаз, обволакивающий пленительный голос. Природная властность и приобретенная с годами привычка повелевать только усиливали магнетическое обаяние. Казалось, возраст не имеет к ней отношения.

Она побывала королевой Франции и Англии, пережила двух мужей-королей и двух сыновей-королей, теперь настало время третьего, единственного из ее детей, кого она не хотела бы видеть королем никогда. Иоанн не был воином, ему не досталось ни разума, ни доблести, которых с избытком было у Ричарда, но, что еще хуже, он был при этом хитрым, бессмысленно-жестоким и совершенно бесчестным. Алиенора видела все это очень ясно и слишком хорошо понимала, к каким последствиям могут привести столь восхитительные качества, если их не контролирует ум. Мать дрожала за сына, а многоопытная правительница чувствовала, что он погубит их славную Анжуйскую империю. То, что с легкостью могли нести Генрих, Ричард или она сама, непосильно для Иоанна. Больше всех на свете она любила Ричарда, наверное потому, что узнавала в нем себя, только в мужском обличии. Господь судил ей его хоронить, его пережить, она не возроптала, хоть это и выше человеческих сил, но видеть на троне Иоанна после такого короля! В своей маленькой келье она как последней милости молила Его скорее прислать за ней смерть, чтобы хоть не застать крушение того, на что ушла ее жизнь.

* * *

Блондель вырос при Пуатинском дворе, самом блестящем в тогдашней Европе. Нигде не было таких настоящих дам, рыцарей, знаменитых ученостью, а не одной только храбростью, и удивительного созвездия трубадуров. Турниры, состязания поэтов и музыкантов, теологические диспуты и всамделишные войны составляли жизнь этого двора, и все сколько-нибудь заметное в тогдашнем христианском мире стремилось попасть туда. Там Блондель познакомился с юным Ричардом.

Когда в замковую залу неудержимо стремительной властной походкой вошел огромный, перепоясанный мечом человек лет двадцати, нетерпеливыми движениями плеч на ходу сбрасывая плащ, Блондель не сомневался, что это и есть аквитанский герцог. Плащ мчались подхватить на лету двое слуг, но он не обратил на это внимания. Зато заметил Блонделя. Поскольку арфа у ног не оставляла сомнения в занятих молодого человека, герцог сразу обратился к нему:

– Как тебя зовут?

– Блондель.

– Ты приехал с де Борном?

– Да.

Ричард поморщился:

– Слишком своеволен твой Борн. Но он друг мне. Сколько тебе лет?

– Восемнадцать.

– Мечом владеешь или только арфой?

– Я был при осаде Лиможа и Экса. Спросите у де Борна, как я себя вел, да хоть у короля, Вашего отца, он посвятил меня в рыцари, – Блондель поклонился и тут же выпрямился, с юношеским вызовом глянув герцогу в глаза.

Ричард ответил веселым смехом. Он был влюблен в войну.

– Ну вот и славно, что приехал. Сегодня вечером покажешь мне свое искусство. Я тоже спою что-нибудь.

Пели они вечер и ночь напролет и следующий вечер и следующую ночь. Дружба началась внезапно и захватила обоих без остатка, как бывает только в юности. Ричард поселил Блонделя рядом со своими покоями. Новые друзья без конца разговаривали, пили вино и очень быстро стали сочинять вместе. Блондель подбирал мелодию, Ричард набрасывал слова, Блондель добавлял что-то свое, и сирвента рождалась на глазах:

Повсюду мир – а все ж со мною
Еще немножечко войны.

Тот да ослепнет, чьей виною
Мы будем с ней разлучены!*

Ричард Львиное Сердце был, наверное, идеальным рыцарем. Он обладал высшими доблестями рыцаря, всеми добродетелями рыцаря и всеми недостатками рыцаря. Голубоглазый блондин почти двухметрового роста в век коренастых кряжистых людей, способный кулаком свалить быка и усмирить готовых к мятежу баронов, галантный на балу и свирепый в сражении, один из знаменитых трубадуров эпохи, он был не просто рожден на троне, но и создан для трона. Хотя король любил войну куда больше, чем дела правления. И она вполне отвечала взаимностью. В борьбе с отцом и братьями он приобрел боевой опыт, так что трон не достался даром. Но в полную силу военный талант раскрылся в Крестовом походе. Каждый раз выходя из боя осыпанный стрелами, как еж, Ричард не проиграл ни одного сражения. В тот век не было равного ему полководца. Короля любили за великодушие и отвагу и служили как никому другому. Однако от зависти и подлости не застрахован никто.

После Крестового похода Ричарда захватил в плен Австрийский герцог. Долго никто не знал, где он. Почти два года Блондель бродил в поисках друга по всей Германии. И неизвестно, что бы вышло, если бы не сирвента. Пленный король пел на стене Дюрренштейнского замка:

Повсюду мир – а все ж со мною
Еще немножечко войны.
Тот да ослепнет, чьей виною
Мы будем с ней разлучены!

Их мир – не для меня,
С войной в союзе я,
Ей верю потому,
А больше – ничему.

Это была их сирвента, и, конечно, Блондель узнал голос Ричарда, а потом увидел его самого. Когда де Нель вернулся в Аквитанию с письмом от короля, Алиенора отправилась к императору. Она снова была той самой королевой, которая скакала верхом по пустыням Святой земли и держала баронов Аквитании и Англии в восхищении и страхе. Ричард вернулся – и оказался хорошим королем. Всего за четыре

* Сирвента Бертрана де Борна, перевод К. Иванова, см. историко-искусствоведческий веб-портал «Монсальват»: monsalvatworld.narod.ru.

года Англия стала еще могущественней, чем при Генрихе. А сколько бы он мог успеть, если бы не злополучный арбалетный болт при осаде Шалю-Шаброля.

Надрывный рев гарольда слышен был во всей округе. Мост опустили. Королевский посланник въехал в замок.

– Вам надлежит в течение недели прибыть под стены Шато-Гайара, который Его величеству угодно было осадить три дня назад, – скучным надменным голосом объявил королевский посол. Блондель не помнил, чтобы с ним так говорили. Правда, после смерти своего короля он редко выезжал из замка. Не был и на коронации Иоанна, отговорившись болезнью. И тот, видимо, сомневался в верности друга своего брата. Оттого посланцу и было сказано говорить таким тоном, словно де Нель уже чем-то провинился перед ним. Разодетый в пышные перья и позолоченные латы спесивый юнец раздражал Блонделя. В его время так не одевались и себя не вели, даже если было приказано. Он уже был наслышан о первых подвигах нового короля, как тот перерезал горло пятнадцатилетнему племяннику – сыну погибшего брата Джеффри, силой увез невесту у Лузиньяка, верного до тех пор вассала короны, – и не потому, что влюбился, а оттого, что захотел ее приданое. И ехать никуда не собирался.

Де Нель был хотя и пониже покойного короля, но на голову выше Иоаннова посланца и с удовольствием смотрел на него сверху вниз. Он был в свои сорок грозным воином, сильным и гибким, как хищный зверь. В серых, с длинными ресницами, внезапно темневших его глазах сейчас читалась откровенная угроза. Небольшие холеные руки, привыкшие перебирать струны и ласкать нежную женскую кожу, отлично умели обращаться с мечом. Но ему не за что и незачем было воевать.

– Передай королю Иоанну, – сказал Блондель, медленно произнося слова, так что каждое из них звучало отдельно и долго еще звенело, как монета, отскакивая от пола и стен большой замковой залы, – что я верно служил королю Генриху, его отцу, он был славным королем и посвятил меня в рыцари; я служил Ричарду Львиное Сердце, который удостоил меня своей дружбой, он стал бы великим королем, если бы не случайная смерть. Однако никогда не было на свете рыцаря благороднее, даже своего несчастного убийцу король велел отпустить. Но Иоанну, уже запятнавшему себя злодеяниями, я не приносил оммажа и служить не стану.

– Понимаешь ли ты, что говоришь, рыцарь?! – воскликнул посланник. – Ты вассал и должен служить сюзерену, несмотря ни на что. Не твое дело судить королей. Твой двоюродный брат Гийом де Нель уже стоит под Шато-Гайаром со своим отрядом, и другие фран-

цузские рыцари тоже. Король расправится с врагами, придет сюда и сроет твой замок! Опомнись и вспомни свой долг!

– Я все сказал тебе. Брат мой волен поступать по своей воле, а я по своей. Я не боюсь Иоанна. Ты видел этот замок. Как думаешь, скоро ли королевские войска возьмут его штурмом? Запасов продовольствия у меня на полгода, и я могу их еще увеличить. За это время не одна Нормандия, а Пуату, Прованс, Овернь и Лимузен загорятся войной против вас. Да и английские бароны долго ли будут верны Иоанну?! Не уверен. Теперь ступай и не трать лишних слов. В моем замке нет для тебя ни еды, ни ночлега.

Шато-Гайяр так и не был взят войсками Иоанна. Гийом де Нель погиб при штурме крепости, но поскольку путаница при описании битв и других важных событий неизбежна, в хронике похода было записано, что погиб Блондель. Король Иоанн вскоре потерял большую часть французских владений, оставленных ему предками, и английские бароны отказались последовать за ним на континент, чтобы вернуть их. Зато заставили короля подписать Великую хартию вольностей, но это совсем другая история. Вскоре король умер, и по мнению многих, это было лучшее, что он сделал для страны. Ни английские, ни французские короли больше никогда не называли своих детей Иоаннами.

* * *

Битва при Ватерлоо не начиналась долго, до полудня. Словно шла какая-то возня, суета в канцелярии вечности, что-то решалось, согласовывалось, пересылались с этажа на этаж бумаги, сновали озабоченные клерки, в папки подшивались последние листки. А сам Сценарист все еще размышлял, стоит ли вмешиваться в постановку великой драмы.

Полк Анри стоял в резерве. Мрачные, недовольные бездействием гвардейцы видели первую атаку французской пехоты на Угумон и контратаку британских кирасир, мимо них проскакали бригады Фарине и Тревера, которых Наполеон бросил на англичан.

Время тянулось невыносимо, изматывающе медленно. Анри стоял в группе генералов, Лефевр-Денуэтт показывал куда-то за холм – там видна была колонна в темных мундирах, только никак не получалось разглядеть, были они черные – прусские, или французские – синие. Но она еще далеко. В любом случае пара часов у императора есть.

И вот он – миг. Сигнал к атаке. Впереди Ней с перекошенным лицом. Потом он уходит куда-то вбок, его сменяет Мийо. Анри вел свой полк. Они шли медленной рысью, словно не было английской батареи. Обернулся к своим, искры засверкали в серых глазах, его

уже захватила придурковатая лихость атаки: «Выше головы, картечь – не дерьмо!» Слева на рыжей лошади скачет полковой адъютант Жерар, добродушный хвастун, он чем-то напоминает ему Бертрана, сзади на серой пожилой ветеран – майор гвардии, кажется, все повидавший на своем веку. Вечером они разговорились об Испании – Анри там не был, а гвардеец не был в России. Он угрюмо вспоминал про Сьерра-Леоне, Анри молча слушал. Пожалуй, одно другого стоило. Но сейчас там, за английскими каре, была победа! Уже галопом они взлетели на холм, готовые обрушиться на англичан всей накопленной яростью, – это был пик атаки. Виват император!

Вдруг на полном скаку лошадь Анри сорвалась в овраг – перед сражением его не заметили. Он стал могилой не только полка Анри, а всей бригады. Эскадрон за эскадроном, овраг наполнялся телами людей и лошадей, пока оставшиеся не перешли его по трупам. Они доскакали до английских каре и были встречены пушечным и ружейным огнем. Мощь атаки иссякла в овраге. Эскадроны потеснили врага, но не прорвали каре. И вторая атака захлебнулась, как первая.

Анри не видел этого. Он только видел, как огромное серое лошадиное брюхо, заканчивающееся гвардейским майором, рушится на него, почувствовал резкую боль и уже отстраненно заметил, как неестественно выгибается собственное тело. Какое-то время он видел вокруг темноту, пока кровь не хлынула изо рта. Дети, Ив, император – ничего этого он не вспомнил. Оторванная нога Бертрана медленно проплывала перед глазами. Потом ничего не было.

Бостон

Ара Мусаян

Капли на стекле

миниатюры

* * *

Статистики обнаруживают увеличение в 2015 году валовой продажи книг во Франции, а странно, в этом же году открываю для себя Эрика Шевийяра, Эммануэль Ришар, Антуана Мутона, от которых явно веет нечто новое, свежее в обескровленной, казалось, эти последние полстолетия французской литературе...

А на днях, в поисках не помню чего, на самой верхней – подпотолочной – полке библиотеки с англо-американской литературой отбираю Фенимора Купера, никогда не читанного (тут же, после предисловия – отстраненного), и Лоренса Стерна, которого на сей раз безоговорочно принимаю и – втягиваюсь... Монтень, Рабле – что-то кровно французское в фоне (мать, как у Керуака...), спасающее от пресловутого пост-шекспировского «британского юмора»...

В эти же дни в книжном приложении «Мир книг» газеты «Монд» попадаю на рецензию и тут же заказываю «нижнему» книжному (в наши дни – редкая привилегия: иметь у себя под ногами книжную лавку!) «Le Tutu» («Пачка», с цветастым балеруном на обложке) некоей вымышленной Принцессы Сафо, Париж, 1891, с подзаголовком «Нравы конца века», впервые изданную, как узнаем из предисловия, неким Леоном Женонсо, как-никак, одним из самых первых издателей Лотреамона, Рембо и другой политически опасной литературы, бесследно исчезнувшим (политическое убийство?) не известно ни когда, ни где, ни при каких обстоятельствах... «Изданную», а таки в продажу в последнюю минуту поступить не успевшую (бегство в Бельгию от кредиторов и полиции), и лишь недавно кем-то «выкопанную» и переизданную издательством «Тристрам» (о, Шенди!..). Некая сжатая пародия на сумасбродное детище Стерна – в контексте французской «Прекрасной эпохи».

Несколько дней спустя у того же «нижнего» приобретаю Сибиль Гремберг «Avant les singes» («Еще до обезьян») – с эпиграфом из Льюиса Кэрролла и уймой реминисценций из моего нового кумира: странно-стерновские треугольные совпадения, которых не отверг бы и сам Борхес...

* * *

Спутник – то ли Юпитера, то ли Нептуна – который, согласно последним астрономическим наблюдениям, разгорячается, возбуждается при прохождении в непосредственной близи от планеты, – так мои тексты разгораются неожиданным светом при соседстве с иными текстами-планетами – на полках моей библиотеки.

* * *

«Одни и те же причины имеют одни и те же следствия»

.....

«Изначально находясь под влиянием Сэмуэла Беккета, Лидия Дэвис не отрицает и влияния Кафки, Мишо, Франсиса Понжа, не забывая Роберта Вальзера, с которым она разделяет повествовательную экономию и пронзительность мысли.» – Нахожу в Википедии о писательнице, о которой узнал сегодня из рецензии Э. Шевийяра в «Монде»:

«Проза иных писателей, исключительно романистов, подчиняется исключительно повествовательной логике, и все свое совершенство проявляет лишь в разработке интриги: нужна такая мельница для производства их муки. Поражаемся, читая переписку или какой-нибудь побочный текст порой весьма небесталанных романистов, как мало остается от их ‘гения’ вне рамок этой формы, как тускнеет и утрачивает оригинальность их стиль. А есть писатели, которые только и делают, что пишут, и они неспособны составить даже самое простое административное письмо, не примешав туда невпопад свой стиль. Пытаются – чаще всего безуспешно – как-то его нейтрализовать. Роман им не всегда удается: форма сия подчиняется правилам экономии, а в науке они несведущи. Их публикации потому более хаотичны: фрагменты бесконечного текста, пишущегося изо дня в день, который закончится одновременно с их жизнью, когда ‘судорога писателя’ перенесется от кисти ко всему скелету.

А почему стиль должен обязательно питать мировую фабрику вымыслов? Если вообразить себе полчища романистов, занятых сию минуту судьбами своих героев и развитием своих интриг, то не получим ли мы картину самого изнурительного и неблагодарного фабричного труда? Тогда как все годится писателю, для которого письмо – образ жизни: лишь через письмо он в контакте и постигает действительность. Иные книги напоминают нам об этом, являя собой как бы электрокардиограмму автора. ‘Can’t and Won’t: Stories’ американки Лидии Дэвис – одна из таковых.

В сборнике насчитывается порядка ста тридцати текстов, в некоторых из них не более трех строк. Материал весьма неоднороден:

короткие рассказы, автобиографические отрывки, осколки прозы, фрагменты поэзии... Знакомимся с этой прекрасной умной головкой под разными углами, вплоть до спрятанного в ней сметливого мозга. Через письмо Лидия Дэвис лишь реагирует на ситуации жизни. Ее книга-мешанина – построенная согласно такой логике – следует, в конечном счете, гораздо менее 'прихотливой' логике, чем роман.

'Есть рыбу одной' или 'Звук воды, стекающей в отверстие умывальника: Дворжак'.

Ей нравится позиция наблюдателя, хоть и не без горечи она замечает, что ее присутствие в мире излишне, что все было бы, как есть, и без нее: 'Не было такой уж необходимости в моем существовании'.

Легко сказать! Без нее все то, что нам открывает ее глаз и с чего снимает покрывало рука, так и осталось бы до конца в безызвестности»...

* * *

Есть что-то в корне незавершенное («незавершимое»?) у Вальзера (на что намекал уже Кафка)...

Дюрер / Рембрандт – «облако в штанах»!

Интересный контраст с его японским современником – Сосеки: общая, как у их общего кумира Достоевского, кротость – о, Неточка Незванова! – чуть ли не самоуничижение, но без клинической, как обнаружилось у Вальзера, шизофрении (для большей ясности предлагаю французское произношение «скизо-френия», где греческое «ск» хорошо выражает момент среза – разрыва с действительностью – раскола в сознании).

А ведь вдохновитель целой плеяды более чем оригиналов: самого Кафки, Блехера, Шульце!..

* * *

Вечная проблема – уже у Апулея («вкрапление» в самой середине плутовского романа совершенно из другой области аллегорического эпизода Амура и Психеи), и ближе к нам, в «Дон Кихоте», в аллегорическую канву которого автор вводит автобиографические эпизоды (битва при Лепанто, плен в Алжире...).

Проблема единства литературного произведения, аналогичная тональности в живописи, музыке; но музыка – чистая форма, а в литературе есть одна трудность: в собственной «книге жизни» обойти молчанием что-то капитальное из собственной жизни?

* * *

Экономика – и прекрасное.

Два парадоксальных момента: красота – роскошь, настораживающая всякого рода завхозов, казначеев, бухгалтеров, а за счет экономии средств и достигают вершин выразительности…

* * *

Есть трудные писатели, а у французов «трудными» могут быть и читатели: строгая симметрия, равенство, как между партнерами в танце...

* * *

Русское «заходи, посидим». Как перевести:
– заходи, у меня дома два стула;
– заходи, поговорим (устроившись комфортно в креслах);
– заходи, перекусим (подразумевается – сидя за столом)?

* * *

Мое французское писательство: с концовкой, но без начала; русское – с началом, но уже без «конца».

* * *

In memoriam Henri Michaux.

Литература – искусственное расширение пространства в наших легких...

* * *

Шопен – первый случай художника, ущемленного в своем национальном достоинстве, что делает из него прецедент, примеру которого – в музыке особенно – последует целый ряд других ущемленных наций: чехи, венгры, финны...

Кончается век универсальных – Бахов, Моцартов, Бетховенов...

* * *

А еще Шопену вменяют постоянную смену едва наметившихся форм, систематическое выдвижение всякий раз новой формы – для очередной мазурки, ноктюрна, баркаролы, не говоря об этюдах, прелюдах, вальсах, скерцо и полонезах, – критикам и исполнителям помехой в их понимании того, что не создавалось ни для их, ни для чьего-либо «понимания»...

* * *

Интересна возможная связь между «лепкой» – искусство скульптора – и «лепотой»: указание языка на деятельность как необходимое условие эстетического наслаждения.

Красиво то, что сотворено – вылеплено нами же, а не «готовое» зрелище, скажем, ночного неба («возвышенное» Канта) или других природных красот (целиком исключенных Гегелем в своей «Эстетике»).

* * *

Очень с натяжкой – кинематографическая метафора художника: пронюханная продюсерами и потому в прокат допущенная лишь с искажениями (задним числом сегодня кое-как восстановленная) – изображение Орсоном Уэллсом самого себя под видом (правда, незаурядного) полисмена-сыщика.

Искусство – не в накоплении данных (улик) и построении из них произведения (обвинения), а в «нюхе» – мгновенном проникновении в суть дела, и далее – в развитии в процессуальной (о, Кафка!) художественной форме...

* * *

«Альгемайне Музикалише Цайтунг», 1817, о двух последних виолончельных сонатах Людвига ван Бетховена: «Затрудняемся постичь смысл этих творений, но верим, что они задуманы маэстро как необходимый этап к тому, что он готовит нам в будущем».

В этом же году композитор начинает работу над Девятой симфонией – своим «музыкальным завещанием».

* * *

Англ. «luckless» (вычитанное в буклете к «Лондонской симфонии» Вона Уильямса, трагическая тональность которой, в четвертой части, порой трактуется критиками как выражение симпатии композитора к бедствующему лондонскому пролетариату начала XX века) – неожиданно перекликающееся в моем сознании с русским корнем «лук», задействованным в словах «случай», «получиться»... Бедные – те, у кого что-то не получилось, сложилось «не так».

* * *

Вершина веризма в «Il Tabarro» («Плащ») Пуччини, когда муж – заметно старше моложавой жены, еще не до конца отрешившийся от ее ласк, но всецело отдавшийся делу своей жизни (Микеле – хозяин причала на Сене), после трогательного «выяснения отношений» и окончательного отказа в сердцах обзывает жену шлюхой: супружеская нежность на фоне половой одержимости, оправдывающей перед верховным судом искусства базарное ругательство...

Но что поражает в программе музыкального канала, преподнес-

шего мне сюрприз, – перед оперой Пуччини, Шенберга такая же одноактная и тематически близкая «Von heute auf morgen» («С сегодня на завтра»), где пожилые супруги борются с вечными соблазнами мира и высшим из них – любовной авантюрой. В обоих случаях, побеждают супруги, остающиеся верными данному обету. Микеле укладывает Луиджи, молодого докера; жена подходит к мужу сзади и в знак перемирия берет его за руку с истекающим еще в ней кровью ножом; занавес опускается, актеры стоят спиной к публике.

Но «верх» веризма уже в самой пьесе забытого Дидье Гольда, послужившей либретто: одинаково верно описана бедственность масс конца XIX – начала XX в Европе, весьма сравнимая с ситуацией будущих сталинских лагерей – с единственным «выходом» (еще тогда!) – не в вере, а уже в вине, и необоримая – праведная – сила буржуазии, пусть и в лице самой «мелкой» ее разновидности.

* * *

Сталинское «и на нашей улице будет праздник» – не реминисценция ли читанной когда-то в молодости «пугачевской» повести?

* * *

Соната «Арпеджионе» в исполнении Бриттена – вершина, недоступная «просто» исполнителю (Ростропович – на славу, лишь «аккомпанирует»).

.....

Японская флейта, корейская песнь про жаркий день, афганская песня красавицы в саду...

* * *

Разгадка гения: Спиноза, шлифуя оптические стекла, заодно заострял себе ум.

* * *

Неполноценно пользование языком, когда отсутствует этимологическое измерение: в меру дословное понимание слов.

* * *

Интересное слово «образ» – своим, как раз, образованием. То, что разово – единично, неповторимо; то – учит этимологический словарь – что получают резанием: выкроек в ткани, коже, бумаге...

* * *

«Гений» – недаром Кант признавал его лишь за художниками:

болезненная чувствительность к безобразию, предрасполагающая к искусству, музыке, заставляющая самим искать выход из положения...

* * *

Дон Жуан, а в зеркале уже – Фауст.

* * *

«Смерть в Венеции» (книга и фильм) – автобиографические прозрения двух неудачников, двух «самозванцев» – в собственных же, прозревших под занавес глазах!..

Тот самый случай, когда первые ступени ракеты сработали, а сорвалась последняя – и «плюхаемся», несмотря ни на какие Нобелевские премии и успехи у «критики» и «публики»...

И до конца все еще надеясь на отмену вынесенного себе самому приговора, автор вымысла хватается за щепку так кстати скончавшегося Малера, присовокупляя к своему жалкому замыслу имя, ни в какую не ладившееся с судьбой неудачника.

* * *

Трио Чайковского – интересное тем, что редко исполняют.

* * *

Когда мы пишем (например, Дебюсси – «Этюды»), в какой-то мере отрицаем все, кем-либо до нас написанное...

* * *

Лай кларнета в «Контрастах» Бартока с фортепианным и скрипичным аккомпанементом.

* * *

Самые никудышные, порой смехотворные, реплики, чаще всего в бездарных оперных либретто, от одного воплощения в голосах и игре исполнителей, заставляя забыть о субтитрах, мгновенно теряют всю свою карикатурность – достигая вершин выразительности.

* * *

Прогуливаясь по соседнему жилому кварталу: ощущение, логическая достоверность, что сюда не может, как вода в пустыне, просочиться никакой воришка, – столь относительно велика территория и бесчисленны «песчинки» коттеджей, особняков – нестандартных, каждый с собственной замысловатой архитектурой, черными ходами, сигнализацией...

И мысль о такой же необозримой читательской (слегка-таки «пустынной») территории, где может затеряться хилый поток моего «писания»...

* * *

Вычитал у Платонова, будто Пушкин жил с постоянной мыслью о смерти, – не случайной, не естественной, а «моцартовской» – со скрытым убеждением, что в какой-то момент кто-то обязательно захочет ему «насолить»...

* * *

Иные сокрушаются, имея уже за собой корпус бессмертных творений, что вот, мол, приходится уносить с собой в гроб все достигнутое, – знания, культуру, мастерство (Пруст); другие, еще не написав и первого произведения, уже бросаются в окно.

* * *

Если вы взялись читать всего Бальзака, всего Достоевского, всего Маркса, то, точно, уже ничего своего не напишете.

* * *

Жак Тати, с чем-то глубоко русским «от происхождения», всей душой борющийся против послевоенной американизации Франции, а уже за третий свой фильм (из шести), удостоившийся голливудского «Оскара»!

* * *

Вчера по телевизору – первые две части «Тетралогии»; накануне – два фильма Тати...

Есть ли что-либо общее между этими двумя феноменами, кроме гения?

Остатки романтизма у Вагнера, на что-то еще надеющегося; пессимизм, с единственной верой в себя и в искусство, – у отпрыска нации «светлого коммунистического будущего», случаем заброшенного в мир «вечного капиталистического настоящего».

* * *

Парсифаль: «И время обратилось в пространство».

* * *

Странно: как только слова попадают в заголовок – например, в «Цветах зла», тут же покрываются плесенью карикатурности...

* * *

Платоновская дихотомия идея / вещь, схоластические универсалии...

Наглядно разница может быть показана на примере часов (но тогда их еще не было): стоящие – универсалия; идущие – реалия (осенило, идя мимо заброшенного завода с четырехугольной башенкой и циферблатами с каждой стороны, стоящими и уже давно не заводимыми).

У Гегеля идея – не неизменность, как у Платона, а наоборот – самое движение, что искони постиг русский язык, задействовав корень «ид» в глаголе идти – двигаться, показывать истинное время...

* * *

Махабхарата.

Как после «Чистого разума» Кант напишет критику разума «практического», так и после «теоретических» Вед индусы разработали моральный кодекс Махабхараты.

Махабхарата – попытка осознания в семидесяти пяти тысячах двустиший сути жизни человеческой... Каждое намеренное действие влечет за собой уйму непредвидимых последствий, как у философа взмах крыльев бабочки – бурю на антиподах; каста брахманов, не пачкая рук, командует нижестоящими кастами воинов и крестьян, приговоренных пятнаться, одни – кровью, другие – землей.

Главное в жизни – безопасность; под словом «развлечение» (часто попадающимся и, на первый взгляд, не совсем понятным в контексте таинств и обрядов) надо, видимо, понимать нечто близкое к беззаботности и, по мере достижения некоторой обеспеченности, – к спасению, что у индусов звучит как «избавление» (от самой жизни и ее бесконечных перевоплощений).

Вся канва «эпопеи» нацелена на перелом времен, когда спасение станет достоянием не одних священнослужителей, но и военных, а в перспективе – и третьего сословия: крестьян, ремесленников, торговцев, вплоть до неприкасаемых.

И уже на горизонте, если не Иисус – Будда...

А сегодня распространившиеся по всему миру музыкальные и другие спасительно-развлекательные времяпровождения: дискотеки, стадионы, телевизор, демократия...

* * *

Диалектический материализм: гегелевское становление, нацеленность на стояние, устремленность вверх – к солнцу, небу – молчаливо заменяется голым, безостановочным «движением», горизон-

тальной текучестью – с конечной остановкой лишь в гробу, чем и отличился век XX, век возврата к дохристианской ничтожности жизни (так живо описанной в «Смерти Вергилия» Броха).

* * *

Майстер Экхарт: «Ибо едва труд сотворен, как он уже [перешел] в небытие, как и время, в котором он создавался, и труд этот отныне ‘ни тут, ни там’, ибо сознание к нему уже отношения не имеет. Если мы хотим продолжать творить, то нужно новое дело – в новое время.»

* * *

Весть и – свет.
Григорий Просветитель – креститель Армении:
«крещение» на церковном языке – «просвещение».

* * *

Самое трудное – ставлю себя на место Папы (прямая трансляция из Рима) – не в момент чтения буллы, а когда – склонив голову, как сегодня, 12.04.15, во время «Глории», – надо внутренне собраться, забыться, уйти весь в «созерцание» («лика Божьего»?), забыться, выйти вон из заточения в себе (так заклинают дьявола!) углубиться в таинство, разыгрывающееся среди толпы непонятно откуда взявшихся теней...

* * *

После «Гугенотов», позавчера, сегодня – «Хованщина»: тема одна, даже, подозреваю, Мусоргским заимствованная у немца; у Мейербера драматургия ясна как день, у Мусоргского или «аранжировщиков» – десятый раз слушаю, все никак не распутать клубок.

Остается – музыка...

* * *

Опера: парадоксальная смесь религиозной музыки и придворных танцев...

* * *

Странный всю жизнь интерес к теме Троянской войны: Гомер, Перселл, Берлиоз...

***

Всего двести лет, как они «покинули свои леса» (Монтескье) – русские, а не прошло и еще ста – а уже «Картинки с выставки», Второй квартет Бородина!..

* * *

Высоковольтный ток пушкинского стиха: от любого слова в самые «сжатые сроки» переходить к самой синтаксически отдаленной противоположности...

Неповторимость пушкинского слога.

* * *

Воспроизвести словесно – пейзаж,

едва угадывающийся под шквалами ливня на стекле рыбацкой хижины Моне (Бель-Иль),

или, наоборот, с удерживающимися каплями на гнутом стекле эскалатора музея Помпиду...

* * *

Мир, как большой кусок масла, ножом делится надвое, и каждый кусок, как дождевой червь, продолжает жить своей жизнью: один сразу плавится на сковородке, другой в упаковке хранится какое-то время в холодильнике.

В одном из таких отделившихся «кусков» жизни можно видеть «захоложенный мир» искусства, и уже все, что касается «куска-материка», – его возможные мучения на сковородке, прямого отношения к нему не имеют.

Париж

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

А. С. Урюпина

«Огонь бывает только настоящим...»

Современники о книге А. М. Ремизова «Огонь вещей»[1]

Книга А. М. Ремизова «Огонь вещей. Сны и предсонье» (1954) занимает особое место среди его книг 1950-х годов. Бóльшая часть этой оригинальной интерпретации литературного наследия русских писателей-«сновидцев» посвящена прозе Н. В. Гоголя, любимого писателя Ремизова. Поэтому именно так – «книгой о Гоголе» – сам он часто называл в своих письмах и дневниках это произведение, на создание которого у него ушло в общей сложности более двадцати лет.

В 1948–1952 годах работа над «Огнем вещей» стала для Ремизова одним из первоочередных дел, поскольку писатель намеревался завершить книгу к 100-летнему юбилею со дня смерти Гоголя (21 февраля 1952 года). Он регулярно отчитывался об этом в своих письмах писательнице А. Ф. Рязановской[2]. Так, в мае-июне 1948 года он отмечал, что, наконец «насытившись сказками», «принялся за Гоголя»[3], а к 26 февраля 1952 года, «совсем обезглазив», уже приготовил главы «Тройка», «Ноздрев», «Воскрешение мертвых – Чичиков», «Сквозь пепельно-синий дурман», а также альбомы с рисунками к поэме «Мертвые души»[4]. Двумя днями позже, 28 февраля, близкий друг писателя Н. В. Резникова оставила во второй «Золотой книге Обезвелволпала»[5] свой автопортрет и памятную запись: «А[лексей] М[ихайлович] кончил Гоголя. Наташа Резникова. 28.2.1952»[6].

Однако издать «Огонь вещей» в юбилейном 1952 году у Ремизова не было возможности. Лишь спустя год в издательстве «Оплешник»[7] началась подготовка книги к печати. Ее выход писатель надеялся приурочить к очередной годовщине со дня смерти своей жены Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло (13 мая), но из-за ошибки верстки издание к этой дате подготовить не успели. Книга вышла тиражом 300 экземпляров только летом 1954 года.

В ту пору писатель активно рассылал по почте друзьям и знакомым свои новые издания. В ответ же, как правило, приходили письма с благодарностями. «Огонь вещей» – это пятая книга, вышедшая в издательстве «Оплешник», но и в этом ряду она представляет собой совершенно уникальный случай. Отправленная по разным адресам, как и другие, более ранние книги, она вызвала целую бурю весьма

неоднозначных письменных откликов из Франции, Германии, Англии, США, Канады, Алжира, СССР. Ремизову писали критики и литературоведы, прозаики и поэты – Ю. К. Терапиано, Г. В. Адамович, Ю. П. Иваск, Д. И. Чижевский, А. Н. Мазурова, А. Ф. Даманская, М. Л. Гофман, В. И. Малышев, А. С. Долинин, Л. Д. Ржевский, И. В. Чиннов, Т. А. Величковская, В. В. Торский, А. П. Прокопенко, В. Б. Свен-Кульбицкий, художники – Н. В. Зарецкий, И. М. Левин, Н. Ф. Бурова, С. И. Шаршун, а также другие представители интеллигенции Русского Зарубежья, в том числе музыкант Ю. Б. Елагин, лингвист Б. Г. Унбегаун, историк и публицист Н. И. Ульянов. С особым вниманием к этой книге отнеслись и в семье Черновых-Резниковых-Андреевых-Сосинских[8]. На изданный при непосредственном участии Н. В. и Д. Г. Резниковых «Огонь вещей» откликнулись в своих письмах почти все представители этого семейства – В. Б. Сосинский, О. В. Андреева, В. Л. Андреев, О. Е. Колбасина-Чернова. Более того, шестеро из получивших в дар книгу критиков и литературоведов (Адамович, Мазурова, Терапиано, Иваск, Даманская, Чижевский) позднее опубликовали на это произведение свои официальные отзывы. Все это позволяет сделать вывод о том, что вокруг «Огня вещей» в эмиграции возникла оживленная дискуссия.

Читателей привлекало уже само оформление книги, поскольку Ремизов не только предложил собственную интерпретацию снов Гоголя, но и нарисовал их. На красной обложке «Огня вещей» был изображен гротескный портрет Ноздрева, напоминавший, по мнению Юрия Терапиано, «тибетского божка»[9]. Врач и поэт Александр Прокопенко описал это изображение в своем письме так: «Уже обложка страшна. Цвет – много крови, и, беря Ваше выражение, лохмотья тьмы. И под трагической японски-афинской маской подпись ‘Ноздрев’»[10]. Читатели реагировали на внешний вид издания поразному. Если Ольга Колбасина-Чернова осторожно отмечала, что «книжникам нравится и размер, и рисунки, и обложка»[11], то Юрий Иваск откровенно признавался, что в «Огне вещей» «хороши картины», но «не та, что на обложке, а те, что внутри»[12]. Но в целом оформление книги было оценено современниками писателя достаточно высоко. Художник Николай Зарецкий даже попросил Ремизова прислать ему три оттиска рисунков на белой бумаге – «рисунок обложки, брички и изумительный рисунок, портрет Гоголя»[13] – для помещения в своей книге.

Но более всего получателей «Огня вещей» затрагивало содержание произведения, поскольку оно, по словам Мазуровой, было «о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Тургеневе, Достоевском», но «не для тех, кто ‘выучил’ классиков в школе, а получив диплом, отложил их в

ларец ‘национальной гордости’, а только для тех, для кого эти писатели остались навсегда живой частью их восприятий и переживаний»[14].

Действительно, в новой книге Ремизов предложил своим читателям нетрадиционный взгляд на историю русской литературы. По его словам, после того как Петр «залил на Москве Красную площадь стрелецкою кровью и по крови дубинкой забил глубоко в землю природный лад русской речи», настоящий, исконный русский язык оказался забыт и оставлен, а потому даже лучшие русские писатели с тех пор начали писать на лад французский или немецкий. В результате ремизовская трактовка творчества русских классиков могла восприниматься как нелюбовь писателя к их наследию. Спорные тезисы о других авторах щедро рассыпаны по всему тексту «Огня вещей». Вот лишь некоторые из них: «Пушкин, вдохновив Гоголя, отравил его своим умом»; «лишенный юмора Тургенев» пишет не «по-нашему», а чтение его прозы возможно только «после обеда»; Толстой «словесно бездарен» и учиться у него писать – «пустое дело»; Достоевский «родился без песни», «с тяжелыми мыслями», и искусство слова для него – «тьма египетская». И далее о современниках: «слащавый провинциализм» – о Сологубе, «гоголевский копиист со стрекотней Заратустры» – об Андрее Белом, «вроде как по латыни ‘пушкинская’ проза» – о Брюсове и т. д.

И хотя в официальной критике некоторые из рецензентов (например, Терапиано и Чижевский) осторожно обратили внимание на специфику ремизовского восприятия русской классики, никто из них, помимо Георгия Адамовича, не осмелился публично вступить в спор с писателем. Поэтому в своей книге «Одиночество и свобода» (1955) Адамович вполне справедливо сетовал: «Как мало осталось в нашей литературе страсти, задора, любви к своему делу, беспокойства за его судьбу! Чем, кроме того, что ‘писатель пописывает, читатель почитывает’, можно объяснить молчание, которое одно только было ответом на эти оценки Ремизова? Ведь даже ‘словесная бездарность’ Толстого никаких возражений не вызвала. Прочли, в лучшем случае покачали головой, – и только»[15].

Тем не менее читательские письма вокруг этого произведения убеждают нас в том, что эти ремизовские оценки не только были замечены поклонниками его творчества, но и существенно повлияли на их вкусы и пристрастия, поскольку мнение Ремизова было для них весьма авторитетным. Часто они полностью принимали его точку зрения. Причем свободная и экспрессивная манера, в которой авторы писем высказывали свое мнение, явно напоминала стиль изложения, характерный для «Огня вещей». Нет никаких сомнений и в том, что в 1950-е годы это произведение обсуждалось в литературных кругах. В

частности 10 августа 1954 года оно было представлено в программе радио «Освобождение». Художник Сергей Шаршун в декабре 1954 года в гостях у поэта Тамары Величковской стал свидетелем выступления доктора Прокопенко[16] о «Гоголе–Вие–Панночке» по мотивам «Огня вещей», а художница Нина Бурова в конце своего длинного письма от 14 февраля 1955 года, посвященного обстоятельному анализу этой книги, вспоминала: «В Париже [в] 1952 г. сидя за чаем у Влад[имира] Ивановича Поля с Сергеем Конст[антиновичем] Маковским говорили о творчестве, об искусстве и т[ому] п[одобных] темах. В заключение С. К. Маковский сказал, что самый умный и замечательный человек в мире в настоящее время – это Алексей Ремизов...»[17].

Впервые публикуемые письма Ремизову от разных представителей Русского Зарубежья из собрания отдела рукописных фондов Государственного литературного музея (ОРФ ГЛМ) свидетельствуют о значительном влиянии книги «Огонь вещей» на творческую интеллигенцию середины 1950-х годов.

---

1. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ, проект № 16-04-00179а).

2. Наталья Викторовна Резникова (1903–1992) вспоминает об этой писательской переписке конца 1940 – начала 1950-х так: «А[лексей] М[ихайлович] был очень аккуратен в переписке: каждое письмо требовало ответа <...> Приходили письма и посылки из Америки. Среди других регулярно от Антонины Федоровны Рязановской. Семья Рязановских – давнишние друзья Ремизовых. Об Иване Александровиче Рязановском, филологе, А. М. пишет в ‘Подстриженными глазами’. Валентин Александрович – его брат, жил в Калифорнии, его жена, Антонина Федоровна, – писательница; ее книга ‘Семья’ пользовалась большим успехом в эмиграции; она человек исключительной доброты и чуткости. Антонина Федоровна поддерживала Ремизова материально частыми посылками продуктов и одежды, не только для самого А. М., но и для его друзей» (*Резникова Н. В.* Огненная память: Воспоминания об Алексее Ремизове. – СПб., 2012. С. 162).

3. Письмо Ремизова А. Ф. Рязановской от 20 июня 1948 года // ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 379. В те же годы Ремизов работал над созданием цикла сказочных повестей «Легенды в веках».

4. ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 424.

5. В последний период жизни Ремизов вел записные книжки, в которых просил людей из своего ближайшего окружения оставлять автографы и рисунки. С января 1951 по ноябрь 1957 года в этих книжках расписались практически все гости, посетившие его квартиру на улице Буало в Париже. Рядом с каждым автографом и рисунком указана точная дата. Кроме того, впоследствии

под отдельными записями писатель добавил свой небольшой комментарий. Эти блокноты были названы Ремизовым «Золотыми книгами Обезьяньей Великой и Вольной палаты (Обезвелволпала)» и пронумерованы – с № 1 по № 7.

6. ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 947. Л. 37.

7. «Дружеское» издательство, организованное Д. Г. Резниковым и Н. В. Резниковой с целью издания книг Ремизова. Ранее в «Оплешнике» вышли книги: «Ихнелат» (1950), «Бесноватые – Савва Грудцын и Соломония» (1951), «Мелюзина. Брунцвиг» (1952), «Мышкина дудочка» (1953).

8. Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова (1886–1964) – литератор, вторая жена эсера В. М. Чернова. Одна из ее старших дочерей, Ольга, была женой поэта В. Л. Андреева, ее сестра-близнец Наталья – поэта Д. Е. Резникова, а младшая дочь Ариадна – поэта В. Б. Сосинского. Эта литературная семья принадлежала к ближайшему окружению Ремизова.

9. *Терапиано Ю. К.* Рец. на кн. «Огонь вещей» // Литературный современник: Альм. – Мюнхен, 1954. С. 299.

10. Письмо А. П. Прокопенко Ремизову от 18 ноября 1954 года // ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 666.

11. Письмо О. Е. Колбасиной-Черновой Ремизову от 14 сентября 1954 года // ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 560.

12. Письмо Ю. П. Иваска Ремизову от 23 августа 1954 года // ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 546.

13. Письмо Н. В. Зарецкого Ремизову от 6 августа 1954 года // ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2 Ед. хр. 536.

14. *Мазурова А. Н.* Одиночество живых. Алексей Ремизов и его новые книги. / Статья была вложена в ее письмо Ремизову от 2 октября 1954 года // ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 602.

15. *Адамович Г. В.* Ремизов // Одиночество и свобода. – М., 1996. С. 70.

16. Содержание доклада А. П. Прокопенко, целиком основанного на книге «Огонь вещей», подробно изложено в его вышеуказанном письме к Ремизову.

17. Письмо Н. Ф. Буровой Ремизову от 14 февраля 1955 года // ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 494.

Г. В. АДАМОВИЧ – А. М. РЕМИЗОВУ[1]

Манчестер, 30 апреля 1955 года

Дорогой Алексей Михайлович!

Получил «Мартына Задеку»[2] с благодарностью за постоянное Ваше внимание и присылку своих книг. Слышал, будто Вы не получили от меня письма после «Огня вещей», который был передан мне

В. Н. Емельяновым[3]. Было это давно, не могу вспомнить точно, написал ли я Вам, должно быть написал – но, во всяком случае, простите! Я читал «Огонь вещей» с очень большим интересом, и даже хотел вступить с Вами [в] спор по поводу «словесно бездарного Толстого», – но это не газетная тема, хотя в «Н[овом] Р[усском] Слове» чуть ли не каждый день пишут о русском языке и друг друга поучают с укорякой... Не так давно я писал о Вас (в книге о эмигр[антской] литературе для Чех[овского] Изд[ательст]ва[4]) и там за Толстого вступился. Мне случайно попалась его фраза: «и после глупой жизни придет глупая смерть». Простите, Алексей Михайлович, за «полемический задор», но, по-моему, Гоголь со всей его словесной роскошью, не способен был бы этого написать, – т[о] е[сть] сказать что-либо с такой простотой, точностью, тяжестью и силой. У Гоголя всегда гудит педаль, хотя, конечно, по части всякой изобретательности он – вне сравнений. Но подозрительно у него то, что едва только он становится серьезен, так делается и нестерпим. Еще раз простите за спор – если это спор с Вами! – но, по-моему, все его «Руси-тройки» – все такое – не украшение русской литературы, а позор русской литературы, хотя и гениальный позор.

О «Мартыне-Задеке» я хотел написать в газете, но вижу, что уже написал Терапиано[5]. Но это ничего, и если не воспротивится редактор, я все-таки напишу, выждав немного, чтобы не было впечатления, что статьи совпали.

Как Ваше здоровье? Мне говорили, что Вы все хвораете[6], и потому я не хотел Вас беспокоить, когда был в Париже. От всей души желаю Вам поправиться и надеюсь видеть Вас совсем здоровым и окрепшим в свой следующий приезд. Еще раз спасибо за книги.

Преданный Вам

Г. Адамович

---

1. ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 447.

2. Книга Ремизова «Мартын Задека» вышла в издательстве «Оплешник» в 1954 году.

3. Виктор Николаевич Емельянов (1899–1963) – писатель, друг Ремизова.

4. В 1955 году в Чеховском издательстве в Нью-Йорке вышла книга Г. В. Адамовича «Одиночество и свобода».

5. Имеется в виду рецензия литературного критика Юрия Константиновича Терапиано (1892–1980) на книгу Ремизова «Мартын Задека», опубликованная в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк) 20 марта 1955 года.

6. Н. В. Резникова вспоминала об этом периоде времени так: «После болезни зимой 1954 года А. М. все же не поправился окончательно. У него остались сильные припадки кашля с долгими задыханиями, которые очень мучили его» (*Резникова Н. В.* Указ. соч. С. 193).

В. Л. АНДРЕЕВ – А. М. РЕМИЗОВУ[1]

Нью-Йорк, 5 октября 1954 года

Дорогой Алексей Михайлович,

У меня всегда так получается – самое нужное все откладываешь, невольно поджидая: может быть, завтра голова будет свежее, а время идет, и ничего не сделано. Так и с Вашей книгой – только теперь прочел – запоем.

«Огонь вещей» поразил меня прежде всего своей огненностью – Вам не семьдесят семь, а лет на сорок меньше: тридцать семь – самый расцвет. Темперамент у Вас как у Аввакума – читаю и чувствую, как меня обжигают Ваши слова. Настоящий огонь нельзя подделать – подделывают лирику (иной раз даже удачно), красоту, глубокомыслие, но огонь бывает только настоящим.

Со многим хочется спорить, но, вглядевшись, видишь, что спорить хочется из-за неожиданности, оттого что опрокинуто привычное представление, с которым уютно жилось много лет. И, поспорив с самим собой, неожиданно соглашаешься с Вами: уют – это, конечно, удобно, а Ремизов хоть и неуютен, но зато прав.

Открыли Вы мне глаза на Тургенева – не любил его за гладкость, – а вот теперь, посмотрев Вашими глазами, вижу, что гладкость это только от робости его, вроде маски. «Дверь, действительно, тихо скрипнула, – я быстро обернулся – и, вообразите мое изумление, господа, – черная кошка вбежала в комнату и осторож...» («Силаев»). Ведь Тургенев сам испугался, не смог даже дописать слова, а всего лишь за несколько слов до этого последнего полуслова его перо выводило литературно-разговорно-штампованное «и, вообразите мое изумление, господа...» Ведь в этот момент он уже знал, что кошка вбежит, но еще не боялся и споткнулся через несколько секунд, когда сам увидел «вбежала осторож...»[2]. Вот это и есть настоящий Тургенев, à [l']homme de lettres[3] – от страха и неуверенности в себе.

Спасибо Вам за Вашу «живучую непокорность». «И пусть судьба отнимет мое сердце и ум, пусть что ни делает со мной, а я ей в том не молчу» («Подстриженными глазами»)[4].

Узнал из письма Наташи[5], что Вы захворали. Курите меньше, Алексей Михайлович! Вот и я уже сокращаться начал, – ничего не поделаешь.

Будущим летом твердо надеюсь быть в Париже и наконец снова с Вами увидеться.

Крепко Вас обнимаю и целую.
Ваш Вадим

---

1. Вадим Леонидович Андреев (1902–1976) – поэт, прозаик; сын писателя Леонида Андреева. ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 453.

2. Речь идет о незавершенном литературном наброске И. С. Тургенева. Завязка произведения такова: Силаев, старый приятель героя-рассказчика, заводит с ним разговор о снах и видениях, уверяя, что ровно в 11.45 его навещает черная кошка умершего дяди, а вслед за ней приходит и сам дядя. Главный герой готов принять его за сумасшедшего, но тут часы показывают время без четверти двенадцать, и в комнату ступает кошка. На этой фразе и обрывается текст. То есть Тургенев прервал повествование в тот момент, когда наметился фантастический, «гоголевский» поворот. Ремизов считал этот набросок доказательством тургеневского страха и неуверенности в себе; по его мнению, «словесно робкий» Тургенев просто не имел для «колдовства» подходящих «изобразительных средств».

3. Здесь: наподобие литератора (*фр.*). Ср. в книге «Огонь вещей»: «Тургенев первый русский литератор – ‘homme de lettres’ – мастер словесного искусства» (*Ремизов А. М.* Собр. соч. Т. 7. – М., 2002. С. 307).

4. Цитата из книги Ремизова «Подстриженными глазами» (1951).

5. Наталья Викторовна Резникова.

О. Е. КОЛБАСИНА-ЧЕРНОВА – А. М. РЕМИЗОВУ[1]

Нью-Йорк, 14 сентября 1954 года

Дорогой Алексей Михайлович, получила «Огонь вещей» и как была рада.

Книжникам нравится и размер, и рисунки, и обложка. Приятно держать в руках и на столе украшение.

Читатели по-разному: одни ахают от восторга, другие от ошеломленности – все наоборот, и Толстой, по Ремизову, «как никто изобразил призрачность и колдовство».

Но всем известно – Толстой трезвый реалист и вдруг Ремизов наперекор.

Среди читателей есть и такие: нехотя, как мышь Чичикова, по Вашей воле, становятся на задние лапки и лежат, замерев после чтения Ремизова.

Мне говорили о таком Вашем влиянии: «не согласен, не понимаю – и слова, и мысли у него наоборот, а как-то втягиваюсь».

Да, в «Огне вещей» – Вы опутываете, оплетаете читателя – Оплешник[2].

А со мною Гоголевское чудо: читаю «Огонь вещей», и «вдруг стало видимо далеко во все концы света»[3]. Заборы сгорели, как в первые месяцы революции в Петрограде, – открылись просторы. И не только вширь и вдаль – дальше, чем охватывает глаз, а и вглубь – голова кружится, бездонные провалы.

Никогда ни один человек не сказал так о Гоголе и не мог сказать.

Когда Вы говорите о его снах, это не рассказ, не пересказ, не анализ, это сновидение. И как оно волнует.

Вы вызвали его душу, «он сам не знал из того, что знала душа его»[4].

Каким же чудом узнали Вы, Алексей Михайлович? Или это ваша общая с Гоголем память извечной глубины?

Вы вызвали на Страшный Суд – человеческий – угольно-черное, черствое, пустынное сердце. И Вы нашли расколдовывающее слово, оно развело чары, за которыми пустыня[5].

От чтения взбудораженность и вихрь мыслей, иногда созвучных Вашим, иногда нет, и мысленно возражаешь – но такой спор открывает новое. Эта Ваша книга и для читателя творческая – и, конечно, ее будут читать и перечитывать, мертвым кирпичом она не залежится на полке, но будет жить.

Сейчас пишу сгоряча – немного, но собираюсь еще – и о своем скажу вслед. Пока целую, дорогой, дорогой Алексей Михайлович.

Лисевна[6] Ваша

---

1. ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 560.

2. Слово «оплешник» встречается у Ремизова в значениях «чаровник» и «нечистая сила, бес».

3. Цитата из повести Гоголя «Страшная месть».

4. Ср.: «В ‘Вечерах’ история ‘моей души’ – память из жизни вечного бессмертного Гоголя. Душа знает больше, чем сознание» (*Ремизов А. М.* Собр. соч. Т. 7. Сс. 153–154).

5. Здесь обыгрывается название одной из глав книги «Огонь вещей» – «Сердечная пустыня». Впервые выражение «сердечная пустыня» встречается в повести Гоголя «Старосветские помещики».

6. Прозвище Колбасиной-Черновой, придуманное А. М. Ремизовым.

И. М. ЛЕВИН – А. М. РЕМИЗОВУ[1]

Нью-Йорк, 9 октября 1954

Дорогой Алексей Михайлович!

Хочу Вас отблагодарить за книгу «Огонь вещей». Она открыва-

ет новые мысли в отношении Н. В. Гоголя. Давно Набоков-Сирин выступал публично, отстаивая реализм у Гоголя[2]. Помню, у меня была резкая реакция на это, ибо никогда, с детства, не считал Гоголя реалистом, как и Пушкина. Читая у Вас о Гоголе, мне было приятно и близко узнать, что Вы не считаете Гоголя реалистом, особенно резко подчеркивая Гоголя на театре. В этом реализме Гоголя повинен во многом Станиславский, навязывавший своим реалистическим театром нам двух Гоголей. Русский реализм – бич для искусства и русск[их] художников! От него погиб Врубель и до сих пор погибают в России талантливые люди.

Дорогой Алексей Михайлович!

Я думаю, что Вы смогли бы написать книгу о русском реализме лучше, чем кто-либо, заклеймив его как чужеродное тело в искусстве вообще.

Как живется Вам и как работаете?

До сих пор не могу приехать в Париж.

Книга брата «Лик сокровенный»[3] выйдет в ноябре, тогда пришлю Вам ее.

Привет сердечный от Беттины Львовны[4], она, как и я, любит Ваши книги, и каждая для нас событие.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш с любовью Иосиф Левин

P. S. Привет друзьям.

Посылаю Вам скромное вознаграждение.

1000 фр[анков] в письме.

---

1. Иосиф Михайлович Левин (1894–1979) – художник. ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. Ед. хр. 574.

2. В своих лекциях по русской литературе писатель В. В. Набоков (1899–1977) совершенно иначе оценивал прозу Гоголя. Он не признавал «тошнотворный романтический фольклор» и настаивал на том, что гоголевские произведения – «это феномен языка, а не идей», а поэтому они не могут помочь читателю «узнать что-нибудь о России». Он также недооценивал «Вечера на хуторе близ Диканьки» и цикл повестей «Миргород» (в том числе повесть «Вий»), считая их «юношескими опытами псевдоюмориста» (*Набоков В.* Лекции по русской литературе. – М., 1998. Сс. 52–53, 131). В данном случае Левин, возможно, не совсем точно передал позицию писателя. Но важно другое – для Набокова гоголевский мир был миром вещей, и этот мир был препарирован им с помощью метода рационального анализа. В то время как Ремизова интересовал «огонь» этих вещей, т. е. тайные, не поддающиеся логическому описанию, смыслы прозы Гоголя. Именно это обстоятельство отразилось в письме Левина.

3. Поэтический сборник Вениамина Михайловича Левина «Лик сокровенный» вышел в 1954 году.
4. Беттина Львовна Левина – жена И. М. Левина.

В. В. ТОРСКИЙ – А. М. РЕМИЗОВУ[1]

Алжир, 27 ноября 1954 года

Дорогой Алексей Михайлович!

Прочел Вашу книгу «Огонь вещей». Давно не читал таких книг. Не пишут таких книг ни в Сов[етской] России, ни за границей. Как начал читать – так, не отрываясь, до конца, и сейчас же – второй раз... И еще раз прочту... такое наслаждение. Конечно, Вы всем писателям, о которых пишете, придаете свое, и Гоголь не прямо Гоголь, а по-ремизовски Гоголь, но иначе и быть не может, вот это-то и хорошо. А не думаете ли Вы, что Вы его отчищаете из неясности и ошибок, в которых он барахтался, вытаскиваете его. С того времени много продумано и много открыто, люди и писатели стали умнее, вскрыты новые глубины бытья, тогда еще не открытые, и Гоголь ходил по земле и писал, не зная, что под ним и что его водит, как железная опилка водит по листу бумаги, под которой проводят магнитом.

А Тургенева Вы не любите. А Толстого боитесь. А от Достоевского стараетесь подальше. Я ничего не понимаю в таких делах, но я больше всего люблю Гоголя. И самое лучшее: «Вий». Лучше этого – ничего не знаю. За чудную краткость, сжатость, за богатство вымысла, за разнообразность картин и замечательную связность, и за веселость, неунывание, за близость ко мне, чего нету [у] Толстого, который всегда далек, на верхах, в небесах гениальности, а у Достоевского: в вихрах каких-то нечеловеческих страстей и сил изуродованный мир. Очень приятно в Ваше[й] книге то, что нет никакой набожности, православия. Я так и не знаю: православный ли Вы?.. Православие, например, Б. Зайцева... Тошнит... Я боюсь религиозных людей, в веру их, современных, я не верю – невозможная вещь вера в наше время. Или только у женщин. И выходит: у них не вера, а лицемерие. Бойся религиозного человека!.. Опасный... В лучшем случае он может быть не агрессивным, а мертвым камнем, под который вода не течет. В «Вие» нет ни капли религиозности. В нем Гоголь – язычник. Церков[ь] там имеет жалкий вид, и дело не в ней. И так осквернить церковь, как Гоголь ее осквернил в «Вие»!.. Черти застряли в окнах... никакая она не твердыня, а черти в ней – как у себя дома. Спасибо, милый Алексей Михайлович, за чудную книгу. К сожалению, не могу Вам ответить ничем подобным.

Маковский[2] типичный верующий...
Ваш В. Торский

---

1. ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 784. Василий Васильевич Торский (1885–после 1968) – военный телеграфист, прозаик, поэт, художник.

2. Сергей Константинович Маковский (1877–1962) – поэт, художественный критик.

Д. И. ЧИЖЕВСКИЙ – А. М. РЕМИЗОВУ[1]

Кембридж [США], 12 августа 1954 года

Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Михайлович!

Искренне признателен Вам за присылку Вашей новой книги! Как я вижу из содержания ее, в ней и Ваши статьи о Гоголе, в том числе те, которые мариновал Карпович[2]. Я вчера же перечел Вашу замечательную статью «Тридцать снов Тургенева», которую помню из пражской «Воли России»[3]. И предвижу, что в суждениях о Гоголе я окажусь не только «милостивым», но и восторженным судьей. Я никогда не мог понять, как можно сравнивать в общем и целом кондитерского, хотя и не плохого по качеству («au bon gout»[4]) Тургенева, черный и питательный хлеб Л. Толстого и особенно Достоевского – по языку! – с вулканическим Гоголем, изливающим потоки лавы словесной, небывалых оттенков и переливов.

Ваша книга вышла как раз ко времени: одна моя (талантливая) ученица[5] пишет книгу о Гоголе в новейшей критике (с 1899 г.), и Ваша книга окажется темой заключительной главы! Может быть, прочтут и иностранцы – хотя Вы непереводимы... Как и Гоголь.

Я только что кончил несколько мелких работ и возвращаюсь к книге о Гоголе, которую, может быть, кто-нибудь и напечатает[6]. Она, конечно, нисколько не будет претендовать на то, чтобы стать в уровень с Вашими характеристиками, но даст читателю, по крайней мере, обзор всего нового, что стало известным за последние 20-25 лет. Надеюсь, что чтение Ваших статей очень вдохновит меня.

Свои впечатления постараюсь Вам сообщить в ближайшем письме...

---

1. ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 841. Письмо публикуется не полностью. Дмитрий Иванович Чижевский (1894–1977) – ученый-славист, философ, историк.

2. Михаил Михайлович Карпович (1888–1959) – главный редактор «Нового Журнала» (1945–1959). Здесь речь идет о главах книги «Огонь вещей»,

предложенных Ремизовым «Новому Журналу». Ремизов в письме к А. Ф. Рязановской от 18 марта 1953 года вспоминал: «Гоголевскую тройку взял М.М. Карпович, я предупредил его: Чижевский не согласится, п[отому] ч[то] материал не документы, а мое воображение» (ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 426).

3. Главы книги «Тайна Гоголя» (или «Природа Гоголя») и «Тридцать снов Тургенева» были опубликованы в пражском журнале «Воля России» в 1929–1930 годах (1929, № 8-9; 1930, № 7-8).

4. В хорошем вкусе (*фр.*).

5. Речь идет о литературоведе и сотруднице «Нового Журнала» Зое Осиповне Юрьевой (1922–2000).

6. Позднее Д. Чижевский напечатал книгу о Гоголе «Gogol-Studien (Gogol' – Turgenev – Dostoevskij – Tolstoj)» (München, 1966), в которую вошли его статьи «О 'Шинели' Гоголя» («Современные записки». – Париж, 1938. № 67); «Неизвестный Гоголь» («Новый Журнал». – Нью-Йорк, 1951. №. 27); «Две родословных Гоголя» («Новый Журнал». 1965. № 78). Посмертно был издан подготовленный Чижевским доклад на немецком языке «'Да' и 'нет' у Гоголя» *(Tschižewskij D.* Gogol's 'Ja' und 'Nein' (Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. – Braunschweig, 1978. Bd. 215).

С. И. ШАРШУН – А. М. РЕМИЗОВУ[1]

Париж, 16 декабря 1954 года

Многоуважаемый Алексей Михайлович,

Несмотря на наши отношения[2], не могу удержаться, чтобы не написать Вам, что я читаю с величайшим интересом и пользой – «Огонь вещей», взятый у Румановых[3].

Благодаря этой книге, во мне оформилось вот что: добрый десяток лет меня осаждает потребность: провести параллель между Гоголем и Паскалем!

(Ведь они даже и лицами похожи!)

Однако, мне – малограмотному художнику – это не по плечу.

Поэтому я навязываю мысль знакомым: Татищеву[4], Чиннову[5], Руманову (она их поражает, но останавливает затрата времени).

Собирался сообщить Жабе[6] и пр[очим], но тут подоспела Ваша книга.

Года два-полтора назад, проф[ессор] Ильин[7] (вот кто мог бы написать «феноменальную историю Русск[ой] Литер[атуры]»!) делал доклад (у Величковской) – о Паскале. Я высказал «публично» мое пожелание. Влад[имир] Ник[олаевич] ответил, что это уже было сделано Толстым.

(А не только я, но даже Руманов – не знаем где?.. м[ожет] б[ыть], в «Круге Чтения»?[8])

Слышал я (там же) и прекрасный доклад д[октора] А. П. Прокопенко о Гоголе–Вие–Панночке[9]. Не знаю, подходил ли кто-нибудь к нему с фрейдической, сексуальной точки зрения? Ведь это же смертельный вой Гоголя, его бред – потребность половой жизни (я слышал, что Смирнова[10] умудрилась повалить его на себя).

Очень Вам благодарный и уважающий Вас

С. Шаршун

---

1. ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 849. Сергей Иванович Шаршун (1888–1975) – художник, литератор.

2. Ремизов и Шаршун не общались с начала 1940-х годов. В 1956 году Шаршун оставил в «Золотой книге Обезвелволпала № 6» запись: «Дорогой Алексей Михайлович, после добрых 15 лет, мне было снова приятно увидеть Вас, в совсем не плохом здоровьи. С. Шаршун. Новый русский, 1956, год» (ОРФ ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 951. Л. 56).

3. Аркадий Вениаминович Руманов (1878–1960) – журналист. Лидия Ефимовна Руманова (1897–1983) – актриса, жена А. В. Руманова.

4. Николай Дмитриевич Татищев (1896–1985) – религиозный философ, поэт, прозаик, критик.

5. Игорь Владимирович Чиннов (1909–1996) – поэт.

6. Тамара Антоновна Величковская (во втором браке Жаба) – поэт, прозаик, танцовщица.

7. Владимир Николаевич Ильин (1891–1974) – философ, богослов, литературный критик, музыковед.

8. Сравнение было сделано Л. Н. Толстым в «Круге чтения» (Недельные чтения, 1–7 июля).

9. Содержание доклада доктора Прокопенко, основанного на идеях из книги «Огонь вещей», было подробно изложено в его письме Ремизову от 18 ноября 1954 года.

10. Александра Осиповна Смирнова-Россет (1809–1882) – фрейлина Императорского двора, друг и собеседник Пушкина.

Публикация, примечания – А. С. Урюпина

«Точку ставить рано...»

Передо мной пожелтевшие листы бумаги – приказы РОВСа за 1939 год. В предыдущие два года борьба между ИНО ОГПУ и Внутренней линией РОВСа достигла небывалого накала. Измена генерала Н. В. Скоблина и похищение генералов Е. К. Миллера и А. П. Кутепова, провалы большинства забрасываемых на территорию Советского Союза боевых групп, операция «Трест» по завлечению в ловушку Бориса Савинкова, темная история с генералом Н. А. Монкевицем – все говорило о том, что в рядах Белого движения есть советские агенты. Вот как описывал журналист Б. Прянишников, первый гл. редактор «Посева», события тех дней в книге «Незримая паутина»: «Засылка собственных агентов из СССР для захвата и руководства эмигрантскими организациями была сопряжена со значительными трудностями. Поэтому наиболее выгодным было привлечение к осведомительной и провокационной работе видных эмигрантских деятелей с громкими именами в прошлом. В этом деле ОГПУ преуспело в немалой мере. Завербованные эмигранты стремились к захвату командных постов в эмигрантских организациях, то навязывая им некую 'новую тактику', то дезинформируя о положении в СССР, то захватывая в свои руки 'закрытую работу', то физически уничтожая виднейших своих противников». (Прянишников Б. В. Незримая паутина. Нью-Йорк. 1979. С. 2)*

Очередной удар – разоблачение сына генерала Ф. Ф. Абрамова как советского агента. В 1938 г. Николай Абрамов был арестован болгарской полицией. Он пытался отрицать предъявленные обвинения в связях с советской агентурой. Но все увертки были безуспешны. Понимая, что оправдаться ему не удастся, он предпочел покинуть Болгарию. Практически это была высылка, он был предупрежден о невозможности возвращения в страну. Н. Абрамов с супругой выехали из Софии 13 ноября 1938 г. По прибытии во Францию их следы теряются. Комиссия РОВСа в составе генерал-лейтенанта А. П. Архангельского, генерал-майора В. А. Артамонова и полковника Р. К. Дрейлинга работала в Болгарии в течение десяти дней, проверяя работу Внутренней линии. Вернувшись в Брюссель по окончании работы, генерал-лейтенант А. П. Архангельский издал циркуляр начальникам отделов РОВСа.

Юрий Сандулов

Предлагаемые материалы находятся в личном архиве историка Ю. А. Сандулова в Нью-Йорке. В публикации частично сохранена орфография первоисточников, отражающая особенности стиля корреспондентов.

Не для печати

ПРИКАЗ
РУССКОМУ ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ СОЮЗУ

г. Брюссель
№ 9
12 апреля 1939 г.

17-27 марта я посетил Болгарию с целью:

а) личного ознакомления с условиями жизни и дятельности III Отдела Русского Обще-Воинского Союза – результаты этого ознакомления будут мною объявлены в особом приказе

и б) личного обследования дела Николая Абрамова, причем к этому обследованию мною были привлечены прибывшие со мной из Белграда Генеральнаго Штаба Генерал-Майор Артамонов[1] и Генеральнаго Штаба Полковникъ Дрейлинг[2]. Последним была предоставлена самая широкая возможность ознакомления со всеми материалами по делу и с условиями работы Управления III Отдела, а также допроса самого широкого круга лиц, как принадлежащих к Русскому Обще-Воинскому Союзу, так и не принадлежащих к нему.

Результаты обследования объявлены мною в циркулярном сношении от 5 сего апреля за № 55.

1.

Раскрытие в Болгарии в течение последних лет целого ряда большевитских агентов, имевших задачу и освещения и разложения Русского Обще-Воинского Союза, доказывает, что контрразведывательная служба в Управлении III Отдела, несмотря на ничтожность средств и возможностей, ведется энергично, продуктивно и правильно,

В частности, в деле Николая Абрамова, последний был заподозрен, вскрыт и нейтрализован силами Управления III Отдела, что является несомненной заслугой этого Управления.

2.

В деле Николая Абрамова Управлением III Отдела были допущены следующие ошибки и упущения:

а) нельзя было привлекать к контрразведывательной работе сына Начальника Отдела, хотя бы и вполне для сего подходящего и после достаточных его проверок. Надлежало помнить, что всякая ошибка Н. Абрамова, а тем более проступок его должен был отразиться на авторитете Генерала Абрамова[3], и, следовательно, и на Русском Обще-Воинском Союзе.

б) Капитан Фосс[4] обязан был о возникших против Н. Абрамова подозрениях доложить немедленно Начальнику III Отдела, а не выжидать для сего получения подтверждений и доказательств вины Н. Абрамова.

в) соглашаясь до известной степени с тем, что после возникновения подозрений против Н. Абрамова важнее всего было принять меры к его обезвреженію, что и было своевременно сделано, нахожу, что, ввиду особого положения Н. Абрамова как сына Начальника Отдела надо было сократить период его поверок, дабы скорее ликвидировать его отношение к Отделу и возможно скорее принять меры к оповещению чинов Русского Обще-Воинского Союза о случившемся и донесению мне. Донесение это должно было быть сделано тотчас после того, как о двойной роли Н. Абрамова стало известно Начальнику Отдела, т. е. летом 1938 года и, во всяком случае, не позднее ноября 1938 года, – времени отъезда Н. Абрамова.

Соответствующие по сему указания даны мною Генералу Абрамову особым предписанием.

3.

При той широкой работе, которую ведет Русский Обще-Воинский Союз, ошибки неизбежны, как неизбежны и потери и неудачи во всякой борьбе, ведущейся всерьез. Необходимо принимать меры к исправлению и предупреждению в будущем этих ошибок, но не следует поддаваться минутным настроениям, так старательно разжигаемым враждебной и падкой до сенсаций прессой и вредно отражающимся на нашем единстве и на достоинстве Русского Обще-Воинского Союза.

Убежден, что в настоящем вопросе чины Русского Обще-Воинского Союза, ознакомившись ныне с обстановкой и будучи правдиво и исчерпывающе оповещены об истинных обстоятельствах дела, воспримут их с тем спокойствием и рассудительностью, которые отвечали бы действительному положению вещей.

4.

Приношу от лица службы благодарность Генерального Штаба Генерал-Майору АРТАМОНОВУ и Генерального Штаба Полковнику ДРЕЙЛИНГУ за то, что они, пожертвовав временем своего отпуска, произвели по моим указаниям подробное и тщательное расследование по делу Николая Абрамова, и тем оказали мне большую помощь.

Генерал-Лейтенант АРХАНГЕЛЬСКИЙ[5]

---

1. Артамонов Виктор Алексеевич (1873–1942) – генерал-майор Генерального штаба. Представитель Главнокомандующего Русской армии генера-

ла П. Н. Врангеля. Принимал активное участие в переезде в Сербию трех русских кадетских корпусов и двух женских институтов.
2. Дрейлинг Роман Константинович (1880–1945) – полковник Генерального штаба, окончил Пажеский Его Императорского Величества корпус, офицер Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, староста Союза русского сокольства. Преподаватель белградского отделения Высших военно-научных курсов профессора генерала Головина.
3. Абрамов Федор Федорович (1870–1963) – генерал-лейтенант, участник русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. В 1920 г. эвакуировался во главе Донского корпуса в лагерь Чаталджа (Турция). С 1924 г. председатель 3-го отдела РОВСа в Болгарии. В 1937–1938 гг. исполнял обязанности председателя РОВСа. В годы Второй мировой войны принимал участие в деятельности КОНРа. После войны в 1948 г. переехал в США, где впоследствии жил в Доме пенсионеров Казачьего комитета. Погиб при невыясненных обстоятельствах под колесами автомобиля на улице Лейквуд городка Фривуд.
4. Фосс Клавдий Александрович (1989–1991) – участник Белого движения. Капитан Дроздовского артиллерийского дивизиона. Галлиполиец. В эмиграции в Болгарии. Состоял на службе в болгарском Военном министерстве, также был тесно связан с 3-м отделом РОВСа – «Внутренней линией» (контрразведкой). На него было совершено более десяти покушений. После войны избежал выдачи в СССР, проживал в Мюнхене. Скончался 11 ноября 1991 г. в деревушке Тютцинг близ Мюнхена.
5. Архангельский Алексей Петрович (1872–1959) – участник Белого движения, генерал-лейтенант, с 1919 г. в Добровольческой армии. После эвакуации из Крыма – начальник отделения личного состава штаба Главкома. С 1927 г. в Бельгии. Председатель Общества офицеров Генерального штаба в Бельгии. С 1938 г. – председатель Русского Общевоинского союза.

Не для печати
Циркулярно

5 апреля 1939 года
№ 55
г. Брюссель

Начальникам Отделов и Отделений Русского Обще-Воинского Союза
Командиру I арм. Корпуса
Начальникам Кавалерийской и Кубанской каз. дивизии
Генералу от Кавалерии Драгомирову
Генерал-Лейтенанту Казановичу
Начальникам частей и воинских групп, председателям полковых объединений, офицерских обществ и союзов

19-27 минувшего марта прибывшими из Белграда Генерального Штаба Генерал-Майором Артамоновым и Генеральн[ого] Штаба Полковником Дрейлингом было произведено под общим моим руководством в Софии расследование по делу Николая Абрамова.

Материалами для расследования послужили весьма подробные, отлично составленные протоколы и доклады «Особой Комиссии» Гв. Полковника Петриченко[1], назначенной осенью 1937 г. Генералом Абрамовым для обследования деятельности Внутренней линии, опросы большого числа лиц, как принадлежащих к составу Русского Обще-Воинского Союза, так и не принадлежащих к нему, кои могли иметь то или иное отношение к делу, а также обследование на месте условий жизни и работы Управления III отдела.

Расследование дало нижеследующие результаты:

Николай Абрамов, сын Генерал-Лейтенанта Ф. Ф. Абрамова, оставшийся в Сов[етской] России 10-ти летним мальчиком, бежал в 1931 году с советского парохода в Гамбурге, приехал в Берлин и, при посредстве Генерал-Майора фон Лампе[2], к которому был направлен германской полицией, был отправлен к отцу в Софию. (Приписка от руки: По горячей просьбе Ген[ерала] Ф. Ф. Абрамова. – *Ю. С.*)

Первые три года он пользовался комнатой и столом у отца, а позднее перешел на собственный заработок и уже не получал от отца денежной поддержки.

При ближайшем с ним знакомстве было установлено, что он прошел довольно разностороннюю практическую подготовку сначала в семье тетки, а затем в Осоавиахиме[3]: он оказался хорошим шофером-монтером, прекрасно чертил, знал английский язык, был хорошо знаком с фотографией, писал на машинке, был хорошо спортивно подготовлен и вообще проявлял недюжинные способности.

Вместе с тем советская среда и воспитание наложили на него свой яркий отпечаток: грубость и резкость поведения и поступков, афиширование атеизма, приверженность к осуществлению сильной государственной власти при одновременной неприязни к фашизму.

Были приняты меры к привитию ему основных идей Белой Борьбы, для чего он был поставлен в обстановку постоянного общения и воздействия на него участников Белого движения. Через очень короткий срок Н. Абрамов горячо отозвался на это перевоспитание, хотя и продолжал порицать многие отрицательные стороны эмиграции, и, со свойственным ему динамизмом, предложил свои услуги делу Белой Борьбы.

Его привлек к работе по контрразведке обер-офицер Управления III Отдела Капитан Фосс. Одновременно Н. Абрамов вступил в несколько национальных организаций, в большинстве которых, одна-

ко, лишь числился, принимая более активное участие в НСНП (ныне НТСНП). Специальная подготовка его продолжалась, причем он и тут проявил значительные способности. Вскоре он был допущен к руководству по обучению стрельбе в одной из национальных организаций.

К этому времени относится выполнение им различных простейших поручений по службе контрразведки и наружного наблюдения. Надо заметить, что к этой работе он был допущен ввиду чрезвычайных способностей и подготовки, а Генерал Ф. Ф. Абрамов этому не препятствовал, считая, что он не вправе избавлять своего сына от той службы, на которую он посылает других, подвергая их известному риску.

Никакой штатной или офицерской должности в Управлении III Отдела Н. Абрамов не занимал, равно как и не получал и никакого вознаграждения (как и вообще все лица, привлекаемые к наблюдению за большевиками).

Благодаря его отчетливости, старанию, желанию работать, при наличии естественного учета его семейного положения, он все более и более становился своим человеком в Управлении III Отдела, где постоянно бывал, помогая иногда и в канцелярской работе (переписка на машинке).

В 1931–32 гг. Н. Абрамов пополнял свое образование, записавшись на заочные технические курсы, и работал в одном из местных гаражей. С 1933 г. он начал заниматься и перепродажей серий почтовых марок, вступив для этого в компанию с одним болгарином. По его словам, дела обоих компаньонов пошли настолько хорошо, что Н. Абрамов бросил службу в гараже. Серии почтовых марок отправлялись главным образом за границу.

В июне 1934 г. Н. Абрамов женился на Н. А. Кончиновой, дочери зубного врача А. О. Кончиновой, которая тоже имела порядочный заработок. Молодые поселились у матери жены, материально зажили хорошо, ни в чем себе не отказывая и даже позволяя себе жить выше средств; постепенно они отдалились от русского общества, бывая, главным образом, среди болгарской спортивной молодежи.

Отношения Н. Абрамова с отцом всегда носили официальный характер. Общение поддерживалось минимальное: 2-3 коротких посещения отца в неделю в его служебном кабинете и общие обеды у молодых по субботам.

Вообще встречи с отцом Н. Абрамова сделались реже, но работе в Управлении III Отдела, несмотря на женитьбу, Н. А. посвящал много времени; даже не имея прямых заданий, он все же постоянно бывал в Управлении.

Проявляемая им и ничем материально не вознаграждаемая ревность к службе постепенно, в этот период увеличивала оказываемое

ему ближайшим начальством доверие. По мнению некоторых сотрудников, Н. Абрамов был хорошо осведомлен о работе Управления, чему, быть может, способствовали и сами эти сотрудники, видя оказываемое ему доверие; исключение составлял лишь один С., который всегда относился к Н. Абрамову недоверчиво.

Переходя к деятельности Н. Абрамова в национальн[ых] организациях следует указать, что в 1933 г. он ездил в Белград в качестве представителя местного отдела НСНП[4], по-видимому, с надеждой занять в этой организации более видное место, что, однако, ему не удалось.

С этого времени, якобы обидевшись на этот союз, Н. Абрамов отходит от работы в нем, а в 1934 г. и совсем выходит из НСНП и несомненно содействует порче отношений между Русским Общевоинским Союзом и этой организацией в Болгарии, но в то же время сохраняет связь с отдельными ее членами.

К тому же времени относится протест перед болгарскими властями полпреда Раскольникова[5] по поводу мнимого заговора в среде НСНП, направленного, якобы, против него. Следствием протеста явились некоторые меры воздействия со стороны властей против НСНП.

Тогда это событие объяснялось легкомыслием и болтливостью самой подгулявшей молодежи, позднее же, в связи с проверкой деятельности Н. Абрамова, явилось подозрение, что полпредство было информировано Н. А., ибо список лиц, перечисленных в жалобе полпреда, совпал с представленным Н. Абрамовым по линии контрразведки.

Первые серьезные подозрения против Н. Абрамова возникли у капитана Фосса в самом конце 1936 или начале 1937 г. Эти подозрения усилились ввиду широкого образа жизни Н. Абрамова и неясности источников его доходов.

Тотчас по возникновении серьезных опасений капитан Фосс сообщил об этом соответствующим органам в Софии, дабы совместно с ними произвести тщательную проверку Н. Абрамова.

Начиная с этого времени Н. Абрамов постепенно оттирается от текущей работы и ему даются задания, имеюшие целью его проверку.

Капитан Фосс в этот период о своих подозрениях Генералу Ф. Ф. Абрамову не докладывал, щадя чувства отца, коему он, впрочем, и не мог дать каких-либо точных данных о виновности его сына.

Крайняя осторожность, проявляемая Н. Абрамовым, не дает прямых улик в отношении его двойной работы, но в течение всего 1937 года косвенные улики постепенно накапливаются. В связи с этим принимаются меры к ограничению деятельности Н. Абрамова и изоляция его усиливается.

22 сентября 1937 г. происходит в Париже похищение Генерала Миллера и бегство Генерала Скоблина, деятельность которого по Внутренней линии подвергается расследованию в Комиссии Генерала Эрдели[6]. В связи с этим Генералом Абрамовым, возглавлявшим тогда Русский Обще-Воинский Союз, назначается Особая Комиссия по обследованию Внутренней линии и в Софии. Комиссия эта, в составе Гв. Полковника Петриченко, Дроздовского артил[лерийского] дивизиона Подполковника Машинского[7] и Корниловского ударн[ого] полка Подполковника Кедринского[8], чрезвычайно серьезно взялась за порученное ей дело и, с самого начала, она расширила свое задание, решив проверить и деятельность Н. Абрамова. Эта проверка была предпринята вследствие заявления Капитана Фосса об установленной им утечке сведений секретного характера, причем, как выяснилось при расследовании, «утечка» сведений вовсе не означала какой-либо пропажи документов – таковой пропажи или даже кратковременного исчезновения документов не было ни разу.

Заслушав 13-28 октября 1937 года доклады лиц, руководивших контрразведкой и высказавших твердую уверенность в виновности Н. Абрамова, Комиссия постановила произвести дополнительные проверки его, с сохранением в силе всех мер предосторожности для обеспечения секретности работы Управленая III Отдела.

Одновременно были приняты меры по обследованию источников материального обеспечения Н. Абрамова, причем выяснились некоторая моральная неустойчивость и авантюристическая предприимчивость в добывании средств, как то: предположения о торговле наркотиками, сахарином и даже фальшивыми паспортами. В этом, по-видимому, сказалось материалистическое мировоззрение, привитое советским воспитанием и бытом, – отсутствие нравственных сдержек и вседозволенность во имя материальных благ.

Проверки увеличили число косвенных улик в отношении Н. Абрамова, но прямых доказательств его виновности не дали. Настороженность Н. Абрамова несомненно повысилась. Комиссия пришла к заключению, что Н. Абрамов является лицом в высшей степени подозрительным и, весьма вероятно, опасным для Русского Обще-Воинского Союза.

О своей оценке Комиссия считала необходимым немедленно поставить в известность Генерала Ф. Ф. Абрамова, так как пребывание Н. Абрамова в орбите главного руководства полагала вредным.

Взгляд Капитана Фосса расходился с мнением Комиссии. Наличие собранных косвенных улик он считал неубедительным ни для отца, который не поверит в виновность сына, раз имеются лишь подозрения, ни для местных властей, уже, однако, осведомленных им

же (Кап[итаном] Фоссом) о создавшемся подозрении. Капитан Фосс считал, что необходимо выждать получения прямых доказательств виновности Н. Абрамова.

Следует отметить, что вообще Капитан Фосс все время держался того мнения, что открытое разоблачение Н. Абрамова нанесло бы излишний моральный удар Русскому Обще-Воинскому Союзу и самому Генералу Ф. Ф. Абрамову. Кроме того, принятыми мерами возможность продолжения вредной деятельности Н. Абрамова была уже парализована, а преждевременное обнаружение его «раскрытия» было нежелательно для местных властей, ведших в это время работу по выявлению и других подозрительных лиц, причем, в связи с ожидаемым их раскрытием, можно было надеяться получить прямые улики и в отношении Н. Абрамова.

Эта точка зрения и была проводима практически.

В числе мер, принятых Капитаном Фоссом для изоляции Н. Абрамова, были, как это видно из доклада Капитана Фосса Комиссии в феврале 1938 г., следующие: 1) некоторые особо секретныя дела, в пределах данных Генералом Ф. Ф. Абрамовым Капитану Фоссу полномочий, последним Генералу Ф. Ф. Абрамову не докладываются, 2) особо секретная переписка выполняется самим Капитаном Фоссом и хранится непосредственно у него самого. Этим, по его мнению, устраняется возможность невольной и случайной утечки секретных сведений и 3) рабочий кабинет Капитана Фосса переносится в другую комнату, чтобы затруднить подслушивание разговоров, в чем Н. Абрамов был неоднократно заподазриваем.

13 апреля 1938 года Капитан Фосс впервые в очень осторожной форме доложил Начальнику III Отдела о подозрениях в отношении его сына, имея целью вызвать со стороны Генерала Ф. Ф. Абрамова большую осторожность и сдержанность в его разговорах с Н. Абрамовым.

После «раскрытия» местными властями очередных советских агентов наступила более благоприятная обстановка и для ликвидации дела Н. Абрамова.

Увеличивая в последующих докладах настороженность Генерала Ф. Ф. Абрамова в отношении его сына, Капитан Фосс добился того, что летом 1938 года Генерал Ф. Ф. Абрамов посоветовал своему сыну уехать из Болгарии. Временная поездка в Париж и Прагу по торговым делам предполагалась и самим Н. Абрамовым еще до получения совета отца.

При разговоре с отцом Н. Абрамов отрицал свою вину, но Генерал Ф. Ф. Абрамов указал сыну, что даже одно наличие подозрений достаточно для отъезда за границу. Осенью 1938 года были начаты хлопоты о получении визы во Францию.

При первоначальных хлопотах о выезде Н. Абрамов встретил препятствие со стороны местных властей, которые не были склонны выпускать его за пределы страны в виду того, что предпринятая в это время в более широком масштабе кампания по вскрытию большевитской агентуры могла и должна была дать более конкретные данные и об истинной роли Н. Абрамова.

Однако к концу октября 1938 года болгарские власти пришли к обратному решению: Н. Абрамов был вызван в полицию для допроса, причем здесь ему впервые было официально предьявлено обвинение в работе на большевиков. Н. Абрамов ни в чем не признался и на все вопросы отвечал незнанием; тогда у него на квартире был произведен обыск, не давший, однако, никаких результатов.

После этого болгарские власти дали согласие на его отъезд, хлопоты о котором все это время продолжались.

19 октября Н. Абрамов обратился к нашему представителю Б. С. Серафимову[9] с просьбой получить для него визу на один месяц по торговым делам; на письмо г-на Серафимова французскому представителю 27 октября был получен положительный ответ, с указанием, что болгарская виза должна содержать разрешение на возвращение. 29 октября Н. Абрамовым была дана обычная подписка об отказе от права работы во Франции.

Параллельно с этими хлопотами Н. Абрамов обратился за исхлопотанием визы и в туристическое бюро «Биньо».

11 ноября Н. Абрамов возобновил свою просьбу, но уже о постоянной визе или хотя бы на 6 месяцев – для продолжения образования. Того же 11 ноября Б. С. Серафимовым было написано соответствующее письмо французскому представителю, переданное на руки Н. Абрамову.

13 ноября 1938 года Н. Абрамов выехал с женою во Францию.

Его высылка, произведенная в согласии с пожеланиями Управления III Отдела, была облечена в мягкую форму, а именно: выдачи разрешения на выезд в другую страну со словесным указанием, что возвращение в Болгарию допущено не будет.

По частным сведениям, виза Н. Абрамову была дана на три месяца.

Сводя все изложенное, следует сделать следующие выводы:

1) Н. Ф. Абрамов, прибывший в Софию летом 1931 года, был после некоторой обработки допущен, по своей просьбе, к работе, ведшейся под руководством Капитана Фосса в Управлении III Отдела.

2) С 1932 по 1936 год круг деятельности Н. Абрамова постепенно расширялся и росло доверие Капитана Фосса и других сотрудников.

3) Крайне затруднительно точно установить все задачи, возлагавшиеся за 5 лет на Н. Абрамова, но несомненно, что он был использован в качестве агента по наружному наблюдению за отдельными лицами; по работе в других организациях; в качестве переписчика на машинке в Управлении III Отдела; в качестве инструктора в некоторых национальных организациях (главным образом, по стрельбе, организаций стенгазеты, изучению советского быта и т. д.) и постепенно стал своим человеком в Управлении III Отдела Русского Обще-Воинскаго Союза.

4) Подозрения в недобросовестности и неблагонадежности работы Н. Абрамова впервые возникли у Капитана Фосса в конце 1936 года. По возникновении подозрений Капитан Фосс поставил в известность болгарские власти и принял меры по отстранению Н. Абрамова от работы.

Подозрения постепенно крепли, вызвали поверки деятельности Н. Абрамова в течение 1937 года и к осени этого года, ко времени начала работы Особой Комиссии, обратились, хотя и на основании косвенных только улик, в твердое убеждение в его двойной работе.

5) Об изменившемся своем отношении к работе Н. Абрамова Капитан Фосс, не имея каких-либо определенных доказательств вины Н. Абрамова, не счел возможным, щадя чувства отца, доложить Начальнику III Отдела, Генералу Ф. Ф. Абрамову, который, следовательно, оставался в полном неведении о слагавшейся обстановке.

Лишь по настоянию Особой Комиссии, в половине апреля 1938 года, Капитан Фосс в очень осторожной форме доложил Генералу Ф. Ф. Абрамову о своих подозрениях, не излагая, однако, всех обстоятельств дела и указывая на Н. Абрамова как на лицо, якобы подозреваемое болгарской контрразведкой.

6) В течение 1937 и 1938 г.г., в связи с возникшими подозрениями, Капитан Фосс ограничивал деятельность Н. Абрамова и изолировал его последовательными мерами. Работа Н. Абрамова подвергалась постоянным поверкам, которые, с половины октября 1937 года, велись уже под контролем «Особой Комиссии».

7) Одновременно была произведена проверка материальных средств Н. Абрамова, причем была обнаружена некоторая моральная его неразборчивость в их добывании и установлено, что он жил выше средств.

8) Летом 1938 года подозрения в отношении Н. Абрамова были еще раз подтверждены Начальнику III Отдела Генералу Ф. Ф. Абрамову, после чего последний указал сыну на необходимость покинуть Болгарию.

9) Н. Абрамов приступил к хлопотам о паспорте и визах, по

получении коих 13 ноября состоялся его отъезд, носивший, по существу, характер высылки, хотя и произведенной в мягкой форме.

О состоявшемся отъезде сына Генерал Ф. Ф. Абрамов узнал случайно, примерно спустя 15-20 дней.

10) Факт отъезда сына, о виновности коего не имелось прямых улик, притом сделанного по указанию самого отца Начальник III Отдела не считал первоначально достаточным основанием для особого донесения по команде и оглашения его в более широких кругах. Произведенный в начале февраля этого года подробный доклад Генералу Ф. Ф. Абрамову Особой Комиссией, начавшаяся в печати кампания с неверным изложением событий и неправильным их освещенем понудили Генерала Ф. Ф. Абрамова к принятию ряда мер, а именно:

О случае с Н. Абрамовым Начальник III Отдела сообщил на Общем Собрании всех Начальников частей и групп, находящихся в Софии, – 7 февраля 1939 года,

объявил в краткой информации по III Отделу – 10 февр[аля], и

донес Начальнику Русского Обще-Воинского Союза 25 февраля того же года.

Необходимо добавить, что Управление III Отдела постоянно являлось предметом особого внимания большевиков, а со времени признания СССР Болгарией Управление III Отдела открыло и изобличило целый ряд большевитских агентов, деятельность которых тем или иным способом была ликвидирована. После прекращения работы Н. Абрамова большевики пытались поставить еще одного агента, в котором быстро разочаровались и прибегли к услугам некоей Опальковой, деятельность которой в конце декабря минувшего года также была ликвидирована.

По некоторым данным, сами большевики сменили у себя двух или трех руководителей слежки за Управлением III Отдела, очевидно вследствие их неудач.

Эти обстоятельства сами по себе свидетельствуют достаточно ярко, что контрразведывательная служба в Управлении III Отдела налажена, в соответствии с имеющимися средствами, удовлетворительно, чины Управления проявляют достаточную бдительность и нет оснований бросать им в этом отношении упрек.

Кроме того, необходимо совершенно ясно подчеркнуть, что, вопреки распространяемым сведениям, Н. Абрамов был замечен, выслежен и обезврежен силами Управления III Отдела, а местная полиция была привлечена и использована лишь в период проверок.

Тем не менее нельзя не признать, что Управлением III Отдела в

деле Николая Абрамова были допущены ошибки, вследствие коих оно и вызвало огромный шум и принесло большой вред Русскому Обще-Воинскому Союзу:

А) Ни в коем случае не следовало привлекать сына Начальника Отдела к секретной работе, каким бы он, по своим способностям, знаниям и свойствам не представлялся подходящим и даже незаменимым для этой работы,

необходимо было помнить, что на такой работе вероятны и даже почти неизбежны провалы и что, в случае такового провала с сыном Начальника Отдела, вся неудача отразится на авторитете не только Начальника III Отдела, но и всего Русского Обще-Воинскаго Союза.

Представленные по этому поводу Капитаном Фоссом объяснения, что Н. Абрамов был предварительно проверен и что таким работником, как Н. Абрамов, было необходимо воспользоваться, – нельзя признать удовлетворительными.

Нельзя не поставить в вину и Начальнику III Отдела допущение Н. Абрамова к работе, хотя объяснения, данные Начальником III Отдела и объясняют в достаточной степени его решение.

Б) Второе крупное упущение заключается в том, что подозрения в отношении Н. Абрамова не были тотчас же доложены Капитаном Фоссом Генералу Ф. Ф. Абрамову. Капитан Фосс обязан был это сделать, как бы ему ни было тяжело огорчать отца и сколько бы он ни рисковал потерей доверия Генерала Ф. Ф. Абрамова к нему самому (Капитану Фоссу).

Правильно приняв меры к немедленной изоляции Н. Абрамова и к осведомлению болгарских властей, Капитан Фосс раньше всего должен был совершенно определенно доложить своему Начальнику о своих подозрениях и образе действий.

Ему все равно пришлось сделать это позднее и подвергнуть испытанию отцовское чувство Генерала Ф. Ф. Абрамова, но это было тогда, когда уже нельзя было исправить дело, которое могло иметь совсем иное развитие, при условии принятия с самого начала правильного решения.

В) Период наблюдения, проверок и т. д. Н. Абрамова затянулся слишком долго: со времени первых подозрений – конец 1936 и начало 1937 г. и до ликвидации осенью 1938 г. Капитан Фосс уже ко времени образования Особой Комиссии Полковника Петриченко имел достаточно данных, чтобы высказать твердую уверенность в виновности Н. Абрамова и

Г) Несомненным упущением является и позднее осведомление воинских организаций и позднее донесение Начальнику Русского Обще-Воинского Союза о деле Н. Абрамова, что имело следствием

невозможность своевременно правильно осветить происшедшее как чинам Русского Обще-Воинского Союза, так и русской печати, которая оказалась в большей своей части тенденциозно и неверно ориентированной в ущерб Русскому Обще-Воинскому Союзу.

Начальник Русского Обще-Воинского Союза
Генерал-Лейтенант АРХАНГЕЛЬСКИЙ

---

1. Гв. поковник Петриченко Георгий Иванович. Находился в Русской армии до эвакуации Крыма. Командир батареи, галлиполиец. С 1925 года в составе Гвардейского отряда в Болгарии.

2. Фон Лампе Алексей Александрович (1885–1967) – генерал-майор Генерального штаба. Участник Белого движения, возглавлял в Харькове комитет, занимающийся переброской офицеров в Добровольческую армию. Начальник оперативного штаба Добровольческой армии. Являлся одним из организаторов РОВСа.

3. ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Существовало в СССР с 1927 по 1948 гг. Общество появилось благодаря слиянию Общества содействия обороне, Общества друзей воздушного флота, Общества друзей химической обороны и химической промышленности (Доброхим СССР). Предшественник ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).

4. НСНП (Национальный союз нового поколения) – предшественником НСНП было несколько зарубежных организаций, таких как Союз русской национальной молодежи (СРНМ), который в 1929 г. объединился с другими молодежными организациями и был переименован в Национальный союз русской молодежи за рубежом. На первом съезде в Белграде представителей Союзов русской национальной молодежи было провозглашено создание единого Союза, выбран руководящий состав НСРМ, сформулированы идеологические положения новой организации, принят ее временный устав. На втором съезде, который также состоялся в Белграде, было изменено название Союза, он стал называться Национальным союзом нового поколения (НСНП). Союз ставил перед собой задачу подготовки национальной революции в России и готов был сотрудничать со всеми антикоммунистическими организациями Зарубежья, в первую очередь с РОВСом. Позднее был назван НТС.

5. Раскольников Федор Федорович (1892–1939) – участник российского революционного движения, социал-демократ, большевик, публицист. В 1938 г. стал невозвращенцем – опасаясь ареста, не вернулся в СССР из Болгарии. Сотрудничал в эмигрантской прессе. Раскольников, заочно приговоренный Верховным судом СССР к расстрелу, писал в Париже на страницах «Новой России» от 1 октября 1939 г., обращаясь к «отцу народов»: «Пользуясь тем, что

вы никому не доверяете, настоящие агенты гестапо и японской разведки с успехом ловят рыбу в мутной, взбаламученной вами воде, в изобилии подбрасывают вам ложные документы, порочащие самых лучших, талантливых и честных людей. Подсовывая агентам Ежова фальшивые документы, компрометирующие честных работников миссии, 'Внутренняя линия' РОВСа в лице капитана Фосса добилась разгрома нашего полномочного представительства в Болгарии от шофера М. И. Казакова до военного атташе полковника В. Т. Сухорукова». Погиб в Ницце при невыясненных обстоятельствах, был выброшен из окна больничной палаты через 20 дней после того, как он опубликовал в западной прессе «Открытое письмо Сталину» с разоблачениями его преступлений.

6. Эрдели Иван Георгиевич (1870–1939) – участник Белого движения, генерал от кавалерии. Принял активное участие в выступлении генерала Л. Г. Корнилова. Бежал вместе с другими из Быхова на Дон, где с первых дней участвовал в формировании Добровольческой армии. Участник Первого Кубанского («Ледяного») похода. Активно участвовал в деятельности РОВСа, член правления Общества взаимопомощи бывших юнкеров Николаевского кавалерийского училища. С 1934 г. начальник 1-го отдела РОВС, в 1937 г. назначен председателем Комиссии по расследованию дела агента НКВД генерал-майора Н. В. Скоблина. Заключение комиссии о похищении генерала Е. К. Миллера и предательстве генерала Скоблина было опубликовано в приказе № 5 от 1 марта 1938 г. по 1-му отделу РОВСа.

7. Машинский Николай Викентьевич, подполковник. Сражался в рядах Вооруженных сил Юга России, в Дроздовской артиллерийской бригаде. С 1925 года в составе артдивизиона в Болгарии.

8. Кедринский Василий Иванович (? –1945) – участник Белого движения. В чине штабс-капитана служил в Добровольческой армии – во 2-й роте Корниловского ударного полка. Участник Первого Кубанского («Ледяного») похода. Во ВСЮР и Русской армии в Корниловской дивизии до эвакуации Крыма. На 18 декабря 1920 г. в 1-й роте Корниловского полка в Галлиполи. Осенью 1925 г. в составе Корниловского полка в Болгарии. Подполковник. Служил в Русском корпусе. Расстрелян большевиками в 1945 г. в Болгарии.

9. Серафимов Борис Саввич (1882 – не ранее 1940) – дипломат, эмигрант. Окончил факультет восточных языков Петербургского университета (1907). С 1909 г. сотрудник первого департамента МИД. С 1911 по 1914 г. являлся исполняющим обязанности секретаря-драгомана консульства в Алеппо (Сирия). В 1914 г. назначен третьим драгоманом посольства в Константинополе. В 1917 г. прикомандирован к миссии в Берне. В эмиграции жил в Болгарии, являлся председателем Нансеновского комитета в Болгарии, в том числе – Комитета по делам русских беженцев.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГЕНЕРАЛА Ф. Ф. АБРАМОВА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДОНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ СТАНИЦЫ ИМЕНИ А. М. КАЛЕДИНА

Данная переписка между генералом Ф. Ф. Абрамовым и атаманом Видинской казачьей станицы И. Коржевым отразила накал страстей в казачьей среде между представителями «вольного казачества» и «неделимцами», связанный с идеей создания самостоятельного государства под названием «Казакия». Основным идеологом казачьего национализма был Игнат Архипович Билый (1887–1973), который начал собирать казаков-националистов в одну организацию, цель которой было создание т. н. Казакии. Про-граммная статья появилась в первом номере журнала «Вольное казачество – Вільне казацтво» от 10 декабря 1927 года в Праге. Границы государства Казакия должны были простираться по следующим направлениям: «южная граница Казакии, соприкасаясь у Черного моря, в районе Гагр, с границей Грузии, идет на восток по границе Кубанского Войска и Землях терских казаков, проходит через Кавказский хребет и потом по его северным предгорьям направляется к Каспийскому морю в районе устья реки Терека». Дискуссия на тему нового государства то затихала, то возникала с новой силой. В 1959 году эта дисскусия была в центре внимания эмигрантской общественности после принятия Конгрессом США закона № 86-90 «О порабощенных нациях» (Public Law 86-90), в котором речь шла и о Казакии как стране, лишенной национальной независимости после порабощения коммунистическим режимом.

Юрий Сандулов

Ко дню памяти Генерала А. П. Кутепова по всей Болгарии разосланы подписные листы от Комитета по сбору средств в ФОНД СПАСЕНИЯ РОДИНЫ с просьбой в эти дни воспоминаний о Ген[ерале] Кутепове произвести сборы на дело, которому так беззаветно служил Генерал:

«Атаману Видинской Казачей Станицы», носящей имя Генерала Каледина, б[ывшего] Атамана Войска Донского, был также послан лист и приложено воззвание от Комитета к РУССКИМ ЛЮДЯМ.

Подписанный лист возвращен при следующем сношении на бланке ДОНСКАЯ ВИДИН[СКАЯ] КАЗАЧЬЯ А. М. КАЛЕДИНА СТАНИЦА: «Генерал-Лейтенанту Абрамову. На высланное Вами на имя Атамана Видинской Вольно-Казачей Станицы обращение по поводу сбора пожертвований в Фонд Спасения Родины, мы, казаки вольно-казачей Видинской станицы, после обсуждения между собою сказанного обращения, порешили ответить Вам следующее: ‘Так как наши, вольных казаков, взгляды и чаяния в будущем резко отличают-

ся от взглядов и чаяний русских людей и казаков ‘неделимцев’, забывших свое былое, – Волю и права возвратить Вам весь присланный материал без особых комментарий по этому поводу. Атаман Видинской Вольно-Казачей Станицы И. Коржев. Станичный писарь Ив. Томаревский».

На возвращенном воззвании к РУССКИМ ЛЮДЯМ с призывом о жертвенности на освобождение Родины сделана надпись (сохраняем орфографию): «Зачем шлете казакам, если всевеликое войско донское есть самостоятельное государство, а вы пишите русским, для нас ето обидно, а поэтому возвращаем вам назад. Вы Командир Корпуса всевеликого войска донского а пишите такую неурядицу называете русскими».

Ответ Ивану Коржеву: «Вашу отписку от 23 Января с[его] г[ода] получил. Спасибо за доброе слово. Пошли Бог Вам счастье узреть наше родное казачество вольным и свободным, в своих привольных краях, а не в тундрах Сибири и в Соловецких лагерях... Кто же принесет Вам эту ‘свободу’, вернет Вам молочные реки в кисельных берегах?.. Ведь большевики имеют своей задачей полное истребление казаков, не разбирая ‘вольных’ или ‘невольных’. Не сбросив предварительно большевиков, нельзя и думать о какой бы то ни было ‘воле’ в казачих краях. Об этой ‘воле’ легко и безопасно говорить только здесь – в Праге да в Видине. А там – думают только об одном, как бы сбросить ненавистную шайку большевиков; ведут ни на минуту не прекращающуюся неравную борьбу и просят только от нас помощи... Мы и помогаем им чем только можем. Обратились с их мольбой и к Вам... Скажите по совести, – имел ли я право обойти Вас, не передав Вам крик о помощи оттуда... Не дал ли бы я Вам основание назвать меня предателем, который, дескать, во имя каких-то партийных эмигрантских счетов и споров, обходит нас, скрывая от нас зов о помощи наших же родных станичников, погибающих там в неравной борьбе...

Знал я о Ваших местных неладах и распрях. Но никак не думал, что вы так далеко ушли от дела борьбы с большевиками, так глубоко забыли о том ужасе, который царит на местах наших прежних станиц... Только потому и обратился к Вам, что по-прежнему считаю всех казаков непримиримыми борцами против большевиков.

Я хотел бы только знать, – то, что Вы написали мне, есть голос всех казаков Атамана Каледина станицы, или же Вы использовали только имя этого Великого Русского человека и славного Донского Атамана, присоединив титул всей станицы к Вашим двум именам – И. Коржева и И. Томаревского.

Будьте здравы. Ф. Абрамов»

Публикация, примечания – Ю. Сандулов

К 100-летию С. С. МАКСИМОВА

Сергей Максимов

Рассказы 1950–1960-х годов*

Продолжая публикацию последних рассказов известного писателя Русского Зарубежья Сергея Максимова (1916–1967), «Новый Журнал» представляет вниманию читателей рассказы «Тайна» (НРС, 27 декабря 1959), «Княж-Погост» (НРС, 3 сентября 1961) и «Крик» (НРС, 10 июля 1960).

Действие рассказа «Тайна» происходит в родном селе писателя Чернопенье, предположительно в 20-е годы прошлого века. В центре повествования – мальчик Матвей. Он рассказывает о смерти своего родного дяди. Можно предположить, что это детские воспоминания самого автора о семье и родственниках. В рассказе упоминаются имена жителей Чернопенья. Это – плавающий на буксирном пароходе вместе с семьей Козырев, в доме которого останавливалась семья Матвея, приезжая в село из города на летние месяцы, – в селе Чернопенье жили несколько семей Козыревых. По всей вероятности, в рассказе упоминается Геннадий Константинович Козырев, который с раннего возраста работал на речных судах, в том числе и на буксирных. Священник, хоронивший дядю Матвея, – это отец Сергий Груздев, служивший в храме села Качалова, в приходе которого состояло село Чернопенье. Отец Сергий до 1917 г. преподавал Закон Божий в Чернопенском двухклассном училище; известно, что в 1924 г. он, как и все священнослужители, был лишен избирательных прав. О дальнейшей его судьбе пока ничего неизвестно. Упоминается в рассказе и имя председателя чернопенского сельсовета Африкана Дмитриевича Широкова. Невозможно с полной долей уверенности сказать, что это действительно точное имя, но Сергей Максимов упоминает его под фамилией, которую носила мать писателя до замужества.

В рассказе «Княж-Погост» Сергей Максимов возвращается к лагерной теме. Автор рассказывает о судьбе Глеба Петровича Смидовича, сына известного социал-демократа Петра Гермогеновича Смидовича (1874–1935). В рассказе автором упоминаются также реальные люди – режиссер лагерного театра Александр Осипович Гавронский (1888–1958) и актриса Вера Радунская; оба встречаются и в цикле рассказов сборника о ГУЛаге «Тайга».

А. Любимов

---

* Начало см.: НЖ, №№ 279-280, 2015; № 282, 283, 2016. О С. Максимове см.: НЖ, №№ 254-257, 2009.

ТАЙНА

1

В эту ночь маленький Матвей долго не мог уснуть.

На яру шумели березы, дул холодный верховой ветер и монотонно и громко стучал дождь по тесовой крыше. За черными окнами было темно и жутко, крупные, блестящие капли уныло сбегали по пыльным стеклам, оставляя светлые полоски. Словно вторя дождю, в окно, что выходило в проулок, стучала ветка рябины – стучала часто и дробно, будто поздний путник просился заночевать. В горнице пахло дождем, прохладой и масляной краской.

На небольшом столе, покрытом вышитой крестиком суровой скатертью, слабо мерцала семилинейная керосиновая лампа с прикрученным фитилем; было сумрачно, в углах горницы было так же черно и жутко, как и за окнами, – с вечера, уложив сына спать, мать почему-то не потушила лампу, а лишь прикрутила фитиль. И Матвей догадывался, что и непотушенная лампа, и следы слез на глазах матери, и как-то странно нарушенный за последние дни обычный размеренный образ жизни – все это неразрывно связано с тем, что дядя Миша умирает...

И лежа в горнице на кушетке, Матвей тоже думал о дяде Мише и о том, что дядя Миша умирает. Что значит умирать? Матвей представлял это очень смутно, неясно, но понимал, что умирать – что-то очень необыкновенное и страшное.

Потом мысли о смерти дяди как-то сами собой уступили место мыслям о бакенщике Ефиме Иваныче, которого маленький Матвей называл тоже дядей – дядей Ефимом, хотя ни в каком родстве с бакенщиком Матвей не был. И вспоминая о тщедушном, милом его сердцу Ефиме Иваныче, мальчик ловил себя на том, что нехорошо думал о бакенщике: «Вот, уговорился дядя Ефим с дядей Мишей умереть вместе, а умирает только дядя Миша. Получается, значит, что Ефим Иваныч подвел дядю Мишу...»

Дверь на кухню была приоткрыта, и Матвей видел, как его старший брат Костя – студент 2-го курса Московского университета, человек серьезный и умный, худой, как костыль, с тонкой длинной шеей и с черными, гладко зачесанными назад волосами, молча расхаживал из угла в угол, поскрипывая половицами и тихо шаркая войлочными туфлями по крашеному желтой масляной краской полу. Иногда он останавливался, поднимал голову, выставляя острый кадык, и полушепотом говорил с матерью, которую Матвей не видел.

– Что мы знаем о смерти, мама? – говорил брат. – Ничего! И слава Богу, что не знаем. Если бы мы знали, где и когда нас подстерегает смерть, – жизнь была бы невыносимой.

Мать молчала.

– Исключение – безнадежно больные. Они знают, – продолжал Костя, – они знают, когда наступит конец... с помощью докторов, конечно.

– Миша и без докторов знал, что скоро умрет... – тихо сказала мать, и Матвею послышалось, что ее голос дрогнул, и она всхлипнула.

– Ну, будь что будет... – раздраженно сказал Костя.

– Что – будет? – сердито ответила мать. – Удивляюсь я тебе... твоей черствости, твоему эгоизму. Как ты можешь в такую минуту философствовать?.. Право, досадно.

– Ну, будет, будет... – повторил сын и замолчал.

Прошло минут шесть-семь. Костя по-прежнему ходил из угла в угол, и вдруг сказал:

– Да-а... смерть, это – великая тайна.

Мать не ответила. Тогда Костя, помолчав, сказал:

– Есть странные люди, мама. Они могут безошибочно предсказать год, день и час своей смерти. Но замечательно, что этот, уму непостижимый, дар свойственен только простым, примитивным людям – мещанам, крестьянам и – в особенности – дикарям... А животные? Возьми животных. Ведь зверь – волк, например – раненый волк, предчувствуя смерть, выискивает себе местечко поуютнее, где бы он мог спокойно умереть. А вот человеку развитому, культурному, это чувство, чувство близкой смерти, не дадено. Я думаю, это потому, что примитивные люди, дикари, они ближе к природе, к земле... Они – тоже природа, часть ее, если хочешь... И у них есть общий язык с природой. И смерть для них – вещь обычная, понятная. И поэтому смерти – этой великой тайны – они ничуть не боятся.

– Ах, оставь, пожалуйста! – с откровенной досадой сказала мать. – Ну до твоих ли мудрствований нам теперь?.. Право, ты какой-то зоологический эгоист!.. У меня умирает брат! Брат! Мой родной брат! Ты понимаешь это? Мой брат и твой дядя. А ты... Ах, что говорить!

– Тише! Разбудишь Матвея... – холодно напомнил Костя.

В кухне послышались нервные, дробные шаги, и на пороге горницы показалась Глафира Егоровна – мать. Невысокая, с маленькими пухлыми руками, в черной плисовой юбке и в чистой белой блузке, в цветной шали на плечах, она чем-то напоминала керженскую монашку-белицу. В густых темных волосах ее, уложенных в пучок, серебрилась седина; волосы были приятно пахучи и, когда мать распускала косу, Матвей любил зарываться в ее волосы лицом.

– Ты почему не спишь, Матвеюшка?

– Так...

Легко ступая, мать подошла к кушетке, заботливо поправила

одеяло на сыне и присела возле него. И Матвею стали хорошо видны большие, грустные глаза матери и густая сеточка морщин вокруг них.

– Мама, Ефим Иваныч тоже скоро умрет? – вдруг спросил Матвей.

– Господь с тобой! Как можно так говорить?

– Очень просто, – серьезно ответил мальчик. – Они с дядей Мишей уговаривались вместе умереть – я слышал.

– Это они шутили. Никто не умрет – Бог милостив... И дядя Миша не умрет.

Мальчик помолчал и, прижавшись к теплой руке матери, тихо спросил, повторяя слова брата:

– Мама, смерть – это великая тайна?

– Тайна... Спи, пожалуйста.

Мать поднялась, поцеловала сына и хотела было потушить лампу, но в окно кто-то громко и резко постучал. Мать побледнела, торопливо подошла к окну, толкнула раму. В горницу ворвался шум дождя и запах мокрых берез и тополей.

– Иди! Умирает!.. – сказал кто-то под окном.

2

Как бы ни были люди подготовлены к тому, что кто-то близкий непременно должен умереть, – смерть всегда поражает.

Матвей смутно помнил, что всю ночь надоедливо хлопали двери, кто-то входил и уходил, кто-то плакал, кто-то надрывно, по-русски, причитал, кто-то что-то говорил обычное, сумбурное, неясное. Потом появилась соседка – тетка Арина, полная, краснолицая женщина, а мать и Костя исчезли. Потом он уснул и проснулся поздно.

В доме было тихо, на кухне топилась русская печь, щелкали ходики, гремели ухваты.

– Мама! – позвал мальчик.

Никто не ответил.

– Мама! – громче повторил Матвей

В горницу вошла тетка Арина и тихо сказала:

– Матери нет. Чего тебе?

– А Костя?

– И Кости нет. Уехали с Василием на Волгу рубить еловый лапник... Вставай, умойся да поешь горячих ватрушек с молоком. Я тебе ватрушек спекла.

– Зачем – лапник? – осведомился мальчик.

– А как же! Надо покойнику дорожку на кладбище выстлать лапничком-то... Вставай! Нечего!

Мальчик мигом вскочил, быстро оделся, сунул босые ноги в

маленькие кожаные сапожки и, забыв ополоснуть лицо и руки, стремглав выбежал на волю.

– Куда? – сердито крикнула тетка Арина. – А ватрушки?

...Моросил дождь, мелкий, частый, словно сквозь сито. На скучном оловянном небе бестолково кружились низкие бурые дымчатые тучи. Стволы высоких берез почернели от дождя и тоже казались скучными, и с ветвей их падали наземь крупные капли. Забившись под застреху сарая, неподвижно сидели грачи.

Матвей в нерешительности остановился на мокрой и скользкой глинистой тропинке, круто сбегавшей вниз к дому дяди Миши, и дальше, к баням и к Волге, серой и скучной, как все вокруг.

Солидный, двухэтажный дом дяди, всегда веселый и шумный, был тих и непонятно молчалив, казался иным, чем прежде. Там поселилась смерть – великая тайна, как сказал Костя. Жуткая и одновременно – сладкая тайна, буйно щекочущая сердце.

Как ни любил Матвей дядю Мишу, но мертвым ему не хотелось видеть дядю. Он стоял под дождем и думал. Но думал как-то странно и непоследовательно: вспоминалось то одно, то другое.

Дядя Миша был родной брат матери. Оба родились в семье исконных волгарей, но жизни брата и сестры сложились по-разному. Глафира Егоровна не вышла замуж за волгаря, как полагалось по традиции, – она вышла замуж за заезжего инженера-москвича и переселилась в столицу. Однако связи с родным селом никогда не теряла и каждое лето приезжала с детьми на родину и поселялась по соседству с братом в маленьком домике лоцмана Козырева – домик по весне и летом пустовал: лоцман вместе с семьей плавал на буксирном пароходе. В июле приезжал в отпуск на месяц отец Матвея.

Михаил же Егорович не изменил традиции – пошел по стопам дедов: стал работать на Волге, на пароходах. Начал с матроса, а кончил жизнь капитаном.

Матвей редко видел дядю, потому что летом, когда Матвей с братом и матерью приезжал в родное село, дядя был на пароходе, в плавании. Впрочем, иногда Глафира Егоровна навещала брата зимой и всегда брала с собой Матвея. Так что только во время этих редких кратковременных наездов Матвей виделся с дядей.

И поэтому, из-за этих редких встреч с дядей, Матвею был гораздо ближе и милее бакенщик Ефим Иваныч – старый друг дяди Миши... Всю жизнь друзья прошли вместе, да и были они ровесники. В молодости, задолго до революции, они служили во флоте на одном корабле. Вместе совершили кругосветное плавание на крейсере. Вместе дрались с японцами в Цусимском бою. Позднее – вместе дрались с белыми на Каме.

– Эх, кабы умереть нам вместе, Ефимушка... – вздыхал Михаил Егорович.

– А уж это как Бог пошлет... – отвечал тихий, тщедушный Ефим.

Дядя Миша был высоченного росту, косая сажень в плечах, и на редкость сильный. Носил длинную бороду – лопатой. Хороший семьянин, он любил жену, детей, – а детей у него было двенадцать. Сильные пальцы его были корявые, скрюченные – от штурвала. И, глядя на него, на сильного и крепкого, думалось, что жить он будет долго-долго... Не пришлось.

Ефим же Иваныч был маленький, слабый и очень страдал от ран, полученных на Каме в боях с белыми. Хороший лоцман, он не мог уже работать на пароходе и ушел на берег бакенщиком. И зимой, и летом он носил форменный старенький картуз и ходил в валенках. И на вопрос Матвея – почему он летом ходит в валенках, Ефим Иваныч отвечал пословицей:

– Держи, Матвеюшка, брюхо в голоде, голову – в холоде, а ноги – в тепле. И проживешь сто лет!

– А зачем тебе сто лет жить?

– Мне-то? Оно, конешно – ни к чему... Но, видишь ли: хочу помереть с твоим дядькой. А я человек больной, слабый, дядька же твой – богатырь! Он, брат, не то что лет до ста доживет, а может, и боле. Значит, мне беречь себя надо, соблюдать, значит... Потому и – в валенках.

Ефим Иваныч жил в маленькой, убогой хибарке на берегу Волги. Зимой, в метели, хибарку до самой крыши заносило снегом, и Михаил Егорович, идя поутру навестить друга, всегда захватывал с собой деревянную лопату.

– Куда это – с лопатой? – спрашивала жена.

– Ефима откапывать... – спокойно и серьезно отвечал Михаил Егорович.

...Матвей, скользя сапожонками по глинистой тропинке, стал спускаться вниз, обогнул погреб, подошел к поленице. И снова остановился, и снова задумался. И опять вспомнил Ефима Иваныча и то, как Ефим Иваныч пел с дядей Мишей. А пели они хорошо, стройно, на два голоса:

Ой, да как на низовьях,
Ой, да Волги-матушки...

– заводил тенорком Ефим Иваныч,

Да рядились бурлачки
Ко хозяину...

– в терцию подхватывал баском дядя Миша,

И шагали тыщи верст
С половиною
С самой Астрахани
Да до Рыбинска...

Пели вдохновенно, по-русски откидывая головы и закрывая глаза. Пели, конечно, под водочку и под огурчики. И чаще всего единственным их слушателем был пес Ефима Иваныча – сучка Баржонка, старая и лохматая дворняжка. Впрочем, заходил иногда послушать певцов и сам председатель сельсовета – добрейший старик Широков Африкан Дмитрич.

Матвей очень любил и дядю Мишу, и Ефима Иваныча. Но кого больше любил – это он не знал: пожалуй, Ефима Иваныча, потому что чаще видел его. Ефим же Иваныч баловал мальчонка: то пароход ему смастерит, то живую чайку подарит – а птиц ловить он был большой мастер, – то на рыбалку возьмет Матвея...

И вот нежданно-негаданно пришла беда. В начале июля приехал неожиданно домой Михаил Егорович – списали его с парохода на берег по болезни. Списали в Горьком и поместили в больницу, а на другой день Михаил Егорович ушел из больницы и поехал домой – непременно умереть хотел дома. А то, что он непременно и скоро умрет, – это он знал твердо. И войдя в дом, спокойно сказал жене:

– Умирать, мать, пришел... Колотья в животе.

3

Матвей взобрался на поленицу, пролез через дощатый забор и спрыгнул в сад дяди Миши. Из сада прошел во двор и увидел под навесом двора Ефима Иваныча. Согнувшись над верстаком, Ефим Иваныч стругал какие-то доски, и у ног его на земле валялись свежие стружки. Картуза на голове не было – и это удивило Матвея. Чуть поодаль лежала на рогоже Баржонка, положив на лапы мохнатую морду.

Матвей тихо подошел, поздоровался.

– Что ты делаешь, дядя Ефим?

– Гроб...

Помолчав, Ефим Иваныч кратко осведомился:

– Ревел?

– Зачем – реветь? – удивился мальчик.

– А по дяде-то.

– Нет, не ревел.

– Это хорошо, что не ревел, – сказал Ефим Иваныч. – Реветь не надо. Вот бабы поголосили-поголосили да притихли. А что толку, что голосили?.. Горе, брат, не слезами меряется, а – нутром.

Ефим Иваныч положил рубанок на верстак, расправил русую, в завитушках, бороду, присел на кряж и стал свертывать цигарку.

Матвея же занимала неотступная мысль, навязчивая и нехорошая, а то, что она была нехорошая, – он это чувствовал. Но любопытство побеждало.

– Дяля Ефим?

– Что?

– Дядя Миша умер, а ты – нет? Почему? Ведь вы уговаривались умереть вместе.

– Дурачок ты, Матвеюшка... – просто сказал Ефим Иваныч и мельком взглянул на мальчика светлыми, грустными глазами. – Уговор – одно, а жизнь – жизнью, брат. Да тут еще Бог. Бог, видно, решил по-другому... Мать – что?

– Не знаю.

– Как это – не знаю? Мать сейчас в горе, а ты должон возле нее быть. А ты – даже не знаешь, как она и что...

Матвею стало стыдно.

Ефим Иваныч неторопливо покуривал.

– Чую, что мне еще до-о-лго жить... – сказал он. – У покойника был?

– Нет.

– Иди!

– Не хочется. Страшно.

– Иди! – повторил Ефим Иваныч и встал.

...На третий день Михаила Егоровича хоронили. И опять, как все последние дни, моросил дождь. Земля уже не могла впитывать воду, и всюду – на дорогах, в садах, на выгоне, в лугах – стояли лужи. На небе – ни лучика солнца, ни просвета, словно кто-то наглухо привинтил над землей тяжелый свинцовый купол.

Вынос тела назначили на два часа дня, но уже с полудня у дома покойника толпился народ. Покойник лежал в «холодной» – на втором этаже. В доме пахло свечами, ладаном, терпкой смолой ельника. Входные двери не закрывались, люди входили в просторные сени, крестились и подымались по крутой лестнице на второй этаж. Потолкавшись возле открытого гроба и вдоволь насмотревшись на мертвого, спускались вниз и, ожидая выноса тела, жались к стене дома возле крыльца.

– А Ефим, братцы, молчит – как воды в рот набрал.

– А чего ж ему – выть, что ли? Чай, не баба.

– Ну, все ж таки, первый друг Михаила-то. А гроб Ефим сколотил на славу! Царя в пору хоронить в таком гробу!

Родни собралось много. Не приехал лишь отец Матвея, не мог – занят был.

Отслужили панихиду, подняли гроб, и Михаил Егорович отправился в последний путь. Вся дорога от дома до кладбища была устлана еловым лапником. Глафира Егоровна стояла возле крыльца, держа Матвея за руку. Плакать она больше не могла – все слезы были выплаканы, глаза – сухи, веки – красные и вспухшие, на лбу – тонкая морщинка, незнакомая Матвею. Костя суетился по дому, руководя похоронами. И в деловитой суете его было что-то нехорошее, черствое.

– В-е-ечная память!.. – послышалось на лестнице, и мужчины, стоявшие у крыльца, как по команде, сорвали шапки и подставили под дождь обнаженные головы.

Вот сошли с крыльца какие-то люди – они несли крышку от гроба, высоко подняв ее над маленьким, седеньким о. Сергием. Облачения на нем не было. Старенькое гражданское пальто было ему не по плечу, а кожаные сапоги непомерно велики. Шел он спокойно, торжественно, размеренным шагом, помахивая дымящимся кадилом. Потом вынесли гроб. Восковое, желтое лицо дяди Миши казалось незнакомым и страшным, и Матвей еще крепче вцепился в руку матери. Обгоняя о. Сергия мелкими шажками, сбежал с крыльца Костя.

– Ве-е-ечная память!.. – слабеньким, дребезжащим голоском тянул о. Сергий.

Лестница была крутая и узкая, и гроб несли пока что не на плечах и даже не на рушниках, а на весу, в руках. Несли четверо, по двое: двое – сзади, двое – впереди. Сзади гроб несли младшие сыновья Михаила Егоровича, впереди – молодцеватый и сильный старший сын покойного Василий и Ефим Иваныч. Сходя с крыльца, Василий и Ефим Иваныч шли спиной и как-то боком. Василий подскользнулся на мокрых ступеньках и, выпустив из рук тяжелый гроб, полетел вниз наземь. Толпа испуганно ахнула.

Гроб, однако, не упал. Передний угол его, тот, что поддерживал Василий, с легким стуком упал на перила крыльца и тихо стал скользить по перилам. Ефим же Иваныч, поддерживающий другой угол, успел перехватить руки, и в тот момент, когда гроб соскользнул с перил, и, казалось, вот-вот упадет, Ефим Иваныч был уже впереди гроба, цепко вцепившись в него снизу.

Тяжелый гроб с покойником повис на слабых руках Ефима

Иваныча. Крупно шагая, Ефим Иваныч задом, спиной сошел с крыльца, не выпуская из рук непосильную ношу. Он побледнел, прикусил губу, а на висках и на шее вздулись жилы.

– Чего смотрите, окаянные? – крикнула какая-то баба в черном платке. – Помогите человеку!

И десятки рук подхватили гроб.

Василий стоял в стороне и щепочкой счищал грязь с брюк и с шинели.

Маленький Матвей видел, как Ефим Иваныч вышел из толпы и, судорожно хватая воздух перекошенным ртом и сжав руками горло, шатаясь, как пьяный, обогнул крыльцо и скрылся за углом дома. Мальчик выдернул руку из руки матери и бросился вслед за Ефимом Иванычем.

Ефим Иваныч сидел на земле, прислонившись спиной к кирпичной стене дома. Правой рукой он по-прежнему сжимал горло, а левой – царапал мокрую траву. Из угла губ его тоненькой струйкой бежала кровь. А возле – юлила, приседала и скулила Баржонка.

– Дядя Ефим! – крикнул мальчик, не узнавая и страшась своего голоса.

– Надорвался... – прохрипел Ефим Иваныч. – Э-эх, не рассчитал...

И вдруг виновато, но как-то светло улыбнулся кровавым ртом, качнулся и тяжко, скользя плечом по кирпичам стены, завалился на спину – наземь, на мокрую траву. Матвей хотел закричать, позвать на помощь, но не было сил кричать. Он присел возле Ефима Иваныча, уткнул лицо в колени и навзрыд заплакал.

Баржонка задрала лохматую морду и, глядя на скучное, серое небо, протяжно, с надрывом, завыла...

КНЯЖ-ПОГОСТ

1

Настоящая любовь – это, прежде всего, сознание, что любимому человеку хорошо.

Впервые я понял это двадцати трех лет, в советском концлагере Севжелдорлаге, когда на моих глазах протекла и быстро сгорела трагическая любовь между хорошенькой молоденькой воровкой Галей Тараканової и инженером-путейцем Глебом Петровичем Смидовичем.

Настоящую фамилию Глеба я называю только потому, что он умер в концлагере, задолго до окончания своего каторжного срока.

Глеб был сыном известного социал-демократа Петра Смидовича. После революции отец его был одно время в фаворе. Был чле-

ном Президиума ВЦИК и входил в состав ЦИК СССР и его Президиума. В то время он с семьей жил в Кремле. Потом – попал в опалу и был расстрелян, а Глебу дали десять лет.

Глеб был невысоким, но плотным и сильным человеком, с большими, чистыми, голубыми глазами. Мягкий, культурный, на редкость учтивый человек, он, несмотря на молодость, был прекрасным инженером.

Галя Тараканова была маленькая, черноглазая брюнетка с пышной копной вьющихся крупными кольцами непокорных волос. И с удивительно красиво вырезанным ртом, с чуть отвернутой нижней губкой, как у Афродиты.

Понимая, что Глеб – не человек ее среды, она всячески старалась подтянуться: стала усиленно следить за своей внешностью, за правильной речью, стала чуждаться жулья и много и жадно читала.

Зная, что я закадычный друг Глеба Смидовича, она, встречая меня, тихо и таинственно, бывало, спрашивала:

– Студент, а кто такой был Наполеон?

Я говорил.

– А что такое мета... как это?.. Да! Метафизика?

Я, как умел, объяснял, стараясь подбирать простые и понятные для нее слова.

А как-то она спросила:

– И что такое половой вопрос?

Но – странно – она никогда ни о чем не спрашивала Глеба.

На комендантском лагпункте Княж-Погост нас, заключенных, было около 2000 человек. Это был административный центр нашего обширного концлагеря протяжением полторы тысячи километров. Здесь же было и главное проектное бюро, где проектировалась железная дорога от Котласа до Воркуты.

Мужчины-специалисты работали в проектном бюро, в лабораториях, на многочисленных местных стройках вокруг Княж-Погоста. Простые люди – на подсобных работах. Женщины – в прачечной, в пошивочных мастерских, на кухне. Галя Тараканова работала подавальщицей в столовой И.Т.Р.

С тех пор, как Галя и Глеб сошлись, она с такой трогательной внимательностью следила за ним, что внимательность эта вызвала у нас откровенное, восторженное чувство зависти. Она, прежде всего, следила за тем, чтобы он всегда был чисто одет: штопала всегда его верхнюю одежду, стирала его нижнее белье и даже чистила его всегда грязные кожаные сапоги. Наконец – воровала для него на кухне продукты.

Глеб не на шутку сердился:

– Опять – украла?

– Для тебя... – виновато отвечала она.

– Ведь ты же обещала, что больше никогда не будешь воровать!

– Ну не серчай, больше не буду...

А на другой день снова приносила ему или зажаренный кусок мяса, или несколько котлет, которые она крала из кухни для вольнонаемных.

Несмотря на то, что жили мы в инженерно-техническом бараке-палатке и находились в относительно привилегированном положении, все-таки жили мы впроголодь. А голод, как известно, – не тетка, и Глеб Смидович, вздыхая и сокрушенно качая головой, брал у Гали украденное и делился со мной.

Я попал в этот барак по счастливой случайности. В то время я был актером в труппе Княж-Погостского театра для вольнонаемных – для работников НКВД, их жен, для вольных инженеров и техников, приехавших на Север за длинным рублем. Наш режиссер, политический заключенный Александр Осипович Гавронский, долго хлопотал о том, чтобы нас, актеров, перевели из общего барака в инженерно-технический. И вот однажды, после какой-то удачной постановки, начальник лагеря капитан госбезопасности Шемена смилостивился и отдал приказ о переводе нас в барак И.Т.Р.

Гавронский отлично играл в шахматы, и как-то, когда Гавронский играл в шахматы с Глебом, я слышал, как он полушепотом сказал:

– Вы, Глеб Петрович, берегите эту девочку. Все-таки у Вас есть близкий человек в этом аду. А это очень важно. Кроме того, она – милейший человек и очень любит Вас...

– Я ее и так берегу, как могу...

Однажды я заметил, что драповое демисезонное пальто Глеба, привезенное им еще из Москвы, куда-то таинственно исчезло.

– Глеб, а где твое пальто? – осведомился я.

– Гале подарил... – улыбнувшись голубыми глазами, беспечно ответил он. – Она перешила его на женское и теперь носит...

2

...Ночь. Шумит за колючей проволокой тайга. Идет сильный дождь и дробно стучит по брезентовой крыше нашей огромной палатки. Где-то надоедливо хлопает оторванный кусок брезента.

Стоял конец сентября, было холодно, мерзко, но снег еще не выпал.

В эту ночь я не спал: думал о Москве, о родных, и мысли эти не давали мне покоя. Не спал почему-то и Глеб. Наши койки были

рядом, и я слышал, как он беспокойно ворочался. Под потолком посреди барака тускло горел фонарь «летучая мышь», и я видел блеск открытых глаз Глеба. Под головой у него – подушка. На наволочке красными крестиками аккуратно вышито: «Спи спокойно, Глебушка». Это – подарок Гали.

– Глеб, ты не спишь? – шепотом задаю я ненужный вопрос.

– Нет.

– Что так?

Он поворачивается на бок, лицом ко мне, наклоняется и шепчет:

– Видишь ли, завтра Таракашика судить будут...

Галю звали Таракашиком.

– Как – судить? Кто ее будет судить? Она давным-давно осуждена.

– Жулье будет судить ее...

– За что?

– А за то, что она сошлась со мною... – отвечает Глеб.

И, помолчав, добавляет:

– У них закон есть такой: блатная не может сойтись с политическим заключенным по любви... Сойтись она с ним может только в одном случае, на время – для «дела». То есть, если надо его обворовать... А полюбить фраера, как они говорят, – иными словами – не жулика, – она не имеет права. За такую любовь ее ждет жестокое наказание... Таков их закон.

Порыв ветра снова хлопнул куском оторванного брезента, а дождь как-то особенно сильно застучал по крыше. Качнулся фонарь под потолком, и качнулись тени на выщербленном, грязном полу.

– Как же ее судить будут? – спросил я. – И к чему могут приговорить?

– Судить ее будет верховное жулье – жиганы. И, кажется, какие-то две проститутки. В парикмахерской. А приговорят, как она полагает, на первый случай, к десяти-двадцати ударам палкой... Разденут догола, положат на пол и – по спине...

Я присел на койке.

– Глеб, надо как-то предотвратить это. Ты подумал об этом?

– Еще бы! – возмутился он. – Я предложил Таракашику завтра утром доложить главному коменданту, но она перепугалась, заплакала и чуть не стала передо мной на колени... «Что ты? – говорит. – С ума сошел? Убьют и тебя, и меня. Меня – за то, что сказала тебе, а тебя – за то, что донес коменданту...»

На душе у меня стало смертельно тоскливо.

– Глеб! – помолчав, тихо позвал я друга.

– Что?

– Ты очень любишь ее?

– Ты же отлично знаешь, что – очень...

И добавил, повалившись на спину:

– Если б ты знал, как сильно привязался я к ней, как привык... Я бы растерзал этих негодяев, но она так умоляла меня не вмешиваться в это дело, что из любви к ней я решил послушаться ее...

На другой день, рано утром, я встретил Галю. Она тихо шла по бревенчатому настилу-лежневке – грязь была непролазная, – шла, низко склонив голову и о чем-то сосредоточенно думала.

– Таракашик! – окликнул я ее.

– А-а, это ты... – как-то безучастно и рассеянно сказала она.

– Таракашик, я все знаю. Что же теперь делать?

Она слегка улыбнулась, сверкнув мелкими и чистыми зубами.

– А – ничего... Пусть бьют. Может, конечно, не встану... Ты смотри – утешь тогда Глебушку-то... Даешь слово? И последи, чтоб он мстить за меня не стал. Убьют.

И, сорвав с головы шапчонку, она обеими руками взбила густые кольца черных волос.

– А ежели я встану, то все одно Глебку любить буду и никогда не брошу. Пусть хоть насмерть забьют меня, сволочи!

И тихо, сквозь зубы, вдруг неприлично и витиевато выругалась...

3

Вечером того же дня состоялся «суд» над Галей... Бледный – ни кровинки в лице – Глеб Смидович порывался пойти в парикмахерскую, и нам пришлось связать его и уложить на койку и укрыть одеялом.

Маленький чернобородый старик Гавронский качал головой и сокрушенно вздыхал:

– Да-а, вот это любовь... И с его, и с ее стороны. Какая самоотверженность! Какая жертвенность! А ведь, в сущности, люди они – совершенно разные и неподходящие друг для друга. Впрочем, чувство любви – абсолютно непонятно и необъяснимо.

Высокий и тощий, как костыль, плановик Волков, равнодушно подтачивающий рашпилем лучковую пилу, равнодушно заметил:

– Я знаю несколько поразительных примеров нелепой любви. Знавал я девочку, лет шестнадцати, до потери сознания любившую бедного старика. Знавал и культурного, красивого молодого человека, души не чаявшего в шестидесятилетней, простой бабе. Знавал, например, и вольнонаемного инженера в Свирьлаге, влюбившегося в проститутку-заключенную. Влюбился он в нее до такой степени, что в конце концов устроил ей фальшивые документы, и они вместе бежали из лагеря в Среднюю Азию. Конечно, скоро их обоих поймали. И получил он срок – шесть лет...

Часов в десять вечера в барак к нам зашла актриса нашего театра Вера Радунская.

– Галю отправили в лазарет... – сообщила она.

На другой день, в обеденный перерыв, мы с Радунской навестили Галю в лазарете. Глеб Смидович не смог пойти: он ничего не сознавал и пластом лежал на койке, бессмысленно глядя перед собою и беспрестанно теребя рукой пуговицу на нижней рубашке.

Галя лежала в самом конце длинного барака, грязного, темного и неуютного. Против ожидания, она была в полном сознании и радостно встретила нас. Лицо ее было очень бледное, но не избитое. Только черные глаза блестели больным лихорадочным блеском.

– Я так рада, что вы пришли... – тихо сказала она. – Ну, что Глебушка?

– Ничего, все в порядке... – ответил я. – А вот как ты, Таракашик?

– Да тоже – ничего. Дали мне двадцать пять дрынов... Особенно сильно били бабы: Машка-Корзубая да Катька Морозова... Ребята – те били хоть по спине, а эти – бабы-то – перевернули меня вверх лицом – а я была голая – и давай меня лупить почем свет стоит дрыном по груди да по животу... Все нутро отбили... Вот, посмотрите!

Она откинула старенькое, изодранное одеяло и задрала несвежую исподнюю сорочку до самой шеи... Маленькие груди ее и особенно живот были в иссиня-черных кровоподтеках, с каким-то багровым нехорошим отливом.

– Все нутро отбили... – повторила она и тревожно-просительно добавила: – Только, смотрите, Глебу ничего не говорите... А я – встану. Вот увидите! Я – встану.

...Ночью она умерла.

Жулье было связано с комендантами, ибо все коменданты, как правило, были сами из жуликов. И смерть Гали прошла незамеченной. Однако, боясь, что Глеб все-таки подымет дело, жулики наутро поймали его, затащили в ту же парикмахерскую и насильно влили ему в рот слаборазведенного эфира. А когда он опьянел, они отвели его в комендатуру... Приговор был жестокий: Глеба Смидовича отправили на 6 месяцев в самый ужасный штрафной изолятор Доманик, из которого редко кто выходил живым.

До полуночи мы обсуждали все эти тяжелые события.

– Да-а... – задумчиво сказал плановик Волков. – Недаром наше милое местечко носит такое поэтически-погребальное название: Княж-Погост. Сколько здесь косточек человеческих лежит? И не счесть, наверно...

Всю ночь опять шел дождь, и по-прежнему шумела тайга.

Я не спал, сидел на опустевшей койке Глеба и смотрел на подушку с аккуратно и заботливо вышитой надписью: «Спи спокойно, Глебушка».

Сидел и думал о непонятной, таинственной природе любви...

КРИК

Иван Евграфович Коровин, вдовец по третьему году, заночевал с тринадцатилетней дочуркой Аннушкой в городе, в «Доме крестьянина». Заночевал Иван Евграфович в городе потому, что сильно припозднился. Сено, украденное из совхозных стогов, которое он тайком свез в город, удалось продать лишь к вечеру, когда на город уже спустились синие сумерки, и о возвращении домой и думать было нечего.

Им с дочуркой отвели крохотную каморку, тесную и грязную, с тесовыми перегородками Иван Евграфович лег на койку, а Аннушка примостилась на полу, на отцовском полушубке.

Аннушка была худенькая, длинноногая девочка, давно выросшая из своего единственного теплого платьица, чисто и умело заштопанного в двух-трех местах. Все в Аннушке было как-то ладно и хорошо: и маленькая красивая головка в копне пушистых и мягких волос, и хрупкая, тоненькая шейка, и небольшие, хоть и грязные, но какие-то некрестьянские руки с длинными, ловкими пальцами. Красиво было и смуглое личико, с еще по-детски нежной кожей, хороши были и большие светло-карие глаза, в ярко очерченных, темных подглазинах. И глаза эти, всегда чуть влажные, смотрели так умно, так тихо, так откровенно доверчиво, что почему-то вызывали чувство грусти, смешанное со странным чувством тревоги за нее...

А с некоторых пор, совсем недавно, в глазах ее появилось что-то совсем новое: какая-то постоянная, беспокойная, вопросительная настороженность. И это пугало Ивана Евграфовича.

Возле полуночи Иван Евграфович проснулся и, как он ни пытался заснуть сызнова, – не мог: одолевали тяжкие думы.

По улице шел запоздалый прохожий, тихо наигрывал на гармонике и лениво и грустно тянул:

Некрасива я, бедна,
Плохо я одета-а...
Никто замуж не берет
Девицу за эта-а-а...

Пел он, как бы подпевая поднявшейся метели. А метель пела свою песню, тоже грустную и монотонную, как и песня прохожего. Сухой снег шуршал по бревнам сруба, шелестел по стеклам окна. В

темных тучах мелькал далекий и холодный месяц, будто вырезанный из жести. И когда он выныривал из-за туч, то на пол каморки ложилось светлое пятно, тусклое и тоже словно жестяное. Скрипели прогнившие ставни, скрипел на дворе колодезный журавель, и однообразный скрип их напоминал тоскливый скрип уключин в темную, ненастную ночь на реке.

– Тятя!.. – позвала дочь.

– Чего тебе? Чего не спишь? – недовольно спросил отец.

– Не знаю... страшно чегой-то.

– Чего страшно? Спи.

– Вьюга, тятя...

Отец ничего не ответил. Опять, как патока, потянулись липкие, тяжелые думы. Прохожий уходил все дальше и дальше, но все еще слышна была его печальная песня и слышны были тихие переборы гармоники:

Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся-а-а-а
Пред иконою святой
Слезами зальюся-а...

– Кто это поет, тятя? – спросила девочка.

– Не знаю, доченька. Спи, родная.

– Не могу чегой-то...

Опять вынырнул из-за туч месяц, и блеклый, жестяной свет его осветил лежавшую на полу девочку, укрытую ветхим пальтишком. Осветил всю ее скорченную фигурку и бледное, тихое личико, с открытыми глазами и с чуть нахмуренными, широкими бровями.

«Сиротинушка ты моя... – мысленно вздохнул Иван Евграфович, глядя на дочь. – Как тебе тяжко без матери! Э-эх как тяжко!.. Да еще эта бедность наша проклятая!..»

И вспомнил он, как еще с вечера Аннушка жадно прислушивалась к тому, как за тесовой перегородкой, в соседней каморке, укладывалась на ночь семья, как невидимая мать шутила с детишками и как ласково-ворчливо поучала чему-то старшую дочь... Аннушка так заслушалась, что отцу пришлось два раза говорить, чтобы она сходила с чайником по воду, – просыпаясь, он пил по ночам воду.

«Аннушка, доченька ты моя... – снова прошептал Иван Евграфович и со стоном повалился на спину. – Ну кто поможет тебе в страдной жизни? Кто? Я – мужик, я не могу... Ну кто же тебе объяснит, что и как!»

Когда умерла жена, дочери шел одиннадцатый год, и Иван

Евграфович за тревогами и заботами о куске хлеба как-то совсем позабыл о том, что время неумолимо бежит и что дочь растет, растет...

Жил он на окраине села, в небольшой хибарке, работал конюхом в совхозе и был нищ и гол. А так как он был нищ и гол, то, как и полагается во всем свете, вокруг него почти никого не было. Не было никого и вокруг его одинокой дочурки, чему, впрочем, мешал еще и ее тихий, застенчивый, не в меру стыдливый нрав.

А между тем она как-то вдруг, разом, повзрослела. В светло-карих глазах ее появилось тайное молчаливое беспокойство. Худенькие бедра ее стали округляться, а под платьицем чуть наметились маленькие груди. Иван Евграфович знал, что появилось и первое девичье волнение, появилось и то, когда девочке необходима трезвая советчица-женщина, мать... А кругом никого не было.

– Тятя, ты все не спишь? – тихо позвала Аннушка.

– Откуда ты знаешь?

– Так... знаю.

И помолчав, добавила:

– А вьюга как будто тише стала.

Иван Евграфович пошарил рукой возле койки, нащупал чайник и долго, не отрываясь, пил ледяную воду.

– Слышал, тятя, как соседка дочь корила за то, что та грязно себя держит?

– Слышал... Вот и ты, Аннушка, того... это самое... мотри за собой. И еще мотри... того... за робятами – охальниками... ты... того... девка будешь пригожая... охальники, стало быть, на тебя заглядываться будут... проходу не давать...

– А што это – охальник? – с живостью спросила в темноте дочь.

– Охальник? Ну, это... как бы тебе сказать?.. Это, брат Аннушка, такой паренек... который, значит... того... – и вдруг от чего-то рассердившись, Иван Евграфович гневно и громко сказал: – А ну тя к лешему, Анна! Спи! И не приставай, значит...

И, сознавая свое бессилие, Иван Евграфович повернулся спиной к дочери.

Перед рассветом метель совсем стихла, вызвездило, а жестяной месяц куда-то пропал, и его не видно было за окном, за черными, крестообразными переплетами рам.

Иван Евграфович проснулся, беспокойно взглянул на смутно черневшее на полу тело дочери. Девочка лежала неподвижно, тихо и мерно дыша, – видимо, спала. Иван Евграфович присел на койке и вздул оплывший огарок свечи, что стоял возле него на колченогой табуретке.

И, скрестив корявые руки на коленях, долго и пристально смотрел на спящую дочь. Она лежала на спине, отбросив в сторону худую, тонкую руку. Глаза были накрепко закрыты, и от длинных ресниц легли на щеки густые, черные тени. Бледные губы ее слегка приоткрылись, обнажая ровные, блестящие зубы. «Красавицей растешь, брат Анна... – с горечью подумал Иван Евграфович. – Эх, лучше бы ты дурнушкой росла. Лучше б и тебе, и мне было...»

Он вздохнул, осторожно встал с койки, на цыпочках подошел к дочери и поправил на ней сбившееся до живота пальтишко. И только тут заметил, что суровая исподняя рубашка дочери была хоть и чистая, но ветхая и драная. Ах, бедность, бедность! И вспомнил, что над дочерью смеются сверстницы, что и одежонки у нее нет, и валенки с чужой ноги, неподшитые, худые.

Иван Евграфович вернулся назад, на койку, сел и принялся сосредоточенно и бессмысленно щипать нагар на оплывшей стеариновой свече.

Мысли как-то нелепо скакали от одного к другому. То он вспомнил Аннушку малюткой, то резвым ребенком, то – покойную жену, души не чаявшую в дочке, то почему-то вспомнил покос, когда он вконец устал, а жена – нет. Вспомнил и подумал о том, что женщины сильнее, выносливее мужчин. Отчего бы это? Вспомнил и о том, что он щупл, некрасив, с редкой рыженькой бороденкой и с седыми бровями, беспросветно беден и что уже никогда, никогда не суждено жениться вдругорядь. Да и пошто Аннушке мачеха? Может, бить ее еще будет?.. Потом отчего-то вдруг вспомнил запоздалого прохожего и его грустную песню: «...Некрасива я, бедна, / Плохо я одета-а...».

...Колеблется желтое пламя свечи. Густые, дегтярно-черные тени прячутся по углам, под столом, что стоит у окна, в пазах бревенчатых, туго проконопаченных мхом стен. За перегородкой слышится громкий храп беспечно спящих людей, и тихо и уютно скрипит под печкой-времянкой сверчок. Иван Евграфович отчаянно, с силой охватил руками лысую голову, потупился, да так и застыл, замер...

«Ах, жись, ах, разнесчастная нищая жись! Почему это одни люди как сыр в масле катаются, а другие как рыба об лед бьются? Почему?..»

Прошел час, другой, а Иван Евграфович все еще сидел на койке, по-прежнему охватив голову руками.

За окном засинели мутные предрассветные сумерки. Заголосили петухи. За ночь, видимо, подморозило, и дым из труб в соседних домах подымался прямо вверх ровными, буро-сизыми столбами. Загомонили галки на бескрестной колокольне соседней церквушки.

Иван Евграфович приподнял тяжелую голову и, с трудом разле-

пив сонные веки, огляделся. Свеча совсем догорела, фитиль коптил, и Иван Евграфович пальцем потушил желтое пламя. И морозные, предрассветные сумерки за окном еще больше засинели, и еще отчетливее стала видна заснеженная, утопавшая в голубых сугробах тихая улица. На ветвях тополей тускло искрился иней. Скрипя снегом под полозьями, быстро проехали розвальни. Бородатый мужичонка помахивал кнутом с тонким кленовым кнутовищем, а возле заиндевевшей морды тощей лошаденки клубился густой, морозный пар.

– Н-но, подлая! – покрикивал мужичонка.

Иван Евграфович взглянул на дочь. Она уже проснулась и смотрела на отца все тем же странным, внимательным, чуть тревожным взглядом. И опять что-то тайное, что-то отчужденное, незнакомое Ивану Евграфовичу блеснуло в ее глазах – то, что больше всего страшило отца.

«А что, если я вдруг помру? – мелькнуло у него. – Что станется с нею, если я помру?»

И от этой неожиданной и яркой, как молния, мысли он почувствовал, как резко, до боли, екнуло сердце и похолодел затылок.

Иван Евграфович с размаху, ничком упал на койку, вцепился и закусил зубами сенную, жесткую подушку. Только бы не зарыдать! Только бы не выдать перед дочерью всего своего горя и безотчетного страха за нее, который, как железными клещами, схватил его за горло.

Но это чувство безотчетного, панического страха за дочь, за ее темное будущее, было так сильно, что он не выдержал и глухо, почти беззвучно заплакал, вздрагивая плечами и грудью и не выпуская зубами закушенную подушку. Он знал, что дочь видит и слышит, что он плачет. Но почему она молчит? Почему она не встанет и не подойдет к нему? Почему она не успокоит его? Почему?

И, плача, он опять вспомнил этот ее беспокойный, незнакомый ему, чуждый взгляд, – вспомнил, и, уже не таясь, по-мужски откровенно и тяжко зарыдал.

И вдруг из измученной, истерзанной души его вырвался страшный, нечеловеческий крик...

Публикация – Андрей Любимов
Джорданвилль

Ксения Кривошеина

Неэвклидов палиндром имен и судеб, небесных и не очень

Елизавета и Марина – обе знамениты; их роднит и рознит почти все, а если сравнивать, то они кажутся если не двойниками, то неким несовершенным палиндромом.

У Елизаветы было две дочери и один сын, у Марины тоже. Родилась Елизавета Пиленко в 1891-м, а Марина Цветаева на год позже, в 1892-м; учились и вскармливались, духовно и творчески, в атмосфере Серебряного века, обожествляли А. Блока, дружили с Максом Волошиным и Алексеем Толстым, посещали в Москве и Коктебеле их «обормотские вечера». Цех поэтов Марину недолюбливал, а Елизавета была принята там «как жена» Д. Кузьмина-Караваева; у обеих поэтесс, как, впрочем, у многих интеллигентов их круга, был выработан общий взгляд на «кровавый царский режим», чаяние революционных перемен и довольно быстрое отрезвление после 1917-го. У обеих мужья сражались в Белой армии... Исход из России разными путями приземлил их в Париже, где эмигрантская бедность на некоторое время сравняла их, – но поиски выхода из нее и смерть оказались разными.

Елизавета (в миру) стала святой матерью Марией и погибла в газовой камере; Марина Цветаева, запутавшись в играх своего мужа Сергея Эфрона с ГБ, повесилась в Елабуге.

Но тут, при всех совпадениях «непростого времени» (так теперь в РФ называют большевистский путч с морями крови, коим помечен русский двадцатый век), и таится абсурдность палиндрома этих двух судеб: одна погибла от фашизма, а другая – от коммунизма. Зло двух «сиамских близнецов», перевернувших сознание и устои мира, пометило обеих женщин. Странные отношения с Богом вымостили тяжелый и, не побоюсь сказать, даже эгоцентричный путь с ужасным концом – Марины Цветаевой (МЦ). В полной мере он противоречит горнему пути к храму и людям, отказу от себя во имя ближнего и дальнего – св. матери Марии (ММ). Деятельное приложение Добра ярко и наглядно вычерчивает все заблуждения очарованных Злом.

Паутина сплелась, капканы выставились практически через

неделю после Октября. Большевики решили привлечь на свою сторону тогдашнюю интеллигенцию Петрограда. Появились объявления о собраниях, по спискам пригласили в Смольный на встречу. Пришло 5-7 человек, среди них Владимир Маяковский и Александр Блок – он встретил Октябрь радостно: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте, слушайте музыку Революции!». В своей статье «Интеллигенция и Революция» он говорит, что народ был прав, когда стрелял по соборам в Кремле. А в статье «Почему дырявят древний собор?» пишет: «Потому что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой». Иван Бунин приглашение большевиков не принял, на коллаборантство не пошел, да и позже, в 1947-м, от уговоров советского посла Богомолова вернуться на родину уклонился. Многие соблазнились и, вернувшись в СССР, поплатились за это свободой или жизнью.

У ММ есть текст «Крест и серп с молотом», где она четко объясняет, как хитро и коварно большевизм подменил собой Бога и заменил «рай на земле». Этим раем и обманулись многие, этим гуманизмом без лика Христа была очарована поначалу и сама ММ, когда по молодости активничала лекциями о «свободе и равенстве» на фабриках в Петербурге да, увлекшись программой «Земля и Воля», вступила в партию эсеров, – но пережив арест, суд и чудом избежав казни, стала трезветь. В повестях «Равнине русской» и «Клим Семенович Барынькин», написанных уже в эмиграции, она говорит о кровавых революционных событиях, о выработке «нового человека». Устами своих героинь она повествует о собственном переосмыслении большевизма, целях революции и показывает коренной антагонизм между «крестом и серпом с молотом». Необходимо уточнить, что Сопротивление ММ во время оккупации Франции было результатом длительного, по всей ее жизни прочерченного и сросшегося с ней самой, противления Злу.

Обе женщины почти одновременно покидают Россию: м. Мария – в 1920-м, Цветаева – в 1922-м. Но как по-разному прошло осмысление этого «бега» к другим берегам! Первыми жертвами стали их малышки. Дочь МЦ – Ирина Эфрон – умерла в 3 года от голода в Кунцево. Дочь ММ – Настя – в 4 года, в Париже, от менингита.

Ариадна Эфрон родилась в 1912 году. Гаяна, старшая дочь ММ, – в 1913-м. К началу революции этим девочкам было по пять-шесть лет. Казалось бы, что они понимали в происходящем, кроме чувства постоянного голода и холода! Эти девочки, ввергнутые в пучину нищеты и быстрого взросления, кожей и желудком, ушами и глазами видели, как мир счастливого детства превращается в ад! Зачем уезжать из России, они вряд ли осознавали. Но их спасением занимались родители. Сложными путями, «перекати-полями» и странами,

со страхом потерять не только любимую куклу, но и матерей, отцов, кров над головой, они как в омут окунулись в чужую культуру и непонятный язык. Чуть привыкнув к чешскому или сербскому, им приходилось слышать вокруг себя немецкую и французскую речь. Какая внутренняя работа шла в этих девочках и какие разговоры родителей подслушивали они? Тогда С. Эфрон вряд ли говорил о советском патриотизме, у него еще не стряхнулась с сапог пыль «Белой стаи», а у Д. Скобцова всплывал врангелевский исход и остров Лемнос. Скорее всего, они говорили, что «скоро Советы падут, и мы вернемся в Россию». Но это ожидание, как мы знаем, затянулось на долгие десятилетия, и уже перед самой войной 1939-го даже самые наивные и упрямые стали понимать, что пора прекратить сидение на чемоданах.

К своим 10-11 годам Ариадна и Гаяна оказались в Париже. Унизительно-бедное существование в пространстве самого красивого города мира вводило в еще большее отчаяние и безысходность. Одно было хорошо – что родители рядом. Обе девочки были талантливы и темпераментны, унаследовав во многом черты характера своих матерей. Ариадна внешне была копией отца, Гаяна – вылитая мать. Считается, что дети, пережившие тяжелые потрясения в подростковом возрасте, особенно связанные с «пересадками», с трудом потом обретают равновесие. По тому, как тяжело училась Ариадна, как трудно давались уроки французского Гаяне, как им обеим приходилось отвоевывать «свой мир» и свое «я» при огромном психологическом прессе материнских личностей, почти не вызывает удивления, что к 18 годам Ариадне надоело быть кухаркой в семье, в вечно грязной квартире, и в феврале 1935 года после бурной сцены с матерью, она уходит из дома, а Гаяна, которую ММ задумала привести к монашеству, возмечтала уехать в СССР.

Цветаева назвала дочь Ариадной вопреки С. Эфрону, по ее словам, «который любит русские имена и... который любит простые – Катя, Маша». В семь лет Марина написала драму, где героиню звали Антриллией. Назвала она дочь Ариадной, по ее собственному выражению, «от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью. Ариадна! Ведь это ответственно! Именно потому»[1]. Ариадна, конечно, – имя мистическое, связано с «лабиринтом минотавра», и ходить по этому лабиринту, искать выход из тупиков девочке было написано на роду самой матерью.

Имя Гаяна, выбранное ММ, означает «Земная». А. Блок часто повторял поэтессе: «бегите от нас, падших последних римлян... к земле». После безответной любви к Блоку, брачного разрыва с Кузьминым-Караваевым она ищет спасения с «простым человеком». Хотелось вышибить клин клином?.. От этой любви в октябре 1913

года рождается дочь, которую она так странно нарекла. В ноябре она шлет письмо А. Блоку: «Я с ней вдвоем сейчас в Москве, а потом буду с ее отцом жить, а что дальше будет – не знаю, но чувствую, – и не могу объяснить, что это путь какой-то предназначенный мне, неизбежный... Весной уеду, буду жить чужой жизнью, говорить о революции, о терроре, об охоте, о воспитании детей, о моей любви к тому человеку, куда я уеду...»[2]. Этим планам совместной жизни с сельским учителем, «человеком земли», не суждено было сбыться. Он как-то исчез из ее жизни, и о его судьбе ничего биографам не известно. «Мать сыра Земля», воспеваемая Елизаветой Кузьминой-Караваевой в годы наречения дочери, стала безымянной могилой «земной» Гаяны в 1936-м.

Детям свойственно задавать вопросы родителям, с юностью приходит отмежевание, наблюдение со стороны, желание самому разобраться, «кто есть кто». Гаяна была доброй девушкой, много помогала в храме и на кухне своей матери, любила брата и бабушку, но вызывала у ММ огромное беспокойство. Ей хотелось оградить дочь от ошибок своей собственной юности. В одном из разговоров с подругой Гаяна говорит, что она познакомилась с молодым человеком, он работает в советском посольстве и предлагает ей выйти за него замуж. «Могу ли я жить в СССР, если я дочь монашки и священника?» – и ответ у нее уже готов (значит, она в курсе!): «...это будет плохо восприниматься <...> чтобы стать самой собой, чтобы любить и думать, необходимо порвать с Лурмелем, где оплакивали русское прошлое и горечь изгнания». В своей книге Доминик Десанти домысливает слова Гаяны: «чтобы порвать с недосягаемым материнским примером»[3]. Недостаточно известно, при каких обстоятельствах произошло ее знакомство с Георгием Мелия, будущим супругом. Есть предположение, что это случилось на одном из приемов в посольстве в 1935-м.

21 июня 1935 года в Париже открылся антифашистский Международный конгресс писателей в защиту культуры. Конгресс длился пять дней, было много посланцев из разных стран, из СССР приехала делегация от Союза советских писателей – А. Толстой, Л. Лахути, Н. Тихонов, Б. Пастернак и помельче рангом. Во время работы Конгресса Б. Л. Пастернака навещал С. Я. Эфрона, который возглавлял «бригаду прогрессивной общественности», охранявшую дворец Мютюалите[4]. В составе этих «бригад» была и Ариадна (Аля). К этому времени она уже полностью перешла на сторону отца, во всем его поддерживала и мечтала уехать в СССР. «Много лет спустя, из гулаговского ада, Ариадна Сергеевна вспоминала то лето в письмах к Борису Леонидовичу: ‘сколько было апельсинов, как было жарко... по коридорам гостиницы бродит полуголый Лахути...’»[5]

Вполне вероятно, что и Гаяна состояла в молодежной бригаде, охранявшей Мютюалите. Более того, на приеме, устроенном в советском посольстве после окончания конгресса, Аля и Гаяна могли общаться. Были ли они знакомы до этого события?.. Мечта обеих сбывается.

22 июля 1935 года Гаяна вместе с А. Н. Толстым (ее крестным отцом) уезжает в Ленинград, – а через полтора года, уже в Москве, при загадочных обстоятельствах она умирает. Польский историк Гжегож Ойцевич пишет: «О лице, представляющемся мужем Гаяны, и ее замужестве мы знаем мало. Из доступных материалов вытекает, что Гаяна вышла замуж в Москве в 1936 году за ревнивого советского студента, с которым она познакомилась еще в Париже. Мы знаем его имя и фамилию: Георгий Мелия, называемый Гаяной – Жоржем. <...> Я не в силах этого еще доказать, но мне кажется, что Георгий Мелия мог быть тайным сотрудником НКВД, подставленным сталинской полицией для наблюдения за русскими эмигрантами, прежде всего – за самой матерью Марией и ее ближайшим окружением»[6].

Может быть ММ была права, когда она тревожилась за свою дочь. Внезапно возникший «жених» напомнил ей самой ее молниеносное и удивившее всех замужество с Д. В. Кузьминым-Караваевым. Гаяне, как и матери, нужно было совершить бросок в бездну. Знакомство с Г. Мелия стало для нее таким же «спасательным кругом», она приняла его ухаживанья. Благословения на брак от матери «молодожены» не получили – только молитвенное напутствие, отслуженное в храме на Лурмель. ММ была против этого союза и, по всей видимости, не знала, как остановить дочь от безрассудного поступка. События разворачивались стремительно!

После окончания конгресса А. Толстой писал с дороги своей жене Н. Крандиевской: «Из Парижа я вывез дочь Лизы Кузьминой-Караваевой, Гаяну. Она жила в нечеловеческих условиях и, кроме того, была лишена права работы. Девочка умная, коммунистка, ей нужно учиться в вузе. Я думаю так: до осени она будет жить в Детском Селе, а осенью – в прежней комнате Марьяны Дымшиц. Всю историю про Лизу (она монахиня) и про Гаяну расскажу подробно»[7].

Н. Берберова в своей книге «Железная женщина» приводит подробности лондонской предотъездной встречи Толстого с Брюсом Локкартом[8] в июле 1935 года: «Локкарт виделся с А. Н. Толстым в Лондоне, – пишет она, – на его пути в Россию. Был, конечно, завтрак в неизменном Карлтон-Грилле, и Локкарт рассказывает в своем дневнике, как Толстой обратился к нему с просьбой, – дать его крестнице проездную визу через Англию из Парижа в Ленинград . Он (Толстой) увозил крестницу с собой на теплоходе из эмигрантского болота в

счастливую Страну Советов. В Париже девочка (ей тогда было 22) ‘погибает’, она коммунистка и хочет вернуться на родину, откуда ее вывезли ребенком, – со слов Толстого ‘ее мать теперь православная монахиня, а отец, давно разошедшийся с ее матерью, известный реакционер Кузьмин-Караваев, перешел в католичество и делает карьеру в Ватикане’. ‘Давайте поможем дочери монахини и кардинала, – сказал Толстой, смеясь, – в Париже она не знает, что с собой делать, и хочет домой’. Локкарт, разумеется, тотчас обещал Толстому сделать все, что нужно»[9].

Наверное все эти рассказы все-таки грешат неточностями и путаницей. Как прочертился путь из Парижа в Ленинград и с каким паспортом выезжала Гаяна – пока неизвестно. Брак Гаяны с Георгием Мелия, видимо, «оформился» уже почти перед самой ее кончиной в 1936 году, в Москве.

Неизвестно, как сложилась бы судьба Гаяны, если бы она, как и предполагалось, поехала бы переводчиком в СССР вместе со знаменитым писателем Андре Жидом. Увлеченный сталинским СССР, он яро выступал защитником коммунистической системы. В середине 30-х он посетил Союз, где было издано полное собрание его сочинений, но в 1935 году в Париже писатель встретился с Борисом Пастернаком (в связи с приездом того на конгресс), который в беседе с ним несколько приоткрыл ему глаза на истинное положение дел в СССР. Следующая поездка Жида в 1936-м окончательно сняла с него розовые очки, в результате чего он написал книгу «Возвращение из СССР». Не только для Советов, но и для всей западной левой интеллигенции откровенные развенчания сталинской пропаганды стали шоком.

Смерть Гаяны в Москве до сих пор окутана тайной – тиф, дизентерия, неудачный аборт... Она была похоронена на Преображенском кладбище в Москве, но следов могилы не осталось, кроме нескольких строк в кладбищенских книгах.

Эдакая не христианская игра в поддавки со временем, страстное желание поскорее вырваться из капиталистического ада и попасть в «рай»... Для ММ весть о смерти дочери стала ударом. Гаяна скончалась в конце июля. Свой цикл стихов о смерти поэтесса начала писать в 1936-м:

Не слепи меня, Боже, светом,
Не терзай меня, Боже, страданьем.
Прикоснулась я этим летом
К тайникам Твоего мирозданья.
Средь зеленых, дождливых мест
Вдруг с небес уронил Ты крест.

Поднимаю Твоей же силой
И кричу через силу: «Осанна!»
Есть безкрестная в мире могила,
Над могилою надпись: Гаяна.
Под землей моя милая дочь,
Над землей осиянная ночь.
Тяжелы Твои светлые длани,
Твою правду с трудом принимаю.
Крылья дай отошедшей Гаяне,
Чтоб лететь ей к небесному раю.
Мне же дай мое сердце смирять,
Чтоб Тебя и весь мир Твой принять.

Дочь ММ стала еще одной жертвой «серпа и молота». И опыт матери ей не помог.

Вспомним еще об одном человеке, который оказался вплетенным в паутину судеб Гаяны и Ариадны. Его арестуют в 1939-м и очень долго будут допрашивать на Лубянке в связи с делом Эфрона. Он подпишет все показания, в 1940-м откажется от них, но в результате очных ставок и допросов «признается», что именно Эфрон его завербовал в пользу французской разведки. Этого человека звали Павел Николаевич Толстой. Он, дальний родственник А. Н. Толстого, с шести лет оказался в Париже. «Легкий нрав и общительный характер приводили его то к евразийцам, то к младороссам, он был вхож и в ‘Союз возвращения на родину’, и в правобелогвардейские круги. Везде у него находились приятели – и родственные связи. Бывал он не раз и в доме Эфрона; особенно зачастил перед своим отъездом в СССР, в 1933, вернувшись, около года жил в доме писателя в Детском селе под Ленинградом. Позже переселился в Москву. Еще в 1934 году принял предложение «органов» о сотрудничестве и следил, в частности, за приехавшей из Франции дочерью Е. Ю. Скобцовой (матери Марии) – Гаяной»[10].

Сопоставим даты. Вероятнее всего, Павел Толстой был знаком с Гаяной и, конечно, с Ариадной еще в Париже. В своих письмах из СССР к родным в Париж Гаяна никогда не упоминала его имя. Она скончалась в Москве. Когда и зачем туда же переехал П. Толстой? Общался ли он с Гаяной в Москве и был ли знаком с ее мужем Георгием Мелия? Толстой был арестован в 1939 г. по делу Эфрона и расстрелян в 1941-м.

Близкую и очень крепкую дружбу ММ с Алексеем Толстым в далекие 1910-е годы можно сравнивать с дружбой Марины Цветаевой и Сергея Эфрона с ним же. Толстой в начале 1920-х часто

живал в Берлине, первой культурной столице русской эмиграции. Уже тогда Толстой был активно «задействован» в дела по «обольщению» писателей. Многие из них были как бы на распутье, печатались в советской России, получали оттуда гонорары за публикации. Об этом перепутье довольно подробно пишет Н. Берберова в своей книге «Курсив мой».

Соблазнитель Толстой был тесно связан с Эфроном, который в своих болезненных метаниях в результате решил поступить на философский факультет Пражского университета. Кем только Эфрон в жизни не был! Публицист, литератор, офицер Белой армии, марковец, первопоходник, евразиец, агент НКВД и, не забудем про существенно важный этап, – актер театра и кино. Не исключено, что театральное лицедейство вполне логично связывалось с его последней ролью в подготовке покушения на Игнатия Райса. Выясняется, что уже в чешские годы ему удалось завербовать своих друзей, мужа и жену Клепининых и Константина Болеславовича Родзевича (который стал любовником МЦ и, видимо, отцом ее сына Мура). Связь с Толстым у Эфрона была тайной и постоянной.

Гаяна и Ариадна увязли во всей этой гадости, сами того не заметив. Думаю, что они были пешками в крупной «шпионской игре» Толстого – Эфрона, перед которыми стояли задачи поважнее и «улов» покрупнее.

* * *

Со слов Анны Саакянц, написавшей великолепную книгу о Марине Цветаевой «Бессмертная птица феникс», великая поэтесса всю жизнь была подвержена мистике, обладая характером сложным, метущимся. Невротическая «охота к перемене мест» рождала ложное чувство – «там будет лучше». Кочевая жизнь была ее второй натурой, часто в разговорах и письмах она восклицает: «Я одна не могу», в крайнем возбуждении – «Я повешусь». Может показаться, что в этом есть некое христианское юродство, но ведь и в нем можно стать профессионалом. С. Эфрон уже в 1918 году писал сестре: «В личной жизни – это сплошное разрушительное начало». В письме М. Волошину он дает беспощадную характеристику МЦ: «Марина – человек страстей... Отдаваться с головой своему урагану – для нее стало необходимостью. Воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда... все это строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался»[11].

ММ, оказавшись в равно таком же положении в Париже и будучи, как говорится, «творческой натурой», с тремя детьми и мужем-офицером, севшим за руль такси, могла бы тоже пойти «просить

милостыню», но вышло иначе. Нищие и отвергнутые стали ее уделом и заботой о них.

Встречались ли МЦ и ММ в Париже? Просила ли помощи МЦ у ММ? ММ была бедна, и о ежемесячных чеках, которые МЦ получала от Соломеи Андрониковой и друзей, речи не было. Поэтессы не могли поменяться ролями; каждая из них понимала по-разному «руку дающего» и «быт и бытие».

Да, есть у МЦ прекрасные стихи о вере и Боге, и молитвы она советует читать Але на ночь, и сына своего решает крестить по-особенному, чтобы ничего случайного, а все сопутствующие люди и символы крещения пошли бы ему на пользу. Анна Саакянц отмечает: «Она не рождена была и не умела быть матерью – дочери. Только – сыну. А дочь – сначала – чудо-ребенок, ‘Консуэла-Утешение’, подружка, чуть ли не ровня и опора; затем – почти прислуга в доме (пусть и с материнскими уроками французского) и, наконец – соперница»[12]. (Была ли ММ хорошей матерью своим детям? На этот вопрос нельзя ответить, но очевидно, что она недостаточно упреждала Гаяну от ложного патриотизма).

Вероятнее всего, по мере взросления Али ее желание отпочковаться от матери, выбор отца в друзья и доверители вызывали в МЦ раздражение. Иногда кажется, что она завидует молодости дочери. С возрастом чувство одиночества, невозможность «удержать» рядом с собой друзей и семью, только усиливалось. Неприкаянность души С. Эфрона в сочетании с огромным тщеславием «выбиться в люди» обозначили роковую связку брейгелевских слепцов.

Ариадна родилась, как сообщает МЦ, «под звук московских колоколов». Очень рано Аля научилась читать. К своим трем годам уже сочиняла короткие стихи. 13 апреля 1917 года у нее появилась сестра Ирина; МЦ, находясь в больнице шестнадцать дней, каждый день обращается к ней в письмах как к взрослой. Материнские советы Але «как себя вести» перемежаются с рассказами о новорожденной сестре; она пишет девочке о своих снах, советует молиться на ночь за всю семью, и тут же – бытовые просьбы. На плечи Али легла постоянная забота о матери. В чешской деревенской глуши МЦ сокрушается, что ее талантливую дочь быт приземляет, а ей нужно учиться в хорошей школе, но так как она сама ничего не умеет делать, то остается единственный помощник – Аля, хотя «продолжать жить в чешской деревне – значит загубить не только свою жизнь, но и Алину»: «сплошные ведра и тряпки – как тут развиваться?.. Она ничего не успевает: уборка, лавка, угли, ведра, еда, учение, хворост, сон. Мне ее жаль, п. ч. она исключительно благородна, никогда не ропщет, всегда старается облегчить и радуется малейшему пустяку.

Изумительная легкость отказа. Но это не для одиннадцати лет, ибо к двадцати озлобится люто. Детство (умение радоваться) невозвратно»[13].

В середине 1930-х через связи отца ее устраивают работать в журнал «Наш Союз», по сути – это голос парижского «Союза возвращения на родину». Как бы она ни была наивна, но неожиданно появившиеся в семье деньги, таинственные исчезновения отца, который сообщал, что едет в «командировки», не могли не вызвать любопытства у дочери: чем же занимается отец? А отец занимался вербовкой эмигрантов и получал деньги из Москвы за активную работу наводчика. По некоторым сведениям, он завербовал около 24 человек.

Да прозрела ли она потом? Узнала ли она в Москве о смерти Гаяны? Круг их был слишком узким, и слухи должны были до нее дойти хотя бы через П. Н. Толстого.

В 1939 году Ариадна была арестована. Пятнадцать лет спустя, в мае 1954 года, А. С. Эфрон посылает из Туруханска, где она отбывает ссылку так называемых «повторников», заявление на имя Генерального прокурора СССР Руденко с просьбой о пересмотре дела и об отмене приговора. В заявлении она, в частности, напишет: «Меня избивали резиновыми ‘дамскими вопросниками’, в течение 20 суток лишали сна, вели круглосуточные ‘конвейерные’ допросы, держали в холодном карцере, раздетую, стоя навытяжку, проводили инсценировки расстрела...» И далее: «Я была вынуждена оговорить себя...» И еще: «Из меня выколотили показания против моего отца...»[14] В результате она признается в своей шпионской деятельности на французскую разведку.

В большой игре – большие ставки, но с чертями лучше не садиться играть в подкидного дурачка. А ведь лукавого трудно определить сразу, он коварно превращается в доброго пастыря. Сколько было этих, заманенных Сталиным?!

* * *

Блок записал на память две строки Бальмонта: «Святой Георгий, убив дракона, / Взглянул печально вокруг себя». В 1915 году у ММ (тогда – Е. Ю. Кузьминой-Караваевой) вышла в свет философская повесть «Юрали». Это ритмическая проза, напоминающая ветхозаветные апокрифы. Герой повести – молодой певец, сказочник, учитель. Он похож на проповедника, его искания порой непоследовательны и даже противоречивы. Поэтесса назвала своего героя Юрали. Первая часть имени – усеченное «Юр», сокращенное от Георгий (Юрий), в память о любимом отце Елизаветы Юрьевны. Вторая часть – от мусульманского «Али» – мудрый, возвышенный. В

те далекие годы работы над текстом «Юрали» поэтесса еще не знала, что у нее родится сын и она его назовет Юрием.

Имя «Георгий» традиционно давалось в России при крещении, «Юрий» – появилось в свидетельствах о рождении после 1917 года, но уже с XVI века это имя часто встречается в среде аристократической. Георгий, как и Игорь, – имена, вошедшие в моду с начала XX века; в них родители, в патриотическом подъеме, вкладывали надежды на победы. Страна нуждалась в героях.

Александр Блок, призванный на военную службу, в июле 1916 года писал с фронта Елизавете Юрьевне: «На войне оказалось только скучно. О Георгии и Надежде – скоро кончится их искание. Какой ад напряжения!» В ее ответе от 26 июля 1916: «После Вашего письма писала я стихи. Если Вы можете их читать как часть письма, то прочтите; если же нет, то пропустите. Они выразили точно то, что я хотела Вам сказать:

Увидишь ты не на войне,
Не в бранном, пламенном восторге,
Как мчится в латах, на коне
Великомученик Георгий.
Ты будешь видеть смерти лик,
Сомкнешь пред долгой ночью вежды;
И только в полночь громкий крик
Тебя разбудит – зов надежды!»

Сын у ММ появился на свет 21 апреля 1920-го, практически перед самым исходом из России. Крещен был вместе с младшей сестрой Настей в 1924 году в Сербии. Будто Блок предвидел, что Юрий станет надеждой и страданием для ММ, а «ад напряжения» обернется для юноши прославлением в святого Георгия в 2004 году. Юрия возьмет гестапо в 1943-м, погибнет он в лагере Дора в 1944-м; с разницей в два дня умрет на соседних нарах его духовный наставник о. Димитрий Клепинин (его родной брат Николай Андреевич Клепинин совершит побег в сталинскую Москву вместе с С. Эфроном и будет расстрелян).

ММ была арестована гестапо в Париже практически одновременно с сыном, их развезут в разные лагеря, но в последний раз ей удастся обнять его случайно в пересыльном лагере Компьень в апреле 1943 года. Ее солагерница И. Н. Вебстер так описывает эту встречу: «К вечеру меня разыскала ММ и возбужденно поведала, что сын ее Юрий тут же и она надеется его наутро повидать. Она была полна этим скорым свиданием, мечтала о моменте встречи... Наутро, часов

в пять, я вышла из своей конюшни и, проходя коридором, окна которого выходили на восток, вдруг застыла на месте в неописуемом восхищении от того, что увидела. Светало, с востока падал какой-то золотистый свет на окно, в раме которого стояла м. Мария. Вся в черном, монашеском; лицо ее светилось и выражение на лице такое, какого не опишешь, – не все люди даже раз в жизни преображаются так.

Снаружи, под окном, стоял юноша, тонкий, высокий, с золотыми волосами и прекрасным чистым прозрачным лицом; на фоне восходящего солнца и мать, и сын были окружены золотыми лучами... Они тихо говорили»[15]. В эту ночь ММ была отправлена в Германию.

Из лагеря Юра пишет письмо своему отцу и бабушке, в котором он рассказывает о Компьене: «Мои самые родные! Христос Воскресе! <...> Вы уже, наверное, знаете, что я виделся с Мусенькой. В ночь 27 апреля маму отправили в Германию, она была в замечательном состоянии духа и сказала мне, что мы должны верить в ее выносливость и вообще не волноваться за нее, каждый день мы поминаем ее на проскомидии (и вас тоже)». Отцу Димитрию удается служить литургию и причащаться: «С Димой я на ‘ты’ и он меня готовит к священству. Надо уметь и стараться познать волю Божию, ведь это меня всегда влекло и, в конце концов, только это и интересовало, но завершилось парижской жизнью и иллюзиями на ‘что-то лучшее’, как будто может быть что-то лучшее»[16].

Развод матери с Д. Е. Скобцовым в 1932 году Юра тяжело переживал. Совместные обеды, разговоры... отношения постепенно наладились к 1939 году. Скобцов уже давно жил на арендованной ферме Фелярд, под Парижем, куда часто приезжал Юрий. Он стал студентом Сорбонны, изучал историю искусства.

Как воспринял Юра гибель Гаяны? Вероятнее всего, этот удар и подтолкнул его к служению. Он стал иподьяконом, во всем старался помогать матери. Не напоминает ли это ее импульсивное решение стать монахиней после смерти четырехлетней Насти в 1926-м? Тогда она сказала: «...сейчас я хочу настоящего и очищенного пути не во имя веры в жизнь, а чтобы оправдать и принять смерть».

При аресте на ул. Лекурб в кармане Юры была обнаружена записка от еврейки, которая просила о помощи. «Православное дело», основанное ММ с момента объявления нацистами обязательного ношения евреями «желтой звезды Давида», стало им активно помогать. Священник Димитрий Клепинин выдавал фальшивые справки о крещении, что спасло многих от арестов и гибели. Ф. Пьянов, арестованный вместе со всеми членами «Православного дела», вспоминает о последних месяцах жизни Юрия и о. Димитрия в лагере «Дора», где на подземных заводах изготовлялись ракеты и самолеты: «Юра

почти сразу заболел фурункулезом и очень быстро скончался <...> В феврале 1944 года в концентрационном лагере ‘Дора’ отец Димитрий погиб; он умер от воспаления легких на грязном полу в углу так называемого ‘приемного покоя’ лагеря, где не было ни лекарств, ни ухода, ни постелей. Вечером или в ночь он умер и, вероятно, под утро был увезен с другими покойниками в крематорий лагеря Бухенвальд. В то время покойников из лагеря ‘Дора’ сжигали в Бухенвальде. Лагерь ‘Дора’ был страшный лагерь!.. Отец Димитрий был человеком глубочайшей Веры и Живого Бога, он любил всех <...> Дело в том, что живое отношение к Богу у отца Димитрия непосредственно и просто переключалось в жизнь – к живому человеку, особенно к несчастному, ко всякой душе ‘скорбящей и озлобленной’. В этом у них было много общего с покойной матерью Марией! Отец Димитрий, мать Мария, Фондаминский, Юра Скобцов и другие погибли как мученики за Веру в Бога, за то, что они отдавали себя, свои души другим людям»[17]. Отец Димитрий и Фондаминский в 2004 году тоже будут прославлены в лике святых.

Даниил Ермолаевич Скобцов после войны остался один, жил на ферме Фелярд, заботился о Софье Борисовне Пиленко, бабушке Юрия. Она скончалась в 100-летнем возрасте в 1962 году. Точные сведения о смерти ММ и сыне он получил не сразу, долгое время не мог поверить, что Юра погиб в лагере, и считал, что советские войска в 1945 году, освободив лагерь, спасли Юру. Может быть, надежды найти сына стали поводом для Скобцова взять советский паспорт. Паспорт выдан на два года, 1947–1949, советским консульством в Париже (подпись генерального консула Абрамова). Сегодня паспорт находится в архиве Кривошеиных. У Скобцова был статус политэмигранта по Нансеновской конвенции; как у многих русских, у него, видимо, был французский «вид на жительство». Можно, правда, допустить, что поиск сына был лишь поводом поездки в СССР и что Скобцов захотел под влиянием пропаганды и Указа от 14 июня 1946 года (отмечено на 2-й странице паспорта) вернуться в Россию. В паспорте нет отметки о продлении паспорта – следовательно, по неизвестным причинам, он решил его не использовать. По каким документам Даниил Ермолаевич продолжал жить во Франции? Сумел ли получить документы о гражданстве? Многим, взявшим советские паспорта в 1947-м и не воспользовавшимся ими, с трудом потом удавалось избавляться от них. Д. Е. Скобцов скончался в 1968 году в русском старческом доме, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

* * *

Палиндром и впрямь несовершенен. О жизни Николая Андреевича Клепинина, старшего брата о. Димитрия, известно довольно много. Офицер Белой армии, член РСХД, в Париже сотрудничал с YMCA-Press; в 1928-м уже работает в газете «Евразия», основанной С. Эфроном. Он дружил с МЦ и, начиная с пражских годов, они постоянно снимали квартиры рядом. Тут стоит повторить известную хронологию трагических событий.

Н. А. Клепинин и его жена Антонина Николаевна Насонова были завербованы С. Эфроном и стали агентами НКВД, в 1937 бежали в СССР. В ноябре 1938 года Клепинины с двумя сыновьями, под фамилией Львовы, поселились по адресу: Московская область, станция Болшево, улица «Новый быт», дом 4/33 (ныне ул. Свердлова, № 15). Николай Андреевич числился научным консультантом восточного отдела ВОКСа. Позже сюда приедет и С. Я. Эфрон (конспиративная фамилия – Андреев), еще позже – и Марина Цветаева с детьми. «Дача Экспортлеса» – большая, но гостиная и кухня у обеих семей будут общими. Отсюда их (кроме М. Цветаевой) начнут все чаще и чаще вызывать на допросы в НКВД.

Хроника 1939 года выглядит так:

– 27 августа первыми арестованы Ариадна (Аля) Эфрон и «возвращенка» Эмилия Литауэр;

– 10 октября арестован Сергей Яковлевич Эфрон;

– в ночь с 6 на 7 ноября в Болшеве арестовали Николая Андреевича Клепинина;

– в ту же ночь, с 6 на 7 ноября, в Москве, на Пятницкой, д. 12, в доме академика-биолога Насонова арестовали Нину Николаевну Клепинину (урожд. Насонову);

– в ту же ночь на Садово-Триумфальной, д. 7, кв. 30, арестовали старшего сына Нины Николаевны от первого брака – Алексея Васильевича Сеземана;

– 28 июля 1941 года в пересыльной орловской тюрьме Клепинины и Эфрон были осуждены как французские шпионы к «групповому расстрелу» и приговор приведен в исполнение: Клепинины и П. Н. Толстой были расстреляны 27 августа, а Эфрон – 16 октября[18].

* * *

Мысли о смерти на протяжении всей жизни не покидали МЦ. Сгоряча в письмах она повторяла «удавлюсь»; странным образом, примерно за полмесяца до рождения сына, 15 января написала стихи о смерти:

Ну, Муза моя! Хоть рифму еще!
Щекой – Илионом вспыхнувшею
К щеке: «Не крушись! Расковывает
Смерть – узы мои! До скорого ведь?»
Предсмертного ложа свадебного –
Последнее перетрагиванье.

На протяжении последнего месяца она готовится к «русскому» Новому году, вместе с Ариадной клеит бумажные елочные игрушки, учит ее французскому, мечтает об отъезде и страдает от убогости жизни. Быт, изнуряющий и агрессивный: «в комнатах – весь уют неприюта... Эта зима – наиглушайшая в моей жизни, точно я под снегом...»[19].

Вся семья мечтала о мальчике; долгожданный сын родился 2 февраля 1925 года. Роды были очень тяжелыми, и мальчика минут двадцать «воскрешали». Ей очень хотелось назвать сына Борисом (как Пастернака), но «по робкой просьбе Сергея Яковлевича» его назвали Георгием. Пастернаку она написала о рождении сына 14 февраля[20]. Детское прозвище Мур закрепилось за ним на всю жизнь. Как уже было сказано, религиозность МЦ была довольно странной. Вера в высшие силы, «от которых зависят силы нижние, земные», бросала «вызов традиционному Богу, МЦ предпочитала ему ‘Князя тьмы’, и эта двойственность пронизывала всю ее жизнь, все ее действия». «Нянча новорожденного сына, она ласково называла его ‘чертенком’». Но Георгий, скорее, воспринимался матерью как «будущий Победоносец»! Недаром в письмах, по мере возмужания мальчика, она будет его сравнивать с Наполеоном, с ее любимым героем, которому она поклонялась с детства. Крестины должны были состояться, и все «атрибуты» до мелочей были продуманы и служили ритуально-символическому предначертанию будущего Георгия: крестик, иконки, восприемники. Отец Сергий Булгаков (близкий друг и духовный наставник ММ) совершил таинство крещения 8 июня.

Первого ноября 1925 года МЦ, Ариадна и Георгий перебираются в Париж и поселяются в беднейшем северном квартале столицы на берегу зловонного канала Урк. От перемены места ничего не изменилось.

Любовь к сыну была удушающей, слепым обожанием божества. Отношения с Алей обернулись тяжелым разрывом. Муру – третий год, и МЦ пишет своей сестре: «Удивительно взрослая речь, чудно владеет словом. Мужественен, любит говорить не как дети. И совсем иначе, чем Аля. Хочет всегда стать на что-то, повыше, чтобы слушали...» Георгию восемь лет: «Очень зрел. Очень критичен. Марина, – сказал мне Бальмонт, – это растет твой будущий прокурор!» Заботы о

сыне вошли в полосу приятного «быта»: проводы и встреча из школы, приготовление уроков... Она посылает фотографии друзьям и пишет: «А вот Вам мой чудный Мур – хорош?.. И более похож на Наполеоновского сына, чем сам Наполеоновский сын... И вот его лицо в Мурином»[21]

Ей хотелось, чтобы Мур ни в чем не нуждался. Мальчик пошел во французскую школу: в русской гимназии в Булонь оказалось слишком дорого. Как сказалось крещение на Муре? Отец Андрей Сергеенко, настоятель церкви в Медоне, общался с МЦ, был поклонником ее стихов, – он вспоминает, как поэтесса приводила сына к нему в храм. Мальчик, как и мать, не мог устоять на службе больше десяти минут; темнота, свечи, иконы наводили беспокойство и скуку.

Незаметно пришел 1934-й. С. Эфрон стал еще более закрытым и таинственным, с этого времени «его жизнь окутывается все более непроницаемым клубком тайн <...> и прямо пропорциональна все растущему желанию вернуться. <...> Принято считать, что он стремился искупить свою вину перед родиной». Но скорее всего, речь шла о полном провале всех его начинаний (кино, газеты, философия, кружки, сочинение собственных текстов). Возвращение – и только оно – давало новые надежды. Он говорил с МЦ об этом, но она сказала: «...я решительно не еду, значит расстаться, а это (как ни грыземся!) после 20 лет совместности – тяжело» (из письма Соломее). Непоследовательность ее решений, «ехать – не ехать» – все менялось, как погода. Многое зависело от присланных чеков на «быт», изданных или отвергнутых стихов и переводов в журналах, с мизерными гонорарами, от литературных чтений, организованных друзьями в поддержку (скажем, в Мютюалите вместе с Ходасевичем, Гиппиус, Берберовой), – билеты распространялись среди знакомых, отзывы в прессе (эмигрантской) – кисло-сладкие. Все чаще она думала об отъезде – туда, где ее оценят профессионалы и читатели. Скоро Эфрон, видимо, стал получать деньги, а МЦ все реже напоминала друзьям о чеках и жаловалась на прозябание. Уезжать было страшно; она пишет: «буду там одна», – а ведь она больше всего на свете боялась одиночества: «В письме к Тесковой она просит найти для нее... хорошую гадалку». В тот же день, 15 февраля 1935 года, она читает стихи на бесплатном вечере, организованном «Союзом возвращения на родину» в квартире, оплаченной посольством.

Но тревожит Георгий – «победоносец»: «Менее всего развит – душевно: не знает тоски, совсем ее не понимает <...> Меня любит, как свою вещь <...> Ум – острый, но трезвый: римский». Странно, но эмигрантские идеи «о бездуховности Запада» живут в некоторых умах до сих пор. Вот и МЦ пишет в письмах, будто бы вся Европа в

тупике, а сын стал на путь французской бездуховной и политизированной молодежи, а ему нужно другое.

Со слов Д. В. Сеземана (пасынка Клепинина), Мур, несмотря на их разницу в три года, был очень развитым и укорененным во французскую среду подростком. В свои 14 лет он, конечно, не представлял истинных причин отъезда. В отличие от сестры, которая во всем нераздельно была с отцом, Георгия везли на закланье! «Я, конечно, кончу самоубийством. И может быть, я умру не оттого, что здесь плохо, а оттого, что 'там хорошо'»[22]. Георгий, в свои неполные 16 лет, довольно быстро понял, в какую западню он попал. Пишут, что он был несправедлив к матери, груб и безразличен, но по своему «наполеоновскому уму» он довольно быстро сообразил, что единственно спасительным для него может быть полное вхождение в советскую систему. Последние ее слова Муру – «я попала в тупик»; скорее всего, она хотела повторить: «Я не хочу умереть, я хочу – не быть».

Д. В. Сеземан и несколько тогдашних свидетелей того события в Елабуге говорят одно и то же: Мур на похороны не пошел и даже говорил Сикорскому: «'Марина Ивановна правильно сделала, у нее не было другого выхода...' И так он говорил всем, называя мать по имени и отчеству, – обдуманно, разумно. Он и не пытался что-нибудь сделать, чтобы мать не сунула голову в петлю. Ее стихи и поэмы сыну не нравились, возможно, по молодости лет»[23].

В 1944 году Георгий, блестящий студент Литинститута, за два месяца до окончания первого курса был призван на фронт, а в августе – убит. « Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет», – написала МЦ друзьям в последнем письме[24].

* * *

Мой несовершенный палиндром необходимо завершить. Иначе это выльется в «назидания потомкам» и несправедливые сравнения моих персонажей как «святых» и «не святых». Никого не хочу осуждать, никого не призываю любить. Думаю, что история русской интеллигенции XX века, как и история русской эмиграции, продолжит свои пробы лакмусовой бумажкой. У русских, думается, есть в характере черта наполнять слово «патриотизм» разными векторами, которые всегда корректируются властью. После Октября «патриотизм» в СССР превратился в борьбу с «безродным космополитизмом», всех буржуев поставили к стенке, а для эмиграции настали дни черных десятилетий изгойства. Но мы знаем, сколько среди этих «врагов» Советов было настоящих патриотов России. Эфрон, Марина Цветаева и мать Мария совершенно по-разному понимали это слово и на практике осуществляли его каждый по-своему. Пути Господни лежат в тайноведении.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Анна Саакянц*. Жизнь Цветаевой – бессмертная птица феникс. – Москва: «Центрполиграф». 2002. С. 43.
2. *Ксения Кривошеина.* Мать Мария Скобцова, святая наших дней. – Москва: ЭКСМО. 2015.
3. *Доминик Десанти*. Встречи с матерью Марией. Неверующая о святой. – Москва: «Алетейя», 2011. Сс. 26-27.
4. *Анна Саакянц*. Указ. соч. С. 667.
5. Там же.
6. *Гжегож Ойцевич*. См.: *Ксения Кривошеина*. Мать Мария Скобцова, святая наших дней... С. 312.
7. *Ксения Кривошеина*. Указ. соч. С. 310.
8. Брюс Локкарт – бывший резидент английских спецслужб в революционном Петрограде, журналист и разведчик (См.: *Юрий Оклянский*. Герберт Уэллс и Железная Женщина. – «Дружба народов», 2009, № 11).
9. *Гжегож Ойцевич*. Указ. соч. С. 313.
10. *Ирма Кудрова*. Гибель Марины Цветаевой. Цит. по: http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/about/kudrovG3.html
11. *Анна Саакянц*. Указ. соч. С. 394.
12. Там же. С. 671.
13. Там же. С. 426.
14. *Ирма Кудрова*. Указ. соч.
15. Из воспоминаний И. Н. Вебстер. См.: *Ксения Кривошеина*. Мать Мария Скобцова, святая наших дней... С. 344.
16. Там же. С. 344.
17. Там же. Ф. Т. Пьянов. С. 345.
18. *Ирма Кудрова*. Путь комет. Жизнь Марины Цветаевой. – СПб., 2002. С. 658.
19. *Анна Саакянц*. Указ. соч. С. 425.
20. Там же. Сс. 428, 439, 440.
21. Там же. Сс. 634, 629, 681, 678.
22. Там же. С. 821.
23. *Анатолий Мошковский*. Георгий, сын Цветаевой. – «Октябрь», 1999, № 3.
24. *Анна Саакянц*. Указ. соч. С. 825.

Сергей Шиндин

Габриэль Гершенкройн. Штрихи к портрету*

Часть I

Среди современников Осипа Мандельштама осталось немало тех, кто нередко известен литературоведческой науке лишь в отраженном свете его биографии и творчества, чья прямая или опосредованная биографическая связь с поэтом чаще всего и становится импульсом для обращения к подобным фигурам. В силу конкретных историко-культурных обстоятельств в наибольшей степени это относится к поколению 1910-х годов, что неудивительно по целому ряду причин. С одной стороны, представители художественной и научной среды этого периода оказали основополагающее влияние на всю российскую культуру и науку XX века и практически предопределили новый этап их развития. С другой стороны, именно тогда происходило активное вхождение Мандельштама в литературную среду и неодно-

* Автор благодарен проф. Н. Богомолову, познакомившемуся с текстом данной статьи в ее первоначальном варианте и внесшему ряд существенных поправок и дополнений, касающихся самых разных сторон затронутой темы и способов ее подачи, а также не раз оказывавшему фактографическую и библиографическую помощь. Автор благодарен Павлу Нерлеру за организационную и техническую поддержку в работе над ставшими основой этой публикации материалами в рамках проекта «Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта». – Все цитаты из произведений Мандельштама даны в тексте с указанием тома и страницы по изданию: *Мандельштам О.* Собрание сочинений: В 4 тт. Т. 1: Стихи и проза. 1906–1921 / Сост. и коммент. П. Нерлер, А. Никитаев. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993; Т. 2: Стихи и проза. 1921–1929 / Сост. и коммент. П. Нерлер, А. Никитаев. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993; Т. 4: Письма / Сост. и коммент. П. Нерлер, А. Никитаев, Ю. Фрейдин, С. Василенко. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1997. – Названия населенных пунктов указываются в работе по прежнему административно-территориальному делению, даты до 1 февраля 1918 года даны по старому стилю.

значная, часто противоречивая ассимиляция его поэзии. Как следствие, многие «теневые» для современного литературоведения фигуры становятся интересны прежде всего в качестве «реципиентов» творчества и участников жизненного пути поэта, тогда как их индивидуальное, независимое историко-культурное значение нередко проявляется только в процессе мандельштамоведческих штудий. В начале едва ли не безграничного списка таких «возвращенных» с начала 1990-х годов современников Мандельштама можно практически произвольно назвать относящихся к разным этапам его биографии Михаила Карповича, Константина Мочульского, Сергея Каблукова, Григория Петникова, Марка Талова, Бориса Кузина, Дмитрия Усова, Сергея Рудакова, Павла Калецкого, Якова Рогинского и многих других. Современная ситуация с освоением архивных, малодоступных и выпавших ранее из поля зрения исследователей источников такова, что после публикации эти материалы неизбежно требуют систематизации по нескольким критериям. Во-первых, это обязательное обобщение с последующей внутренней градацией всех тех данных, что появились по каждому конкретному автору, литературному объединению и художественному направлению, творческим, общественным и иным организациям, и, во-вторых, их соединение, упорядочивание с уже существовавшими в открытом научном доступе сведениями с последующим включением полученных результатов в самую широкую культурно-историческую перспективу. В более широком плане такая ситуация может быть спроецирована на практику изучения жизни и творчества поэта в целом, что во многом определяет ее основные направления в последние годы: «Мандельштамоведение, начинавшее с анализа стихотворений и закончившее определенный свой период несколькими собраниями произведений поэта и итоговыми монографиями, теперь неизбежно сосредоточено либо на очень частных аспектах – эпизодах биографии или деталях произведений, которые требуют реального комментария, либо на очень общих – осмыслении так или иначе присутствующих в творчестве Мандельштама отражений различных явлений мировой культуры»[1].

В число подобных «персонажей», безусловно, входит Габриэль Гершенкройн, известный как литературный критик и, прежде всего, – как автор глубокой и исключительно доброжелательной рецензии на второе издание мандельштамовского «Камня», вышедшее в 1915 году[2]. Однако ее публикация в годы войны в одесской газете и отсутствие указаний на знакомство Мандельштама с ней вероятно определили тот факт, что этот текст не вошел, как он безусловно того заслуживает, в активный фонд мандельштамоведения, а имя рецензента практически отсутствует на страницах истории русской литературы.

Первое упоминание имени Гершенкройна в современном мандельштамоведении очевидно состоялось при комментировании волошинской статьи «Голоса поэтов», когда его рецензия, наравне с текстами Волошина, Гумилева, Городецкого и Нарбута, была отнесена к числу первых наиболее серьезных откликов на поэтический опыт Мандельштама[3]. Собственно научная «актуализация» Гершенкройна состоялась в 1990 году в «академическом» издании мандельштамовского «Камня» в серии «Литературные памятники» именно в разделе републикаций прижизненных рецензий на него; там же содержалась и краткая справка об авторе: «учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета (окончил в 1915 г.), участвовал в романо-германском семинарии и несомненно был знаком с Мандельштамом и Гумилевым, к оценкам которого <...> близок в своей статье»[4]. И хотя биографические сведения об авторе немногочислены, разрознены и не всегда подтверждены конкретными документальными и мемуарными свидетельствами, но и они позволяют судить о его безусловной неординарности даже для такого яркого времени, каким стали для отечественной культуры 1910-е годы. Предлагаемые заметки – не более чем попытка привлечь внимание к одному из явно заслуживающих его участников литературного процесса того периода в надежде на то, что это станет дополнительным импульсом для более широкого и детального освещения биографии «теневых» современников Мандельштама.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 1911–1914

В 1909–1914 годах Габриэль Осипович (Авраам Иосевич) Гершенкройн обучался в Санкт-Петербургском университете, поэтому ряд биографических данных совершенно точно и достоверно может быть восстановлен по материалам его личного дела[5]. 18 августа 1909 года им было подано прошение о зачислении студентом историко-филологического факультета (л. 2), а вместе с ним – копия метрического свидетельства Одесского городового раввина (л. 10), из которого следует, что Гершенкройн, «нареченный именем ‘Авраам’», родился 27 февраля 1890 года в семье «Черневецкаго мещанина Ямпольского уезда Иося Алтаровича Гершенкройна и жены его Таубы» (таким образом, можно сделать вывод о том, что семья, очевидно, прибыла в Одессу из Черновецкой волости или самого местечка Черновцы (Черневцы; укр. «Чернівці») Ямпольского уезда Подольской губернии). 9 июня 1908 года ему был выдан аттестат зрелости, где говорилось, что «он, вступив в Одесскую 5-ю гимназию 26 августа 1903-го года, при отличном поведении, обучался по 7 июня 1908 г. и кончил полный восьмиклассный курс» (л. 4). Гершенкройн,

проявив за годы обучения склонности «к постоянно отличному поведению и прилежанию и к отличным успехам в науках», по всем предметам получил высшие оценки и педагогический совет гимназии «постановил наградить его золотою медалью и выдать ему аттестат, предоставляющий все права, <...> Устава гимназий и прогимназий» (л. 4), что обеспечивало выпускнику практически безусловное поступление в университет, тем более перед этим в испытательном комитете при управлении Одесского учебного округа Гершенкройн «подвергался испытанию из греческого языка в объеме курса восьми классов мужской гимназии, причем обнаружил в упомянутом предмете познания, признанные названным комитетом отличными» (л. 7). В подобных обстоятельствах сам за себя говорит тот факт, что Гершенкройн не остался в Одессе для поступления в Новороссийский университет, а стал студентом словесного (славяно-русского) отделения в составе историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета и успешно окончил его 3 мая 1914 года (л. 28), перед этим представив зачетное сочинение на тему «Фихтеанство Белинского», которое 12 марта 1914 года и было ему зачтено (л. 36-37).

В состав историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета входило романо-германское отделение, открытое в 1885 году по инициативе А. Н. Веселовского, – первое и долгое время единственное в России[6]. По сути, оно и являлось основой факультета, а слушателями его, согласно существовавшим правилам, на официальных основаниях могли стать студенты любых отделений всего университета. Яркая характеристика, относящаяся к середине 1910-х годов, принадлежит Виктору Шкловскому: «Историко-филологический факультет Петербургского университета был силен и по составу профессуры и по уровню студенчества. Иногда в почти пустой аудитории сидел профессор, перед ним два студента, а эта группка была отрядом передовой науки. <...> – В университете были и великие филологи, такие, как египтолог Б. Тураев, китаевед В. Алексеев, монголовед В. Бартольд, много было знающих, трудолюбивых людей. <...> – В области античной филологии работало несколько замечательных исследователей и издателей памятников античной литературы. Знаменитей, но не замечательней всех был красноречивый и седой Фаддей Зелинский»[7]. В свою очередь, отличавшее факультет специфическое тематико-методологическое «противостояние» лаконично, но выразительно отразилось в мемуарных записях Бориса Эйхенбаума «По мостам и проспектам (Из автобиографии)» конца 1920-х годов: «В здании петербургского университета я застал ту же борьбу, которая шла в здании 12 коллегий. Хотя и

профессора и студенты усиленно носили бороды, но здесь продолжалась та же старинная борьба двух культур: славяно-русской и романо-германской. Так и назывались два враждующие отделения историко-филологического факультета. Первая культура строилась на церковнославянском языке и памятниках древнерусской письменности; вторая – на провансальских трубадурах, немецких миннезингерах и на заветном имени Данте»[8]. И хотя в свидетельстве Гершенкройна об окончании университета указаны дисциплины славяноведческого профиля – введение в славяноведение, сравнительная грамматика славянских языков, древнецерковная словесность, новая русская литература, просеминарий по древнерусской литературе (л. 37), – не вызывает сомнений и подтверждается косвенными свидетельствами факт его активного участия в жизни романо-германского отделения.

Слушателем этого отделения с сентября 1911 по май 1917 года был и Мандельштам[9]; в этот же период там работали и обучались многие значимые для его биографии фигуры (некоторые – одновременно с ним): из преподавателей – В. Ф. Шишмарев, С. А. Венгеров, Н. Я. Марр, Ф. Ф. Зелинский, из студентов – Н. Бахтин, А. Белецкий, В. Вейдле, К. Вогак, Д. Выгодский, Вас. Гиппиус, В. Жирмунский, Б. Кржевский, А. Левинсон, М. Лозинский, К. Ляндау, К. Мочульский, Н. Недоброво, Ю. Оксман, В. Парнах, Л. Пумпянский, Вл. Пяст, С. Радлов, А. Слонимский, Ю. Тынянов, В. Шилейко, Вл. Шкловский и многие другие. Безусловно, немаловажен тот факт, что «соучеником» Мандельштама по романо-германскому отделению был Гумилев, для которого университетские контакты, в различных формах и с разной степенью интенсивности продолжавшиеся с 1908 по 1916 год, явно не стали заметными событиями в жизни[10]. Так, например, Владимир Вейдле вспоминал об одном из первых посещенных им занятий на романо-германском отделении в 1912 году: «В тот день, кажется, я и заметил нового участника ‘пропедевтических’ этих занятий, старше нас и не в тужурке, как почти мы все. Узкоголовый, косоглазый; с лица некрасив; прямой, сухощавый, жесткий. Сосед мой шепнул: Гумилев. Весной того года вышло ‘Чужое небо’. На занятиях этих он рта не раскрывал, да и был не более четырех или пяти раз. В университете я его больше не видал»[11]. Субъективную, но глубокую характеристику романо-германского отделения (по своему расположению именовавшегося «4-я аудитория») и свидетельство о его особом месте в историко-культурном контексте 1910-х годов оставил Эйхенбаум: «Университетская романо-германская культура, ведущая свое происхождение от Александра Веселовского, <...> была тогда на высоте. Мы еще не знали тогда, как она называется. Главное –

эпоха была нами заинтересована и помогала нам. Это чувствовалось не столько в самой 4-й аудитории, сколько за ее пределами. Мы были в струе – какой-то исторический гольфстрем обтекал нас, согревая и вдохновляя. – Мы путешествовали кружком, который объединялся не идеологией, а умственным и душевным стилем»[12].

Факты знакомства и общения Гершенкройна и Мандельштама ни документально, ни мемуарно не зафиксированы, но не вызывают сомнения. С уверенностью можно утверждать, что, как и Мандельштам, Гершенкройн входил в состав участников научного общества при романо-германском отделении историко-филологического факультета, образованного в декабре 1909 года, – кружка романо-германистов (другое неофициальное название – романо-германский кружок). Его целью было определено «изучение истории, литературы и искусства западноевропейских народов. <...> Система занятий реферативная; <...> предположено устраивать собрания, на которых члены кружка могли бы читать свои собственные литературные произведения»[13]; руководил работой кружка доктор западноевропейских литератур профессор по кафедре Д. К. Петров, в период 1911–1914 годов также входивший в круг активного университетского общения Мандельштама. Состоявший в 1911 году помощником руководителя этого научного объединения Жирмунский в «мемуарно-биографическом» предисловии к сборнику своих статей в конце 1920-х годов вспоминал: «В Ленинградском университете средоточием новых идей были Пушкинский кружок проф. С. А. Венгерова и романо-германский кружок проф. Д. К. Петрова; родственные устремления объединяли учеников ак. В. Н. Перетца. Для меня лично особенно важное значение имело общение с кружком молодых филологов, к которому тогда принадлежали А. А. Смирнов, К. В. Мочульский, Н. В. Недоброво (ѣ), С. Э. Радлов, А. Л. Слонимский, А. И. Белецкий (Харьков), а также – Б. М. Эйхенбаум (впоследствии примкнувший к В. Шкловскому); примыкали к этому кружку также и некоторые поэты из группы ‘акмеистов’, интересовавшиеся вопросами поэтической техники»[14]. Краткие, но колоритные впечатления от этого «культурного центра» романо-германского отделения позднее передал другой современник: «Я помню вечерние заседания кружка, университетский коридор, безлюдный и чисто выметенный, скупо освещенный рядом редких лампочек, тянущимся вдаль, уютную четвертую аудиторию, топорную фигуру профессора Петрова. Он вечно торопился на пригородный поезд к себе на зимнюю дачу, где среди замерзших чухонских болот изучал испанские комедии XVI века и арабскую любовную лирику. Вокруг профессора вились студенты, демонстрирующие эрудитность и изысканность художественного вкуса в противовес

литературному невежеству радикальной российской интеллигенции»[15].

Деятельность студенческого сообщества носила несистематический характер, в том числе и по вине его участников; в частности, 22 октября 1912 года Мочульский (очевидно, уже в этот период бывший помощником руководителя кружка) рассказывал в письме Жирмунскому: «Второе собрание нашего кружка все откладывается, так как Мандельштам оказался очень неаккуратным лицом – все пишет свой реферат, все жмет мне руку, прося отсрочки»; этот реферат был одним из ожидаемых событий в работе кружка, и уверенность, что он будет прочитан, нарастала – 1 ноября Мочульский сообщал, что чтение реферата предполагается в декабре, а 29 ноября писал Жирмунскому: «Следующее заседание кружка состоится в эту среду (5 декабря) и будет посвящено двум докладам – Мандельштама о Франсуа Виллоне и Гумилева ‘О Франсуа Виллоне, Теофиле Готье и их отношении к современной литературе’»; тогда же он сообщил о предполагаемом (но «недостоверном», очевидно, предполагаемом только гипотетически) докладе Гершенкройна в конце 1912 или в начале 1913 года[16]. Мандельштам выступил с докладом о Франсуа Вийоне на заседании кружка, вероятно, в феврале или марте 1913 года[17]. Тогда же Гумилев прочел собственный перевод вийоновского «Большого завещания»[18], шесть строф из которого (XXXVI–XLI) вместе с «Балладой о дамах прошлых времен» были напечатаны в журнале «Аполлон» (1913. № 4. Сс. 36-38) одновременно с мандельштамовской статьей «Франсуа Виллон» [1910 (1912?)]. Несколько ранее там же (1913. № 1) Гумилев опубликовал акмеистический манифест «Наследие символизма и акмеизм» (1913), где в ироническом контексте критических замечаний в адрес символизма процитировал в оригинале строку из «Баллады о дамах прошлых времен», а в заключение статьи отнес Вийона к одному из четырех «краеугольных камней» акмеизма. Как отмечают современные комментаторы, Гумилев «явился едва ли не главным популяризатором творчества и, главное, имени Готье в русской культуре начала XX века: его усилиями во многом объясняется тот факт, что имя французского писателя <...> стало для читателей 1910-х годов легко ‘узнаваемым’, благодаря устойчивой связи с реалиями современной им культуры»[19]. Вероятно, и Мандельштам воспринимал фигуру Готье именно в связи с личностью Гумилева – в шуточном стихотворении (1915), обращенном к последнему, встречается единственное мандельштамовское упоминание имени французского поэта: «На рубеже двух славных поколений / Забыл о бесхарактерном Верлэне / И Теофиля принял в сонм богов» (1, 160). Значительно важнее в этой связи тот

факт, что позднее, в начале 1920-х годов в Париже в защиту статьи Гумилева выступил Мочульский – его соученик по университету и временный сосед по студенческому общежитию, своей публикацией («Звено». 1923. 18 июня) открыв «‘зарубежный’ ряд работ о гумилевском ‘манифесте’, которые в 1930-е – 1970-е годы являлись доминирующими в гумилевоведении»[20]. Невозможно представить, чтобы Гершенкройн с его повышенным интересом к современной поэзии и в первую очередь – акмеизму – мог оставаться вне этого предельно актуального контекста.

В целом об атмосфере, царившей на историко-филологическом факультете в то время, ярко свидетельствует метафорическое отражение в мандельштамовской статье «О природе слова» (1920–1922) впечатления от его пребывания в семинаре Шишмарева: «Литература – явление общественное, филология – явление домашнее, кабинетное. Литература – это лекция, улица; филология – университетский семинарий, семья. Да, именно университетский семинарий, где пять человек студентов, знакомых друг с другом, называют друг друга по имени и отчеству, слушают своего профессора <...>. Филология – это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво сказанное слово в семье имеет свой оттенок. И бесконечная, своеобразная, чисто филологическая нюансировка составляет фон семейной жизни» (1, 223)[21]. Осенью 1913 года Мандельштам, очевидно, как и Гумилев, посещал просеминарий Шишмарева «Старофранцузский язык, грамматика и чтение текстов», а позднее – его семинар «Клеман Маро», по творчеству которого 5 октября 1915 года он сдавал Шишмареву зачет, что зафиксировано в мандельшамовской «Записи студента»[22]. С исключительной долей вероятности можно предполагать, что для личности Мандельштама Шишмарев выступил как одна из формообразующих фигур; во всяком случае, он, безусловно. сыграл заметную роль в формировании и развитии индивидуальной мандельштамовской концепции Средних веков[23]. Надежда Мандельштам оставила свой комментарий процитированного фрагмента, где прямо говорится о том, что поэт «вспоминает семинар ‘молодого профессора’ (это его слова) Шишмарева, среди слушателей и участников которого были и Гумилев и Мандельштам. Они читали старофранцузские тексты, и любовь к ним Мандельштам сохранил на всю жизнь. Я знала Шишмарева уже стариком, и он нежно вспоминал своего ученика Осю Мандельштама, способного, но ленивого филолога»[24]. Подобная атмосфера, очевидно, не только находила прямое или опосредованное отражение в творчестве студентов-поэтов, но и сама могла становиться ярким художественным импульсом для них – вряд

ли случайно позднее другой «сосед» Мандельштама по университету, Владимир Вейдле, напишет в своих воспоминаниях об одном из самых известных акмеистических стихотворений этого периода: «‘Notre Dame’, я уверен, родилась в том же ‘музее древностей’, заставленном книжными шкафами, куда мы попадали, пройдя почти весь длинный коридор здания Двенадцати коллегий»[25].

Близкие впечатления легко проследить у многих современников Мандельштама; пожалуй, в предельно сжатой, компрессированной и, одновременно, емкой, почти исчерпывающей форме они «каталогизированы» в воспоминаниях Лазаря Розенталя – еще одного «соученика» поэта, причем не только по университету, но и по Тенишевскому училищу. В своих мемуарных записях самого начала 1930-х годов с характерным названием «Свидетельские показания любителя стихов начала XX века» он оставил такое описание: «Знаменитый коридор Петербургского университета тянулся на добрую треть версты. В перерывах между лекциями, когда толпы студентов подымали облако пыли, из одного его конца не был виден другой. Стены были испещрены объявлениями бесчисленных землячеств, которые свидетельствовали о необъятности Российской империи; извещения всевозможных кружков убеждали заниматься чем угодно, только не политикой. Среди моря этих листков один, приютившийся на двери классического семинара, сообщал о появлении нового журнала стихов ‘Гиперборей’. Петербургский университет кануна мировой войны возвращался к старинным традициям: наряду с науками в нем находили себе приют музы. На германо-романском отделении историко-филологического факультета, строго сохранявшем воспоминания об Александре Веселовском, обучались не только юные поэты, но и почтенные сотрудники авторитетнейшего журнала чистого искусства ‘Аполлона’. На заседаниях германо-романского кружка большие и малые мастера поэтического цеха читали свои новые, еще нигде не напечатанные стихи»[26]. Кроме того, что определение «большие и малые мастера поэтического цеха», безусловно, является совершенно прозрачным намеком на «Цех поэтов», интересным представляется завуалированное противопоставление его печатного органа – журнала «Гиперборей» – «Аполлону», эксплицитно представленное в продолжении процитированного фрагмента воспоминаний Вейдле, где оно сополагается с поэзией Мандельштама первой половины 1910-х годов (имя которого в той же связи появляется и в мемуарах Розенталя): «‘Гиперборей’ в ту пору мне был едва ли не милее ‘Аполлона’, а ‘Камень’ я читал в первый раз с таким волнением, с таким все возраставшим радостным трепетом, с таким чувством открытия чего-то совсем нового и вместе с тем непонятным образом

родного, как читаешь – из того, что вполне по душе, – лишь то, что написано еще и твоим сверстником»[27]. Трудно представить, чтобы подобные настроения, как и одновременно обучавшиеся с Гершенкройном блестящие представители культуры начала 1910-х годов, не оказали существеннейшего влияния на формирование его личности. Именно данное обстоятельство, вероятнее всего, и нашло прямое отражение уже в середине этого десятилетия, когда он после окончания университета [в выпускном свидетельстве (л. 28) указана дата – 3 мая.1914 года] вернулся в Одессу, где оставался ориентировочно до начала 1920 года – времени эмиграции во Францию.

ОДЕССКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ: 1912–1914

По немногочисленным документальным и мемуарным источникам можно предположить, что основным занятием Гершенкройна в период его пребывания в Одессе стало самое активное участие в художественной и литературной жизни города, с начала 1910-х годов отличавшейся исключительной широтой и многообразием. Определяющие эту индивидуальность Одессы объективные и субъективные факторы формировались как раз в то время, когда Гершенкройн обучался в Санкт-Петербургском университете, но он мог быть прекрасно информирован о происходившем в «черноморской столице» культурном «ренессансе», во многом связанном с деятельностью Литературно-артистического клуба (ЛАК). Его прообразом было Одесское литературно-артистическое общество (ЛАО), существовавшее с 1897 по 1904 год и, по словам организаторов, создававшееся как объединение, «на почве которого члены большой семьи, работающей на ниве искусства, могли бы сойтись, ознакомиться друг с другом, послушать мнение противника и единомышленника, поспорить об интересующем предмете, выяснить недоразумение и протянуть руку помощи или дать добрый совет начинающему или находящемуся в горе собрату»; в нем действовали «литературная, музыкальная и художественная секции, проводились литературно-музыкальные вечера, устраивались художественные выставки»[28]. Но, по формулировке современного исследователя, «накануне Первой русской революции ‘Литературка’ с ее либеральными настроениями была закрыта по распоряжению одесского градоначальника. С 1905 по 1911 год Литературно-артистическое общество не собиралось, и никакого подобного ему объединения или клуба в Одессе не существовало. В декабре 1911 года было принято решение возродить клуб, в частности – литературные вечера <...>. Самый первый – после семилетнего перерыва – четверг (12 января 1912) был посвящен Бальмонту (в то время в

России широко отмечался 25-летний юбилей его литературной деятельности)»[29]. Ориентированный на продолжение и развитие традиций, сложившихся за время существования ЛАО, клуб (неофициально даже именуемый по-прежнему «Литературкой») в своем обновленном качестве просуществовал до начала 1920 года, времени вступления в Одессу частей Красной армии и окончательного установления в ней советской власти. «Одно из последних заседаний состоялось 8 (21) января 1920 г. <...> Последнее сообщение одесских газет о Литературке датируется 14 (27) января 1920»[30].

Деятельность ЛАКа, последовательно расширяющая свои формальные и содержательные границы, удивительным образом нашла свое отражение не только в одесской газетной периодике, но и в петербургских изданиях, например в «Аполлоне». Так, в первом номере 1913 года было опубликовано трехстраничное «Письмо из Одессы», в заключительной части которого сообщалось: «Литературно-артистический клуб возобновил свою деятельность. Первый ‘четверг’ был посвящен ‘Пер-Гинту’ (sic!) Ибсена <...>. Второй вечер был посвящен Ф. Сологубу. <...> По приглашению того же клуба Георгий Чулков прочел в Новом театре интересную лекцию на тему: ‘Современная душа и некоторые темы Достоевского’»[31]. Трудно сказать, почему сообщение о ЛАКе начинается с указания непосредственно на возобновление его деятельности и идет ли речь о возможном перерыве в заседаниях после открытия, состоявшегося 12 января 1912 года, или автор так скрывает свое опоздание с рассказом об этом событии[32].

Эта подробная заметка была опубликована в разделе «Русская художественная летопись» и, по сути, открыла в журнале самостоятельную рубрику, в которой в течение года появилось еще пять аналогичных публикаций. Трудно сказать, почему элитарное столичное издание вдруг решило обратить столь пристальное внимание на эпизод из провинциальной жизни. Возможно, сказались личные связи «аполлоновцев» с представителями одесской литературно-художественной среды начала 1910-х годов: здесь необходимо вспомнить уже цитировавшееся и требующее самостоятельного комментария высказывание Розенталя о том, что одновременно с ним (и, следовательно, с Гершенкройном) в Санкт-Петербургском университете обучались «почтенные сотрудники авторитетнейшего журнала чистого искусства ‘Аполлона’»; тогда же мемуарист упоминал и о многочисленных студенческих землячествах, одно из которых могло быть одесским. С известной долей осторожности допустимым кажется предположение о том, что одним из связующих в этой ситуации звеньев мог стать известный журналист Лев (Леон) Камышников, с

1902 по 1907 гг. поддерживавший деловые отношения с газетами «Южное обозрение», «Юг» (Херсон) и «Одесские новости», а позднее сотрудничавший с петербургскими изданиями – «Биржевые ведомости», «Солнце России», «Журнал для всех», «Нива» и, что особенно важно, с журналом «Аполлон»[33]; с 1911 года и до октября 1917 он был редактором газет «Южная мысль» (Одесса) и «Одесская новая газета», одновременно печатался в «Киевской газете», газете «Утро» (Харьков) и др. По некоторым данным, с 1913 года Камышников являлся членом правлении ЛАКа, а во время Первой мировой войны, в ноябре 1915 года, начал издавать «интеллектуальный иллюстрированный еженедельник ‘Театр и кино’ <...>. Убеждение, что театр необходим даже в самое трудное время, желание извлекать из этого искусства самое значимое и ‘направлять зрителя по пути красоты и правды’ позволило ему на протяжении нескольких лет (1915–1917, 1919) стремиться вести зрителя ‘к театру-творцу, театру духа, а не нервов, взбудораженных и требующих, как брома, зрительных и чувственных ощущений’»[34].

Фрагментарные, но содержательные и живописные воспоминания о Камышникове, относящиеся к самому началу 1910-х годов и в значительной мере расширяющие представления о его личности, оставил Александр Биск, который занимает заметное место в культуре первой четверти XX века; для отечественной литературной традиции он выступает в качестве одного из первых переводчиков Рильке и собеседника Гумилева в конце 1900-х годов. Изданный Биском в 1919 году сборник переводов австрийского поэта стал третьим после вышедших чуть ранее книг Юлиана Анисимова (1913) и Владимира Маккавейского (1914) и навсегда оставил его имя в ряду самых достойных популяризаторов поэзии Рильке, равно как и собеседника Цветаевой и Пастернака. В 1907 году Биск принимал участие в неудавшемся издательском проекте Гумилева, определенного им как «первый русский художественный журнал в Париже». Во втором номере журнала «Сириус», редакция которого традиционно для того времени обещала дать «новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте»[35], были напечатаны два стихотворения Биска, но, не получив свои «авторские экземпляры», он прекратил с Гумилевым все отношения[36].

Именно конкретные обстоятельства, связанные с биографией Биска, привносят в рассматриваемое культурно-историческое пространство дополнительные частные, но немаловажные аспекты. Как и многие из упоминаемых одесситов, в 1901 году «он становится студентом Киевского политехнического института. Это не мешает заниматься литературой, и в 1903 году юный поэт впервые публикует

свои стихи в киевском журнале ‘Юго-западная неделя’. Вскоре сбывается ‘заветная мечта’ молодого поэта – быть напечатанным в ‘Одесских Новостях’. Первая публикация датируется 1903 годом. С этого времени его стихи регулярно появляются в субботних иллюстрированных приложениях»[37]. О самом начале 1900-х годов Биск вспоминал так: «Я только недавно стал писать стихи и скоро вошел в Одессе в кружок бунтарской молодежи, куда уже проникли первые веяния русского модернизма. <...> В кружке я познакомился с учеником Художественного училища (мы их называли рисовальщиками) Камышниковым. Это был высокий худой юноша, он еще не был таким красивым, как сегодня. Он писал картины и даже стихи, я все их еще помню, хоть это было лет 45 назад. Стихи были об испанской бане, но в них была и гражданская скорбь. <...> Стихи эти были написаны Камышниковым на пари, в соревновании с известным поэтом Дмитрием Цензором, причем сам Цензор признал, что стихи Камышникова лучше. Я, с моей стороны, жалею, что Камышников оказался на Парнасе не жрецом, а только заезжим гостем»»[38].

Автором всех «аполлоновских» корреспонденций из Одессы (подписанных полным именем или инициалами) был живописец, график, театральный художник, критик и педагог Михаил Гершенфельд, позднее – активный член деятельности ЛАКа, в 1920 году избранный в состав его последнего правления, и бессменный председатель созданного в Одессе в 1917 году по его инициативе «Общества (товарищества) независимых художников»[39]. Формальным поводом для первой публикации послужило «беспримерное в музыкальных летописях города событие» – «ходатайство перед городской управой о замене оперы... драмой» и убежденность автора в том, что в случае положительного решения этого вопроса «Одесса в разгаре сезона останется без оперы»[40]. В последовавшей вскоре информации, после подробного рассказа о театральных премьерах без указания конкретной даты, Гершенфельд упоминает о том факте, что в ЛАКе «состоялся вечер Рихарда Демеля. После реферата читались артистами стихи Демеля. К сожалению, он у нас мало переведен и как-то односторонне. Мало выявлена дионисовская сторона его творчества. Стихи Демеля в переводах Брюсова, Бальмонта, а также семь стихотворений в хорошем переводе А. Биска имели большой успех»[41].

ГЕРШЕНКРОЙН И МАНДЕЛЬШТАМ

С началом войны деятельность клуба не только не прекратилась, но есть веские основания полагать, что она активизировалась. Насколько можно судить по очередному сообщению из Одессы, опуб-

ликованному в «Аполлоне», в конце 1914 года в ЛАКе произошли изменения в руководстве литературной секцией, после чего работа ее стала более активной: «С избранием новой литературной секции в одесском Литературно-артистическом клубе деятельность клуба заметно оживилась. Секция, отзываясь на возникшую потребность – осветить многие вопросы, связанные с современными грозными событиями, наметила ряд лекций и докладов ‘о войне и искусстве’. Первый вечер ‘войны и искусства’ состоялся 16 октября, в день нападения неприятельских судов на одесский порт. Ввиду тревожного настроения в городе вечер предполагалось отменить, но по настоянию собравшейся публики вечер все-таки состоялся и прошел с успехом. Прочитаны были следующие доклады: М. Гершенфельдом – ‘Реймсский собор в связи с готическим искусством’; г-жей В. Инбер – ‘О войне и Париже’ и Н. Инбером ‘О войне и о бельгийском искусстве (музеи)’. Следующий ‘четверг’ был посвящен докладу Л. Грос[с]манна – ‘Философия войны у Стендаля и Толстого’. <...> На ‘четверге’ 4 декабря прочитаны доклады: г. Недзельским – ‘Германия по книге Юре’ и г. Лозина-Лозинским – ‘Война в произведениях Мопассана’. ‘Четверг’ 11 декабря был посвящен бельгийскому творчеству. М. Гершенфельдом прочитан был доклад о ‘современном бельгийском искусстве’ и его представителях»[42].

Вполне вероятно, что в первом из упоминаемых докладов содержалось обращение и к мандельштамовскому стихотворению «Реймс и Кёльн» (1914), посвященному разрушению немецкой артиллерией Реймсского собора, именовавшегося «Нотр-Дам в Реймсе». Тема эта нашла свое широкое отражение в российской периодической печати того периода (например, развернутая публикация со значительным количеством репродукций профессиональных фотографий в «Солнце России». 1914. Ноябрь. Военный номер. № 8); подробный рассказ об этом событии, в том числе – история создания собора и его архитектурно-художественные характеристики, с репродукциями документов и фотоматериалами, был опубликован весной 1915 года и в «Аполлоне». Памятник национальной и европейской культуры определялся как «один из шедевров всей Франции, один из изумляющих памятников Средневековья и поры перед Возрождением. В нем готическое вдохновение обрело одно из своих высших выражений, в нем оно цвело и ‘пылало’ красотой, пока не запылало от германских снарядов»[43]. Для Мандельштама события в Реймсе стали не драматической или ложно-драматической основой для спекулятивного сюжета патриотической направленности, а отражением истинной трагедии европейской цивилизации[44].

Подобного рода «социокультурная» активность ЛАКа сохрани-

лась и в следующем году, причем уже с безусловным участием Гершенкройна[45]. В корреспонденции из Одессы, опубликованной в летнем номере «Аполлона» 1915 года, сообщалось: «Деятельность Литературно-артистического клуба за вторую половину сезона была очень оживленной. Много внимания было уделено искусству. В целях ознакомления публики с искусством союзных стран был устроен вечер, посвященный французскому художественному творчеству. Сделаны доклады: М. Гершенфельдом – ‘Франция и ее изобразительное искусство’ и г-жой М. Симонович – ‘Париж в отражении французских рисовальщиков’. Очередной ‘четверг’ был посвящен докладам: г. Грос[с]манна – ‘Война по Достоевскому и Прудону’ и г. Бархина – ‘Война в произведениях Гаршина’. Английскому искусству также посвящены были два доклада: М. Гершенфельда – ‘Англия, ее парисы и ее живописцы-поэты’ и г-жи М. Симонович – ‘Английские влияния в искусстве и жизни’. Кроме того, состоялись интересные лекции: приват-доцента Малинина – ‘Философские искания Индии’ и Г. Гершенкройна – ‘О современных течениях русской поэзии’»[46]. Лекция Гершенкройна состоялась 23 апреля 1915 года; развернутый анонимный газетный отчет о ней дает ясное представление о месте выступавшего в литературно-художественном мире Одессы этого периода: «Последний ‘четверг’, посвященный лекции Г. О. Гершенкройна о современной русской поэзии, был очень интересен. – Г. Гершенкройн увлечен поэзией, и именно новой, он ее знает настолько хорошо, что цитирует наизусть множество стихотворений русских и иностранных авторов. Цель его – беспрестанно, не закрывая глаз на недостатки и на чудачества представителей новых течений в поэзии, объяснить, каким образом последние возникли, и указать, что не всегда отдельные места в стихах новых поэтов так смешны и так нелепы, как это иногда кажется с первого взгляда»[47].

Рассказ о самом выступлении хроникер начинает с перечисления четырех его тематических звеньев – символизм, акмеизм, футуризм и «свободная поэзия» вне групп и течений; автор так передает оценку, данную Гершенкройном первому из них: «Перенесенный на русскую почву символизм нашел себе адептов в лице Бальмонта и Брюсова. Будучи его основателями у нас, они, однако, не стали его лучшими выразителями. Первый сверкнул, по мнению лектора, так ярко потому, что появился во время Апухтина и ‘бесстильности’ гражданской поэзии. Бальмонт был лишь ‘запевалой’. У Брюсова более данных для новаторства. Он скорее умом, чем сердцем, понял, что поэту необходимо впитать в себя все, что было до него. Поэтому он более содействовал проведению в жизнь новых форм. Но в нем – отсутствие ярко выраженной поэтической индивидуальности» (410).

Главное положение этого фрагмента о «заимствованном» происхождении русского символизма едва ли не дословно перекликается с антисимволистской мандельштамовской статьей «Буря и натиск» (1922–1923), где содержится негативная характеристика «чужестранного русского символизма, бывшего ‘культуртрегером’, переносителем поэтической культуры с одной почвы на другую»; соответственна и общая метафорическая оценка: «Ранний русский символизм был сильнейшим сквозняком с Запада» (2, 289). Оба автора в современной поэзии ставят на первое место одни и те же имена – Анненского и Блока – Мандельштам более сдержанно, а Гершенкройн совершенно явно: «Вершина русской поэзии, по мнению г. Гершенкройна, – Ал. Блок и Ин. Анненский. В их поэзии вознесен выше, прежде всего, магизм слова и гипноз музыки. Лектор подробно остановился на их творчестве. Первого он назвал ‘Орфеем современной поэзии’, а о втором сказал, что он ‘осуществил завет символизма, раскрыв перед нами душу современного человека во всей ее сложности’» (410–411). В отличие от столь высокой оценки, Мандельштам избегает каких- либо характеристик, ограничиваясь только констатацией общеизвестных фактов (подробнее он остановится на них в свой статье далее): «О Сологубе и Анненском хотелось бы говорить особо, так как они никогда не участвовали в ‘буре и натиске’ символизма. Поэтическая судьба Блока теснейшим образом связана с девятнадцатым веком русской поэзии, поэтому о ней также следует говорить особо» (2, 290).

Типологическая близость оценок продолжается при обращении к практике акмеизма и сохраняет ту же форму – мандельштамовское определение, по сути, лишь иносказательно повторяет отдельные положения «манифеста» Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»: «Необходимо упомянуть о деятельности младших символистов, или акмеистов, не пожелавших повторять ошибки разбухшего водянкой больших тем раннего символизма. Гораздо более трезво оценивая свои силы, они отказались от мании грандиозного раннего символизма, заменив его кто монументальностью приема, кто ясностью изложения, далеко не с одинаковым успехом» (2, 290–291). В отличие от Мандельштама, Гершенкройн, также отмечая генетическую связь акмеизма с символизмом, упоминает и конкретных участников нового поэтического течения, давая им более чем высокую оценку: «Акмеисты пришли на смену символистам. Они стремятся ‘вернуть слову твердость, сделать его опять образом’. Это направление есть возврат к реализму. Но у акмеизма нет теории, он не вносит новых принципов и его ценность – в отдельных поэтах, наиболее талантливые из которых – Анна Ахматова и Мандельштам – ‘самая прекрасная надежда молодой поэзии’» (411).

Далее, как и следует ожидать, оба автора обращаются к художественной практике футуризма, выделяя набор его главных специфических признаков. Пересказывая эту часть гершенкройновского выступления, хроникер отмечает, что футуризм – «последнее слово в поэзии, особенно интересует Г. Гершенкройна» (410), и так передает развитие данного положения: «Лектор взял на себя защиту этого пункта и сравнил теорию футуризма и магию слова Малларме. Но футуризм доводит эту теорию до крайности. Большинство поэтов-футуристов лектор ставит не очень высоко и делает исключение только для Вл. Маяковского. Он нов и своеобразен, и от него, как и от Мандельштама, можно ожидать многого в будущем» (411). Мандельштамовские характеристики и оценки опять-таки носят менее эмоциональный характер, их сдержанность объяснима теоретически обоснованным взглядом на такое явление, как русский футуризм. Совершенно неожиданной, едва ли не парадоксальной, оказывается эксплицированная в обоих случаях пушкинская параллель, отчетливо проецируемая в личностный план современной поэзии. Уже в самом начале автор газетного обзора пишет о Гершенкройне: «Лектор не отграничивает себя от старины, он любит поэзию вообще, и потому Пушкин для него Бог, которого он не свергает с пьедестала. Хваля ‘акмеиста’ Мандельштама за его действительно прелестное стихотворение о городе, лектор в виде высшей похвалы сравнивает его с Пушкиным» (410). В сходном контексте встречается упоминание о Пушкине в заключительных строках «Бури и натиска», где Мандельштам говорит о времени, когда «приходит поэт, воскрешающий девственную силу логического строя предложения. Именно этому удивлялся в Батюшкове Пушкин, и своего Пушкина ждет Пастернак» (2, 298).

Подобного рода близость двух текстов (даже с учетом того, что второй из них, гершенкройновский, при всей маловероятности такого предположения, все же мог частично или полностью представлять собой устную импровизацию и дойти до широкой аудитории в чужой передаче) трудно объяснить лишь неизбежной типологической близостью внутри одной литературной эпохи. Отчет о вечере в ЛАКе был опубликован в апреле 1915 года, а большую часть лета, с 30 июня по конец августа, Мандельштам провел в Коктебеле[48], что делает вполне оправданным, хотя фактографически и не доказанным, предположение о его знакомстве с газетным пересказом гершенкройновского выступления[49]. Позднее, с лета 1921 по осень 1923 года – возможного времени работы над статьей «Буря и натиск» – Мандель-штам бывал на юге России (Ростов-на-Дону), на Кавказе и на Украине (Харьков, Киев, Гаспра), то есть в непосредственной близости от гипотетическо-

го источника сведений о публикации, связанной с выступлением Гершенкройна, которое содержало не просто доброжелательную, но откровенно комплиментарную, едва ли не преувеличенную оценку мандельштамовской поэзии второй половины 1910-х годов.

Годом позже Гершенкройн отозвался глубокой и снова исключительно сочувственной рецензией на второе издание «Камня», в которой отнес его к числу «тех редких книг, значительность которых уже заранее надолго предопределяет их судьбу»; тот факт, что известность Мандельштама «до сих пор не выходила за пределы поэтических кругов и немногих ценителей», рецензент объяснил «только отсутствием книги, которая объединила бы богатый опыт нескольких лет его творчества», и констатирует, что «теперь он утверждает себя в русской поэзии художником, к которому можно и должно подходить с большим и необычным масштабом»[50]. Из этой вступительной части рецензии можно сделать вывод о том, что к числу тех, кто «внимательно следил за поэзией последних лет» (222), относится и сам автор (который, кстати, посещал в университете занятия в семинаре по новой русской литературе (л. 37)). За годы обучения Гершенкройн не мог не сталкиваться с поэтической практикой других студентов; так, например, 13 ноября 1913 года он, возможно, присутствовал на состоявшемся в романо-германском кружке «Вечере стихов» «при участии поэтов Гумилева, Мандельштама, Г. Иванова, Пяста, Парнока (sic!), Гиппиуса и [Н. М. – *С. Ш.*] Бахтина»[51]. К приведенным ранее примерам на эту тему можно добавить свидетельство Юлиана Оксмана, в письме Корнею Чуковскому 1-3 июля 1961 года вспоминавшего о «студенческих вечерах поэтов, где <...> читали свои стихи Гумилев, Осип Мандельштам, М. Лозинский, В. Гиппиус, а из сокурсников Георгий Маслов, Всеволод Рождественский, Лариса Рейснер, <...> Д. Выгодский»[52]. Не так фактографически, но значительно эмоциональнее о подобной атмосфере идет речь в мемуарах Розенталя, где он вспоминает тех, «кто уже стал знаменитостью или станет таковой и на следующий день. Выступали поэты с новыми стихами. Они читали изумительно хорошо, как можно читать лишь только что написанные стихи, не утратив еще огня творческого порыва, их создавшего, и лишь в небольшой аудитории, насыщенной поэтическими интересами. – <...> Творчество акмеистов, которые господствовали тогда среди университетской молодежи и явно верховодили в ‘Гиперборее’, пришлось как раз по вкусу. Правда, принято было критиковать их, попрекать рационалистичностью, эклектизмом, бездушным мастерством, эпигонством. Но их все-таки любили. Акмеисты умели писать стихи, умели блестяще их читать. Лучше всех читал стихи Осип Мандельштам»[53].

Текст гершенкройновской рецензии далеко выходит за структурно-семантические границы традиционного жанра рецензий и, в известном смысле, может быть отнесен к одному из первых опытов собственно научного освоения мандельштамовского творчества (с учетом существовавших на тот момент историко-литературных и литературоведческих координат и ориентиров)[54]. Гершенкройн прямо отмечает ориентацию ранней поэзии Мандельштама на символистскую традицию и сменившее ее мировоззренческое и художественное обращение к актуальным для акмеизма категориям вещности, предметности (ассоциативно называя в этой связи исключительно значимые для поэта имена Малларме и Готье) и подробно останавливается на наиболее ярких примерах проявления этого. Как следствие – общее гершенкройновское определение: «Поэт, обратившийся от смутной ‘первоосновы жизни’ к ее реальнейшим воплощениям, он сумел это многообразное, всечасно видимое и ‘слышимое’ бытие почувствовать всей глубиной и цельностью своего художественного восприятия» (224). Своего рода итоговая оценка содержится практически в самом начале текста, и в ней явно доминирует констатация исключительной индивидуальности Мандельштама: «В нем видишь прежде всего черты вполне оригинального своеобразного ‘поэтического лица’. В поэзии современной и прошлой у него нет двойников, и ничего не заимствуя у других, он настолько силен и независим, чтобы, по слову Готье, чеканить монеты своим собственным штампом. Он стоит в стороне от литературных течений современности, и какие бы нити ни связывали Мандельштама с акмеизмом – а в более раннюю пору и с символизмом, – в целом это творчество идет, минуя всякие поэтические школы и влияния, доверяясь только его собственной напряженно живущей мысли и самостоятельной неиссякающей интуиции» (223).

Характеристика собственно содержательного строя «Камня» основывается на экспликации ключевых для художественного мировоззрения его автора категорий, проявившихся уже на этом этапе и сохранявших свою актуальность на протяжении всего его творчества. К числу важнейших наблюдений Гершенкройна можно отнести его вывод о том, что Мандельштам в своей книге «уже обнаруживает уверенную власть над пространством, заостренную зоркость» (223). Это положение вполне согласуется с одной из точек зрения современного мандельштамоведения: «Хронотоп первой книги Мандельштама устроен следующим образом: ‘Камень’ (1913) состоит из четырех последовательно расположенных групп стихотворений, которые весьма и весьма условно можно обозначить как пространственно-временные циклы. Это ‘комнатный’, ‘пригородный’ (он же

‘природный’), ‘петербургский’ и ‘евроазиатский’ циклы»[55]. Исследователями неоднократно отмечалось явное доминирование в мандельштамовском художественном сознании пространственного начала универсума над темпоральным; более того, это давало основания констатировать, что Мандельштам – «поэт, остро чувствующий пространство и враждебно сопротивляющийся времени»[56]. Здесь же можно вспомнить утверждение Надежды Мандельштам о том, что автор «ощущал пространство даже сильнее, чем время, которое представлялось ему регулятором человеческой жизни: <...> по отношению ко времени человек пассивен. Его активность развивается в пространстве, которое он должен заполнить вещами, сделать своим домом»[57]. Столь же проницательно Гершенкройн отметил актуальность для мандельштамовской поэтики урбанистического начала, репрезентируя которое поэт «чаще становится художником современного города, с его изменившимся пейзажем и обстановкой, кинематографом, блестящей оперой, ‘вереницей моторов’» (224)[58] Как следствие – замечание о том, что «архитектуру Мандельштам почувствовал, как редко кто из поэтов» (224); при этом автор акцентирует внимание на динамическом аспекте специальных моделей, когда важнейшие для трех христианских конфессий архитектурные святыни – Айя-София, Нотр-Дам, Казанский собор – образуют единое целое, которое, выражаясь метафорически, «движется, волнуется, живет ритмом одушевленной жизни» (224)[59]. Соответственно, признак архитектурности (в терминологии Гершенкройна – «тайная архитектура») распространяется на саму мандельштамовскую поэтику: «В ‘Камне’ нельзя не заметить ‘architecture secrete’, скрытого поэтического плана, в котором раскрывается постепенный путь создания этой книги, отмеченный ломаной, но закономерно правильной линией творчества» (223)[60].

Говоря о пути создания книги, т. е. о том, что синонимично творческому и, значит, духовному движению, Гершенкройн концентрирует внимание еще на одной содержательной модели, которая будет в дальнейшем интенсивно развиваться в художественном мире Мандельштама, в частности, в мотиве путешествия, которое, «отрываясь от географических или биографических ориентиров, преобразуется в путешествие по пластам мировой культуры»[61]. Это качество совершенно точно определено в рецензии, когда автор констатирует: «‘Рим’ в его поэзии меньше всего может быть понят в собственном смысле слова. Это только символ утверждающего себя начала, и путь туда – только человечески выстраданная жажда – духом возвеселиться, благословить себя сияющими радугами апостольской свободы» (225). Данный фрагмент позволяет практически с полной уверенностью

утверждать о знакомстве Гершенкройна с мандельштамовской статьей «Петр Чаадаев» (1914), опубликованной в «Аполлоне» (1915. № 6-7), причем статья вышла из печати в начале октября, т. е. ровно за полгода до появления рецензии. В журнальном варианте мысль о связи чаадаевского поиска свободы с Римом звучала совершенно отчетливо (при подготовке сборника статей «О поэзии» (М.– Л., 1928) это положение было исключено): «У России нашелся для Чаадаева только один дар: нравственная свобода, свобода выбора. Никогда на Западе она не осуществлялась в таком величии, в такой чистоте и полноте. Чаадаев принял ее, как священный посох, и пошел в Рим»[62].

Глубине и точности содержательных интерпретаций и, по сути, семантических характеристик Гершенкройна в равной степени соответствует анализ формальной организации рассматриваемых текстов. Вслед за другими современниками в качестве метрико-ритмической доминанты у Мандельштама он выделял ямб, именно ямбической орнаментации стихов придавая статус главного стилеобразующего фактора: «Чаще всего Мандельштам пользуется в своих стихах ямбом; и этот величественный метр так пристал его поэзии <...>. На основе его и всякого другого метра он выткал сложный узор стиха во всем великолепии и разнообразии ритмики, богатейшей звучности и архитектоники. В частности, шестистопный ямб, с изобилием широких пауз, с чудесной динамикой ускорений и замедлений, достигает у него того высокого совершенства, которое знают только избранные поэты» (226). Сказав перед этим о «ритме одушевленной жизни»», автор отмечает и тот факт, что «в глубоко задуманной ‘Оде Бетховену’ слышишь уже настоящую хоровую лирику, где в восходящих ритмических волнах растет, достигая предела, все просветленное ликование» (225)[63].

Таким образом, вполне обоснованным и верным можно считать отнесение Гершенкройна к числу «тех молодых критиков второй половины 1910-х годов, которые прозорливо распознали в творчестве акмеистов и участников ‘Цеха’ начало нового этапа в развитии русской модернистской поэзии. Это были Габриель Гершенкройн, Лариса Рейснер, отчасти Лазарь Берман и, конечно же, Виктор Жирмунский»[64].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Рогов О.* Шевелящиеся виноградины // «Волга». 2010. № 5-6. С. 248.

2. *Гершенкройн Г.* О современной поэзии: О. Мандельштам. «Камень» // «Одесские новости». 1916. 20 марта. С. 2.

3. *Никольская Т. Л., Левинтон Г. А.* Примечания // *Волошин М.* Лики творчества / Сост. А. В. Мануйлов, подгот. текстов А. В. Лавров, коммент. под ред. А. В. Лаврова. – Л.: Наука, 1988. С. 771.

4. *Мец А. Г.* Комментарий к разделу «Рецензии на ‘Камень’» // *Мандельштам О.* Камень / Изд. подготовили Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. – Л.: Наука, 1990. С. 352 – Значительно позднее гершенкройновская рецензия была кратко отражена в наборе других откликов на выход мандельштамовского сборника; см.: Летопись литературных событий в России конца XIX – начала XX вв. (1891 – октябрь 1917). Вып. 3: 1911 – октябрь 1917 / Ред.-сост. М. Г. Петрова под общ. ред. А. В. Лаврова. – М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 448. Небольшой фрагмент сравнительно недавно воспроизведен в антологии: Акмеизм в критике: 1913–1917 / Сост. О. А. Лекманов, А. А. Чабан. – СПб.: Изд-во Тимофея Маркова, 2014. Сс. 432-433. Публикаций, непосредственно посвященных личности и биографии Гершенкройна, обнаружить не удалось.

5. Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА). Ф. 14. Оп. 3. Дело 55160. – Здесь и далее все документы цитируются с указанием в тексте их порядкового номера (листа) по копиям из этого личного дела, любезно предоставленного автору Мариной Сальман.

6. Общую характеристику отделения см.: *Шишмарев В. Ф., Жирмунский В. М.* Кафедры романо-германской филологии и западноевропейских литератур Ленинградского государственного университета // «Ученые записки ЛГУ». 1940. № 58. – Об исключительной роли Веселовского в становлении и развитии филологической науки XX века см.: *Шишмарев В. Ф.* Александр Веселовский и русская литература. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1946; *Мелетинский Е. М.* Историческая поэтика А. Н. Веселовского и проблемы происхождения повествовательной литературы // Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения. – М.: Наука, 1986; Наследие Александра Веселовского: Исследования и материалы. – СПб.: Наука, 1992; *Горский И. К.* Из истории науки о литературе. – М.: Институт славяноведения РАН, 2006. Сс. 80-104 и др. В данном контексте симптоматичным кажется то обстоятельство, что, очевидно, первым, кто описал историческую поэтику Веселовского и попытался определить ее место в современной науке в статусе новой версии теории литературы, стал пребывавший в университете в середине 1910-х годов Виктор Жирмунский; см.: *Жирмунский В.* Историческая поэтика А. Н. Веселовского // *Веселовский А. Н.* Историческая поэтика. – Л.: Художественная литература, 1940; позднее текст предисловия был переиздан в: *Жирмунский В. М.* Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. – Л.: Наука, 1979. Сс. 84-136 (глава «А. Н. Веселовский и сравнительное литературоведение»). Особую ценность в этом ряду характеристик приобретает уже совершенно независимая от любых идеологических и «внутрицеховых» координат оценка, принадлежащая Роману Якобсону сер. 1930-х годов – периоду его преподавания в Чехословакии: он определял Веселовского как «величайшего русского историка литературы прошлого века, ученого мирового значения и с мировым именем, первопроходца сравнительной литературной истории в России» (*Якобсон Р. О.* Формальная школа и современное русское литературоведение / Ред.-сост. Т. Гланц, перев. с чеш. Е. Бобраковой-Тимошкиной. – М.: Языки славянских культур, 2011. С. 40); там же (сс. 42-51) содержится и краткий итоговый очерк. – В связи с личностью Веселовского и его влиянием на научную и культурную мысль начала 1910-х годов внимания в данном «акмеисти-

ческом» контексте заслуживает факт близкого общения с ним Анненского; см.: *Лавров А. В.* И. Ф. Анненский в переписке с Александром Веселовским // «Русская литература». 1978. № 1; *Пономарева Г. М.* И. Ф. Анненский и А. Н. Веселовский: Трансформация методологических принципов акад. Веселовского в «Книгах отражений» Анненского // «Ученые записки Тартуского государственного университета». Вып. 683: «Труды по русской и славянской филологии: Литература и публицистика: Проблемы взаимодействия». 1986.

7. *Шкловский В. Б.* Жили-были: Воспоминания. Мемуарные записи. Повести о времени: с конца XIX в. по 1964 г. – М.: Советский писатель, 1966. Сс. 91–92; далее (сс. 94-101) отдельная глава целиком посвящена личности И. А. Бодуэна де Куртенэ. Место факультета в интеллектуальном пространстве России конца XIX – начала XX вв. переоценить невозможно; см., напр.: *Ольховский Е.* Петербургские истории: Город и интеллигенция в минувшем столетии (1810-е и 1910-е годы). – СПб.: Культ-информ-пресс, 1998. Сс. 152-184; Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета: Материалы к истории факультета / Авт.-сост. И. С. Лутовинова. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007. – О других преподавателях – Н. П. Кондакове и Д. В. Айналове – непосредственно в этой связи см.: *Шиндин С.* Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. II // «Toronto Slavic Quarterly». 2016. № 56. Сс. 12-14 (пагинация внутри публикации).

8. *Эйхенбаум Б.* Мой временник // *Эйхенбаум Б.* Мой временник. Маршрут в бессмертие. – М.: Аграф, 2001. С. 38.

9. *Сальман М. Г.* Осип Мандельштам: годы учения в Санкт-Петербургском университете (по материалам Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга) // «Russian Literature». 2010. Vol. LXVIII. № 3-4. Сс. 471-472. Ряд фактографических данных, связанных с пребыванием поэта в университете, приводится с использованием этой публикации, в которой имя Гершенкройна появляется только среди имен других студентов.

10. Первый биограф Гумилева о факте его обучения в университете даже не упоминает; см.: *Оцуп Н.* Николай Гумилев: Жизнь и творчество / Пер. с франц. Л. Аллена при участии С. Носова. – СПб.: Logos, 1995.

11. *Вейдле В.* Петербургская поэтика // *Вейдле В.* О поэтах и поэзии. – Paris: YMCA-Press, 1973. С. 102. – В этом контексте трудно сказать, сколь частые и какие именно встречи с известным поэтом подразумевает Владимир Шкловский («Книга и революция». 1922. № 7 (19)) в рецензии на сборник его стихотворений «Костер» (Пб. – Берлин, 1922): «Лет пятнадцать тому назад я видел Гумилева среди молодых романо-германистов в Петроградском университете. Тогда мы все занимались зараз несколькими языками Запада, сами писали стихи, и я впервые узнал имена Анри де Ренье, Леконта де Лиля и многих других» (цит. по: *Степанова Л. Г.* Владимир Борисович Шкловский (1889–1937). С. 535).

12. *Эйхенбаум Б.* Указ. соч. С. 40. Там же (с. 39), передавая специфику культурного ореола этого отделения, он называет четыре его главные составляющие, каждая из которых нашла более чем заметное отражение в биографии и творчестве

Мандельштама: «Я попал в атмосферу немецкого романтизма, провансальской лирики, старофранцузского эпоса, ‘Божественной комедии’ Данте».

13. Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1910 год. – СПб.: Типография Б. М. Вольфа, 1911. Сс. 301, 214.

14. *Жирмунский В.* Вопросы теории литературы: Статьи 1916–1926. – Л.: Academia, 1928. С. 8. Почти одновременно венгеровский кружок упомянул в мемуарных записях «По мостам и проспектам (Из автобиографии)» (1929) Эйхенбаум: «Центром славяно-русского отделения сделался Пушкинский просеминарий Семена Афанасьевича Венгерова. Он мелкими шажками ходил по коридору, окруженный бородой и студентами» (*Эйхенбаум Б.* Мой временник. С. 38), – причем продолжение этого фрагмента: «О нем шутили: ‘Семен просеменил в просеминарий’», – содержит вероятный «интекст» из «Шума времени» Мандельштама: «Семен Афанасьевич Венгеров, родственник мой по матери, <...> ничего не понимал в русской литературе и по службе занимался Пушкиным, но ‘это’ он понимал. У него ‘это’ называлось: о героическом характере русской литературы» (2, 358); там же автор упоминает и «дремучую муравьиную бороду» героя. Самое подробное описание принадлежит Шкловскому: «Помню чернобородого Семена Афанасьевича Венгерова, эмпирика и библиографа, все записывающего на карточки, всегда начинающего новые издания, которым не суждено было кончиться. – Семен Афанасьевич Венгеров трудолюбиво собирал у всех писателей и даже студентов анкеты о биографиях или хотя бы о намерениях в жизни. Так он первым получил автобиографию от Горького. – Семен Афанасьевич понимал, что литература делается многими, это общий труд и неизвестно еще, кто возглавит эпоху. Поэтому надо изучать и еще не прославленных и даже забытых» (*Шкловский Б.* Жили-были: Воспоминания. Мемуарные записи. Повести о времени: с конца XIX в. по 1964. С. 92). – Об особом месте фигуры и личности Венгерова у младших представителей культуры 1910-х годов ср.: *Шиндин С.* Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. I // «Toronto Slavic Quarterly». 2016. №. 55. Сс. 9-10, прим. 12. – И уже более чем показательным представляется появление имени ученого в близком контексте при гневной отповеди (данной в самодеятельном издании студентов, очевидно, Московского университета) критическому отзыву на сборник стихов футуристов «Лирень» (*Бухов Арк.* Язык без костей // «Журнал журналов». 1914. № 30): «С беспомощных, подчас смешных исканий начали и наши символисты – Брюсов, Белый, Блок, чьи дерзновенные устремления к новой красоте влили свежую струю в литературу, привели к переоценке ценностей, Да, они вернулись к ‘подлинной’ литературе, но даже столп ортодоксальной критики С. А. Вен-геров не смеет назвать их ‘побежденными’» (*Андин В.* «Язык без костей» // Студия: Поэзия. Проза. Критика. Студенческий сборник. – М.: Тип. «Ломоносов», 1914. С. 15).

15. *Розенталь Л.* Мандельштам // «Сохрани мою речь...»: Мандельштамовский сборник. – М.: Обновление, 1991. С. 30.

16. *Мочульский К. В.* Письма к В. М. Жирмунскому / Вступ. статья, публ. и комм. А. В. Лаврова // НЛО. 1999. № 35. Сс. 153, 146.

17. См.: *Азадовский К. М., Тименчик Р. Д.* К биографии Н. С. Гумилева. С. 183.

18. См.: *Василенко С. В., Фрейдин Ю. Л.* Дополнения // *Мандельштам О.* Камень. Указ. издание. С. 332.

19. *Баскер М., Вахитова Т. М., Зобнин Ю. В. и др.* Примечания // *Гумилев Н. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 7: Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии / Подгот. текстов и прим. М. Баскера, Т. М. Вахитовой, Ю. В. Зобнина и др. – М.: Воскресенье, 2006. С. 397.

20. *Баскер М., Вахитова Т. М., Зобнин Ю. В. и др.* Примечания. С. 458; о самом этом факте см.: *Тименчик Р. Д.* Комментарии // *Гумилев Н. С.* Письма о русской поэзии / Сост. Г. М. Фридлендер при участии Р. Д. Тименчика, подгот. текста и коммент. Р. Д. Тименчика. – М.: Современник, 1990. Сс. 286-287.

21. Шишмарев Владимир Федорович (15.3.1875– 21.11.1957) – филолог, академик АН СССР (1946). Изучал поэзию позднего Средневековья во Франции, французское и итальянское Возрождение; в круг его активных научных интересов входила лингвистическая проблематика, занимался палеографией и текстологией, теорией и историей музыки; создатель отечественной школы романистики; см.: *Жирмунский В. М.* Академик Владимир Федорович Шишмарев // «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка». 1958. Т. 17. № 1. Ближайший ученик Веселовского, сам он высказывался: «...мы оперируем зачастую готовыми мыслями и положениями, иногда даже совершенно не отдавая себе отчета или забывая о том, что они ведут к Веселовскому» (*Шишмарев В. Ф.* Александр Николаевич Веселовский // «Известия Академии наук СССР. Отделение общественных наук». 1938. № 4. С. 39). Окончил в 1897 году историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета; с 1899 года читал лекции на Петербургских педагогических курсах. В начале 1910-х годов – магистр истории западноевропейских литератур приват-доцент по кафедре западноевропейских литератур романо-германского отделения историко-филологического факультета СПб. ун-та, активный участник Неофилологического общества; с 1918 года – профессор Петроградского (затем Ленинградского) университета. Научные интересы и методология Шишмарева сформировались под влиянием русской школы сравнительного литературоведения и западноевропейской лингвистики второй половины XIX в. с учетом практических целей и задач преподавания иностранных языков и литератур в высшей школе (см.: *Шишмарев В. Ф.* Избранные статьи. Т. 1: Французская литература. – М. – Л.: Наука, 1965), один из пяти «учеников Веселовского» (*Якобсон Р. О.* Формальная школа и современное русское литературоведение. С. 52). См.: Владимир Федорович Шишмарев / Вст. ст. Е. А. Реферовской, Г. В. Степанова, сост. Е. В. Заикиной. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957; самая детальная биография ученого и справочный материал размещены на официальном сайте Санкт-Петербургского университета в разделе «Биографика СПбГУ»: http://bio-slovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/details/1/1281-shishmarev.html.

22. См.: *Сальман М. Г.* Осип Мандельштам: годы учения в Санкт-Петербургском университете. Сс. 463, 469, 486.

23. См.: *Шиндин С. Г.* Категория Средневековья в художественном мировоззрении Мандельштама: общий взгляд // Миры О. Мандельштама: IV Мандельштамовские чте-

ния: Материалы международного научного семинара, 31 мая – 4 июня 2009 г. Пермь – Чердынь. – Пермь; Изд-во Пермского ГУ, 2009.

24. *Мандельштам Н.* Вторая книга // *Мандельштам Н.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2: «Вторая книга» и др. произведения (1967–1979) / Сост. С. В. Василенко, П. М. Нерлер, Ю. Л. Фрейдин, подгот. текста С. В. Василенко при участии П. М. Нерлера и Ю. Л. Фрейдина, комм. С. В. Василенко и П. М. Нерлера. – ГОНЗО: Екатеринбург, 2014. С. 85. Вдова поэта близко общалась с Шишмаревым в перв. пол. 1950-х годов, работая над диссертацией; см.: *Нерлер П., Зубарев Д., Найдич Л.* Вокруг кандидатской диссертации Н. Я. Мандельштам // «Новое литературное обозрение». 2014. № 4 (128). О поддержке, оказанной ей в это непростое время Шишмаревым и, особенно, Жирмунским, она оставила многочисленные свидетельства, в которых исключительно тепло отозвалась о своих старших коллегах; см., напр.: *Богатырева С.* Шесть писем из Ульяновска: письма Н. Я. Мандельштам С. И. Бернштейну (1950–1952) // «Посмотрим, кто кого переупрямит...»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах. – М.: Издательство АСТ, 2015. Сс. 108-109. Взаимоотношения Мандельштама и Жирмунского рассмотрены только в одной работе: *Лекманов О. А.* Жирмунский В. М. // Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта (в печати). В одной из последних публикаций, формально относящихся к данной теме (*Вайман Н.* К вопросу о «Грифельной оде». Мандельштам и Жирмунский // «Russian Literature». 2012. Vol. LXXII. 2012. № 3/4), имя ученого присутствует только в заглавии и кратком вступлении к статье, целиком посвященной рассмотрению мандельштамовских параллелей с «философией жизни» Анри Бергсона. Подобное обстоятельство выглядит тем более странно, что в «бергсонианский диалог» Мандельштам мог в скрытой форме вступить с другим формалистом – Эйхенбаумом, который на выход книги Бергсона «Восприятие изменчивости: Лекции, читанные в Оксфордском университете 26 и 27 мая 1911 г.» (пер. с франц. В. А. Флеровой. – СПб.: Изд-во М. И. Семенова, 1913) дважды отозвался обстоятельной рецензией, опубликованной в расширенном («Запросы жизни: Еженедельный вестник культуры и политики». 1912. № 52. 30 дек. Сс. 3013-3015) и сокращенном вариантах (Бергсон о сущности своей философии. Разрушение старого – Построение нового – Философские перспективы // «Бюллетени литературы и жизни». 1913. [М.: Типография В. М. Саблина]. № 11. Сс. 494-495). Тогда же он стал автором очередного традиционного для него в то время обзора текущей французской прозы, тематика которой ясно выражена в заглавии – «Литература о Бергсоне» («Русская молва». 1913. 28 февр.); см.: *Орлова Е. И.* Б. М. Эйхенбаум как литературный критик (три заметки к теме) // Русское литературоведение XX века: имена, школы, концепции: Материалы Международной научной конференции (Москва, 26–27 ноября 2010 г.). – М.– СПб.: Нестор-История, 2012. Сс. 63-66. Данный факт особенно примечателен тем, что, по мнению некоторых исследователей, «оригинальная философская теория времени, которая определяет многие фундаментальные категории формализма, <...> вырастает на идеях А. Бергсона и С. Л. Франка» (*Капинос Е. В.* Сюжет, история и время: от С. Л. Франка к Б. М. Эйхенбауму // «Сюжетология и сюжетография». 2013. № 1. С. 7), тогда как близость философских

взглядов двух этих ученых окажется актуальной и позднее, в период издания в Париже журнала «Новый Град», с которым, в частности, будут близко связаны и Мочульский с Гершенкройном. – К истории взаимоотношений Эйхенбаума и Мандельштама см.: *Казмирчук О. Ю., Лекманов О. А.* Эйхенбаум Б. М. // Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта (в печати); там же в статье автора «Бергсон А.»; также см.: *Нэтеркотт Ф.* Философская встреча: Бергсон в России (1907–1917) / Пер. И. Блауберг. – М.: Регнум , 2008.

25. *Вейдле В.* О последних стихах Мандельштама // *Вейдле В.* О поэтах и поэзии. – Paris: YMCA-Press, 1973. С. 18. – Второе стихотворение из этого «микроцикла» – «Айя-София» – мемуарист там же непосредственно связывает с прослушанными Мандельштамом лекциями профессора Айналова; несколько подробнее об этом см.: *Шиндин С.* Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. II. Сс. 13-15; там же (прим. 20) содержится краткий комментарий об университетском Музее древностей.

26. *Розенталь Л.* Мандельштам. Сс. 29-30; полный текст опубликован в издании: *Розенталь Л. В.* Непримечательные достоверности: Свидетельские показания любителя стихов начала XX века / Публ. и коммент. Б. А. Рогинского. – М.: НЛО, 2010.

27. *Вейдле В.* О последних стихах Мандельштама. С. 18; пунктуация исправлена. О роли и функциях «Гиперборея» в становлении и истории «Цеха поэтов и акмеизма» см.: *Чабан А. А.* Журнал «Гиперборей»: своеобразие и роль в системе акмеизма / Автореферат дисс. ... канд. филологич. наук. – М.: Московский государственный университет, 2011; там же – библиография работ автора по данной теме.

28. *Яворская Е. Л.* Коммент. к публ.: Биск А. Одесская Литературка (Одесское Литературно-Артистическое Общество) // «Дом князя Гагарина...»: Сборник статей и публикаций. Вып. 1. – Одесса: Одесский государственный литературный музей, 1997. С. 136.

29. *Азадовский К. М.* Александр Биск – «наместник» Рильке в России // *Азадовский К. М.* Рильке и Россия: Статьи и публикации. – М.: НЛО, 2012. С. 379.

30. *Яворская Е. Л.* Коммент. к публ.: Биск А. Одесская Литературка. С. 137. – Можно предположить, что именно это неформальное художественное сообщество стало прообразом для подобных объединений на Украине (с двумя из которых позднее соприкасался Мандельштам) – известного киевского литературного кафе «ХЛАМ» («Художники, литераторы, артисты и музыканты»), пришедшего на смену Киевскому литературно-артистическому клубу, и Феодосийского литературно-артистического кружка (ФЛАК). О первом из них см.: *Петровский М. С.* Городу и миру: Киевские очерки / Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев: Издательский дом А+С; ДУХ і ЛІТЕРА, 2008. Сс. 245–281; о ФЛАКе, располагавшемся в так называемом «кафе поэтов» и просуществовавшем с осени 1919 до осени 1920 года, см.: *Купченко В. П.* Феодосийский литературно-артистический кружок // «Вопросы литературы». 1976. № 4. Такие сообщества явно воспринимались Мандельштамом как продолжение традиции, сформированной первым в России артистическим кабаре «Бродячая собака», о чем он прямо говорит в очерке «Гротеск» (1922) в связи с похожими артистически-художественными образо-

ваниями Ростова. О возможном метафорически переосмысленном отражении этого эпизода мандельштамовской биографии см.: *Шиндин С. Г.* Стихотворение Мандельштама «Сегодня ночью, не солгу...»: опыт «культурологической» интерпретации // Натура и культура: Славянский мир. – М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1997. Сс. 155-158, 163-164.

31. *М. Г.* Письмо из Одессы. С. 70, стб. 1. Для рассматриваемой темы важно то сопутствующее обстоятельство, что в этом же номере были опубликованы оба акмеистических «манифеста» – «Заветы символизма и акмеизм» Гумилева и «Новые течения в современной поэзии» Городецкого, что не могло оставить его незамеченным самой широкой читательской аудиторией.

32. Видимо, этот факт стал причиной некоторого историко-литературного недоразумения. В комментариях к неоднократно цитируемым далее воспоминаниям одного из активных участников ЛАКа говорится: «В 1912 году журнал ‘Аполлон’ сообщает: ‘после семилетнего перерыва вновь разрешен и открыт литературно-артистический клуб <...> пока без права сопровождать рефераты публичными прениями’ («Аполлон». 1912. № 13. Письмо из Одессы)» (*Яворская Е. Л.* Комм. к публ.: Биск А. Одесская Литературка. С. 135). Это утверждение сразу вызывает сомнение тем обстоятельством, что названного номера в действительности не существовало: «Кроме первого периода (1909–1910 гг.) ‘Аполлон’ регулярно выходил по десяти выпусков в год (делая перерыв на два первых летних месяца)» (*Дмитриев П. В.* «Аполлон» (1909–1918): Материалы из редакционного портфеля. – СПб.: Балтийские сезоны, 2009. С. 105). Реальная публикация процитированной комментатором фразы не содержит; не дал никаких результатов и поиск в полных подборках журналов за 1912–1913 годы.

33. Павел Дмитриев любезно обратил внимание автора на тот факт, что Камышникову принадлежит важное в этом контексте мемуарное свидетельство об обиде, нанесенной после выхода первого номера «Аполлона» Сергею Маковскому и всей редакции Акимом Волынским, охарактеризовавшим новый журнал откровенно оскорбительно: «’Аполлон’ – не литература, а солома» (*Камышников Л.* О забытом критике: А. Л. Волынский // «Новое русское слово». 1949. 11 дек. С. 8).

34. *Щурова Т.* Вступит. заметка к публ.: «Восторги смеха и тоски» // Дерибасовская – Ришельевская. Вып. 26. – Одесса: ВМВ, 2006. С. 270. – К сожалению, автору пока не удалось найти материалы об этом, безусловно, интересном участнике литературно-художественной жизни Одессы 1910-х годов. По самым разнообразным лаконичным и фрагментарным источникам известно, что Камышников жил в Одессе с 1881 по 1909 и с 1911 по 1920, эмигрировав в Константинополь, работал в газете «Вечерняя почта», а в 1923 переехал в США (Нью-Йорк), где пытался издавать иллюстрированный ежемесячник «Зеленый журнал» (1924. № 1–2); публиковался в «Новом Журнале» (1942. № 3) и в «Новоселье» (1943. № 2), а также являлся постоянным автором газеты «Новое русское слово»; там, в частности, в 1952 году были опубликованы поздравительные заметки, посвященные пятидесятилетию его литературной деятельности (21 и 28 мая).

35. *Гумилев Н. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 7: Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии. С. 6.

36. Об этом периоде см.: *Биск А.* Русский Париж. 1906–1908 гг. // «Современник». 1963. № 7; небольшой фрагмент мемуаров о Гумилеве опубликован в: Николай Гумилев в воспоминаниях современников / Сост. В. Крейд. – М.: Вся Москва, 1990. Более полное отражение биографии Биска содержится в публикации: *Яворская А.* Рассыпанное ожерелье жизни // Мигдаль Times. 2002. № 18.

37. *Яворская Е. Л.* Одесский переводчик Р. М. Рильке. С. 101.

38. *Биск А.* Одесская Литературка. С. 114; первую публикацию очерка см. в: *Биск А.* Одесская Литературка (Одесское Литературно-Артистическое Общество). Отрывки из доклада // «Новое русское слово». 1947. № 12783. 27 апр.; последующая републикация с подробными комментариями: Диаспора: Новые материалы. Вып. I. – Париж: Athenaeu – СПб.: Феникс, 2001. Там же цитируется это стихотворение, вызывающее неизбежные ассоциации с шуточной поэмой «Крс», где М. представлен в образе испанца.

39. См.: Общество независимых художников в Одессе: Биобиблиографический справочник / Сост., вступ. ст. О. М. Барковской. – Одесса: Одесская национальная научная библиотека им. М. Горького, 2012. С. 118.

40. *М. Г.* Письмо из Одессы // «Аполлон». 1913. № 1. С. 68, стб. 1. – Упоминаемая Гершенфельдом ситуация разрешилась благополучно; см. об этом: *Гершенфельд Мих.* Театры и художественная жизнь // «Аполлон». № 3. С. 59, стб. 2.

41. *Гершенфельд Мих.* Театры и художественная жизнь. См. № 40: // «Аполлон». № 3. С. 60, стб. 2.

42. *М. Г.* Письмо из Одессы // «Аполлон». 1915. № 1. С. 72, стб. 1-2.

43. *Geffroy G.* Реймсский собор // «Аполлон». 1915. № 4 / 5. С. 47.

44. См.: *Хелльман Б.* Реймсский собор разрушен! Об одном мотиве в русской литературе времен Первой мировой войны» «Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia». X: «Век нынешний и век минувший»: Культурная рефлексия прошедшей эпохи: В 2 ч. Ч. 2. – Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus. С. 340; то же – в: *Hellman B.* Встречи и столкновения: Статьи по русской литературе. – Helsinki: Helsinki University Press, 2009. С. 42. Несколько подробнее об этом см. в заметке автора: «Чужая речь мне будет оболочкой...» [рец.:] Корни, побеги, плоды... Мандельштамовские дни в Варшаве: В 2 ч. / Сост. П. М. Нерлер, А. Поморский, И. З. Сурат. – М.: РГГУ, 2015 // «Slavica Revelansia».2015. II. Сс. 178-179.

45. Современный комментатор так характеризует Гершенкройна на этом этапе его биографии: «...литературовед. С 1914 г. жил в Одессе. Дружил с Э. Багрицким и А. Фиолетовым. Часто выступал на литературных вечерах. Эмигрировал, жил во Франции, дружил с Н. Бердяевым» (*Яворская Е. Л.* Указ. комментарий. С. 139). Ср.: «Литературный критик. Жил в Одессе с 1914, был близок кружку альманаха ‘Серебряные трубы’. Эмигрировал во Францию. В воспоминаниях о русском Париже Биск характеризует его как ‘злого и талантливого критика’» (*Толстая Е. Д.* Деготь или мед: Алексей Толстой в 1917–1919 гг. (Неизвестные тексты и материалы) // «Дом князя Гагарина»: Сборник научных статей и публикаций. Вып. 3. Ч. II. – Одесса: ЗАО «ПЛАСКЕ», 2004. С. 117); *Азадовский К. М.* Александр Биск – «наместник» Рильке в России. С. 395. Устойчивое именование Гершенкройна современными исследователя-

ми «литературным критиком» и до эмиграции, и в парижский период, видимо, во многом носит автоматический характер «ретрансляции» прежней репутации – ни одного упоминания о его каких-либо литературно-критических публикациях, кроме одесской рецензии на второе издание мандельштамовского «Камня», не удалось встретить ни в справочно-библиографических, ни в мемуарных изданиях.

46. *М. Г.* Письмо из Одессы // «Аполлон». 1915. № 6 / 7. С. 104, стб. 1–2. – При знании интереса Гершенкройна к художественной практике поэтов-акмеистов и явной «общеупотребительной» стереотипичности названия его лекции – «О современных течениях русской поэзии», тем не менее трудно удержаться от искушения увидеть здесь осознанную или бессознательную «инверсию» заглавия программной акмеистической статьи Городецкого «Новые течения в современной поэзии», опубликованной в том же номере «Аполлона», что и гершенфельдовское сообщение о начале деятельности одесского ЛАКа.

47. *<Аноним>*. «Четверг» в Литературно-артистическом клубе [«Одесские новости». 1915. № 9688. 25 апр. С. 3] // Акмеизм в критике: 1913–1917 / Сост. О. А. Лекманов, А. А. Чабан. – СПб.: Издательство Тимофея Маркова, 2014. Сс. 409-410. Далее цитаты из конспектированного изложения выступления Гершенкройна даны в тексте с указанием страницы. – Небольшие фрагменты этой публикации были воспроизведены в: *Мец А. Г.* Комментарий к разделу «Рецензии на ‘Камень’». С. 352. – Содержательная широта и логическая ясность пересказа гершенкройновского доклада позволяют с высокой долей вероятности предполагать знакомство хроникера с письменным вариантом. Эти же признаки в сочетании со стилистической «чистотой» газетного текста позволяют рассматривать в качестве наиболее возможного автора именно Гершенфельда, отличавшегося исключительной корреспондентской активностью как раз в подготовке материалов о новостях культуры. Так, например, только о театральной жизни Одессы с весны 1912 по осень 1915 года под полным именем и под псевдонимом он опубликовал в «Аполлоне» 12 сообщений – ни один из провинциальных городов не мог сравниться с такой частотой упоминаний; см. именной указатель в: *Дмитриев П. В.* «Аполлон» (1909–1918): Материалы из редакционного портфеля. С. 162. Еще активнее литературно-критическая и репортажная деятельность Гершенфельда протекала в одесской печати – см.: Общество независимых художников в Одессе: Биобиблиографический справочник. Сс. 120, 203.

48. См.: *Нерлер П. М.* Даты жизни и творчества [О. Мандельштама] // *Мандельштам О.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Письма / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев, Ю. Фрейдин, С. Василенко. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1997. С. 437; *Мандельштам О.* Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. Приложение: Летопись жизни и творчества. Сс. 95-100.

49. См.: *Мандельштам О.* Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. Сс. 199-255. Этот период странствий ОМ завершился посещением Киева (с. 255). В статье Б. Розенцвейга с говорящим названием «Последний из рода Пушкиных» сказано: «Муза Мандельштама уже одной ногой вступила в полосу историзма и канонизации. И от этого ей не спастись всем арсеналом своего очарования – с историей не кокетничают» («Киевский пролетарий». 1923. 7 окт.).

50. Рецензии на «Камень» // *Мандельштам О.* Камень / Указ. издание. Сс. 222-223; далее все цитаты даны в тексте с указанием страницы по этой публикации.

51. Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1913 год. – СПб.: Типография Б. М. Вольфа, 1914. С. 384.

52. Ю. Г. Оксман – К. И. Чуковский. Переписка: 1949–1969 / Комм. А. Л. Гришунина. – М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 112; вероятно, речь в письме идет и о собраниях романо-германского кружка, где также могли звучать стихи студентов-поэтов. Здесь же см. цитировавшиеся ранее мемуары Розенталя и их подробное описательно-фактографическое продолжение.

53. *Розенталь Л.* Мандельштам. С. 30. Ср. многочисленные и разнообразные, иногда противоречивые вплоть до взаимоисключения, свидетельства современников о глубоко индивидуальной мандельштамовской манере чтения собственных стихов, собранные в: *Шиндин С. Г.* Категория ритма в художественном мировоззрении Мандельштама // «Сохрани мою речь...». Вып. 5. Ч. 2. – М.: РГГУ, 2011. Сс. 296-299.

54. Нельзя сказать, что современное мандельштамоведение совсем упустило эту заметку из виду (ср. упоминавшуюся выше ее высокую оценку в комментариях Т. Л. Никольской и Г. А. Левинтона), но, как правило, она лишь называется в одном «типологическом» ряду с другими рецензиями на второе издание мандельштамовского «Камня»; например, Городецкого; см.: *Мусатов В. В.* Лирика Осипа Мандельштама. – Киев: Эльга-Н; Ника-Центр, 2000. С. 100; также см.: Д. И. Черашняя «Осип Мандельштам. ‘Silentium’: возврат или становление?» («Филолог». 2009. № 8; см.: http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_8_8), где, наряду с Гумилевым, Ходасевичем, Волошиным и др., Г. назван среди тех рецензентов «Камня», кто обратил внимание на стихотворение «Silentium» («Она еще не родилась...», 1910); также см.: *Черашняя Д. И.* Лирика Осипа Мандельштама: проблема чтения и прочтения (Ижевск: Издательство Удмуртского государственного университета, 2011. С. 5). Несколько точнее было бы сказать, что Гершенкройн процитировал этот текст, говоря о начальном этапе поэтического пути Мандельштама, отразившегося в рецензируемом сборнике: «Первая его струя – еще символическая письменность; нежнейшие, иногда неуловимые в их воздушной прелести стихи <...>. – Стих кажется здесь нематериальным, до того легка эластичная ткань вещества и звука. – Тяготея тогда еще исключительно к метафоре, он ищет вместе с тем для слова оболочки, почти неосязаемой, и неизбежно приходит к признанию: ‘да обретут мои уста первоначальную немоту’, к императивной форме утверждения: ‘останься пеной, Афродита, и слово в музыку вернись’» (223). – Собственно литературоведческий аспект гершенкройновской заметки отмечен, кажется, однажды и только в связи с сопоставлением мандельштамовской поэзии и творчества Малларме; см.: *Линкова Я. С.*: Малларме и Мандельштам // «Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета». Серия 3: «Филология». 2006. № 2. С. 248; Малларме С. // О. Э. Мандельштам, его предшественники и современники: Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. – М.: РГГУ, 2007. С. 94.

55. *Лекманов О.* О трех акмеистических книгах: М. Зенкевич, В. Нарбут, О. Мандельштам. – М.: Intrada, 2006. С. 82; ср. о более широкой перспективе мандельштамовско-

го мира: *Топоров В. Н.* О «психофизиологическом» компоненте поэзии Мандельштама // *Топоров В. Н.* Миф. Ритуал. Символ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: Культура, 1995; *Панова Л. Г.* «Мир», «пространство», «время» в поэзии О. Мандельштама. – М.: Языки славянской культуры, 2003. Сс. 197-331; *Шиндин С. Г.* Пространство // О. Э. Мандельштам, его предшественники и современники: Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. – М.: РГГУ, 2007 и др.

56. *Гаспаров М. Л.* О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. – М.; РГГУ, 1996. С. 93; ср.: «Из привычной для нас триады – ‘мир’, ‘пространство’, ‘время’ – Мандельштам извлекает время. И тогда мир и пространство так и остаются у Мандельштама началом начал и основой основ. Время же вытесняется с главенствующих позиций вневременностью (и вечностью у Мандельштама-символиста)» (*Панова Л. Г.* «Мир», «пространство», «время» в поэзии О. Мандельштама. С. 334).

57. *Мандельштам Н. Я.* Моцарт и Сальери // *Мандельштам Н. Я.* Третья книга / Изд. подгот. Ю. Л. Фрейдин. – М.: Аграф, 2006. С. 203. – Ср. иную точку зрения, противоположную двум предложенным: «у Мандельштама время и пространство взаимообратимы» (*Петрова Н.* Литература в неантропоцентрическую эпоху. Опыт О. Мандельштама. – Пермь: Пермский ГПУ, 2001. С. 107).

58. Об идеологическом статусе и семантических функциях образа города в мандельштамовском творчестве см.: *Шиндин С. Г.* Город в художественном мире Мандель-штама: пространственный аспект // «Russian Literature». Vol. XXX. 1991. № 4; *Левинтон Г. А.* Город как подтекст (Из «реального» комментария к Мандельштаму) // ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ: К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. – М.: Индрик, 1998; *Мусатов В. В.* Лирика О. Мандельштама. Сс. 108-129; *Сурат И.* Поэт и город: Петербургский сюжет Мандельштама // «Звезда». 2008. № 2 (расширенный вариант: *Сурат И. З.* Мандельштам и Пушкин. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. Сс. 47-89); *Видгоф Л.* «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город. – М.: Астрель, 2012; *Leiter S.* Mandel’shtam’s Moscow: Eclipse of the Holy City // «Russian Literature». Vol. VIII. 1980. № 2 и мн. др.

59. Литература об архитектурном топосе в мандельштамовском мире едва ли не безгранична; см., напр.: *Гаспаров М. Л.* Поэт и общество: Две готики и два Египта в поэзии О. Мандельштама // «Сохрани мою речь». Вып. 3. Ч. 1: Публикации. Статьи. – М.: РГГУ, 2000; *Kantor-Kazovsky L.* Архитектурная метафора у Мандельштама // «Cabiers du Monde Russe». 2001. № 42/1. Janvier-mars; *Golub X.* От камня к готическому собору. Предвестники «архитектурных» образов в раннем творчестве Осипа Мандельштама // Slavica. 2003. № 32; *Гаспаров М. Л., Нерлер П. М.* «Айя-София»; «Notre-Dame» // О. Э. Мандельштам, его предшественники и современники: Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. – М.: РГГУ, 2007; *Пак Сун Юн.* Органическая поэтика Осипа Мандельштама. – СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2008. Сс. 104-123 сл.; *Доценко С. Н.* О генезисе архитектурного стихотворения О. Мандельштама «Notre Dame» // Donum homini universalis: Сборник статей в честь 70-летия Н. В. Котрелева. – М.: ОГИ, 2011; *Shlott W.* Zur Funktion antiker Gottermythen in der Lyrik Osip Mandel’stam’s. – Fr/M.; Bern: Peter D. Lang, 1981. Ss. 65-83; *Steiner P.* Poem as Manifesto: Mandel’stam’s «Notre-Dame» // «Russian Literature». 1984. Vol. XV. № 1.

60. Все три категории художественного мира О. М. – пространство, город, архитектура – и образ Рима, выделенные в рецензии в качестве основополагающих, ранее как явные доминанты упоминались Гумилевым – в рецензиях на первое издание «Камня» («Аполлон». 1914. № 1): «...любовь ко всему живому и прочному приводит О. Мандель-штама к архитектуре. Здания он любит так же, как другие поэты любят горы или море. Он подробно описывает их, находит параллели между ними и собой, на основании их линий строит мировые теории. Мне кажется, это самый удачный подход к модной теперь проблеме урбанизма», – и на второе («Аполлон». 1916. № 1), вышедшей до появления публикации Гершенкройна: «Силою вещей, как горожанин, он (Мандельштам. – *С. Ш.*) стал поэтом современного города <...>. О. Мандельштам пришел к кумиру, – его, полюбившего реальность, <...> пленила идея Вечного Города, цезарский и папский Рим» (*Гумилев Н. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 7: Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии. Сс. 165, 198-199).

61. *Петрова Н.* Литература в неантропоцентрическую эпоху. Опыт О. Мандельштама. С. 107; см. также: *Куликова Е. Ю.* Пространство и его динамический аспект в лирике акмеистов. – Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2011. Сс. 226-305; там же – о данной смысловой модели у Гумилева, Ахматовой и Зенкевича, а также у Бунина и Ходасевича. Как случай детального анализа одной из реализаций мотива путешествия в мандельштамовском мире см.: *Минц Б. А.* Об «асиятской козявке», «предустановленной гармонии» и «русском бунте»: Мандельштам и Паллас // «Сохрани мою речь». Вып. 6: Мандельштамовский альманах: В 2 ч. Ч. 1 (в печати).

62. *Мандельштам О.* Слово и культура: Статьи / Сост. и примеч. П. Нерлера. – М.: Советский писатель, 1987. Сс. 267-268. – Исключительную актуальность для Мандельштама этой идеи, очевидно, ощущали и другие современники, близко с ним общавшиеся, – см. запись Каблукова того же 4 октября (имплицитно содержащую и оценку ритмической организации текста, о чем в другой связи напишет Гершенкройн): «В изящном, стилистически изощренном и вполне безукоризненном изложении с совершенной отчетливостью и прекрасной размеренной краткостью рисуется образ первого совершенно свободного Русского» (О. Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С. П. Каблукова. С. 251).

63. И здесь снова можно говорить о том, что автор выделяет одно из важнейших структурно-семантических начал художественного мира Мандельштама, распространяющееся, в частности, на «стиховедческую» (метрическую), экзистенциальную и культурологическую сферы; см.: *Шиндин С. Г.* Категория ритма в художественном мировоззрении Мандельштама // «Сохрани мою речь». Вып. 5. Ч. 2. – М.: РГГУ, 2011.

64. *Лекманов О.* Акмеизм в зеркале критики // Акмеизм в критике: 1913–1917 / Сост. О. А. Лекманова и А. А. Чабан; вступ. ст., примеч. О. А. Лекманова. – СПб.: Издательство Тимофея Маркова, 2014. С. 22.

Саратов

Елена Дубровина

«Чужие звезды»

Русские поэты в Абиссинии

Из всех стран черной Африки Абиссиния больше всего привлекала к себе внимание России. В жилах Пушкина текла абиссинская кровь, кровь его прадеда, знатного и влиятельного князя Ибрагима Ганнибала. Теперь в Эфиопии (так стала называться Абиссиния) считают Пушкина «самым знаменитым черным поэтом в истории страны» и «национальной гордостью Эфиопии». В ноябре 2002 года в Аддис-Абебе, столице страны, был открыт памятник русскому поэту.

Абиссиния магически притягивала к себе путешественников, исследователей, историков и... поэтов. В 1936 году в Москве вышла книга известного востоковеда Б. А. Тураева[1] «Абиссинские хроники XIV–XVI вв.»[2] Заслугой Тураева было то, что он обратил свое внимание на темный и мало исследованный период абиссинского Средневековья, так называемое «феодальное» время.

Почему важно остановиться в этой статье на феодальном времени в Абиссинии? В 1270 году в стране воцарилась Соломонова династия. Именно эта династия и ввела в Абиссинии христианство. Хотя надо сказать, что этот факт не помешал процветанию в стране многоженства, «во всяком случае, в царской семье и других знатных родах». «Амда Сион (сын правителя) даже превзошел в этом смысле традицию, женившись на двух собственных сестрах и на наложнице своего отца. Из-за этого у монарха даже возник конфликт с духовенством», – рассказывает Юрий Мандельштам в статье «Абиссинские хроники XIV–XVI вв.»[3] При Соломоновой династии в Абиссинии стали развиваться духовная литература и искусство. «Абиссинские хроники» – это не только летописи, но, одновременно, и эпические поэмы, написанные прозою, часто напоминающие «Слово о полку Игореве». «Христианское государство, населенное неграми, сохранившее феодальный строй, – есть чем пленить воображение, даже пресыщенное странствиями и разочарованиями. Ходили слухи, что абиссинские женщины красивейшие в мире»[4].

В 1898 году русские исследователи Африки отмечали необычное доброжелательное отношение со стороны абиссинцев. Возможно, что

близость православного вероисповедования сыграла здесь свою роль. В конце XIX века Красный Крест отправляет в Африку группу русских врачей с целью создания первого полевого госпиталя для помощи абиссинцам, сражавшимся с итальянскими завоевателями. В начале XX века известны три экспедиции в Эфиопию под руководством А. К. Булатовича, человека разносторонне одаренного. Он глубоко изучил местные обычаи, язык, религиозное и государственное устройство страны. В результате были написаны две книги о его путешествиях по Эфиопии.

Интересна история некого Е. В. Сенигова, художника, которого называли «русским Гогеном». Сенигов прибыл в страну в 1899 году в составе военной миссии, но службу оставил и, оценив красоту местных женщин, женился на эфиопке, усвоил местный язык, обычаи, нравы, приняв местный образ жизни. Он стал вести натуральное хозяйство и проповедовать толстовскую философию опрощения и поддержания жизни путем физического труда на земле. Картины Сенигова сегодня хранятся в Эрмитаже и поражают своей красочностью и экзотикой.

Другой русский офицер, Иван Ф. Бабичев, пошел по следам своего соотечественника и, околдованный красотой страны и ее обитательниц, остался там навсегда, женившись на знатной эфиопке. Он был единственным иностранцем, получившим специальное разрешение императора произвести церковный обряд венчания. В результате заключенного брака Бабичев оказался приближенным ко двору самого эфиопского монарха в качестве военного и политического советника. Его сын, Михаил Бабичев, стал первым эфиопским пилотом и национальным героем войны 1935 года, когда Эфиопия победила фашистскую Италию. Михаилу Бабичеву удалось спасти семью императора, он вывез ее во Францию, где они находились пять лет. Таким образом, присутствие русских в стране оставило свой глубокий след в жизни этого африканского государства на протяжении сотен лет.

Путешественники называли Абиссинию / Эфиопию страной «удивительной и самобытной, и очень древней». Так описал ее некий Теодор Бент (James Theodore Bent, 1852–1897) в книге «Путешествие по Абиссинии»[5], побывавший в стране в 1893 году: «Страна, лежащая между Красным морем и бассейном реки Бахр-эль-Абиад, составляет часть древнего эфиопского царства, точные границы которого неизвестны. Страну эту, названную арабами Хабеш, европейцы переделали в Абиссинию; под этим названием она и значится на географических картах. Но население не признает ни того, ни другого названия и именует себя эфиопийцами, чрезвычайно гордясь славным прошлым своей родины».

Первым европейским поэтом, посетившим Абиссинию, был известный французский поэт Артюр Рембо (Arthur Rimbaud). В 1946 году вышла книга американского романиста, автора нашумевшего романа «Тропик Рака» («Tropic of Cancer») Генри Миллера (Henry Miller) – «Время убийц» («The Time of the Assassins»[6]). Это была довольно странная биография Артюра Рембо, которая переплеталась с биографией самого Миллера. Артур Миллер писал, что Рембо ушел от литературы в жизнь, и эту жизнь Миллер назвал «актом самоотречения». Загадка жизни Рембо мучает до сих пор любителей его поэзии – фантастический взлет и успех молодого поэта, поэзию которого Поль Валери назвал «поэзией здравого смысла», а потом неожиданный и полный отказ от творчества и исчезновение где-то в дебрях Африки.

Возможно, талант к писанию и страсть к путешествиям он заимствовал у отца. Отец его служил военным в Северной Африке и перевел на французский Коран. В семью отец так никогда и не вернулся, но передал сыну свои способности и страсть к путешествиям. Артюру еще не исполнилось 16 лет, когда он убежал из дома и отправился в Париж. В 21 год, к тому времени уже известный поэт, он покидает родную землю и отправляется в путешествие по другим странам. Выбранный им путь приводит молодого поэта в странную, неизведанную африканскую страну Абиссинию. Артюр Рембо прожил в Абиссинии больше десяти лет, занимаясь торговлей оружием, кофе и другими товарами и полностью отказавшись от творчества. В возрасте 25 лет он поселяется, наконец, в городе Харар (или Харрар[7]), расположенном на юго-востоке страны, став третьим европейцем, когда-либо жившим в этом городе, и экспортирует эфиопское кофе в Европу. В Хараре, этом забытом Богом и неведомом европейцам местечке, проживало около 20 тысяч человек. Вот что пишет литературный критик Юрий Мандельштам в статье «Артур Рембо – абиссинец»: «Здесь, собственно, и начинается настоящая абиссинская авантюра Рембо, фантастические по его способности приспособления к нравам и условиям страны, и по достигнутым результатам. Он в совершенстве изучает язык, проникает в психологию населения и умудряется вызвать к себе не только симпатию, но и уважение. Он составляет караван и отряд телохранителей, при помощи преданных ему туземцев прокладывает новые дороги через пустыню и добирается до Харара»[8]. Здесь Рембо находит женщину своей мечты – молодую абиссинку небывалой красоты, отличающуюся от местных туземок тем, что она носила европейские одежды и курила сигары, в то время как самому поэту нравилось одеваться в традиционные народные костюмы.

В своем юношеском произведении «Лето в аду», единственной книге, изданной при жизни, Артюр Рембо, прощаясь с поэзией, писал: «Я покидаю Европу. Морской ветер сожжет мои легкие; климат далекой страны выдубит мне кожу... Я вернусь с железными руками, смуглой кожей, бешеным взглядом... У меня будет золото». Но вернулся он на родину умирать. В 1891 году в возрасте 37 лет, там же, в Абиссинии, он тяжело заболел. Его перевозят в Марсель. Скончался Рембо на родной земле от рака, прожив в Абиссинии немногим больше 10 лет. Лежа в марсельской больнице, он еще мечтает об Африке, «потому что кладбище там на берегу моря и близко от торговой конторы». Кроме стихов, оставил Артюр Рембо в наследство любителям своей поэзии письма к родным и друзьям. Он писал другу, поэту Полю Демени, что для того, чтобы стать поэтом, надо, прежде всего, полностью познать самого себя.

Философский подход к поэзии, выраженный Рембо, был близок и многим русским. Неудивительно, что загадочная страна с горными вершинами, пустынными равнинами, цветущими долинами, бурными реками, сказочными водопадами, удивительной растительностью, мелкими, живописными озерами и отдаленностью от привычного мира манили путешественников.

Между берегом буйного Красного моря
И суданским таинственным лесом видна,
Разметавшись среди четырех плоскогорий,
С отдыхающей львицею схожа страна...

Так описывал Абиссинию Николай Гумилев, который посетил эту страну трижды (в общей сложности он провел в ней два года) и посвятил ей свои лучшие стихи, поэмы и прозу «Африканский дневник». «Колдовской страной» называл он Абиссинию, «где оскалены бездны, взъерошены боры / и вершины стоят в снеговом серебре». Со слов литературоведа Эдуарда Штейна эфиопский монарх, якобы, рассказывал поэту Павлу Булыгину о приеме у себя русского поэта Николая Гумилева. Король Абиссини, Хайле Селассие, бывший губернатор Харара, с почетом принимал у себя русских – и вполне вероятно, что одним из его дорогих гостей был и Гумилев. «Император с профилем орлиным, / С черною, курчавой бородой», – так описал его Гумилев. Говорили, что король носил точно такой же военный мундир, как и русский император Николай II.

На тему «Рембо и Гумилев» написано много статей, поэтому я остановлюсь только на самых главных точках соприкосновения их судеб – как в жизни, так и в поэзии. Известно, что Николай Гумилев

перевел стихотворение Артюра Рембо «Гласные». В некоторых стихах Гумилева, таких как «Капитаны», «Пятистопные ямбы» и др., слышатся отзвуки «Пьяного корабля». Возможно, что стихотворение Гумилева «Заблудившийся трамвай» также написано под влиянием этого стихотворения Рембо. Главная тема обоих произведений – преодоление пространства и времени, блуждание за границами нашего бытия:

Мчался он бурей, темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Н. Гумилев

* * *

Я видел звездные архипелаги! Земли,
приветные пловцу, и небеса, как бред.
Не там ли, в глубине, в изгнании ты дремлешь,
о, стая райских птиц, о, мощь грядущих лет?

А. Рембо (перевод В. Набокова)

Сергей Маковский, издатель журнала «Аполлон», указывал на то, что еще в 1909 г. Гумилев «готовился, по примеру Рембо, к поездке в Африку». Возможно, что приключенческая жизнь французского поэта побудила Гумилева последовать его примеру. Есть какие-то странные совпадения в судьбах этих двух поэтов: оба были очарованы далекой экзотической африканской страной; странно пересеклись их пути в Хараре, хотя и с разницей в двадцать лет (Гумилев прибыл туда в 1909 году).

Восемь дней из Харрара я вел караван
Сквозь Черчерские дикие горы.
И седых на деревьях стрелял обезьян,
Засыпал средь корней сикоморы.

Н. Гумилев

И тот, и другой увлекаются судьбой одного и того же народа галла, причем Рембо даже пишет исследование о жизни галла и представляет его в Парижское географическое общество. Николай Гумилев едет в Африку как исследователь и передает свои находки петербургскому Музею антропологии и этнографии.

Однако если Рембо, поселившись в Африке, замолкает навсегда как поэт, то голос Гумилева становится ярче и романтичнее после его

поездок в далекую Абиссинию. Из нее черпал он поэтическое вдохновение: «Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде» (из «Африканского дневника»). В стихотворении «Приглашение к путешествию» он восклицает:

Уедем, бросим край докучный
И каменные города,
Где Вам и холодно, и скучно,
И даже страшно иногда.

Нежней цветы и звезды ярче
В стране, где светит Южный Крест,
В стране богатой, словно ларчик
Для очарованных невест.

Вдохновленный и очарованный романтикой черной страны, Гумилев напишет свои известные стихи: «Жираф», «Носорог», «Озеро Чад», поэму «Мик».

* * *

Если для Николая Гумилева Абиссиния – это страна экзотики и приключений, страна сказочной мечты, то для поэта Павла Булыгина она стала просто домом на десять томительных и трудных лет:

От многих берегов я отплывал,
И мир земной давно мне тесен,
Я десять лет беспечно засыпал
Под звуки абиссинских песен.

В 1924 году русский эмигрант Павел Петрович Булыгин, поэт с трудной, трагической судьбой, поселяется в Абиссинии. Человек сильной воли, настоящего мужества, потеряв родину, но оставаясь при этом романтиком, отправляется в далекую и неизведанную Африку. Возможно, что Абиссиния с ее христианскими традициями и романтические походы Гумилева, его поэзия и проза, рассказывающая об этой удивительной стране, вдохновили Булыгина, поэта первой волны эмиграции, уехать в Абиссинию. Так или иначе, но именно Гумилеву посвятил Павел Булыгин раздел «Чужие звезды» в вышедшей посмертно книге его стихов «Янтари»[9], – как бы вступая

в перекличку с гумилевским «Чужим небом». В стихотворении «Я не всегда таким был скучным...» Булыгин вспоминает Гумилева:

Я не всегда таким был скучным, –
Слагал немало небылиц.
Теперь к Пустыне я приучен,
Я так отвык от белых лиц.

Раз в месяц раб приносит почту,
Пробыв в пути двенадцать дней.
Я сам себе читаю ночью
Приветы вспомнивших друзей.

Храню погоны и кокарду
От службы Русскому Царю, –
Кормя ручного леопарда,
Я с ним по-русски говорю,

И вспоминаю Гумилева...
Что ждет, скрываясь впереди?
Когда-нибудь вернусь я снова.
– Теперь же, жизнь, меня не жди!

Уже в Абиссинии узнал Павел Булыгин о расстреле своего кумира. Мечта Булыгина встретиться с близким ему по духу и стихам поэтом была расстреляна вместе с ним.

...Я жду товарища от Бога,
в веках дарованного мне...
Н. Гумилев

Я Гумилева не встречал, –
А встреча так была нужна нам, –
Я о расстреле прочитал,
Уйдя в Пустыню с караваном.
И стало пусто... И костры
Уже не радовали треском,
И над палаткой скат горы
Белел ненужно в лунном блеске.
Гонец, привезший почту мне,
Привез бессильной мести муку,
Теперь я только лишь во сне
Пожму твою, быть может, руку.

На творчестве и биографии Павла Булыгина стоит остановиться подробнее.

Трудную судьбу Булыгина можно проследить шаг за шагом, листая страницы его книг. Поэтесса первой волны эмиграции Наталья Резникова в рецензии на книгу «Янтари» напишет: «Но не зная жизни безвременно ушедшего поэта, а только читая его стихи, можно почувствовать все вышесказанное: редко стихи так близко сливаются с человеческой судьбой, редко жизнь поэта бывает так же красочна, многогранна и разнообразна, как его стихи»[10].

Павел Петрович Булыгин, капитан лейб-гвардии Ее Императорского Величества Петроградского полка, участник корниловского Ледового похода, участник Первой мировой войны, поэт, журналист, эссеист, родился в 1896 году в семье писателя Петра Булыгина, представителя старинного дворянского рода. Окончив гимназию, молодой человек поступает в Высшее военное училище. В начале лета 1916 года он назначается в Петроградский полк и вскоре принимает первое боевое крещение. Раненным попадает в госпиталь. Февральскую революцию молодой человек, преданный идеям монархии, не принимает и присоединяется к армии генерала Корнилова. В боях он был опять ранен и контужен – и вновь госпиталь. За отвагу в боях на Волыни Павел Булыгин был награжден орденом Святой Анны.

И что, пройдя через костер страданья,
Увидим мы, как это было встарь:
Из пепла муки, горя, муки, покаянья
Поднимется великий Государь!

Быть может, суждены пути иные
И будет так – кто это может знать?
Я не могу безумно не рыдать
На кладбище твоем, моя Россия!

Берлин, 1921 г.

Российское новое «сегодня», расставание с близкими, кресты на могилах дорогих людей («растут, растут, могильные кресты!») поэт переживал мучительно. 22-летний Павел Булыгин восклицает:

Как хочется домой! Как хочется мне ласки –
Я так измучился на жизненном пути...
О, если б можно было в детство мне уйти
К забытой няниной наивной сказке!

Кубань, поход, 1918 г.

С весны 1918 года он становится начальником Отряда особого назначения по охране лиц Императорской фамилии в Крыму. По заданию императрицы Марии Федоровны Павел Булыгин направляется в Тобольск помочь царской семье вырваться из большевистского плена. Но в первых числах июля 1918 году его арестовывают. Раненный, Павел бежит из тюрьмы, но помочь царской семье не может – они уже расстреляны.

В конце 1918 года он был отправлен Вдовствующей императрицей Марией Федоровной с посланием к английской королеве Александре, содержащем просьбу помочь с расследованием обстоятельств убийства императора. Молодой русский офицер был принят английской королевой.

Вместе со следователем Н. А. Соколовым Булыгин занимается расследованием обстоятельств екатеринбургской расправы. Позднее через Владивосток, Харбин и Белград он добрался до Парижа, где опять вместе с Соколовым продолжил изучать материалы дела. Впоследствии он написал «Воспоминания о работе со следователем Соколовым», напечатанные по-английски под названием «The Murder of the Romanovs. The Authentic Account»[11]. («Убийство Романовых. Достоверный отчет»).

Как и у многих поэтов первой волны эмиграции, основными мотивами стихов Булыгина стали ностальгия, поиск смысла жизни и Бога:

Как хочется домой, как тяжела чужбина!
Я так измучился на жизненном пути.
Моих полей широкая равнина,
Мои леса, о, если б к вам уйти!

Мой тихий дом, моя семья родная,
Я вижу вас в печальном грустном сне.
Как рвется к вам моя душа больная!
Мне тяжело – молитесь обо мне...

Харбин, 1920 г.

Впервые имя Павла Булыгина появляется в печати в 20-х годах, хотя стихи он писал с детства. Публикации были в берлинском журнале «Двуглавый орел», органе правого крыла русских монархистов. Там же за два последующих года было опубликовано одиннадцать стихотворений поэта и цикл рассказов «Страницы ушедшего». В одном из берлинских журналов будет сказано: «...это передача вылившихся из души настроений, навеянных личными страданиями и стра-

даниями родины»[12]. При жизни вышел один сборник стихов – в Берлине, в 1922 году, под названием «Стихотворения»[13], посвященный Вдовствующей императрице Марии Федоровне. В эпиграфе к книге он напишет следующие строки:

К Твоим стопам Страдалица Царица
Дерзаю я смиренно положить
Разрозненные первые страницы
Своей тоски и мыслей вереницы,
И о прощеньи Родины молить.

Невольно возникает вопрос: что заставило молодого одаренного поэта, покинув пореволюционную Россию, не осесть в Европе, где складывалась творчески сильная русская диаспора, а уехать в незнакомую страну почти на десять лет? Что это – поиск работы, романтика, страсть к путешествиям, как у Гумилева: «Я не ваш, я – чужой. Я – бродяга поэт. / Я люблю запах воли и моря»? В стихотворении «Берегите цветы» двадцатитрехлетний Булыгин восклицает со страстью и отчаянием:

Мы все сошли с ума! Во тьме кромешных дней,
Бессмысленных, ужасных преступлений
Мы растоптали жизнь и мечемся над ней,
Как жуткая толпа безумных привидений!

Другое объяснение отъезда можно найти в письме его жены Агаты Титовны Шишко-Богуш. «Он был рыцарь своей мечты, которой больше нет» (из письма от 14 мая 1965). Вот еще одна из версий его отъезда: «Он хотел испытать новые ощущения, пробовать свои силы в новых незнакомых, удивительных поприщах, – храброе сердце, неугасимая энергия, вера в себя, свою судьбу и будущее...»[14].

Нельзя исключить и тот факт, что найти в Европе работу было крайне тяжело, да и местные власти не жаловали русских апатридов. Как бы то ни было, можно сказать, что решение уехать в Абиссинию было не спонтанным, а глубоко продуманным. И, кажется, причина отъезда была сложнее, чем поиск работы и материального благополучия. Еще в 1921 году Булыгин написал стихотворение «Предчувствие Востока», где он предсказал гибель Европы, которая, по его словам, «распяла Христа».

Раздвоенность в себе я ощущаю:
Жизнь тела дух давно опередил;

В исканиях сокрытых вечных сил
Я духом в неизвестности блуждаю...

Он искал пристанища, покоя для уставшей и страдающей души. Возможно, просто хотел обрести тишину («но эти шорохи беззвучности предвечной!), покой, заглянуть за границы времени и почувствовать божественную силу молчания:

Есть ночью миг всеобщего молчанья:
Щель Времени в предвечность Пустоты;
Незримых крыльев тяжкое касанье
Исполнено особой красоты.

Булыгин принадлежал к категории лермонтовского «лишнего человека», разочарованного в жизни с ее войнами и жестокостью. «Я устал от тоски и тревоги», – пишет еще совсем молодой человек, проживший в невероятных страданиях бóльшую половину своей короткой жизни. В 1922 году Павел Булыгин написал такие пронзительные строки: «Мне надо отдохнуть, очиститься от сора / Земных моих путей и от земной тоски». В стихотворении «Я не люблю людей» поэт объясняет свое стремление к одиночеству, к уединению:

И в жизни так: чем больше в ней страданья,
Тем бутафория у нас пошлей...
И простота лишь разве в умираньи.
Нет, нет, я не люблю людей!

К выбору Абиссинии как «места назначения» послужил и простой факт: туда уехали его близкие друзья. В 1922 году по приглашению негуса[15] в далекую африканскую страну отбыли полковник А. Н. Фермор (1886–1931), – как и Булыгин, участник «Ледяного» корниловского похода, и лейтенант Российского императорского флота А. И. Бенклевский (1880–1934), служивший в Гражданскую войну у генерала Колчака.

«Капитан П. Булыгин был старшим в нашем Харакском отряде. Это был молодой, но очень серьезный, вдумчивый, религиозный, увлекающийся теософией и всей душой преданный Царской семье офицер...», – вспоминает Булыгина некий есаул Грамотин, лично знавший Павла Петровича.

Первое знакомство с неизведанной африканской страной вызывает у Павла Булыгина восторг:

Солнце Старой Пустыни отрадно и благостно.
Горя мелкий ручей под лучами иссяк.
Звоны воли моей беспечальны и радостны, –
Я в Пустыне – Колумб-Открыватель, Моряк!

Впоследствии, покоренный экзотикой африканской страны, Булыгин пишет еще целый ряд прекрасных стихов, навеянных красотой и дикостью окружавшей его природы:

И день, и ночь смешались на земле.
В лиловом сумраке поднялись кряжи,
Воздушные в вечерней полумгле,
Как кружево какой-то тайной пряжи.

В стихотворении «Базар» он так описывает красоты Аддис-Абебы, столицы Абиссинии:

И надо всем такой манящий
Зеленый шелк соседних гор,
И дальше – в небо уходящий
Лилово-розовый простор.
Абиссиния, 1925

Живя в Абиссинии, он был сначала инструктором армии негуса, затем заведовал кофейной плантацией (как Рембо?). «Его всегда тянуло к необычайному, в далекие страны, экзотические миры...» (Петр Пильский). Там Булыгин написал ряд очерков: «Современная Абиссиния», «Русские в Абиссинии», «Чем занимаются русские в Абиссинии», «Жизнь русских в Абиссинии» и др.

В 1926 году в его жизнь входит удивительная женщина, Агата Титовна Шишко-Богуш, сестра его давнего дореволюционного друга. Она жила в Риге, он – в Абиссинии. Они переписывались почти два года и, наконец, встретившись в 1928 году, уже не расставались. Романтическая история их встречи и любви описана Агатой Титовной в сохранившихся письмах к подруге. Ей Павел Булыгин посвятил свои лучшие стихи о любви.

И все же, несмотря на то, что рядом была любимая, любящая, верная и преданная женщина, тоска не покидает его:

Разметалась, угрозу и страсти тая,
Непонятная, злая Пустыня.

И тоскует душа беспредельно моя
С бездной звездной сливая святыню.

Именно здесь, в далекой и неизведанной Абиссинии, где в «...румянце розовом угасшего заката / есть тайная к познанью Бога дверь», уединившись, стремился Булыгин по-новому осознать себя, найти выход из внутреннего кризиса. В стихотворении «Отчаяние» он пишет, обращаясь к Высшей силе:

Я так истомлен на пути,
Я страстно молю лишь забвенья.
Позволь мне, хотя б в сновиденьи,
В минувшую Ясность уйти!

Размышления Булыгина близки экзистенциальной философии Николая Бердяева, когда мысли о человеке, жизни и смерти связаны с непосредственным человеческим опытом. Николай Бердяев писал: «Дух человеческий – в плену. Плен этот я называю ‘миром’, мировой данностью, необходимостью... И истинный путь есть путь духовного освобождения от ‘мира’, освобождения духа человеческого из плена у необходимости»[16] (Париж, март 1926 г.). Эту мысль мы прослеживаем и в поэзии Павла Булыгина:

ВО ТЬМЕ

Одиноко иду. Ни звезды. Ни просвета.
Ночь темна, как душа разлюбившего мир.
Кто-то крикнул вдали – я не слышал ответа.
Это леший сзывает нечистых на пир.
Но куда я иду? – Я не знаю... Всё странно...
Вот споткнулся о камень опять. Упаду!..
Я сегодня проснулся особенно рано
И решился, вставая, – довольно, пойду!
Я не знаю куда, – знаю только, что надо,
Что я ждать уж не в силах. Что я должен идти.
Одинокая ночь... одинокому рада...
Я чего-то ищу.... И я должен найти.

Германия

Так и в стихотворении «Истина» Булыгин пишет о том, что, блуждая в темноте по трудным жизненным дорогам, он тоскует об Истине, «не зная, что Она всегда, везде пред нами». Становится понятно, почему Булыгин выбрал такую отдаленную африканскую

страну – для него она стала той далекой точкой, где он мог размышлять и искать пути к самопознанию, т. е. продолжать заниматься теософией. Немаловажен здесь и тот факт, что источником теософии являлась восточная философия. Особенность русской философии заключается в том, что она восходит к аскетической традиции восточного православия. Эта особенность в течение многих столетий определяла духовную жизнь России.

В России еще до революции было известно учение Елены Блаватской. Первое теософское общество Блаватская основала в Филадельфии (США) в 1875 году. Оно до сих пор работает, его Центр расположен в маленьком уютном доме на улице Сэмсон, где жила Блаватская. Поэты А. Белый, М. Волошин, Д. Кленовский, Н. Бердяев, З. Гиппиус, Д. Мережковский, Б. Поплавский и многие другие увлекались антропософией, эзотерикой, теософией. Вероятно, Булыгин также с юных лет интересовался этими дисциплинами. Знания теософии отразились и в его творчестве.

В Эфиопии существовала своя философская школа, заложенная еще в XVI–XVII веках Зера Якобом. Мыслителя нередко сравнивали с Декартом. В своем учении он сочетал разные религиозные воззрения, включая иудаизм и ислам.

Пройдя ад войны, Булыгин стал человеком глубоко верующим; часто в своих стихах он затрагивает религиозную тему: «Христос, Спаситель мой, я вновь к Тебе взываю! / О, научи меня любви, молю!» В поисках этой любви он сознательно выбирает путь аскетического совершенствования, уединение в пустыне – как это делали первые христиане.

Я снова закричу от боли,
И буду звать ее... одну...
В часы глухих моих безмолвий
Я буду слушать Тишину.

И кто-то теплый, кто-то нежный,
Шепнет склонившись: «Не забудь!»
И, засыпая, в дали снежной
Провижу я мой странный путь.

«Жизнь в столице Аддис-Абебе течет медленно и однообразно под синим небом, под горячим солнцем, под усыпающий шум ленивых эвкалиптов... Напрасно вновь приехавший европеец, привыкший к нервному пульсу жизни белого материка, будет стараться внести этот темп в свою работу и жизнь здесь – ему не вырваться из теплых,

усыпляющих рук Африки, он все равно унесет и во сне подчинится ритму тысячелетий», – напишет Павел Булыгин в статье «Жизнь русских в Абиссинии»[17].

Даже живя на чужбине, душа поэта оставалась там, где прошли детство и юность, в тех родных местах, где писались первые строчки стихов, где впитывала душа музыку русской поэзии:

В изгнаньи, вдалеке родного края,
Где я теряю молодость мою,
Как птица в клетке грустно я пою,
Минувшее напрасно вспоминая.
«Оборванный сонет», 1921.

Читая стихи Булыгина этого периода, невольно приходят на ум стихи поэтов «парижской ноты», которые Булыгин, по всей вероятности, хорошо знал, бывая в Париже и познакомившись там с многими из них. Уехав из России в 1920 году и путешествуя по Европе – Латвия, Литва, Берлин, Париж, – он восклицает: «Какое счастие дышать / Ветрами всех миров над бездной!» В Абиссинии он очутился совершенно в другом мире, изолированный от близких ему людей, от привычного общества. Мысли все чаще возвращаются в прошлое, воскрешают память:

Я устал от тоски по родному,
Я здесь слишком, уж слишком чужой.
Все мне снится, что еду я к дому
По дороге знакомой такой...

И даже в чужой стране душа поэта остается «в плену прошлого», в ней царит смятение, боль и все та же такая острая, такая терпкая тоска:

И здесь в горах, среди ветров пустыни,
Среди зыбей песка,
Где прошлое томится и поныне,
Живет тоска моя...

Часто в своих стихах Булыгин использует образ звезд. Причастность его к миру звезд является как бы отражением его романтических настроений. В то же время, для Булыгина звезды – это символ и прошлого, напоминание о России, – и будущего, и «синие мысли далекого Бога». Образ звезд часто использовали поэты

эмиграции, скажем, у Ивана Савина: «Зеленый свет сбежит по скалам, / Как изумрудная слеза»; или у Ивана Елагина: «Помнишь звезды. Наши звезды помнишь? / Нас от звезд загнали в погреба» (одна из книг Ивана Елагина так и называется: «Тяжелые звезды»). Этот же образ возникал и в поэзии Гумилева: «Холодные звезды тревожного марта / Бледнели одна за другой за окном».

Много в пути вспоминается, много...
Горько и гневно смотрел я назад...
Синие мысли далекого Бога
Звездными каплями в небе дрожат.

В 1934 году, оставив Абиссинию, Булыгин отправляется ходоком от старообрядцев в Парагвай. Там он основал русскую старообрядческую деревню: «За облака я часто принимал / Сквозные контуры Синая. / Я русскую деревню основал / В лесах глухого Парагвая».

В 1930 году, живя в Абиссинии, Павел Булыгин получает первую премию на конкурсе русских поэтов в Варшаве за поэму «Пороша», написанную онегинской строфой. «Лучшие стихотворения Булыгина мелодичны, напевны, проникнуты искренним и сильным чувством», – пишет литературовед Вадим Крейд в «Словаре поэтов Русского Зарубежья»[18].

Скончался П. П. Булыгин в 1936 году. В газете «Новое русское слово» за авторством Петра Пильского был напечатан некролог: «...На войне он пробыл до самого конца, был ранен, контужен, получил несколько отличий – этот человек вообще отличался большой смелостью, большим личным достоинством и бескорыстием»[19].

Пора седлать привычного коня.
Зовет труба вдали призывно где-то.
Пора мне в путь. Что ждет еще меня,
Охотника, скитальца и поэта?

Вадим Крейд вспоминает, как «его нашла дальняя родственница Булыгина, заинтересовавшаяся судьбой поэта. В результате в 2009 году вышла книга стихов и прозаических произведений поэта под названием ‘Пыль чужих дорог’[20], изданных внучатой племянницей поэта Татьяной Сергеевной Максимовой»[21]. У Татьяны Максимовой также сохранилось 42 письма жены поэта, где та описывает жизнь в Абиссинии и тепло рассказывает о своем муже, о его характере и особой, трогательной любви к животным, а также 50 писем подруги Агаты, Евгении Лембке. «Агата Титовна пишет письма-воспоминания о событиях более чем тридцатилетней давности.

Но от этой эпистолярной ретроспекции картины их африканского бытия не тускнеют, не теряют своих красок, скорее наоборот, водоворот времени как бы шлифует портрет любимого и любящего человека в экзотическом африканском интерьере»[22]. По словам жены, Павел Петрович был человек «горячий, честный, прямой, вспыльчивый как порох, но скоро отходящий и бесконечно добрый». Его поэтический талант долгие годы оставался незамеченным, хотя поэт он был милостью Божьей, именно какая-то божественная, «космическая» интуиция вела рукой его, писавшего такие глубокие и таинственные строчки стихов:

Я, наверное, скоро умру, –
Всё тоскую, томлюсь без толку,
Знаешь, как хорошо поутру
Поклониться росе и Востоку.

Мистическое предчувствие смерти остро переживали поэты первой волны эмиграции. В 1921 году, будучи еще совсем молодым человеком, Булыгин написал стихотворение, в котором предсказал свою раннюю смерть вне родины, «в пыли чужих дорог»:

А в пыли у дороги
Упавший деревянный крест лежит.
И Ангел в трепете к кресту приник,
Узнав Поверженный Скорбящий Лик...

Интересно, что в 1934 году вышла книга стихов другого поэта эмиграции, Бориса Волкова, под схожим названием: «В пыли чужих дорог»[23]. Возможно, что названия этих двух книг: «Пыль чужих дорог» и «В пыли чужих дорог» – простое совпадение. Жизнь Волкова, так же, как и жизнь Гумилева и Булыгина, была трудной и яркой, судьба бросала его из одной страны в другую, пока Волков не поселился в Америке, где трагически погиб под колесами автомобиля в 1953 году.

Как и многие поэты его времени, Булыгин предчувствовал свою раннюю смерть:

Жизнь кончена. Пробил внезапный час,
Последняя хрипит еще минута.
Кольцо неосторожное замкнуто.
И за окном усталый свет погас.

В 1935 году в Парагвае он напишет стихотворение, посвященное

другу – А. Башмакову (поразительный факт соединения двух биографий: отправившись на поиски гроба для скончавшегося Булыгина, старого друга, Башмаков умрет от ранений, полученных на улице, – в день военного переворота в Парагвае, 17 февраля 1936 года):

Быть может, срок уже намечен
И вздох последний близок мой.
Заглянут в гроб пугливо свечи.
Душа уйдет... опять домой...

В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Павла Булыгина и 80 лет со дня его смерти. Павел Петрович Булыгин скоропостижно скончался на террасе своего дома в предместье Асунсьона, в крайней нищете, от кровоизлияния в мозг, через две недели после своего сорокалетия. Так описала его смерть вдова поэта: «17 февраля 1936 года сидели на веранде. Павлуша читал вслух отрывок из ‘Трех мушкетеров’. Вдруг задохнулся, откинулся, и его не стало» (из письма от 22 сентября 1965 года). Последние годы Павел Петрович много пил – и только так, почти теряя рассудок, заглушал он свои страдания. В некрологе, появившемся в одной из эмигрантских газет, были такие слова: «Странник, воин, поэт, неугомонный кочевник... – поразительное и чудесное сочетание черт. У него было выразительное лицо, смелое сердце, громадный темперамент...»

После смерти мужа Агата Титовна нашла в кармане покойного четверостишие, написанное на блокнотном листочке:

Мне пальмы не нужны...
Верни меня России, Боже!
Мне иволга родимой стороны
Всех райских птиц сейчас дороже...

Эти строки были написаны поэтом в Асунсьоне 15 февраля 1936 года – за два дня до смерти. В этом предсмертном крике поэта выражена вся трагедия его жизни вдали от России.

* * *

Абиссиния была чужая, но «колдовская», полюбившаяся страна, над которой светили «чужие звезды» и другому русскому поэту, Ивану Хвостову.

РОССИЯ

Пучина темная морей
Легла, как пропасть между нами,

И небо чуждыми звездами
Горит над головой моей!
И все ж, вечернею порой
На север взор мой обращая,
С какою пламенной мольбой
К тебе, далекая, взываю.

Отец поэта, пензенский губернатор С. А. Хвостов, погиб в 1906 году во время покушения на П. А. Столыпина. Во время войны он служил в Семеновском полку, был тяжело ранен. В стихотворении «Родному Семеновскому полку» молодой Иван Хвостов писал:

– «Он умер!» – со злобой твердили враги.
Былое погибло и смято.
Какому безумцы мечты дороги,
Кому наше прошлое свято?
.....
То старая слава пылает в груди.
Семья собралась полковая.
Семеновцы снова идут впереди,
За ними – Россия Святая!

Февраль, 1918

В 1918 году молодой князь Хвостов был трижды приговорен большевиками к расстрелу, но, по чистой случайности, ему удавалось спастись. Он бежал из тюрьмы и создал Добровольческий полк по охране Вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Как и Иван Булыгин, Иван Сергеевич Хвостов прошел через ад войны и смерть родных ему людей. В одном из своих лучших стихотворений «Могилы», написанном в 1925 году, он вспоминает тех погибших в Крыму, «в Донских безбрежных степях» или «в тени мне родственного дыма, / в московских родственных стенах»:

Увы, чтоб сердце сохранило
Воспоминанья о былом,
Везде безмолвные могилы
Остались на пути моем.

До переезда в Абиссинию он жил в Париже и Германии. Но Европа не привлекала поэта – Хвостов называл ее той «пустыней», где царили лицемерие, безумье и безбожье. Реальная пустыня далекой африканской страны и «вой шакала» были ему милей, чем «продажный, хриплый» голос Европы:

Пустыня! Звездное распятье
На потемневших небесах.
Европа! Шлю тебе проклятье
В моих истерзанных мечтах!
Нет, я не сын твой! Отрицаю
Твое презренное родство,
И с ног усталых отрясаю
Я прах гниенья твоего!

В 1924 году князь Хвостов уехал в Абиссинию на поиски счастья. И только там, в далекой, дикой и первозданной стране нашел Иван Сергеевич покой и цель жизни. Через год после приезда в Абиссинию, усталый душой, скорбящий по России, откроет он в своих стихах тайну решения поселиться вдали от цивилизации:

Настанет день, и я, возможно,
Пойду паломником живым,
Всю землю обойду тревожно
К могилам близким и святым.

А может быть, мой круг свершая,
Безрадостный окончив путь,
Вдали от всех, изнемогая,
Покой найду я где-нибудь.

В Аддис-Абебе Иван Сергеевич нашел и покой, и свой новый дом. Там он организовал русскую общину – хотя продолжал чувствовать себя в этой далекой африканской стране чужестранцем:

Я знаю, в душу не проник
Пустыни многоокий миг,
Не стерли новые картины
Мне образ северной равнины!

Местные жители называли Ивана Сергеевича за его доброту «Божьим человеком». После Второй мировой войны он помог многим невозвращенцам найти дом в Эфиопии, где к тому времени существовала уже немалая русская община. Иван Хвостов полюбил эту загадочную и гостеприимную страну; он получил особую благосклонность и признание императора Хайле Селассие за перевод на ахмарский язык всего «Гражданского кодекса» Наполеона и за свою адвокатскую работу. «Благосклонность эфиопского монарха явилась

следствием известности Хвостова как защитника бедных, нередко угнетаемых представителей местного населения, которым он оказывал услуги совершенно безвозмездно», – пишет в книге воспоминаний Константин Синькевич, лично знавший Ивана Хвостова и его семью[24].

О своей новой родине написал он много стихов, вдохновленный ее необычной красочной природой:

Безмолвно, пустынно, песчанно!
Как светлый янтарный платок,
Блестящими блестками тканый,
Лежит бесконечный песок.

Цикл стихов «Восток» включен в его единственный сборник «Песни Альконоста»[25]. Поэтом Иван Сергеевич Хвостов был негромким, писал в стол, для себя («пускай лишь для себя нанизываю строчки»). И только после его смерти вдова поэта, графиня Наталья Владимировна Татищева с помощью друзей издала небольшую книжку его стихов, следуя завету мужа: «Последнюю тетрадь с печальными стихами / Тебе, мой друг, спешу я передать». Любимой и любящей жене и верному другу, посвятил поэт цикл стихов «Голубые октавы».

Петр Евграфович Ковалевский, известный историк и литературовед, пишет в предисловии к его книге: «Иван Сергеевич Хвостов не принадлежит ни к одной из зарубежных групп. Он был поэтом отшельником, оторванным от литературной среды. Но тем сильнее, и часто скорбнее, звучат его слова о далекой родине...» И далее: «И. С. Хвостов не принадлежит ни к какой поэтической школе. Вся его поэзия есть отголоски великих русских поэтов, строки, навеянные Тютчевым, но он не стремился создать что-то новое, занять место поэта. В своих стихотворениях он изливал свою душу, и только после его смерти через его творчество вполне выявился образ этого рыцаря долга и чести».

По всей вероятности, Иван Сергеевич Хвостов был знаком с поэзией Павла Булыгина, так как у него есть стихотворение с эпиграфом из стихотворения Булыгина, но документальных свидетельств об их личном знакомстве нет.

В Абиссинии Иван Хвостов продолжает писать стихи, в которых звучала та же ностальгическая нота, тоска по покинутой родине, тоска одинокого человека, прошедшего трудный путь вдали от России, – те же мотивы, что и у поэтов его поколения:

Как странно! Не правда ль, как странно!
Я здесь одинок; ты – одна.
Осенняя вьюга туманно
Стучится мне в ставни окна.
И грезится счастье обманно,
И плачет далеко весна.
Как странно! Неправда ль, убога
Житейская наша дорога?

Иван Сергеевич Хвостов умер в 1955 году, попав под колеса проходящего поезда. Вот что пишет о его кончине Константин Синькевич: «Видимо, потеря ног ускорила его кончину. Он умер в сравнительно молодом возрасте, всего 66 лет от роду, в марте 1955 года. На кладбище гроб провожала огромная толпа народа во главе с представителями правительства. Ведь его хорошо знало не только белое население столицы, но и черное. Сам Император после похорон нанес визит вдове, Наталье Владимировне, прибыв к ней в дом лично выразить соболезнование»[26].

История русских поэтов, живших в Абиссинии, – это история мужества, это глубочайшая трагедия людей, оторванных от родной земли. Судьба каждого из них была одинаково драматична и загадочна, но они оставили нам в наследство свои стихи – историю их короткой и многострадальной жизни под «чужим небом», на котором светили «чужие звезды», так напоминавшие им о потерянной навсегда родине.

Чужие звезды... Я устал.
Воспоминания тускнеют,
Жизнь переполнила бокал,
И капли, падая, твердеют.

Павел Булыгин

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Его перу принадлежит также научный комментарий к описанию путешествия в Эфиопию епископа Ованеса – одного из видных иерархов армянской Церкви.

2. *Тураев Б. А.* Абиссинские хроники XIV–XVI в.в. – Москва: Изд-во Академии Наук, 1936.

3. Газета «Возрождение» , № 4055, 5 декабря 1936 г.

4. Там же.

5. *Лялина М. А.* Путешествие по Абиссинии Теодора Бента в 1893 г. – СПб., 1896.

6. *Miller, Henry.* The Time of the Assassins: A Study of Rimbaud. – NY: New Directions Books, 1946.
7. Формальное написание города – Харрар (Harrar), но в энциклопедии он значится как Харар (Harar). Оба написания правильные.
8. Газета «Возрождение», № 3800, 29 ноября 1935 г. Ю. Мандельштам использовал старую транкрипцию написания имени Артюра Рембо.
9. *Булыгин, Павел.* Янтари. Стихотворения. Предисл. П. Пильского. – Рига: 1937, 152 с.
10. Журнал «Рубеж» (Харбин), № 11 (528), 1938, Сс. 19-20.
11. *Bulygin, Paul, Kerensk,y Alexander F*. The Murder of the Romanovs. The Authentic Account. – New York: R. M. McBride, 1935.
12. *Рогачев А.* Журнал «Двуглавый орел» (Берлин), № 30, 1922 г.
13. *Булыгин, Павел.* Стихотворения. – Берлин: Изд-во «Град Китеж», 1922.
14. *Пильский П.* Указ. соч.
15. Титул императора Эфиопии вплоть до свержения монархии в 1975.
16. *Бердяев, Николай.* Смысл творчества. – Париж: YMCA-Press, 1985.
17. Газета «Сегодня» (Рига), № 172, 1928 г.
18. Словарь поэтов Русского Зарубежья. Составители В. Крейд, Д. Бобышев, В. Синкевич. – СПб: РХГИ, 1999, С. 44.
19. «Новое русское слово», № 8484, 24 апреля, 1936 г.
20. *Булыгин, Павел.* Пыль чужих дорог. Собрание стихотворений. Изд. 2-е. – Москва: Academia, 2009.
21. Словарь поэтов Русского Зарубежья. С. 43.
22. *Крылова Н. Л.* Хорошо иметь любимую женщину или преданного кота. // Восточный архив, Выпуск № 17, 2008.
23. *Волков, Борис.* В пыли чужих дорог. Стихи. – Берлин: «Парабола», 1934.
24. *Синькевич, Константин.* Вне родины. – Москва: «Воскресенье», – Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2004, 484 с.
25. *Хвостов, Иван.* Песни Альконоста. – Брюссель: Издание журнала «Перезвоны», 1960, 160 с.
26. *Синькевич, Константин*. Указ. соч.

Филадельфия

Сандра Шульберг

«Нюрнберг: урок на сегодня»

история одного фильма

ПРОЛОГ

Первый Нюрнбергский процесс, официально называемый Международным военным трибуналом, был созван 20 ноября 1945 г. в немецком городе Нюрнберге с целью придать суду 22 члена нацистского руководства[1]. За единственным исключением суда над Петером фон Хагенбахом в 1474 году[2], это был первый международный уголовный процесс в истории. Суд длился почти год. Приговор был оглашен 1 октября 1946 г.

Член Верховного суда США Роберт Х. Джексон[3] стал главным инициатором судебного процесса, а также главным обвинителем от США. Во время подготовки к процессу Джексон вместе с главой Управления стратегических служб (OSS) Уильямом «Диким Биллом» Донованом[4] приняли смелое, историческое решение использовать фото- и кинохронику в качестве обвинительных документов против нацистов. Однако для начала эту хронику нужно было найти. С этой целью в рамках OSS была создана специальная кинематографическая команда под руководством голливудского режиссера Джона Форда[5] и его главного сподвижника лейтенанта Рэя Келлогга[6]. К команде присоединились братья Бадд и Стюарт Шульберги[7], сыновья экс-главы студии «Парамаунт» Б.-П. Шульберга. Они тотчас были отправлены в Европу. Бадд служил лейтенантом Военно-морских сил США, а его младший брат Стюарт – сержантом Морской пехоты.

Поиски кинохроники преступлений нацистов проводились под колоссальным давлением и часто сталкивались с саботажем. Бадд Шульберг сотни раз натыкался на бобины еще дымящейся уничтоженной пленки – будто кто-то предупреждал ее хранителей о его приходе. Он заподозрил в слитии информации одного из немецких киномонтажеров из состава поисковой команды. Тем не менее точно к началу процесса члены команды нашли значительное количество кинохроники и в тесном сотрудничестве с помощником Джексона, судебным адвокатом Джеймсом Б. Донованом (однофамилец Уильяма Донована), смонтировали «План нацистов» (*The Nazi Plan*) –

четырехчасовой фильм для показа на судебном процессе. Команда американских прокуроров тоже показала кинохронику освобождения концентрационных лагерей, снятую американскими и британскими военными. Данный компиляционный фильм назвали «Концентрационные лагеря нацистов» (*Nazi Concentration Camps*).

С другой стороны, для съемки самого судебного процесса были привлечены операторы из Войск связи Армии США. Им было поручено создать официальный документальный фильм, в который должна была войти и обличающая нацистов хроника. Результатом стал 78-минутный фильм под названием «Нюрнберг: урок на сегодня» (*Nuremberg: Its Lesson for Today*), составленный совместными усилиями Стюарта Шульберга и Паре Лоренца[8], возглавляющего направление по кино, театру и музыке в Отделе по связям с гражданской администрацией и населением Военного департамента США. Премьера фильма на немецком, законченного в 1948 г., состоялась в Штутгарте и была показана в Западном секторе Германии в 1948-49 гг. Изначально Военный департамент США предполагал, что фильм будет показан в Америке и по всему миру. Однако впоследствии, по политическим причинам, Департамент не позволил выйти фильму на широкий экран. Англоязычная версия картины была оставлена в «черновом» варианте (замечания судьи Джексона зачитывались голосом за кадром), а оригинальный негатив со временем был или утрачен, или уничтожен.

Благодаря свидетельствам Бадда Шульберга, отрывки которых приведены ниже, а также недавно обнаруженным документам и письмам покойного Стюарта Шульберга, мы имеем возможность впервые рассказать эту невероятную, доселе нераскрытую историю.

«КАК СКОРО Я ПОЛУЧУ ЭТО?»

Бадд Шульберг начинает рассказ*:

Что можно рассказать о том, насколько интересно и насколько тяжело было работать под руководством таких двух личностей, как генерал Билл Донован и командир Военно-морского флота Джон Форд? Джон Форд (Джон Мартин О'Фини) был самым великим кинорежиссером своей эпохи (среди его фильмов – «Дилижанс», «Гроздья гнева», «Осведомитель»). Он же возглавлял Полевой отдел фотографии OSS, в котором я только что оказался в качестве младшего лейтенанта.

---

*Воспоминания Бадда Шульберга взяты из моей готовящейся к печати книги «The Celluloid Noose». Именно этот заголовок использовал Бадд Шульберг для своей статьи 1946 года. (*Прим. Сандры Шульберг*)

Я предложил просмотреть и проанализировать всю уже собранную хронику нацистского периода, а также организовать всеевропейский поиск дополнительных, еще неизвестных материалов, заснятых нацистами. «Великолепно! – сказал генерал Донован, который всегда ожидал чудес и иногда даже получал их. – Как скоро я буду это иметь?»

Спустя двое суток я уже находился в Нью-Йорке и вместе с одним из наших монтажеров, Джо Зигманом[9], изучал впечатляющую кинотеку «Фокс Мувитоун Ньюз» («Fox Movietone News»). Джо был крупным парнем из Бруклина, на котором обтягивающая форма моряка выглядела довольно несуразно. Также с нами был наш технический эксперт, доктор Карл Джакоби, до 1933 года – берлинский прокурор, который каким-то образом выбрался из Германии летом 1941 года. Джакоби был довольно эксцентричным, энергичным и дотошным человеком. Когда он видел на экране ранние обвинительные кадры Геринга или Гесса, он хватал невозмутимого Джо за шею, и кричал: «Стоп! Стоп! Это он!» И сам хватался за рукоятки монтажного аппарата «Мувиола», что неизбежно приводило к бесконечным задержкам, так как пленка запутывалась на бобинах.

Несмотря на эти задержки, мы умудрялись просматривать до 20 тыс. футов пленки в день, одновременно пересматривая и переводя отдельные отрывки. В течение двух недель мы свели несколько сотен тысяч футов пленки к 65 тысячам, которые мы проанализировали и каталогизировали. В итоге, после того как мы нашли еще более яркий обвинительный материал, большая часть этой пленки не использовалась на судебном процессе. Однако именно во время этих просмотров мы обнаружили несколько важнейших записей, как то: речь министра внутренних дел Пруссии Геринга, произнесенную еще до того, как нацистская партия пришла к власти, в которой он обещает «смести любую оппозицию железной метлой»; воодушевляющая речь Геббельса, произнесенная «коричневорубашечникам», членам СА, накануне первого антисемитского погрома; и хроника первого постыдного сжигания книг на костре.

Вырезками из почти 500 тыс. футов пленки, раздобытой нами подпольными путями, мы задокументировали первое незаконное внедрение немецких войск на территорию Польши (тщательно зафиксированное кинооператорами «Немецкого еженедельного обозрения»[10], с кадрами «крупным планом» солдат Вермахта, сдирающих польские гербы с пограничных ворот). Также мы проанализировали запись 7 августа 1944 г., на которой майор Ремер[11], выпускник гитлерюгенда, который подавил восстание против Гитлера 20 июля, орет на своих подчиненных в почетном карауле Вермахта, –

мол, они не просто солдаты, а политические солдаты, и они должны принимать приказы напрямую от фюрера и его заместителей. С этого времени некоторые части немецких войск, как, например, Ваффен-СС, перестали подчиняться главному командованию.

К этому материалу мы добавили фрагменты из нацистских документальных фильмов. Некоторые из них уже были проанализированы Кинотекой OSS, в то время как другие мы раздобыли в Музее современного искусства и в отделе Alien Property Custodian[12] *– еще в начале войны они конфисковали материалы нацистской пропаганды у немцев, живущих в Йорквилле (немецкий район в Нью-Йорке) и в других немецких общинах.*

Одним из самых щедрых примеров такого материала был 11-ленточный эпос Лени Рифеншталь «Триумф воли». Это была документальная запись съезда Нацистской социалистической партии в Нюрнберге в 1934 году. На ней были представлены драгоценные кадры: министр экономики Ялмар Шахт, сидящий в первом ряду, – с партийным значком, нацепленным на воротник камзола, что опровергает его утверждения, якобы он всего лишь «экономист» и нацистом никогда не являлся; Верховное командование Германии, инспектирующее отряды СС, СА, и авиационные силы; а также весьма оригинальная трактовка института правосудия – от министра юстиции Ганса Франка: «Единственное правосудие – воля Адольфа Гитлера».

СНПП

Пока Бадд был занят с немецкими кинопленками в Вашингтоне и Нью-Йорке, Рэй Келлогг отправил Даниэля Фукса, вместе с самым молодым офицером отряда Стюартом Шульбергом, в Европу, – в поисках дополнительных, доселе неизвестных кинолент. К середине июля 1945 г. после промедлений, которые он считал неприемлемыми, Стюарт пришел к выводу, что ситуация соответствует тому, что на слэнге американских солдат называется СНПП: «Ситуация нормальная – полный п-дец».

Сразу по приезде в Германию Стюарт описал психологическую атмосферу, в которой приходилось работать: «Нет никаких сомнений, что этот народ нас ненавидит. Я сильно сомневаюсь, что нам удастся переучить их думать демократически. Они воспринимают наши попытки образовывать их как ‘американскую пропаганду’».

Это признание сделано спустя месяц после того, как Стюарт оказался в Европе. Работа стояла на месте, и он опасался, что не удастся в сроки найти те материалы, которые он искал. Однако вскоре Стюарт узнал, что к 1 августа к нему должны присоединиться два монтажера

OSS – Боб Пэрриш[13] (получивший «Оскара» за монтаж кинокартины «Тело и душа»), и Джо Зигман (которому впоследствии довелось заниматься монтажем фильма «Нюрнберг»). Эта новость давала повод надеяться, что работа все-таки сдвинется с мертвой точки. Спустя несколько дней сержант уже организовал транспорт, и команда отправилась в Северную Баварию – в город Байройт. Там был обнаружен большой склад с бобинами.

Пленные эсэсовцы закрепляли чехлы и грузили ящики с бобинами. Два очень деловитых американских солдата стояли рядом, с винтовками, направленными в сторону эсэсовцев. Эсэсовцам приходилось работать с большим усердием. На них все еще была их черная форма с задиристыми шлемами. Четверо из них были настоящими арийцами, с почти бритыми головами и угловатыми челюстями. Остальные двое, по-моему, были идиотами. Настоящими дебилами. Они были похожи на таких, которым можно приказать забить человека насмерть, и они выполнят приказ, даже не моргнув. У них были постоянно открыты рты, и даже те, другие эсэсовцы над ними издевались. Было очевидно, что арийцы страдают. Когда мы отдавали им приказы, они непроизвольно кривились, этот оскал напоминал мне цирковых тигров, вынужденных смириться и с остервенением подчиниться под угрозой плетки.[14]

Как дальше свидетельствует письмо, Стюарта беспокоило бесправие этих пленных солдат. Чтобы перебороть в себе чувство гуманизма, он заставил себя вспомнить о всех их злодеяниях. В тот же день, 24 июля, он доставил добытые киноленты в Лондон. Однако его самолет никто не встретил, и Стюарту пришлось самому разгружать ящики с бобинами.

НИ КОНЦА НИ КРАЯ

Молодой сержант страшно переживал промедление в работе. На дворе уже стояло начало августа, суд должен был начаться 1 сентября, но ни киноохотники, ни прокуроры не были готовы к его началу. Даже первая встреча с судьями еще не состоялась и должна была пройти только 31 октября.

К 23 августа Стюарт все еще работал в одиночку. Он сумел возобновить поиски – и нашел дополнительные ценные материалы в киностудии «Бавария». Однако, несмотря на этот небольшой прогресс и на то, что начало судебного процесса было отложено на 15 сентября, он пребывал в отчаянии от мысли, что кинокоманда не успеет подготовиться.

Старший брат Стюарта, Бадд, к концу августа наконец оказался

в Германии. Стюарт возлагал надежды на Бадда и как на брата, и как на старшего по званию офицера. Может быть, хоть ему удастся побороть бюрократию и сдвинуть дело с мертвой точки… Бадд планировал отправить монтажеров Пэрриша и Зигмана в Висбаден работать под руководством Стюарта. Однако лезвия для монтажа были получены только 12 сентября, что сокрушало Стюарта: три месяца были потеряны! Благо, суд отложили еще раз.

Бадд вместе с некоторыми членами команды по поиску хроники разбили штаб-квартиру на окраине Берлина, в городе Ваннси. Там лейтенанту OSS Джеку «Стинки» Манро удалось захватить две очаровательные виллы, что были по соседству друг с другом. В одной они жили, в другой – работали.

16 сентября генерал Донован распорядился, чтобы команде «Полевой фотоотряд» выделили в пользование самолет для перелетов между Лондоном, Парижем, Висбаденом, Нюрнбергом и Берлином. Бадд тотчас исчез на неделю вместе с самолетом, отправившись на поиски нацистской кинохроники, которая, как выяснилось, была продана на черном рынке в частные коллекции в Швейцарию, Испанию и Португалию. Судья Джексон был в ярости: оказалось, что самолет предназначался для его частного пользования, а не для команды. Может быть, офицеры команды кинофотопоиска и имели слишком низкое звание, чтобы пользоваться собственным самолетом, но сбор кинодоказательств становился насущной необходимостью; как вспоминает Бадд, – еще не весь возможный материал был найден.

Для осуществления этой работы мы привлекли в команду киномонтажера из Эльзаса, который раньше работал в штабе Геббельса. По иронии военной судьбы, он недавно стал гражданином Франции, и ему очень хотелось доказать, что он никакой не немец, а хороший француз. По данным этого информатора, Вальтера Роуда, самое крупное хранилище немецкого киноархива находилось в шахте гранитного карьера на окраинах городка Рюдерсдорфа, в трех милях на восток от Берлина. На советской территории.

После сложнейших переговоров с советским полковником, отвечающим за эту территорию, мы, наконец, получили допуск в Рюдерсдорф. Допуск в это местечко предоставлялся только в сопровождении офицера Красной армии, майора Юрия Виерганга – красавца в безукоризненной форме, с тонкими, навощенными усиками, скорее похожего на персонажа из «Войны и мира», чем на нашего современника. Нам рассказали, что ни одному американцу еще не позволялось внедряться так глубоко в советскую территорию, как

нам. Чтобы дойти до гранитного карьера на окраине деревни, нам пришлось пройти несколько метров через туннель, в котором нацисты хранили свои сокровища.

ОБОЖЖЕННЫЕ БОБИНЫ КИНОПЛЕНКИ

Когда мы вышли на свет, мы увидели самое удивительное и, одновременно, удручающее зрелище, какое я когда-либо видел в жизни: повсюду, насколько было видно, – сплошная сожженная пленка и обожженные канистры из-под бобин. В очень точно описанной Роудом шахте, врезанной в гранитный карьер до глубины 200 футов, все было в горах сожженной кинопленки, два метра высотой. Мы принялись копаться во всем этом, дабы найти хоть что-то, не до конца уничтоженное, – и нашли отрывки пленки, на которых были зафиксированы кадры нацистской документации концлагерей. Роуд утверждал, что видел собственными глазами то, что было записано на этой пленке. В итоге мы внесли эти фрагменты в состав доказательств на судебном процессе. Нет сомнения, что пожар в Рюдерсдорфе уничтожил как минимум миллион футов пленки (хотя, по некоторым подсчетам, гораздо больше), на которой была зафиксирована документация нацистского режима изнутри, – с исторической точки зрения, архив бесценный. Местные немцы рассказывали, что пожар случился незадолго до нашего прибытия. Все немцы, в том числе бургомистр, единогласно утверждали, что пьяные красноармейцы забрели ночью в шахту с факелами и все сожгли. В результате произошел настолько мощный взрыв, что несколько чехлов с бобинами долетели до самого городка.

Майор Виерганг иронизировал по поводу версии местных немцев. Ведь архив явно был скрыт в горе и настолько искусно спрятан, что найти его мог только тот, кто заранее знал о его месторасположении. Также Виерганг сильно сомневался, что такой взрыв мог случиться случайно, в результате поджога факелами. Ведь вход в шахту был запломбирован, а взрыв, очевидно, был рассчитан на то, чтобы вскрыть шахту. Он считал, что взрыв был произведен динамитом.

В течение последующих недель становилось все более понятно, что нацисты уничтожили собственный архив по тщательно и заранее разработанному плану. По очередной подсказке Роуда мы нашли еще один архив кинопленки, в шахте, недалеко от Бельзенского концлагеря. Однако этот архив тоже был уничтожен. По официальной версии местной пожарной службы немецкие рабочие, помогающие британским солдатам выносить кинопленку из шахты, случайно опрокинули масленные фонари, и начался пожар. Типичная история.

Мы наткнулись на то же самое с архивом, содержавшимся в помещении Олимпийского стадиона.

«ДЖОНФОРД»

Судебный процесс был отложен до 15 октября, что все равно оставляло очень мало времени на то, чтобы найти достаточное количество кинодоказательств для стороны обвинения.

Благодаря глубочайшим знаниям Роуда темы нацистского кино, мы стали работать немного в другом направлении. Выяснилось, что негативы всех немецких кинорепортажей хранились в киноархиве Рейха в Бабельзберге. Я обратился к советскому офицеру, ответственному за этот архив, майору Георгию Александровичу Авенариусу[15]*, с просьбой разрешить сделать копии негативов кинохроник за весь нацистский период.*

Авенариус был высоким, худым интеллектуалом аскетического вида. Мне показалось, что он посмотрел на меня с подозрением. «Какое дело американскому военно-морскому офицеру до кинопленок в Германии?» – спросил он. Я ему объяснил, что так, мол, и так, я состою в Военно-морском фотоотряде во главе с капитаном Джоном Фордом, и мы собираем киноматериал для стороны обвинения на Нюрнбергском процессе.

– Джон Форд – режиссер? – удивился Авенариус. – Мы произносим его имя и фамилию в одно слово: Джонфорд.

– Да, – сказал я. – Вы его знаете?

Авенариус ответил: «В моей книге по истории кино я посвятил Форду две полные главы. 'Железная лошадь' – одна из моих любимых картин».

Офицеры провели все утро, обсуждая кино, а затем майор Авенариус проводил Бадда в берлинский пригород, городок Бабельзберг, где находилась киностудия «UFA» («Universum Film AG). Там до войны снимался «Голубой ангел» (*Der Blaue Engel*) и другие замечательные фильмы. Когда американцы начали вывозить киноматериалы, майор Авенариус все-таки занервничал и приостановил процесс, заявив, что хочет попросить одобрения своего полковника.

РЕКА ВОДКИ

Бадд и его коллеги решили «обработать» этого полковника, «утопив его в реке водки».

Мы встали из-за стола около часа ночи. Полковник допил все наше «Бордо» и обещал прислать ящик кавказского вина. Оттуда, шатаясь, мы дошли до другого корпуса и показали советским офи-

церам кинохронику суда над участниками неудачного покушения на Гитлера от 20 июля. Русские еще не видели этой хроники и очень хотели получить копию. Фильм состоял из пяти бобин. После прокрутки каждой бобины был 10-минутный перерыв на выпивку. В три часа ночи полковник, о котором все говорили, что он – член страшного НКВД, танцевал посреди улицы с одной из наших переводчиц, членом ЖВС (Женской вспомогательной службы сухопутных войск). «Мы должны теснее работать вместе!» – восклицал советский полковник, уезжая со своей свитой на рассвете. На следующий день мы вернулись в Бабельзберг с пустым грузовиком. К вечеру грузовик был полон киноматериалов, и мы уехали. Тосты, произнесенные нами над «рекой водки», оказались ошеломляюще результативными.

Среди кинолент, приобретенных нами, были документы всех до одного съездов нацистской партии, начиная с самого первого в 1923 году, где Гиммлер, Гесс и Гитлер выступают в коротких баварских штанах, похожих на форму гитлерюгенд. Также там был партийный фильм о выборах 1932 года, который показывал, как нацисты управляли выборами, хотя не были еще у власти: отделения СА патрулировали улицы, а штаб-квартира одного профсоюза, который был против Гитлера, был окружен войсками с автоматами.

Там же была еще одна ценная лента, на которой было написано «Geheim – Oberkommando» («Засекречено по приказу Высшего командования»). Здесь была ужасающая хроника, на двух бобинах, где немецкие войска загоняют еврейское население Варшавы в гетто, а дальше показано массовое захоронение мертвых в братских могилах. Здесь немецкая дотошность показана в самом пугающем ракурсе: в одном кадре виден кинооператор в форме вермахта, стоящий на дне ямы и снимающий то, как на него сверху падают обнаженные, истощенные тела, в том числе маленьких детей и женщин.

В Мюнхене мой брат Стюарт обнаружил не только всю кинотеку старого друга Гитлера, Генриха Гофмана[16], но и самого Гофмана! Как и все немцы, с которыми мы сталкивались, Гофман был вполне готов предоставить свои услуги антифашистской коалиции, невзирая на то, что тем самым он помогал нам затянуть потуже петлю на шее его собственного зятя, Бальдура фон Ширaха[17], – руководителя молодежного нацистского движения, одного из 21 главных подсудимых Процесса. Великолепная кинотека Гофмана и его помощь, а также старания сержанта Шульберга, внесли одну из важных лепт в сбор фотосвидетельств на Нюрнбергском процессе.

Стюарт переслал 12 тысяч фотографий из архива Гофмана на базу

в Висбадене для сортировки и анализа. Начиная с этого момента, он стал признанным авторитетом по обвинительным фотодокументам.

АРЕСТ ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ

24 сентября Стюарт Шульберг перевез свой штаб в Нюрнберг. С этого момента братья Шульберги и их коллеги тесно сотрудничали с командами прокуроров. Под их контролем работали немецкие монтажеры Вальтер Роуд и Курт фон Моло, а также сотрудничал фотограф Гитлера, Генрих Гофман. Однако Бадд решил, что необходимо участие еще одного ценного «информатора», режиссера «Триумфа воли» (*Triumph des Willens*) Лени Рифеншталь.

Я нашел госпожу Рифеншталь в санатории в Китцбюэле. У меня была повестка о вызове ее в суд от Нюрнбергского судебного комитета. Естественно, она утверждала, что она не при чем, что она вообще неполитический человек, а чистый артист, режиссер документальных фильмов. Она хвасталась о том, что когда она приезжала в Голливуд в 1938 году, для нее выкатили красную дорожку. Я ее слушал, и все это время ее повестка в суд лежала у меня в кармане. Когда, наконец, я достал повестку и объявил, что мой долг – привезти ее в Нюрнберг, она запаниковала и закричала: «Путци! Путци! Он арестовывает меня!» К нам выбежал человек небольшого роста, который оказался ее мужем [Петером Якобом].

Я пытался объяснить ей, что ее никто судить не будет (это произошло несколько позже), что она задерживается как свидетель особой важности, но это ее не успокоило. Избалованной звезде немецкого кино, ей не понравился транспорт, на котором я повез ее в Нюрнберг: не на лимузине, к которому она привыкла, а на единственно доступной для меня машине – на американском военном грузовике. Мы гляделись весьма оригинальной парочкой, пока армейский капрал вез нас в Нюрнберг.

Я поселил ее в не очень привлекательной местной гостинице, в которой жили немцы, обслуживающие суд. Она прожила там более трех месяцев, а в следующем году ей пришлось жить там еще дольше.

Несмотря на ее возражения и самодовольные отрицания вины, госпожа Рифеншталь, тем не менее, успокоилась и начала сотрудничать с нами. В «Мовиоле» мы, Боб Пэрриш и другие голливудские режиссеры, одетые в несуразную военно-морскую форму, просматривали вместе с ней ее документальные фильмы. В том числе «Триумф воли» и ее шедевр об Олимпийских играх в Берлине («Олимпия»). Она указывала на различных персонажей, замаранных сотрудничеством с нацистами.

САМОУБИЙСТВО ЛЕЯ

15 октября прошло, а суд еще не начался. Предполагалось, что трибунал начнется в конце ноября. Тем временем призрак смерти бродил по улицам Нюрнберга; смертью был пропитан темный воздух тюрьмы при городском суде. 25 октября полковник Берт Андрус, отвечающий за безопасность в тюрьме, потерял одного из главных заключенных. Один из подследственных покончил жизнь самоубийством.

Камеры, в которых сидели подсудимые, предполагали один крохотные уголок для уединения: дверь в камеру была устроена так, что когда заключенный сидел на параше, охраннику были видны лишь его ноги. Роберт Лей, обвиняемый по первой, третьей и четвертой статьям Обвинительного акта[18], умудрился повеситься на полотенце, которое он привязал к трубе под потолком над унитазом. Сидя на параше, он наклонился вперед и задушил себя.

Полковник Андрус немедленно приказал охранникам следить за заключенными день и ночь.

Самоубийство Лея бросило резкий вызов как прокурорам, так и охранникам, а также психиатрам тюрьмы. Было очень важно сохранять физическое здоровье и душевное равновесие подсудимых. Наиболее циничные из них говорили, что заключенных надо продержать живыми до того, как убить их законным путем.

АМНЕЗИЯ ГЕССА

После самоубийства Лея главную проблему представлял Рудольф Гесс. С того момента, как его поймали в Англии, он утверждал, что у него амнезия. Как рассказывал Стюарт, никто не мог толком понять, – так ли это или он прикидывается.

«Вчера было большое событие. Гесса привели в наш просмотровый зал, чтобы показать ему хронику, в которой он сам вместе с другими главными фашистами, ликует и рычит в ‘Триумфе воли’ – фильме Лени Рифеншталь – на съезде нацистской партии в Нюрнберге в 1934 г. Главный дознаватель полковник Амен и психиатры, которые работали с Гессом, надеялись, что Гесс выдаст себя, увидев свое изображение на экране. Они думали, что обнаружится какой-нибудь признак того, что он притворяется, что ничего не помнит, дабы избежать наказания. Эксперимент не удался. Если Гесс притворяется, то он делает это блистательно. Он точно изобразил человека, потерявшего память.»

«ОДНА ФОТОГРАФИЯ СТОИТ ТЫСЯЧИ СЛОВ»

Суд, наконец, должен был начаться 20 ноября 1945 г. Команда по сбору обвинительных видеодоказательств спешила успеть к сроку закончить свою работу. Их работа наконец-то была признана.

«Мы стали любимцами суда. Похоже, что судебный процесс начнется с показа одной из наших лент и что дополнительные материалы, раздобытые нами, будут показаны в конце. Мы внушили душным адвокатам, что в качестве доказательств можно использовать кино- и фотоматериалы. Поначалу нам приходилось просто настаивать, что это нужно. Теперь же адвокаты звонят нам сами… Джексон звонил, чтобы поблагодарить и поздравить нас. 'Одна фотография стоит тысячи слов', – провозгласил он.»

Бадд и его команда работали день и ночь, чтобы закончить монтаж кинолент, которые Джексон и Джим Донован собирались показать на процессе. Лишь благодаря многократным отсрочкам самого процесса, они сумели раздобыть и смонтировать достаточное количество видео-улик. В итоге, они составили два фильма: «Концентрационные лагеря нацистов» и «План нацистов».

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ НАЦИСТОВ

Фильм с простым названием «Концентрационные лагеря нацистов» составлен из хроники, записанной британскими и американскими войсками при освобождении концлагерей. Он длится меньше часа. Для эффекта Джексон решил показать эту ленту в зале суда через неделю после начала процесса, 29 ноября.

Сегодня документальные кадры, в которых подсудимые смотрят этот фильм об их собственных преступлениях, хорошо известны. В статье, написанной в 1947 году, Стюарт Шульберг описал то, как он осветил скамью подсудимых:

Накануне просмотра команде по документальным доказательствам пришло в голову, что если в зале во время просмотра будет темно, то будет невозможно наблюдать за реакциями подсудимых на показываемые кадры. Таким образом мы лишались самого интересного (и, мы себя уговаривали, самого важного) аспекта данного эксперимента. Мы тут же решили установить неоновое освещение прямо перед перегородкой перед скамьей подсудимых. Таким образом мы могли слегка подсветить лица подсудимых, но при этом не испортить изображение на экране. Мы разбудили команду военных инженеров, и они, ворча, принялись за работу. К полночи освещение было установлено.

Однако утром, во время репетиции мы обнаружили, что неоновые лампы слишком сильны и размывают изображение на экране. Мы нашли коричневую ленту и лихорадочно принялись натягивать ее на неоновые лампы. Уже было начало десятого, а суд открывался ровно в 10 часов. Но мы совершенно выпустили из виду, что подсу-

димых вводят в зал суда парами, начиная с 9 часов утра. Пока я нервно приклеивал коричневую ленту на освещение, ввели Геринга и Гесса. Я сидел на корточках и загородил Герингу дорогу.

Имея некоторый военный стаж, мой первый импульс при виде такого количества дорогостоящей ткани был вскочить и отдать честь. Хотя с Геринга и сорвали погоны и медали, он, тем не менее, все еще был одет в голубую форму «Люфтваффе» с высокими черными сапогами. Однако я взял себя в руки, не стал вставать, а продолжал работать. Тут Геринг заметил новое освещение. Он посмотрел на меня, сжал губы и сказал: «Кино, найн?»

Гесс, который в то время еще притворялся сумасшедшим, принялся изображать радость. Он захлопал в ладоши, закачался, как ребенок, и несколько раз воскликнул: «Ах, кино! Ах, кино!» Геринг пожал плечами в манере, которую его соподсудимый Стрейхер[19] *назвал бы «крайне неарийской». Затем он улыбнулся широко и ядовито. Гесс продолжал радоваться и хлопать в ладоши. Спустя полчаса улыбки исчезли с их лиц.*

На следующий день Гесс шокировал всех признанием, что он лишь делал вид, что у него амнезия, и что он компетентен находиться под судом.

ПЛАН НАЦИСТОВ

Фильм «План нацистов» было гораздо сложнее составить, так как он должен был показать целостную историю гитлеризма и национал-социализма, но при этом состоять полностью из хроники, заснятой самими нацистами. Фильм был на двадцати двух 355-мм лентах, которые были показаны в двух частях – утром и днем, 11 декабря 1945 г. Чтобы фильм был понятен тем присутствующим, которые не говорили по-немецки, Бадд вмонтировал вставки между частями фильма.

ФИЛЬМ О СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Главный прокурор от США Роберт Джексон решил показывать фильмы в зале суда, а также согласился разрешить записать часть процесса на кинопленку. Военный архитектор Дэн Кайли[20] установил экран за кафедрой для свидетелей и построил платформы для кинокамер. Но, по до сих пор непонятным причинам, Войска связи США зафиксировали на камеру менее 50 часов из всего 10-месячного процесса. В дальнейшем отсутствие кинохроники стало одним из главных препятствий к созданию фильма «Нюрнберг: урок на сегодня». Все равно самые главные препятствия были политическими.

В 1946 году те члены Антифашистской коалиции, которые вели судебный процесс, – США, Великобритания, Франция и Советский

Союз, – согласились, что официальный фильм о процессе должен быть создан совместно. Он должен был служить двум целям: продемонстрировать миру принципиальную честность Нюрнбергского процесса и, с другой стороны, показать немецкому народу, какие ужасы творило их нацистское руководство. С помощью военного командования и контролирующих организаций, созданных в июле 1945 г., союзники совместно оккупировали Берлин и всю территорию Германии и каждый член Коалиции управлял своей четко определенной военной зоной.

В сентябре 1946 г. для создания фильма о Нюрнберге Коалиция создала Рабочую группу по созданию документального кино (Documentary Film Working Party). В DFWP было по делегату от каждой из стран-обвинителей. 18 сентября 1946 г. все они согласились внести свои предложения по сценарию и монтажу и приготовить соответствующую кинохронику, которой они обладали. После этого заседания бригадный генерал Роберт А. МакКлюр[21], директор Отдела контроля информации при Штабе военной администрации США, телеграфировал в Вашингтон: «Оккупирующие стороны предлагают участвовать в документальном фильме о Нюрнберге с целью предоставить всему миру доступ к материалу. Другие государства охотно вызвались участвовать. Настоятельно просим разрешить участие в совместной постановке; убеждены, что здесь лучше всего знают, какую реакцию ожидать от немцев. Своевременность крайне важна. Будем очень разочарованы, если Штаты не согласятся. Это первый и важнейший четырехсторонний проект».

Делегатом от Советского Союза был начальник Отдела пропаганды полковник Сергей Тюльпанов[22]. Считалось, что именно он был кукловодом, управляющим генералом Соколовским[23].

От Франции был начальник военного киноотдела Бегвин Билькок, а Великобритания избрала Генри Дурбана. МакКлюр назначил полковника Уильяма Уллмана делегатом от США, причем тот разделял обязанности с коллегой Эриком Кларком[24]. Уллман и Кларк планировали закончить фильм вскоре после окончания судебного процесса. Они тогда не догадывались о том, что им предстоит противостоять всему военному истэблишменту США, а также легендарному кинематографисту Паре Лоренцу и действующему судье Верховного суда США Роберту Х. Джексону.

БЕРЛИН ПРОТИВ ВАШИНГТОНА: ФИЛЬМ ДЛЯ ГЕРМАНИИ ИЛИ ДЛЯ МИРА?

Прежде чем у делегатов DFWP возник хотя бы шанс поспорить о чем бы то ни было, между двумя лагерями в государственном руко-

водстве США развязалась длительная борьба за контроль над фильмом. МакКлюр и его берлинские офицеры утверждали, что фильм будет использоваться только как часть кампании Военного управления (OMGUS – Office of Military Government / U.S.) в целях денацификации и перевоспитания немецкого населения и настаивал, что они лучше всех знают, как следует выстраивать фильм.

Однако начальником Отдела по кино, театру и музыке в Отделе по связям с гражданской администрацией и населением при Военном департаменте США был не кто иной, как «кинематографист Рузвельта» Паре Лоренц. Лоренц был известен как создатель и дистрибьютор таких фильмов, как «Плуг, нарушивший равнины» и «Река» – фильмы, которые обозначили отдельный новый жанр документального кинематографа. Во время военной службы в Авиационных силах США он получил повышение до полковника.

Вряд ли Лоренц, титулованный кинематографист, был готов позволить офицерам OMGUS'а создать фильм о Нюрнберге без его участия. Как бы то ни было, после того как он получил первый предложенный ими вариант сценария в ноябре 1946 г., он им больше уже не доверял. Паре Лоренц гораздо масштабнее, нежели команда OMGUSa, видел фильм о Нюрнбергском процессе. Он считал, что это должна быть картина на все времена; кинолента, которая донесет уроки Процесса до всего мира. Он не воспринимал это как фильм, созданный преимущественно и исключительно для немецкого зрителя. Он твердо настаивал на том, что фильм должен точно отражать не только «дело» судьи Джексона против нацизма, но и более значительное намерение Джексона сделать этот судебный процесс юридическим предупреждением всем народам.

Когда процесс окончился и Джексон вернулся в Верховный суд США, у Лоренца оказалось и географическое, и творческое преимущество. В тесном сотрудничестве с Джексоном он придал фильму эту универсальную точку зрения.

ЛИНИЯ ФРОНТА ОПРЕДЕЛЕНА

Из Вашингтона пришел молниеносный ответ на телеграмму МакКлюра: «Полностью одобряем четырехсторонний проект и поздравляем с прогрессом. Однако и Военный, и Государственный департаменты вынуждены настоять на том, чтобы сценарий был одобрен здесь. Мы готовы быстро его проработать и предоставить любую необходимую техническую помощь»[25].

Высшее руководство не собиралось одобрять содержание фильма, которое предполагалось сценарием, предложенным OMGUSом. Да и «техническая помощь», предлагаемая Штатами, на поверку

оказалась гораздо шире, чем просто «техническая». Паре Лоренц был намерен взять на себя художественное руководство всем проектом.

Лоренц работал под началом генерала Оливера Эхолса и Даниэля Ноца[26] через полковника П.-Б. МакРэя. Награжденный за военные подвиги, Эхолс был директором Отдела по связям с гражданской администрацией и населением при Военном департаменте в Вашингтоне. Даниэль Ноц, начальник Отдела по связям с гражданской администрацией и населением на оккупированных территориях, был требовательным надзирателем. И тот, и другой отчитывались перед заместителем Военного секретаря Ховардом Ч. Петерсеном[27] и, таким образом, были напрямую приближены к власти.

Хотя генерал МакКлюр и его люди, Уллман и Кларк, теоретически были подчиненными Эхолса и Ноца, берлинские офицеры отвечали перед генералам Люсиусом Клеем[28] – крайне влиятельным и уважаемым главой администрации американской оккупационной зоны Берлина. Начиналась борьба за контроль над фильмом.

Первая схватка между МакКлюром и МакРэем предвещала последующий ход событий: обе стороны – Военный департамент в Вашингтоне, и Военное управление в Берлине – сделали вид, что сотрудничают, но на самом деле полностью игнорировали обращения и указания друг друга. Однако офицеры OMGUSa все-таки лидировали.

5 октября 1946 г. Кларк и Ульман наняли американского журналиста Джона Скотта[29], чтобы тот написал детальный сценарий. Причем они не оповестили об этом Лоренца. К 28 октября работа над сценарием была завершена. Выбор Скотта был вполне логичным, так как он был бывшим главой берлинского филиала журналов «Тайм» и «Лайф».

Изначально Паре Лоренц предлагал должность сценариста Бадду Шульбергу, но тот отказался, ибо по окончании работы над нюрнбергским проектом в конце 1945 г. Бадд тотчас принялся писать новый роман «Тем тяжелее падение». Он порекомендовал своего друга Яна Хантера. Но Хантер то ли не смог, то ли не был утвержден. Лоренц снова попытался уговорить Бадда взять на себя эту работу, и тут Бадд порекомендовал своего брата Стюарта.

Отношения между Стюартом Шульбергом и Паре Лоренцом сразу сложились. Согласно документам, в декабре 1946 года Стюарт Шульберг был официально нанят Фотоцентром Войск связи при Военном департаменте для работы над «Постановкой № 10 – НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС». Хотя он именно в это время появился в бюро данного отдела в Лонг-Айленд-Сити в Нью-Йорке, судя по

всему, работать он начал на Лоренца еще раньше, в ноябре предыдущего года; OMGUS одобрили рекомендацию Лоренца еще 15 ноября. Администрация настаивала, чтобы Шульберг как можно скорее отправился в Берлин.

В тот же день берлинская команда назначила Майкла Гордона[30] монтажером. Гордон, английский сценарист, вскоре был определен OMGUSом писать новый сценарий по Нюрнбергу.

СТАРЫЕ ФРОНТЫ СНОВА В ДЕЙСТВИИ

Судья Роберт Джексон и Шеф OSS Уильям Донован не могли договориться насчет того, как надо подходить к суду в Нюрнберге. Джексон настаивал на том, что показаниям свидетелей доверять не стоит и что необходимо опираться только на документы и улики. Донован же считал, что исключительно фактологический подход выставит судебное заседание в смешном виде и оттолкнет мировую прессу от процесса. Он полагал, что живые свидетели придадут процессу драматизма и вызовут сочувствие журналистов и народа. Однако Джексон ухитрился изолировать Донована и настоял на методе, опирающемся, в основном, на документальные свидетельства. Незадолго до начала процесса Донован покинул Нюрнберг.

Как Донован и предсказывал, освещение длительного судебного процесса в прессе и кинорепортажах были практически сведены на нет, за исключением эпизодических моментов, когда на суде возникали острые ситуации: например, показания Геринга или оглашение приговоров. Оценку Донована разделяли и киноофицеры в команде генерала Клея в Берлине. Они утверждали, что фильм, который всего лишь отображает ход судебного процесса, будет слишком скучным для массовой аудитории.

Первое задание Стюарта Шульберга было составить для Паре Лоренца рецензию на сценарий OMGUSa, написанный Джоном Скоттом. Базируясь на анализе Шульберга, Лоренц в своем отчете вышестоящим инстанциям буквально разнес концепцию OMGUSa: «Сценарий по Нюрнбергскому процессу, подготовленный Джоном Скоттом, не является ни документом, ни фильмом… Вкратце, повествование не отражает внимательного изучения самого судебного процесса и высказанных мнений; сюжет не использует документальную хронику, имеющуюся в наличии у Военного департамента»[31].

Вместе с рецензией на сценарий Скотта, Шульберг предоставил Лоренцу свой собственный сценарий под названием «Предложение новой структуры фильма о Нюрнбергском процессе». Он подошел к задаче с совершенно другой стороны: его сценарий базировался на четырех пунктах Обвинительного акта и подчеркивал то, как каждая

из команд прокуроров из США, СССР, Великобритании и Франции выстраивала доводы обвинения.

Вооруженный сценарием Шульберга, Лоренц пошел в атаку. Его стратегия заключалась в том, чтобы заставить Военный департамент США вступить в открытую войну с OMGUSом. Лоренц придумал сделать так, чтобы в дело вмешался заместитель Военного секретаря Ховард Петерсен, который бы обратился к генералу Клею.

Петерсен согласился на это и написал личное письмо генералу Клею, датированное 11 января 1947 г. Оно начиналось с приветствия: «Дорогой Люциус!..» В письме Петерсен просил Клея рассмотреть «предложенную новую концепцию фильма и сценарий фильма-проекта о Нюрнбергском процессе». Петерсен отметил, что сценарий Скотта был «неудовлетворительным», и подчеркнул, что по мнению Военного департамента фильм должен быть предназначен не только для немецкого зрителя: «Я прекрасно понимаю, что картину нужно довести до конца как можно скорее. Однако так же необходимо не забывать о крайней важности данной кинопостановки. В истории человечества не было еще прецедента, чтобы банда заговорщиков столь тщательно документировала собственное коварство и акты насилия. Эти зафиксированные факты необходимо донести не только до народа Германии, но сделать так, чтобы они навеки остались в архивах Антифашистской коалиции. Также и показания и улики, представленные в ходе судебного расследования, заслуживают тщательного изучения, дабы немецкий народ имел запись последних высказываний их собственного руководства об их же признанных преступных намерениях и действиях»[32].

Лоренц считал своим долгом противостоять сценарию Скотта. Он еще не знал о том, что в OMGUS уже решили: если они будут настаивать на сценарии Скотта, им никогда не победить Лоренца. И не осведомив его, они наняли британского монтажера Майкла Гордона, чтобы тот написал совершенно новый сценарий.

OMGUS РВЕТСЯ ВПЕРЕД

10 января 1947 года Майкл Гордон закончил новый сценарий, который одобрила команда OMGUS. 17 января курьер отвез текст в Вашингтон, где тот и воссоединился со сценарием Шульберга.

Все предвещало новую схватку: команда OMGUSa готовилась к длительной кампании против сценария Шульберга в пользу Гордона.

Уллман так сформулировал недовольство OMGUSa сценарием Шульберга: офицеры утверждали, будто сценарий был недостаточно драматичным и, кроме того, слишком выпячивал участие американской стороны. Тем временем Петерсен получил от Клея дипломатич-

ный ответ на свое письмо. Клей написал, что его команда согласна с тем, что сценарий Скотта неудачен и что они рассматривают сценарий, предложенный Шульбергом.

Офицеры из кинокоманды Клея продолжали настаивать, что лишь они компетентны судить о том, чья концепция сработает на публике. Остается только догадываться, верили ли они искренне в эти свои утверждения или это было всего лишь предлогом сохранить за собой контроль над проектом. В любом случае, вашингтонские чиновники по-прежнему рассматривали фильм не только как средство воздействия на немцев. Они хотели сделать «вечный» фильм.

Так как сценарий Шульберга воспроизводил ход самого процесса, претензии в том, что этот сценарий был «слишком американским», не убедили Лоренца. Однако судя по ответу Клея, стало очевидно, что OMGUS ни за что не сдаст позиций. Лоренц понял, что он первоначально недооценивал настойчивость Кларка и Уллмана. Но это лишь усиливало его желание переиграть их.

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ДЖЕКСОНА

Лоренц решил, что только судья Джексон обладает достаточным авторитетом, чтобы противостоять OMGUSy. В своем прошении к Джексону он, схитрив, аппелировал к капитану Эдриану «Буч» Фишеру[33], бывшему помощнику нюрнбергского судьи Фрэнсиса Биддла, теперь – адвокату при Департаменте торговли. Фишер должен был неопровержимо доказать, что сценарий Шульберга точно отображает свидетельские показания и улики, представленные в ходе судебного процесса. В конце января 1947 г. Лоренц отправил сценарий Шульберга (уже третий черновой вариант, датированный 8 января 1947 г.) судье Джексону. 7 февраля он получил письмо от Джексона с выражением безоговорочной поддержки. «Я изучил сценарий фильма о Нюрнбергском процессе и признаюсь, он совершенно рассеял мои прежние сомнения в том, целесообразен ли в принципе такой фильм. Выбор материала осуществлен с величайшим умом и, похоже, избегает присущего кинолентам греха искажать факты. На меня произвело впечатление то, насколько точно он передает честность, ответственность и тщательность процесса. Он отбрасывает сомнения в том, что подсудимые не имели возможности защитить себя, а наоборот, показывает, что они представили собственную позицию и что именно исходя из нее их вина неопровержима».

Наконец, Джексон затронул вопрос, с которым уже столкнулись сценаристы и продюсеры по обе стороны Атлантического океана: как ограничить эффект нацистской пропаганды? Джексон написал следующее: «Еще один вопрос, нуждающийся в максимальном внима-

нии: как преподнести фильм-улику ‘Приход нацистов к власти’ [т. е. ‘План нацистов’]. Я думаю, Ваш сценарий преодолеет трудности, связанные с этим. Тем не менее показ данного материала не безопасен. Если не просветить аудиторию насчет неверности основных посылов этого фильма, то он послужит именно той цели, для которой предназначался: как великолепна прогитлеровская пропаганда. С этой стороны океана я с энтузиазмом показывал этот фильм американцам, так как в ходе судебного процесса они уже видели весьма впечатляющее разоблачение фашистских методов. Но я не учел – и понимаю, что другие тоже не учли, – что аудитория, находящаяся в зале суда, уже была обработана массой прежде освоенной информации и закалена так, что могла судить об этих кадрах. Когда же эта хроника была показана неподготовленной американской аудитории, она послужила ничем иным, как пропагандой, причем – опасной пропагандой. Я полагаю, этот фильм вообще нельзя показывать целиком. Но показ отрывков из него, представленных так, как Вы предлагаете, несомненно, будет очень эффективным». Вооруженный этим письмом, Лоренц принялся без устали и искусно добиваться того, чтобы в конечном итоге фильм снимали по сценарию Шульберга.

Однако несмотря на то, что Джексон всем своим авторитетом поддержал сценарий Шульберга, Кларк и Уллман продолжали сопротивляться. Они подали жалобу юрисконсульту OMGUSa Элвину Рокуэллу[34]. В киноиндустрии шутят: «каждый хочет быть режиссером». Записка Рокуэлла Уллману, датированная 19 февраля 1947 г., полностью подтверждает это. Заявив, что он ограничится лишь общими замечаниями, т. к. сценарии крайне резко отличаются друг от друга, он тут же принимается описывать фильм, который хотел бы видеть он сам: берет элементы из каждого сценария и соединяет их в один. Через пару дней, 21 февраля, Кларк телеграфировал Лоренцу, с повтором уже ранее высказанных утверждений: сценарий Шульберга «не драматизирован» и недостаточно «отражает все четыре стороны».

В НЕВЕДЕНИИ

Насколько Стюарт Шульберг был осведомлен о трансатлантических махинациях и борьбе за контроль над фильмом? Он знал лишь, что первый сценарий OMGUSa был отвергнут и его наняли вместо сценариста Джона Скотта.

Первый черновой вариант сценария Шульберга, датированный 20 декабря 1946 года, очень близок к его ноябрьскому конспекту. Второй вариант датирован 30 декабря. Третий сценарий Шульберга, от 8 января 1947 г., получил одобрение Лоренца 10 января и 29 января был отправлен судье Джексону.

К тому времени Шульберг получил разрешение нанять киномонтажера Джозефа Зигмана – своего старого друга по прозвищу «Зигги». Зигги тоже был ветераном Полевого отдела по сбору видеодокументов о военных преступлениях, он работал в Ваннси, Висбадене и Нюрнберге. В феврале 1947 года старые товарищи просмотрели тысячи футов пленки в Астории в Квинсе, что в Нью-Йорке. По ходу просмотра Шульберг редактировал сценарий, исходя из наличествующей хроники. По сути, они уже составляли сам фильм. В записке Лоренцу, датированной 26 февраля 1947 г., Шульберг написал, что просмотрено 400 тыс. футов пленки, и они выбрали для дубляжа 47 383 фута[35].

Вдруг, посреди работы, Шульберга попросили прочитать сценарий Гордона. Таким образом он узнал о параллельном берлинском проекте. Лоренц презирал сценарий Гордона, особенно предложение использовать хронику суда от 20 июля 1944 года.[36]. Это укрепило его в скептическом отношении к интеллектуальным, творческим и политическим способностям членов OMGUS. Однако рецензия Шульберга на сценарий его конкурента Гордона была вдумчивой; он признал несколько удачных моментов в подходе Гордона к теме.

СЛОН В КОМНАТЕ

Вопрос заключался в том, насколько сенсационным должен быть фильм. Основным камнем преткновения стал «драматизм» материала. Команда OMGUSa предлагала несколько приемов, которые Лоренц и Шульберг посчитали искусственными. Шульберг коротко сформулировал самые «драматические» элементы, на которых настаивала команда OMGUS:

– Хроника жесткого судебного процесса от 20 июля над заговорщиками, которые планировали покушение на Гитлера. OMGUS хотел представить этот момент как контрапункт хода Нюрнбергского процесса;

– Наиболее впечатляющие показания очевидцев Холокоста;

– Использование максимального количества синхронной записи с судебного процесса;

– Больше хроники нацистских концентрационных лагерей.

Лоренц и Шульберг не желали постановочного отражения реального судебного разбирательства и рассматривали использование хроники суда от 20 июля как отвлекающий от основного сюжета маневр.

С того момента, как Лоренц одобрил шульбергскую смету фильма от 30 ноября 1946 г., эти два человека единым фронтом отстаивали создание такого фильма, который послужил бы той же цели, что и сам судебный процесс: представить систему судебных доказательств,

отразить озвученную подсудимыми позицию и продемонстрировать, что подсудимые были осуждены именно на основании приведенных в ходе суда доказательств.

Данный подход, естественно, диктовал выбор материала. Использование материала должно было быть оправданным. Ни Лоренц, ни Шульберг не могли принять ситуативный, эмоциональный, импрессионистский сценарий, предложенный OMGUS. Предназначался ли фильм только для немцев или для всего мира, Лоренц и Шульберг намеревались выстраивать фильм согласно ходу самого судебного процесса. Соответственно, вполне объяснимо их раздражение обвинениями со стороны OMGUSa в том, что сценарий Шульберга «слишком американский». По их мнению, фильм объективно взвешивал доказательства «за» и «против» всех четырех статей обвинительного протокола, представленного прокурорами Антифашистской коалиции.

Однако Кларк и Уллман не отступали от того, что «по-настоящему четырехсторонний» фильм может быть сделан только в Берлине. Они до конца держались этой линии. Они также предлагали использовать синхронный звук из зала суда, чтобы убедить немецкую аудиторию, что процесс действительно был честным.

Обе стороны согласились, что нужно максимально использовать синхронный звук, но Лоренц и Шульберг подчеркнули, что, так как судебное разбирательство велось на четырех языках, невозможно создать версию на немецком без дублирования и «голоса за кадром». Субтитры не рассматривались как вариант. Кроме того, кинематографисты отдавали себе отчет в том, что камеры не снимали всех участников заседаний в течение всего процесса, а поэтому некоторые ключевые моменты показаний не были зафиксированы в аудиозаписи. Офицеры из OMGUS либо не понимали этого, либо умышленно игнорировали этот факт.

ЛОРЕНЦ АТАКУЕТ

Лоренц использовал рецензию Шульберга как основу для эмоционального письма к Кларку, датированного 27 февраля 1947 г. В нем Лоренц, обычно предпочитавший действовать кулуарно, впервые открыто пошел в атаку. Он сразу вступил в конфронтацию с Кларком, начиная свое обращение следующей резкой фразой: «По структуре, опус Гордона – не сценарий, а набор диалогов». Лоренц-дипломат вдруг превратился в Лоренца-боксера. Он рубил с плеча, писал в высокомерном и оскорбительном тоне. Раскритиковав сценарий Гордона, он приступил к опровержению критики сценария Шульберга Кларком. Лоренц разложил все по пунктам: как и почему

необходимо на основе документальных доказательств выстраивать тот или иной неопровержимый посыл. Он едва скрывал сарказм и даже открыто предположил, что Кларк вообще не умеет читать сценарии документальных фильмов.

«Не считаю сценарий Майкла Гордона профессионально составленным планом для кинокартины или убедительным документом. В сценарии есть несколько интересных моментов, которые можно включить в общий сценарий. На данный момент задействуем 32 тыс. футов пленки. В том числе кадры поджога Лидице и др. материал, о существовании которого никто не знал. Думаю, вам понравится»[37].

Лоренц думал – он прикончил сценарий Гордона раз и навсегда.

РУССКАЯ КАРТА

Пока Лоренц и Шульберг продолжали сражаться с управлением военной администрации США, Советский Союз стал выражать и собственные возражения.

На совещании Комитета по координации Контрольного совета[38] в Берлине, на котором присутствовал генерал МакКлюр, представители СССР заметили, что «части сценария [Гордона] являются недружественными и вредными для СССР».

Так как на сценарий Гордона нападали уже с двух сторон, МакКлюр объявил, что готов забрать проект у четырехсторонней рабочей группы. На следующее утро секретарь передал Кларку записку, в которой говорилось: «Генерал МакКлюр решил отказаться от идеи документального фильма о Нюрнбергском процессе»[39].

Но попытка сделать из фильма сугубо американский проект не устраивала советскую сторону. Через три дня глава советской пропаганды Тюльпанов написал официальное письмо, протестующее против сценария Гордона. Русские, потерявшие миллионы своих граждан, считали, что сам Процесс недостаточно отражал страдания их народа, и выступали против того, чтобы кто-либо из обвиняемых в Нюрнберге был признан невиновным. Они считали, что фильм о Процессе сможет и должен восполнить эту несправедливость.

OMGUS разделял мнение Тюльпанова – фильм не должен точь-в-точь отражать сам судебный процесс. OMGUS утверждал, что их подход к фильму гарантированно обеспечит четырехстороннюю поддержку. Негативное отношение советского делегата к DFWP застало их врасплох.

В своих шести мартовских посланиях Тюльпанову МакКлюр использовал жалобу Тюльпанова как повод достать киноматериалы, имеющиеся у СССР. В своем письме МакКлюр написал русским, что в Управлении уже есть черновой монтажный вариант фильма (по

сценарию Гордона), «почти готовый, и мы собираемся показать его Вам и вашим сотрудникам для комментариев, в надежде, что все расходящиеся взгляды сойдутся в едином фильме, который подойдет для показа немцам во всех четырех зонах».

Уже во время переговоров с Лоренцем и Военным департаментом в Вашингтоне об окончательной форме и содержании сценария, OMGUS, по-видимому, начал производство своего собственного фильма, наперекор и DFWP, и Вашингтону.

Русских не успокоило запоздалое предложение МакКлюра предоставить ему хронику, собранную советской стороной, и поучаствовать в монтаже фильма. Тщетно надеялся МакКлюр на то, что «все расходящиеся взгляды сойдутся в едином фильме». Очень скоро русские пошли своей собственной дорогой, сделав это демонстративно, напоказ.

НЕУМИРАЮЩИЙ СЦЕНАРИЙ

В ответ на агрессивное письмо Лоренца от 27 февраля, Кларк и Уллман набросали три гневные телеграммы (4-го, 6-го, и 8 марта), требуя, чтобы Клей отослал их Лоренцу. Вместо этого 15 марта более выдержанная, но, тем не менее, эмоциональная телеграмма была отослана Военному департаменту. Однако она не была подписана Клеем. В телеграмме использовалось сразу несколько тактических ходов: от упреков до просьб и заявлений. Они отказывались сдаться Лоренцу, но соглашались добавить элементы сценария Шульберга в сценарий Гордона. Кинокоманда соглашалась с правом Военного департамента одобрять «политические» и «юридические» аспекты сценария, но отстаивала свое право контролировать художественные моменты. В той же телеграмме говорилось: «Русские и французы задерживают выход в прокат своих картин в Германии в ожидании показа американского фильма»[40].

Сколько бы раз Лоренц не вонзал нож в сердце сценария Гордона, тот отказывался умирать. С новыми возникшими возражениями от OMGUS Лоренц опять обратился к судье Джексону, предоставив ему копии обоих сценариев. Это, наверное, был первый случай в истории, когда судья американского Верховного суда был призван судить конкурс сценариев. Джексон согласился принять в этом участие и написал заместителю военного секретаря Петерсену. Письмо заканчивалось следующими словами: «На мой взгляд, сценарий Шульберга очень удачно объединяет все дело вокруг обвинений в заговоре и ярко выражает злой и преступный характер нацистского движения. Сценарий Гордона кажется более разбросанным и повторяющимся и нацеленным на отдельных лиц. Несмотря на то, что сце-

нарий Гордона, как и сценарий Шульберга, отражает неимоверные усилия и заложенное в их подготовку время, я не могу не думать, что последний выражает уроки и смысл этого судебного процесса с гораздо большей силой и точностью. Я был бы рад увидеть сценарий Шульберга-Лоренца на экране. С уважением, Роберт Х. Джексон»[41].

АГНЦЫ НА ЗАКЛАНИИ

Пока Лоренц продолжал свой бой с Управлением, Шульберг и Зигман старались особо не высовываться и сконцентрироваться на производстве. Но нельзя сказать, что они были глупцами, – к этому моменту они ясно представляли себе все риски продолжения работы без консенсуса о том, какой из фильмов следовало делать. Идея оказаться вовлеченными в конфликт их совершенно не привлекала, и 31 марта в письме к Лоренцу они запросили четких инструкций.

Лоренц, так же, как и Шульберг, был полон решимости получить разрешение в пользу его сценария, и эта решимость отразилась в телеграмме Военного департамента, посланной в OMGUS: «О сценариях Нюрнбергского процесса Гордона и Шульберга. Оба были рассмотрены с юридической и политической точки зрения. Заместитель военного секретаря решил оставить окончательный выбор за судьей Джексоном. Последний заявил, что сценарий Шульберга намного лучше и одобрил его. Не одобрил сценарий Гордона. Ввиду единогласного мнения о приемлемости сценария Шульберга, сценарий Шульберга должен быть использован для производства фильма. Просьба предоставить в апреле 1000 фунтов кинопленки, выбранной для фильма по сценарию Шульберга – Фишера – Джексона. Шульберг и Джо Зигман, монтажер, готовы выехать».

10 апреля 1947 года оказался насыщенным днем. Наконец были готовы командировочные приказы для Шульберга и Зигмана. Однако в тот же день Кларк отправил телеграмму МакРэю[42] с попыткой обойти аргументы Джексона в поддержку сценария Шульберга. Хватаясь за соломинку МакРэя, он заметил, что Джексон все же не сказал, что сценарий Гордона «политически опасен».

То, что МакКлюр и Кларк продолжали бороться за сценарий Гордона и предлагали либо производство двух фильмов, либо какой-то совмещенный вариант сценариев, привело к грозному звонку от полковника МакРэя, поступившему 18 апреля. Содержание звонка было записано следующим образом: «Использование сценария Гордона не должно далее обсуждаться».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД

Казалось бы, звонок генерала МакРэя должен был стать

заключительным аккордом для сценария Гордона, – но все сложилось совсем иначе.

В тот же день Уллман сделал последний рывок и обратился к генералу МакКлюру, пытаясь снова доказать, что фильм должен быть четырехсторонним проектом под контролем OMGUS. Предложение Кларка и Уллмана о том, что в итоге может получиться два фильма, показывает, насколько далеко они зашли в отстаивании того, что считали исключительной прерогативой Управления.

Их настойчивое несогласие принять ситуацию такой, какой она сложилась, заставляет задаться провокационным вопросом: насколько ограничена была власть оккупационного правительства? Если она была ограничена, насколько их позиция была поддержана их начальником из OMGUSa, генералом Клеем? Был ли Клей готов не повиноваться Военному департаменту? Или же он считал, что его власть в качестве главы военной администрации была абсолютной? Ведь недаром же Клея прозвали «Кайзер»...

18 апреля 1947 года заместитель военного секретаря Петерсен послал генералу Клею еще одно письмо с просьбой поддержать Шульберга всеми надлежащими способами. Клею нужно было встать на чью-то сторону. Собирался ли он поддержать амбиции Кларка и Уллмана или согласиться с Петерсеном и судьей Джексоном? Тон письма Петерсена был довольно уважительным, даже почтительным. Он обращался к Клею на равных, а не как к подчиненному, и с уважением просил о его поддержке – но не требовал ее. Хотя письмо было весьма твердым и не оставляло сомнений: он хотел бы, чтобы его пожелания (точнее, пожелания судьи Джексона) были услышаны и исполнены.

Шульберг лично отвез письмо в Берлин, куда он приехал через 10 дней. Он начал работу при поддержке известного немецкого кинопродюсера Эрика Поммера[43], с которым он успешно совместно работал и потом всю жизнь дружил.

ЛОРЕНЦ УВОЛЬНЯЕТСЯ

Лоренц победил, но победа принесла ему не только радость. Его упорство наконец было вознаграждено. Но вся эта история не прошла бесследно. 17 мая 1947 года он послал телеграмму Шульбергу в Германию, объявляя о своей отставке с 1 июня: «Поздравляю с Вашим упорством (давшим результаты). К Вашему сведению, генерал Ноц резко урезал количество сотрудников. Я увольняюсь с первого июня. Скажите генералу МакКлюру, что я все еще хочу заниматься фильмом о Нюрнбергском процессе, несмотря на то, что я не буду служить под командованием Ноца».

Помимо личных разногласий с Ноцом и слухов о бюджетных сокращениях, общая политическая обстановка тоже была напряженной. 21 марта 1947 года Трумэн подписал первый Указ по программе проверки федеральных служащих на лояльность государству. Лоренц был не готов подписаться под таким документом.

На версии сценария от 1 июля 1947 года последний раз появляется подпись «Одобрено Паре Лоренцем». На дальнейших версиях сценария его имени уже нет. Но Паре Лоренц вернется на сцену, когда производство Шульберга-Зигмана уже будет подходить к концу и когда снова станет ясно, что Военный департамент не собирается выпускать фильм в США.

РУССКИЕ ОПЕРЕДИЛИ!

В тот же день, 10 апреля 1947 года, когда Шульберг и Зигман наконец получили указания ехать в Берлин, генерал МакКлюр уведомил полковника МакРэя, что русские уже закончили свой собственный фильм о Нюрнберге и готовы показать его в Германии. Это был фильм «Суд народов» (или «Нюрнбергский процесс»). Для американцев это стало большим конфузом, ведь именно им принадлежала идея фильма «четырех сторон» как символа послевоенного сотрудничества союзников – пусть даже сотрудничества, которое американцы с самого начала хотели контролировать. Однако МакКлюр рассудил, что русский фильм может сыграть на руку и стать объяснением задержки выхода американского фильма на эту же тему. По словам МакКлюра, советский фильм был «почти полностью односторонним в своем подходе, и в результате этого поступило предложение отложить дату выпуска нашего документального фильма о Нюрнбергском процессе и перенести премьеру на дату годовщины Процесса этой осенью, а также отметить во время выхода фильма, что мы используем наш фильм в качестве уравновешенного исторического документа, а не грубого использования политических эмоций. Если этот план действий примут в Германии, у нас будет время для полной разработки версии, которая не только подойдет нашей основной немецкой аудитории, но и будет достаточно подходящей для выпуска фильма в том масштабе, который Вы хотели для версии Шульберга».

Большая неприятность случилась через пять недель, 21 мая 1947 года, когда американская газета «Нью-Йорк Пост» написала: «Кинотеатр Стэнли в Таймс-Сквер покажет фильм о Нюрнбергском процессе. Но это русская версия фильма. Полная, четырехсторонняя версия фильма сейчас готовится Паре Лоренцом и будет готова через два месяца. Шульберг и Зигман находятся в Берлине и заканчивают работу над фильмом в соответствии с официальным сценарием и уде-

ляя основное внимание подлинной философии Нюрнбергского процесса».

11 июня 1947 года газета «Вараети» тоже покопалась в теме и опубликовала следующую заметку: «Внутренняя путаница в Армии США позволила красным опередить янки с Нюрнбергским фильмом. Внутренние распри в Военном департаменте США позволили русским первыми выйти на старт на пути к мировым экранам с их версией фильма о Нюрнбергском процессе. Разногласия о политической линии между военным начальством в Вашингтоне и Армией в Берлине привели к тому, что ожидаемый четырехсторонний фильм о Процессе потерпел фиаско... В чем именно заключались разногласия между Вашингтоном и Берлином, является секретом, но ходят слухи, что разногласия эти происходили на самом высшем уровне политической власти».

ЗАПОЗДАЛАЯ НАХОДКА

С окончания Нюрнбергского процесса прошло более полугода. Шульберг и Зигман работали не покладая рук над своим фильмом в монтажных комнатах берлинской Темпельгоф-студии. В июне они нашли новую взрывную хронику. Хронику передал Шульбергу доктор Рудольф Голдшмидт, который приобрел немецкий дом Артура Небе[44], бывшего командира СС Айнзацгруппен Б. В сентябре и октябре 1941 года часть СС под командованием Небе была отправлена в Могилев и Минск с указанием истребить в этих городах евреев и пациентов психиатрических больниц. Им помогал Альберт Видманн, химик, работавший в Экспертно-криминалистическом институте в Берлине, который, скорее всего, и был тем, кто провел первые нацистские эксперименты с газовыми камерами.

Фрагмент кинопленки, на которой показана самодельная газовая камера, был, судя по всему, отснят самим Небе. Частично из-за успешного проведения этого эксперимента нацисты впоследствии стали применять этот метод удушения широкомасштабно, используя мобильные газовые фургоны на оккупированных территориях.

Описывая кинонаходку, Шульберг писал: «Это единственная известная хроника, показывающая такое зверство в момент его совершения. По нашему мнению, это наиважнейшее дополнение к киносвидетельствам о варварстве нацистов».

Шульберг решил включить сцену газовой камеры в Могилеве в фильм «Нюрнберг», несмотря на то, что эта хроника не была показана в суде во время процесса. Насколько мне известно, это единственная существующая кинохроника зверства, которая вошла в фильм, хотя не была показана в зале суда.

В ОКОПАХ

Верхушка власти OMGUSa все еще не могла смириться с потерей контроля над фильмом о Нюрнбергском процессе. Дела усложнял и тот факт, что МакКлюр перешел на место Лоренца и теперь работал в Отделе по связям с гражданской администрацией и населением в Нью-Йоркском штабе, где прежде управлял Лоренц. Несмотря на то, что Эрик Поммер заменил Лоренца в качестве куратора Шульберга в Берлине, Лоренц продолжал издалека защищать и поддерживать режиссера.

Чем ближе было окончание работы над фильмом, тем больше вопросов возникало у Шульберга и Зигмана: стоит ли включать показания «обычных немцев», сколько включать тяжелейшей для восприятия хроники концентрационных лагерей и как выбрать англоязычных и немецких дикторов.

29 сентября 1947 года первая версия фильма была показана небольшой аудитории в Берлине. В числе зрителей были посол США Роберт Д. Мёрфи, юридический консультант OMGUS Элвин Рокуэлл, генерал Гордон Текстор, Ллойд Стир и жена Эрика Поммера Гертруда Леви Поммер. Судя по всему, давний соперник Лоренца Эрик Кларк к тому моменту уже поддерживал фильм. Комментарии первых высокопоставленных зрителей известны из докладной записки Кларка Шульбергу. «Когда все уже начали расходиться, посол Мёрфи сказал, что он думает, создателей фильма следует похвалить за выдающееся мастерство. Мистер Стир сказал, что полностью согласен. Мистер Рокуэлл (который всего несколько месяцев до этого написал собственный сценарий), сказал, что он полностью доволен всеми основными представленными темами. Он детально прокомментировал отдельные пункты и был бы рад договориться о встрече, чтобы обсудить их лично после его возвращения 2 октября».

В начале ноября 1947 года в США прибыла отредактированная версия фильма с временной звуковой дорожкой. Эта версия была показана Паре Лоренцу в Нью-Йорке 11 ноября. Через несколько дней она была показана в Вашингтоне генералам Ноце и МакКлюру, Генеральному адвокату Эдриану Фишеру, судьям Верховного суда Роберту Х. Джексону и Феликсу Франкфуртеру и военному секретарю Кеннету Рояллу. Их комментарии были переданы Шульбергу в Берлин.

Концовка фильма вызвала некоторые разногласия, которые могли послужить причиной письма на трех страницах, адресованного Лоуренцем судье Джексону 12 ноября, в котором он изложил свою идею совершенно нового эпилога:

Я бы хотел повторить некоторые высказывания из Вашей речи, которая была после оглашения приговоров, и использовать их в качестве введения в эпилог. Мне кажется, что для Германии в этом эпилоге должны прозвучать следующие пункты:

– Абзац от секретаря Стимсона про Нюрнбергский процесс, в котором он объясняет, почему судебный процесс был самым порядочным планом действий из всех, которые мы могли бы выбрать;

– часть Потсдамской декларации, где говорится о том, почему необходимо оккупировать Германию;

– тот факт, что мы не принесли с собой газовую камеру и рабский трудовой лагерь;

– то, что мы сделали для детей, и тот факт, что детям придется создать Германию, которой можно будет предоставить равные права в Европе и в мире.

Есть и другие сцены, снятые журналистами американского правительства в Германии после оккупации, которые можно легко смонтировать в эпилоге в соответствии с тем, что я предложил.

Неясно, узнал ли Шульберг о письме Лоренца Джексону; в бумагах режиссера по Нюрнбергу копии этого письма не обнаружено. Но Шульберг ответил на официальные комментарии, которые вытекали из показов в Нью-Йорке и Вашингтоне, в записке от 18 ноября 1947 года Поммеру и Кларку. Всего за день до этого молодому кинематографисту исполнилось 25 лет.

В ответ на один из комментариев, он написал: «Я не считаю акцент на евреях слишком сильным, так как вне всяких сомнений евреи были самой большой выделенной группой в программе по уничтожению. Тем не менее этот комментарий будет учтен и, возможно, в фильме будут сделаны какие-то изменения».

Относительно спорной хроники из Могилева он написал следующее: «В окончательном варианте звуковой эффект работающего мотора будет использован во время показа хроники из самодельной газовой камеры. Мы считаем, что это будет дополнительным объяснением того факта, что в здание поступает газ. А для подтверждения – в показаниях Лахаузена говорится о том, что такие вещи происходили на всех восточных территориях».

Относительно переданных ему замечаний по поводу конца фильма, он довольно категорично заявил: «Во-первых, зрительским группам в Нью-Йорке и Вашингтоне нужно было четко обозначить, что в черновом монтаже фильма отсутствует концовка, так как на момент отправки этой версии в Нью-Йорк конец фильма мы еще не сделали. Конец фильма, который мы записали с тех пор, однозначно

заканчивается на конструктивной ноте. В нем нет поверхностной ‘надежды на будущее’, но он разъясняет возможность и шанс лучшего будущего, основанного на принципах и достижениях Нюрнбергского процесса. Я считаю, что банальный эпилог, показывающий ‘вновь открывающиеся школы, церкви, возвращение гражданского права и свободы’ и т. д., будет звучать фальшиво, превратит картину в откровенную пропаганду и навредит документальной сущности фильма».

Версия, показанная в ноябре, как и говорил Шульберг, была лишь рабочей версией фильма. До окончания работы над проектом оставалось еще более трех месяцев. Архивы Шульберга не указывают, посылали ли более позднюю версию фильма на утверждение работникам Военного департамента или судье Джексону в 1948 году. Предположительно, те, кто должен был утвердить последнюю версию фильма, ее утвердили после уведомления об изменениях, которые Шульберг собирался внести – или не внести – в ответ на их замечания.

ВЫБОР НАЗВАНИЯ

Шульберг также долго не мог принять решение, как назвать фильм. В течение нескольких месяцев рабочее название было «Нюрнбергский процесс / Der Nurnberger Prozess». Но на титульной странице сценария, датированной 25 сентября 1947 года, указано два варианта: «Der Rag Bricht An» («Восходит новый день») и «Dies Irae» («День гнева»). На последней копии сценария, датируемой 2 апреля 1948 года, Шульберг вычеркнул слова «Рабочее название / Arbeitstitel. Nurnberger Prozess» и написал: «Nurnberg und seine Lehre», переведенное как «Нюрнберг: урок на сегодня».

Процесс создания фильма был длительным и болезненным, но законченный фильм воплотил идеалы и то серьезное отношение к теме, которые Лоренц, Шульберг и судья Джексон искали с самого начала и что Шульберг в конце концов смог отразить на экране. По крайней мере, ему так казалось...

БЛОКАДА!

К концу апреля 1948 года Шульберг закончил «Нюрнберг» и уже принялся за производство нескольких фильмов по перевоспитанию немецких зрителей. Он склонил на свою сторону своих противников из OMGUS, дослужился до должности главы нового Отдела документального кино Военного министерства и работал продюсером картин «Голод», «Между Востоком и Западом» и «Мистер Маршалл и я».

Тем временем, официальные лица из OMGUS начали беспокоиться о том, когда и как выпустить «Нюрнберг». Германия и Берлин были разделены на четыре зоны, но при этом весь Берлин находился в советской зоне.

Когда в июне 1948 года Советский Союз установил блокаду Западного Берлина [46], послевоенная политика бесповоротно изменилась. Военная администрация США, в ходе большой операции, известной как Берлинская воздушно-десантная операция, предоставляла уголь, еду и лекарства, которые доставлялись в Берлин самолетами, приземляющимися каждые три минуты, днем и ночью, в течение 11 месяцев. С этого момента денацификация отошла на второй план, главным стало выжить.

Блокада привела также к некоему политическому смятению и беспорядку. Немцам, особенно в Берлине, нужна была поддержка. Три лагеря союзников, «держащие оборону» против Советского Союза, должны были обеспечить симпатии мира для Германии и немцев. Фильм о Нюрнбергском процессе только напомнил бы другим странам об ужасах нацизма и мог деморализовать самих немцев.

В течение почти трех лет сотрудники Службы по связям с гражданской администрацией и населением OMGUS пытались бороться с немецкой заидеологизированностью и признавались, что победить принципы фюрера и заменить их демократическими было не так уж и просто. Увидев в это тревожное время на экране своих старых героев, не стали бы немцы искать нового фюрера? Удивительно, что в такой обстановке «Нюрнберг» вообще вышел в Германии, но, тем не менее, – фильм вышел.

НЕМЕЦКАЯ ПРЕМЬЕРА В ГОДОВЩИНУ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

Немецкая премьера фильма *Nuernberg und seine Lehre* состоялась в кинотеатре «Камера» в Штутгарте 21 ноября 1948 года, в 10:30 утра. Барбара Шульберг, жена Стюарта, объяснила причину столь раннего для премьерного показа времени в письме к своим родителям: «Скотт (К этому времени он был уже начальником киноотдела OMGUS в провинции Верттемберг-Баден. – *С. Ш.*), решил, что было бы бездумным делать из премьеры фильма событие. Он незаметно вставил фильм между новостными сводками и обставил все как можно менее претенциозно; но даже несмотря на это, на показ пришли нацисты, многие из них – бывшие гитлерюгенды».

Официальный отчет Джона Скотта об отзывах публики, который он послал Артуру Маейру[47] (на тот момент начальнику киноотдела OMGUS в Берлине), был передан генералу МакКлюру в Нью-Йорк. Отчет начинался с сильной поддержки фильма: «Не возникает вопро-

са, что этот фильм имеет большую ценность и должен быть показан как можно большему количеству немцев». Скотт приложил детальные записи о реакции зрителей, причины выбора именно этого кинотеатра, логику дизайна постера к фильму и отчеты о кассовых сборах. Учитывались дюжины различных реакций – от тех, кто считал, что сцены в концентрационных лагерях были постановочными, – до тех, кто думал, что другие страны, особенно СССР, совершали не менее ужасающие военные преступления, – и до тех, кто был раздавлен чувством вины.

Зрители толпами повалили в кинотеатр, и «Нюрнберг» побил все рекорды по кассовым сборам в этом театре. Учитывая реакцию зрителей, OMGUS решил выпустить фильм в широкий прокат в январе 1949 года. «Nuernberg und seine Lehre» вышел в широкий прокат в Германии, но из-за блокады Берлина показы в столице задержались до лета 1949 года. Отчет Шульберга о выходе фильма был опубликован в официальном информационном издании OMGUS: «‘Нюрнберг’ имел ошеломительный успех и при показах пять раз в день в кинотеатрах больших городов, и в уличных кинотеатрах в деревнях и поселках. Фильм также имел неожиданный успех у критиков. Газеты повсеместно призывали зрителей не пропустить следующие показы. Ошеломленные зрители смотрели фильм в тишине, а после показа тихо уходили, безмолвные и потрясенные. По словам одного из представителей ISD[48] в Верттемберге-Бадене, ‘этот фильм рассказывает немцам больше о нацизме за 80 минут, чем мы смогли им объяснить за три года’».

ВОЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПЛАНИРУЕТ АМЕРИКАНСКИЙ ПРОКАТ «НЮРНБЕРГА»

По мере того, как работа над «Нюрнбергом» подходила к концу, заголовок в газете «Варайети» предсказал американское будущее фильма: «Армия США хочет, чтобы основные киностудии Голливуда выпустили в прокат пятибобиновую версию ‘Нюрнбергского процесса’»[49].

«Скорее всего, Армия США будет искать дистрибьюцию через основные студии страны для показа своего пятибобинового фильма о Нюрнбергском процессе, который вскоре будет доделан в Германии. Хотя политика показа фильма еще будет обсуждаться в Вашингтоне, Отдел гражданской администрации Армии США стремится получить позитивную реакцию на фильм от крупных американских компаний с целью будущего распространения по кинотеатрам США.

В данный момент фильм находится на заключительной стадии монтажа и ожидается, что копия фильма уже будет получена от

Отдела гражданской администрации в течение двух недель. Помимо многочисленной хроники самого процесса, значительная часть фильма посвящена доказательствам, с помощью которых были осуждены нацистские сюзерены»[50].

ПЛАН МАРШАЛЛА

В апреле 1948 года Конгресс США принял Программу восстановления Европы, названную «Планом Маршалла». Новый политический курс был направлен на реконструкцию и объединение Европы, и индустриальные и сельскохозяйственные ресурсы Германии считались принципиально важными в этом контексте. Эта перемена курса государственной политики требовала новой общественной кампании. Государственный департамент заинтересовался фильмом – неожиданно возвращение к Нюрнбергскому процессу стало нежелательным. Сцены зверств вызывали беспокойство. Даже Лоренц поднял эту тему в личной переписке с Джексоном, заметив: «Нужно сократить хронику из концлагерей. Такое количество черепов и крупных планов не нужны».

Весной 1949 года директор по связям с общественностью компании «Юниверсал Пикчерс» Уильям Гордон способствовал тому, что был положен конец широкому прокату фильма: «Лично я считаю, что (фильму) не место ни сейчас, ни в какое-либо другое время в широком прокате для зрителей, ищущих развлечений. Тематика и презентация этой тематики слишком отвратительны и тяжело перевариваемы – в прямом смысле слова».

Получив такую реакцию от одной из основных киностудий страны, неудивительно, что те чиновники, которые даже хотели бы увидеть фильм в широком прокате, сдали свои позиции. Но были получены также и претензии от цензуры.

ПОД ЦЕНЗУРОЙ?

По мере того как новости о немецком прокате «Нюрнберга» распространялись американскими журналистами, пошли слухи, что Армия и Государственный департамент охладели к идее широкого показа фильма в США. В своей колонке в газете «Нью-Йорк Дейли Миррор» от 6 марта 1949 года Уолтер Уинчелл[51] разгромил и тех, и других.

«ПАНТЕОН ГЛУПОСТИ»

Чиновники Государственного департамента и Армии запретили показ военного документального фильма в США, в котором рассказывается о преступной истории нацизма. Они боятся – ой! – что

«он возродит антинемецкие настроения в США». Можно ли представить себе больший идиотизм? Те самые люди, долгом которых было истребить нацизм, теперь пытаются уничтожить свидетельство о его зверстве, – становясь, таким образом, сообщниками нацистских преступлений. С тем же успехом они могли бы сжечь сотни книг и газетных статей о позорных поступках нацистского режима... Не сомневайтесь – то, чего боятся эти опасные чиновники, – это что фильмы такого рода напомнят американцам о своем скандальном провале в Германии. Самый шокирующий скандал со времен Типот Доума[52]*... Пока существуют могилы американских солдат и золотые звезды в окнах их матерей, американцы не забудут нацистские преступления. Они никогда не забудут – пока у американских детей будет свобода читать учебники истории.*

Осенью 1949 года, почти год спустя после выхода фильма в немецкий прокат, Джон Норрис[53], журналист газеты «Вашингтон Пост», начал расследование. Его первая статья, датированная 19 сентября, называлась «Армия отказывается объяснять отсутствие действий по Нюрнбергскому фильму».

Незаконченный документальный фильм о Германии — по описанию самых лучших зарубежных корреспондентов – «потрясающий» и «шедевр» даже в своем еще черновом варианте – не будет выпущен в широкий прокат в кинотеатрах США по указанию Военного департамента.

Запрет овеян тайной. Никто в Пентагоне не признается, почему до сих пор не выполнены указания закончить фильм. Есть несколько версий того, почему Армия запрещает передать фильм частным продюсерам для завершения работы и последующего публичного показа.

Сделанный оккупационным управлением Армии, фильм рассказывает драматичную историю взлета и падения нацизма – начиная от пивнушек Мюнхена и заканчивая Нюрнбергским судебным процессом и казнями.

В фильме наглядно и детально описывается то, что Генри Л. Стимсон[54] *назвал «самой организованной и масштабной безнравственностью в истории человечества»; используются судебные процессы по военным преступлениям и ретроспектива найденных нацистских фильмов, на которых показаны описываемые события.*

Немецкоязычная версия фильма была показана по всей Западной зоне Рейха при забитых залах. Фильм имел огромный кассовый успех.

Но несмотря на это, два года усилий, положенных на поиски

американского продюсера, который бы мог закончить и выпустить фильм в США, не увенчались успехом. Самые разные причины этого были в частном порядке представлены киношникам – и в их глазах эти причины являются простым запретом. Военные чиновники сказали, что фильм под названием «Нюрнберг: урок на сегодня» – «устарел», «непрофессионален», «скучный и неинтересный» и включает «слишком много ужасов». Эти мнения либо были прямо противоположны мнениям нью-йоркских критиков, которые видели черновой монтаж фильма, либо включали пункты, которые всё равно должны были вырезать во время окончательного монтажа.

Поэтому киношники полагают, что у Армии есть другие причины твердо стоять на своем относительно запрета фильма. Они задают вопросы, по сути своей, более фундаментальные, чем сам фильм. Кстати, военные чиновники против заявлений, что они «запретили» фильм. Формально – но лишь формально – они правы. Фильм был свободно показан в Германии и одна 35-мм копия есть в Пентагоне. Эта копия была показана в частном порядке маленьким группам редакторов, монтажеров, адвокатов и киношников в разных городах. И когда в библиотеках Войск связи появится 76-мм копия, она будет доступна для показов адвокатским коллегиям, церковным группам и школьникам – в том виде, в котором фильм находится сейчас. Но так же ясно, что этот ограниченный «любительский» прокат незаконченного фильма сильно отличается от широкого проката законченного, профессионального фильма, афишируемого в известных кинотеатрах.

Норрис предположил потенциальные причины такого отрицательного отношения к фильму.

...известно, что с самого начала внутри Армии были сильные течения против программы осуждения военных преступлений – или, по крайней мере, эти течения возникли после того, как было принято решение судить немецких главнокомандующих и служащих Генштаба. Говорят, что военный министр Кеннет Роялл и заместитель министра Дрейпер были среди тех, кто придерживался этого мнения; они явно были за то, чтобы восстановить Германию в качестве противокоммунистического бастиона. Некоторые говорили, что свое решение они приняли слишком быстро и не приняв во внимание саму возможность возвращения к нацизму.

Норрис взял интервью у автора книги «Взлет и падение Третьего Рейха», поинтересовавшись данной позицией Армии США.

«Это отговорка и обструкция, – сказал Уильям Б. Ширер[55], иностранный корреспондент и комментатор. – Естественно, этот великий фильм нужно закончить и выпустить в широкий прокат, а не закопать в виде 16-мм копии в архивах Войск связи.» Ширер был одним из многочисленных критиков, редакторов и писателей, которые видели фильм прошлой зимой и сильно его хвалили. Он сказал, что вся история противостояния фильму военными являлась «скандалом» и заявил, что он надеялся, что «вся эта смердящая история станет известна общественности».

Так же отреагировал и Джон Гюнтер[56]. «Мне чрезвычайно понравилась картина, – сказал Гюнтер, автор «Внутри США», «Внутри Европы» и т. д. – И я считаю, что она должна быть показана в каждом городе, в каждом поселке и деревне страны. Решение Армии не выпустить фильм в широкий прокат является чудовищным и шокирующим».

Можно процитировать и судью Джексона, где он говорит, что нью-йоркская коллегия адвокатов хотела показать «Нюрнберг», но не смогла получить копию фильму у Пентагона, и в итоге ей пришлось показать советский фильм о процессе.

Норрис написал еще две статьи на эту тему, 20 и 21 сентября. В каждой статье он упоминал, что Паре Лоренц предлагал закончить фильм за свой счет. Независимый тон трех статей Норриса поражает, так же как и количество текста о Паре Лоренце и о его многочисленных просьбах спасти фильм из подземелий Армии. Нигде в этих трех статьях не упоминается, что тесть Паре Лоренца, Юджин Мейер, был хозяином газеты «Вашингтон Пост».

С другой стороны, это были явно важные и политически актуальные статьи; уклончивость Армии и Норрису, и другим журналистам действительно казалась попыткой препятствовать появлению фильма.

«Вопрос в том, – заметил Ширер газете «Вашингтон Пост», – являются ли американцы достаточно взрослыми, чтобы самим решать, какие фильмы они хотят смотреть, и должна ли Армия выбирать за них. Генералы пытаются решить, что мы увидим...»

Норрис, репортер «Поста», добавил к этому: «Некоторые предполагают, что среди властей США есть люди, которые считают, что американцы настолько просты, что они могут ненавидеть лишь одного врага в один отрезок времени. ‘Забудьте нацистов’, советуют они, ‘сконцентрируйтесь на красных’».

ЭПИЛОГ

Как писала газета «Вашингтон Пост», в начале 1948 года Паре Лоренц предложил выкупить фильм у Армии с целью самому запу-

стить его в американских кинотеатрах. Лоренц повторил просьбу через своего адвоката Чарльза Горски в июле 1948 года. Это не было пустым теоретизированием, ведь в свое время Лоренц добился того, что его документальные фильмы «Плуг, сломавший степи» и «Река» были показаны в широком прокате коммерческими кинотеатрами в 1936 и 1938 годах.

Тем временем, другой защитник фильма, судья Верховного суда Джексон, продолжал давить на власти, чтобы выпустить фильм в свет. В письме, отправленном ему 19 ноября 1948 года Военным министром Кеннетом Рояллом[57], кажется, настроенным категорически против фильма, говорится: «Выход в широкий прокат в этой стране не рассматривается. Я считаю, что тематика фильма противоречит настоящей политике и целям властей, и поэтому на данный момент картина не представляет ценности для Армии и для нации целиком».

Армия тянула с решением по поводу предложения Лоренца. Судя по всему, два года спустя, в январе 1950-го, они все еще пытались решить, как лучше ответить ему. Именно эта дата стоит на внутреннем отчете Государственного департамента, который был передан генералу Джорджу В. Эйстеру генералом Эвардом Янгом, начальником Отдела военных преступлений при судье Военной генеральной прокуратуры (JAG). В отчете Госдепартамента была воспроизведена вся история фильма «Нюрнберг», включая успешный прокат в Германии, – и указывалось, что в Германии фильм все еще был в прокате.

Сопроводительный меморандум от генерала Янга указывал, что, помимо других фактов, генерал Вильям Дрейпер ответил на запрос Лоренца и Горски от 1948 года, «сказав, что Военный департамент еще не решил, стоит ли показывать фильм американской публике». В 1950 году решение все еще не было принято.

Как бы там ни было, фильм так и не вышел в широкий прокат и не был показан американцам.

Паре Лоренц доблестно боролся за то, чтобы «Нюрнберг» был сделан, и более поздние интервью с ним свидетельствуют о том, что спрятанный под замок фильм разбил его сердце. Но политическая атмосфера изменилась. Лоренц чувствовал это и выразил свое мнение по этому поводу в письме судье Джексону от 12 ноября 1947 года: «Следует добавить эпилог, где показана новая Германия и что следует сделать для демократизации».

Читая эти строки, нельзя не почувствовать всю мучительность ситуации. Ведь в своей попытке укоротить парус, ловя попутный ветер, Лоренцу пришлось частично отречься от фильма, который он так упорно защищал. Перефокусировав фильм под американского

зрителя в начале «холодной войны», он всего лишь пытался спасти картину. Но политические дуновения были настолько сильны, что даже Лоренц, который мастерски перехитрил военную иерархию три года назад, не смог на этот раз доплыть до цели.

Паре Лоренц больше не снимет ни одного фильма, и в течение его жизни «Нюрнберг: урок на сегодня» не выйдет на американские экраны. Не застанут выхода фильма в прокат ни судья Джексон, ни Стюарт Шульберг, ни Джозеф Зигман. Джексон умрет в 1954-м, Шульберг – в 1979-м, Лоренц – в 1992-м, Зигман – в 1996-м.

НОВОЕ НАЧАЛО

В 2003 году дети Барбары и Стюарта Шульберга нашли старые документы в доме матери, описывающие поиск нацистской хроники и историю создания «Нюрнберга». Их дочь Сандра Шульберг, к тому времени уже известный кинопродюсер, решила воссоздать фильм. Она привлекла режиссера Джошуа Валецки к этому проекту. И вместе они создали новый 35-мм негатив фильма, сделанный из лучшей сохранившейся 35-мм копии законченного фильма «Нюрнберг», а также восстановили диалоги, закадровый текст и музыку. Актер Лев Шрайбер перезаписал оригинальный закадровый текст, который сохранился на оставшихся англоязычных копиях фильма.

Премьера реконструкции фильма «Нюрнберг: урок на сегодня», сделанная фирмами Шульберг / Валецки, прошла в Гааге в ноябре 2009 года и была посвящена Беньямину Ференцу, нюрнбергскому прокурору, и Антонио Кассесе, первому президенту Международного криминального трибунала в бывшей Югославии. Оба они являются лауреатами приза Эрасмуса[58].

Год спустя, осенью 2010 года, фильм впервые был показан в США. Он получил наилучшие отзывы от американских критиков. Фильм медленно начинает свой путь по всему миру – теперь уже в переведенной на другие языки версии[59].

«УРОК НА СЕГОДНЯ»

В своей вступительной речи в зале суда Нюрнберга судья Роберт Джексон указал Трибуналу на то, что он назвал «самой большой угрозой нашего времени – на агрессивную войну». Он верил, что Трибунал должен не только наказать военные преступления и преступления против человечества, но что он также должен наказать – и таким образом предотвратить – саму войну.

Идея Джексона и других прокуроров прекратить войны, сделав их незаконными, сегодня может показаться нам причудливой, – но, тем не менее, все герои этой истории пытались сделать именно это.

Последняя фраза фильма предостерегает зрителя и сегодня:

ПУСТЬ «НЮРНБЕРГ» ПОСЛУЖИТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ДЛЯ КАЖДОГО, КТО ПЛАНИРУЕТ И НАЧИНАЕТ АГРЕССИВНУЮ ВОЙНУ.

Но кажется, современный мир до сих пор отвергает эту идею Нюрнбергского процесса.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Международный военный трибунал рассматривал 24 обвинительных дела. Однако Густав Крупп, немецкий промышленник и финансовый магнат, оказавший значительную материальную поддержку нацистскому движению, был выведен из списка обвиняемых. В 1945 году Крупп-старший был внесен в список обвиняемых для Нюрнбергского процесса, но обследовавшая его международная медицинская комиссия нашла, что по состоянию здоровья он не может предстать перед судом. Американский прокурор предложил заменить Густава Круппа на скамье подсудимых его сыном Альфридом, однако представители СССР и Франции отклонили это предложение. Впоследствии Альфрид Крупп был подсудимым на одном из последующих Нюрнбергских процессов в американском трибунале (1947–1948). Роберт Лей, рейхсляйтер, обергруппенфюрер СА, заведующий организационным отделом НСДАП, с 1933 года руководитель Германского трудового фронта, покончил жизнь самоубийством в Нюрнбергской тюрьме. «Исчезнувший» Мартин Борман был заочно приговорен к смертной казни. Таким образом, перед судом предстал 21 обвиняемый.

2. Петер фон Хагенбах (1420–1474) – бургундский рыцарь, впервые в истории по решению международного суда осужденный и казненный как военный преступник.

3. Роберт Хьюаут Джексон (Robert Houghwout Jackson, 1892–1954) – Генеральный прокурор (1940–41) и судья Верховного суда США (1941–54), главный обвинитель от США на Нюрнбергском процессе.

4. Уильям Джозеф Донован (William Joseph Donovan, «Дикий Билл» / Wild Bill; 1883–1959) – американский юрист, руководитель Управления стратегических служб во время Второй мировой войны.

5. Джон Форд (John Ford, настоящее имя Джон Мартин О'Фини, 1894 –1973) – американский кинорежиссер и писатель, крупнейший мастер вестерна, единственный обладатель четырех «Оскаров» за лучшую режиссуру. За свои почти 50 лет режиссерской деятельности Форд снял приблизительно 130 кинофильмов.

6. Эдгар Рэй Келлогг (*Edgar Ray Kellogg*, 1905–1976) – американский кинорежиссер. Во время Второй мировой войны был лейтенантом Военно-мор-

ских сил США, OSS. Field Photographing Branch, где работал вместе с Джоном Фордом. После войны Келлогг работал в Голливуде со спецэффектами для «20th Century Fox», возглавлял один из отделов. Его режиссерские дебюты – *The Killer Shrews* и *The Giant Gila Monster* in 1959.

7. Отдел OSS, куда были направлены братья Шульберги, назывался «Полевой отдел фотографии» (Field Photographic Branch), но его чаще называли просто «Полевая фотография» (Field Photo). Его задачей был розыск нацистских видеоматериалов, которые можно было использовать как обвинительные материалы в процессе. (*Сандра Шульберг*).

Братья Шульберги – сыновья продюсера, исполнительного директора Б.-П. Шульберга. Бадд Шульберг (1914–2009) – режиссер. Его известный фильм – «Ветер над равнинами» (1958). Участвовал в написании сценариев к многочисленным фильмам. Был продюсером фильма *Nürnberg und seine Lehre* (1946), сериала *Everglades* (1961–1962). Известен также своими произведениями: *What Makes Sammy Run?, The Harder They Fall*, *On the Waterfront* (киносценарий) и т. д. Стюарт Шульберг (1922–1979) – оставил учебу в Чикагском университете после нападения на Pearl Harbor и записался в Военно-морские силы США. Был приписан к Office of Strategic Services (OSS). После войны работал над фильмами по «Плану Маршалла» для американского правительства, в том числе – *No Way Back* (1953, лучший фильм в Западной Германии 1954 года). Присоединился к NBC Television в 1961, был одним из продюсеров *David Brinkleys Journal* (1961), а в 1965, – продюсером проекта NBC *Sports in Action*, позднее – продюсером *The Today Show* – до 1976. Оба брата были номинированы на Emmys за *Angry Voices*.

8. Паре Лоренц (1905–1992) – режиссер, продюсер, сценарист. Один из наиболее влиятельных кинорежиссеров во времена Великой депрессии. Был известен как «личный» режиссер Рузвельта – «FDR's filmmaker». Лоренц отстаивал государственное спонсирование документального кино США. Во время войны служил в Военно-воздушных силах США, занимался производством технических фильмов, документацией, а также – сбором материалов для Нюрнбергского трибунала.

9. Джозеф Зигман (Joseph Zigman) во время войны служил в «Полевой фотографии» (OSS Film Unit) по сбору обвинительных видеоматериалов для Нюрнбергского процесса, куда попал из Военно-морских сил США. После войны много лет проработал в качестве административного директора и продюсера на CBS в Нью-Йорке.

10. «Немецкое еженедельное обозрение» *(Die Deutsche Wochenschau)* – немецкий пропагандистский киножурнал времен Второй мировой войны.

11. Отто-Эрнст Ремер (1912–1997, Otto-Ernst Remer) – один из самых молодых генералов Вермахта. Входил в число руководителей подавления Июльского заговора. После войны был одним из основателей и вторым председателем Социалистической имперской партии Германии.

12. Office of Alien Property Custodian был создан во время Первой мировой войны и затем воссоздан во время Второй мировой. В задачу этого отдела входило изъятие и хранение собственности «врагов государства», «*alien property custodian*», отвечая за «получение, хранение, администрирование и подсчет» «всех денег и собственности, которые принадлежат врагам или их союзникам на территории США».

13. Роберт Пэрриш (1916–1995, Robert Parrish) – в начале карьеры, в детском возрасте, – актер, затем – киномонтажер (в 1930–40-е годы работал с Д. Фордом) и кинорежиссер (в 1950–70-е годы). В 1948 году он разделил «Оскара» за монтаж боксерской нуаровой драмы «Тело и душа» (1947).

14. Письмо С. Шульберга Барбаре Шульберг от 24 июля 1945 года. Семейный архив Шульбергов.

15. Георгий Александрович Авенариус (1903–1958) – советский киновед, один из основоположников изучения кинематографа в СССР. Начинал работать в Киевском киноинституте, затем был приглашен во ВГИК, где в 1936–1941 гг. создал академический курс истории зарубежного кино и написал ряд искусствоведческих исследований. С 1939 курировал создание отечественной кинотеки (сбор, систематизацию, хранение и описание фильмов). В октябре 1948 в Госфильмофонде – старшим научным сотрудником отдела обработки заграничного фильмофонда. В послевоенный период подвергался резкой критике. Во второй половине 1950-х годов был автором и ведущим популярной телевизионной передачи по истории кино. Был первым и лучшим исследователем творчества Чарли Чаплина. Книга «Чарльз Спенсер Чаплин: Очерк раннего периода творчества» была издана в 1960 г. после смерти Авенариуса.

16. Генрих Гофман (Heinrich Hoffmann; 1885–1957) – личный фотограф Адольфа Гитлера.

17. Бальдур Бенедикт фон Ширах (Baldur Benedikt von Schirach; 1907–1974) – немецкий партийный молодежный лидер, рейхсюгендфюрер, затем – гауляйтер Вены. Умело руководил гитлерюгендом, превратив его в массовую молодежную организацию (к 1940 году – 97% молодых людей призывного возраста). На Нюрнбергском процессе был признан виновным в преступлениях против человечества и приговорен к 20 годам заключения. Заключение он полностью отбыл в берлинской военной тюрьме Шпандау. Освобожден в 1966 г. В 1967 опубликовал в Гамбурге книгу воспоминаний «Я верил Гитлеру».

18. Против него были выдвинуты обвинения по трем пунктам: заговор с целью ведения агрессивной войны, военные преступления и преступления против человечества.

19. Юлиус Стрейхер (Julius Streicher, 1885–1946) крупный деятель нацистской партии (NSDAP) до Второй мировой войны. Был основателем и издателем антисемитской газеты *Der Stürmer*, главного органа нацистской пропаганды. На Процессе был обвинен в преступлениях против человечества и казнен.

20. Дэн Кайли (Daniel Urban Kiley, 1912–2004) – выдающийся американский ландшафтный архитектор. С 1943 to 1945 служил в Армии США. Кайли оформлял зал суда Нюрнбергского трибунала. После Второй мировой войны он стал работать и в Европе, создав один из самых известных своих проектов – центральный бульвар нового района Дефанс в Париже.
21. Роберт МакКлюр (Robert Alexis McClure, 1897–1957) – американский генерал и психолог, прозванный «отцом-основателем» армейской службы пропаганды. Именно МакКлюр был назначен директором нового отдела Психологического военного подразделения SHAEF в 1944. После войны в Европе он отвечал за Отдел контроля информации, управлявший всем радиовещанием и газетами в Германии на первом этапе оккупации.
22. Тюльпанов Сергей Иванович (1901–1984) – советский ученый-экономис, доктор экономических наук, профессор Ленинградского университета, заслуженный деятель науки РСФСР. Первые послевоенные годы – начальник 7-го Отдела политического управления Группы советских оккупационных войск в Германии.
23. Василий Данилович Соколовский (1897–1968) – советский военачальник, маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Во время войны – начальник штаба разных фронтов, которыми командовал Жуков, после войны известен как теоретик, автор труда «Военная стратегия».
24. Полковник Уильям А. Уллман (William A. Ullman) – шеф Documentary Film Section в Отделе контроля информации (Information Control Division). Эрик Кларк (Eric T. Clarke) – глава отдела Film / Theatre / Film в Американской военной администрации в Берлине.
25. Телефонограмма от полковника МакРэя ген. МакКлюру от 18 сентября 1946 года. Из семейного архива Шульбергов.
26. Оливер Патон Эхолс (Oliver Patton Echols, 1892–1954) – офицер Военно-воздушных сил США. Отвечал за поставки авиаоборудования (под началом ген. Генри Г. Арнольда). Сразу после войны был начальником Отдела внутренних дел Контрольного совета США в Германии, затем – в Военном департаменте в Вашингтоне. Даниэль Ноце (Daniel Noce, 1894–1976) – ген.-лейтенант Армии США. В 1946 г. был директором Военного отдела Гражданского департамента на оккупированных территориях Германии, Австрии (War Department’s Civil Affairs Division.) Затем работал по направлению Филиппины-Китай-Япония.
27. Говард Ч. Петерсен (Howard Charles Petersen, 1910–1995) – с 1945 по 1947 гг. был помощником военного министра США.
28. Люсиус Дюбиньон Клей (Lucius Dibignon Clay, 1897–1978) – генерал, глава администрации американской зоны оккупации в Германии. Клей считается отцом Берлинского воздушного моста во время блокады Западного Берлина Советским Союзом (1948–1949).
29. Джон Скотт (John Scott, 1912–1976) – американский писатель, автор

Behind the Urals: An American Worker in Russia's City of Steel. Во время войны работал в Управлении стратегических служб (Office of Strategic Services, OSS). OSS был предшественником ЦРУ (Central Intelligence Agency, CIA).

30. Майкл Гордон – британский сценарист и кинередактор. Режиссер нескольких документальных фильмов и художественного фильма *Wherever She Goes* (1951).

31. Записка Паре Лоренца полк. П.-Б. Мак Рэю от 5 декабря 1946. Из семейного архива Шульбергов.

32. Письмо помощника министра иностранных дел Г. Петерсена генералу Л. Клею от 11 января 1947 г. Из семейного архива Шульбергов.

33. Адриан Фишер (Adrian Sanford Fisher, 1914–1983) – американский адвокат; находился на государственной службе с поздних 1930-х до нач. 1980-х. Работал в Военном департаменте и в Государственном департаменте. Принимал участие в работе Нюрнбергского трибунала и в разработке программы «холодной войны» в администрации президента Трумэна.

34. Элвин Рокуэлл (Alvin John Rockwell, 1909–1999) – известный адвокат из Сан Франциско, который участвовал в разработке основ программы демократизации послевоенной Германии.

35. Записка С. Шульберга Паре Лоренцу от 26 февраля 1947 года. Из семейного архива Шульбергов.

36. 20 июля 1944 года в Народном суде (Volksgerichtshof) Германии нацистский судья Роланд Фрейслер вел дело о заговоре против Гитлера. Часть заседаний была отснята, в том числе и те моменты, когда Фрейслер кричит на защитников, не давая им отвечать на его же вопросы.

37.Телефонограмма Паре Лоренца ген. МакКлюру от 28 февраля 1947 года. Из семейного архива Шульбергов.

38. Political Directorat of the Allied Control Authority – орган верховной власти в оккупированной Германии, образованный после Второй мировой войны державами-победительницами. В подчинении Контрольного совета находилась Межсоюзническая комендатура, осуществлявшая властные полномочия в разделенном на оккупационные секторы Берлине.

39. Отпечатанная записка Эрику Кларку из офиса ген. МакКлюра от 18 февраля 1947 года.

40. Насколько нам известно, не существует подобного французского фильма. Однако в записке Государственного департамента США не позднее второй половины 1948 года утверждается, что французы создали такой фильм и показали его не только в Германии в своей зоне, но и во Франции. Этот факт требует дальнейших исследований (*Прим. – Сандра Шульберг*)

41. Письмо от 28 марта 1947 года. Из семейного архива Шульбергов.

42. Уильям А. МакРэй (William Allan McRae, 1909–1973) – американский адвокат и федеральный судья; во время войны был полковником американских Военно-воздушных сил с 1942 по 1945 гг. Был советником Joint Chiefs

of Staff на Сан-Францисской конференции в июне 1945-го, сформировавшей ООН.

43. Эрих Поммер (Erich Pommer, 1889–1966) – кинопродюсер немецкого происхождения, один из самых влиятельных людей в немецкой и европейской киноиндустрии того периода. Продюсер фильмов-классики немецкого экспрессионизма, в их числе – «Кабинет доктора Калигари».

44. Артур Небе (Arthur Nebe, 1894–1945) – группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции и рейхскриминальдиректор, начальник уголовной полиции Рейха. Артур Небе был вовлечен в Июльский заговор 1944 года против Адольфа Гитлера. 2 марта 1945 г. Народная судебная палата приговорила его к смертной казни через повешение.

45. Альберт Видманн (Albert Widmann, 1912–1986) – немецкий химик, офицер СС. Работал в Action T4 в программе по эфтаназии в нацистской Германии. Был обвиняемым в двух независимых судебных процессах в Западной Германии в 1960-х за свою деятельность в годы войны.

46. Блокада Западного Берлина, также в советской историографии – Первый Берлинский кризис (1948–1949) – блокада Советским Союзом железнодорожных и автомобильных путей западных союзников в западные секторы Берлина, находящиеся под их контролем. Один из первых кризисов «холодой войны».

47. Артур Л. Майер (Arthur L. Mayer, 1886–1981) – американский кинопродюсер и дистрибьютер; работал с фильмами известных европейских кинорежиссеров, в их числе – Р. Росселлини. В 1949 году работал с французскими фильмами в США.

48. Архив в Бад Арользене (федеральная земля Гессен), в котором собраны уникальные документы, свидетельствующие о преступлениях нацистов в период Третьего рейха; был создан в 1946 году международной исследовательской организацией ISD (Internationaler Suchdienst). В состав учредителей ISD входят представители 11 стран, в том числе Германии, Франции, Великобритании, Италии, Израиля и США.

49. «Пятибобиновый» размер, т. е. – очень длинный. Напр., один выпуск новостей в 1930–40-е годы – это одна бобина (*Прим. переводчика – К. А.*)

50. Вырезка хранится в семейном архиве Шульбергов. Дата отсутствует.

51. Уолтер Уинчелл (1897–1972) – американский комментатор. С 1929 года работал в *New York Daily Mirror*, где он начал вести собственную колонку. 12 мая 1930 года Уинчелл дебютировал на радиостанции WABC. Он стал одним из первых журналистов Америки, высказавшихся против Гитлера.

52. Типот-доумский нефтяной скандал (Teapot Dome scandal) – в 1922–24 гг. в США разразился скандал по поводу аферы, организованной т. н. «бандой из Огайо» из окружения президента Гардинга. Гардинг скончался еще до разоблачения аферы сенатором от шт. Монтана Томасом Уолшем, разоблачившим министра внутренних дел Альберта Фолла. Последний был признан

виновным в получении взятки в размере 100 тыс. долл. и приговорен к тюремному заключению в 1929 г.

53. Джон Норрис (John G. Norris, 1907/08–1993) – американский журналист, писатель, работал в *The Washington Post* с 1938 года; во время войны освещал темы международной политики и обороны.

54. Генри Льюис Стимсон (Henry Lewis Stimson, 1867–1950) – американский государственный деятель, занимавший пост военного министра США, генерал-губернатора Филиппин и госсекретаря США.

55. Уильям Лоуренс Ширер (William Lawrence Shirer; 1904–1993) – американский журналист, историк. В 1945–46 гг. работал на Нюрнбергском процессе. В 1947 г. уволился из CBS. Подвергался критике в ходе американской «охоты на ведьм». После этого не мог заниматься журналистикой, опубликовал ряд книг. Наиболее известными его произведениями являются «Взлет и падение Третьего рейха» и «Берлинский дневник».

56. Джон Гюнтер (John Gunther, 1901–1970) – американский журналист, автор популярных книг на социополитические темы «Inside» (1936–1972), в том числе – «Inside U.S.A.» в 1947 году.

57. Кеннет Клайборн Роялл (Kenneth Claiborne Royall, 1894–1971) – юрист и государственный деятель, военный министр США (1947), министр армии (1947–1949). В июле 1947 г. назначен на должность военного министра, через несколько месяцев ведомство было преобразовано в министерство армии США и Роялл стал его первым министром.

58. The Erasmus Prize – ежегодная награда Praemium Erasmianum Foundation отдельным представителям или институтам за особый вклад в культуру, общество, социальные науки.

59. Фильм «Нюрнберг: урок на сегодня» в октябре 2016 года был включен в программу Девятого фестиваля русскоязычного документального кино в Нью-Йорке – RusDocFilmFest-3W – как фильм Открытия фестиваля в рамках программы «Память о Холокосте в 21 веке». Ежегодный кинофестиваль организован и проводится корпорацией «Новый Журнал».

Перевод с английского – Ксения Адамович, Даниэль Векслер
Примечания – Сандра Шульберг, Марина Адамович

Шесть монологов Эрнста Неизвестного

мифы и правда художника

О СЕМЬЕ

– Эрнст, Вы – человек с мировым именем. Еще в 1976 году были избраны почетным членом Европейской академии искусства и науки (Париж), в 1989 – действительным членом Европейской академии искусства и науки, в 1986 – действующим членом Нью-Йоркской академии наук, иностранным членом шведской Королевской академии изящных искусств (Стокгольм) и пр. Были избраны в Международное Общество защиты прав человека. За монумент «Маска скорби», посвященный жертвам сталинских репрессий, Вы были удостоины Государственной премии Росссийской Федерации. В Уттесборге (Швеция) открыт музей «Древо Жизни», посвященный Вашим работам. Ваши работы находятся во всех крупнейших музеях мира – во Франции, в Италии, Швеции, США, Австрии, Германии, Ватикане, да и не только в музеях – вспомним хотя бы «Древо жизни», «Золотого ребенка»; мемориал жертвам ГУЛАга в Воркуте или «Исход и возвращение» в Калмыкии... Вы читали лекции в Гарвардском и Йельском университетах, в Беркли; преподавали в Колумбийском... О Вас пишут книги, Вас приглашают короли и президенты... Жизнь Ваша обросла легендами. Давайте попробуем убрать шелуху с правды.

Вы родились на Урале, в 1925 году. Большинство источников утверждает, что родители были репрессированы...

– Нет. Это уже – легенда, хотя она больше похожа на правду, чем сама правда. Вот сейчас в Верхнеуральске вышла книга «Неизвестное о Неизвестном», посвященная моему роду со стороны отца. Авторы раскопали следы, о которых я даже не подозревал. Дело в том, что поколение моего отца, да и я во времена молодости, жили в сплошной лжи. Даже в семье старались скрыть свое происхождение. И выясняется, что фамилия наша не Неизвестный, а – Неизвестнов. Отец сменил последние две буквы, будучи мудрым человеком, и, как я понимаю сейчас, эти две буквы нас, в общем-то, спасли.

Мой отец родился в Верхнеуральске, в семье купца Моисея Неизвестнова. У деда была типография, обслуживала она в основном яицкое казачество. Я и в детстве знал, что мы каким-то образом – лишенцы.

Папа, конечно, изменил фамилию, но за ним много «грехов»

водилось – скажем, в свое время он был адъютантом Антонова – помните Тамбовское восстание 1918–21?.. История эта мне известна от бабки, а сейчас найдены и документы. Каким-то образом в самый неподходящий момент отец оказался дома, в Верхнеуральске – власть то белая, то красная, то еще какая-то... Красные и арестовали отца и деда, их должны были расстрелять. Тут бабушка вспомнила, что в их типографии печаталась и социал-демократическая литература. Она спустилась в подвал и нашла листовки. Деда и отца помиловали. Вообще, деда трудно было заподозрить в подобных симпатиях – он и полицию в свое время вызывал для усмирения бунтующих типографских рабочих. Но факт остается фактом: на деньги Саввы Морозова социалистами были куплены шрифты и бумага, и все это – доставлено в типографию деда. Время было сложное.

Я до сих пор не выяснил статус моих родственников со стороны отца. Они, видимо, из кантонистов. Прадед прослужил 27 лет военным.

Со стороны мамы мы тоже были не очень-то «социально близкими». У мамы есть даже такое эссе – «Утерянная родословная», где она описывает происхождение своей фамилии Дежур, так сказать, легенда семейная, которая, кстати, подтвердилась после моего отъезда из России. Моя мама – из рода испанских сефардских евреев, принявших католичество. После, уже во Франции, они получили баронский титул и приставку «де-». После революции «де» присоединилось к фамилии и превратилось в невинное «Дижур».

Дед очень гордился своим происхождением. Он собирал сведения о всех де Журах, переписывался со многими странами, словом, пестовал эту маленькую приставочку «де»... По профессии он был путейским инженером. Таким образом, и после революции он пользовался некоторыми благами. Это был абсолютно ассимилированный человек. Мама описывает, что в доме постоянно толпились какие-то странные «латыши». Ну, НКВД слегка и припугнуло деда. Больше он де Журов не искал. Когда я попал на Запад, де Журы приезжали ко мне, даже привезли специальную бумагу о титуле – с геральдикой и прочим... В роду рассказывают: некогда один мой родственник так обеднел, что через одесскую газету продавал свой титул за стопку водки. Думаю, само объявление стоило стопку. Таковыми были родственники со стороны мамы.

Конечно, недавнее тогда прошлое наложило определенную печать на мое детство. Старорежимность за восемь лет не успела еще выветриться. Папа был крайним, очевидным антисоветчиком. Но его не посадили. Трудно объяснить это везение... Думаю, потому что на его месте другого подобного врача в детской клинике в Свердловске не было. Помните, у Булгакова в «Собачьем сердце» профессора

Преображенского? – Так это точно мой отец! Такой же своего рода уникум в реальной жизни. Булгаков ничего не выдумал, это срез определенного круга: «Я вам не Шариков, я – московский студент». Он был блестящий детский хирург. И пользовались его услугами все – в том числе и дети начальников. Папа 50 лет руководил детской клиникой, стал заслуженным врачом России. Начальство смотрело на него сквозь пальцы. Он был им нужен. Удивительным образом, а может быть и не столь удивительным, но это отношение впоследствии перекинулось и на меня – и в конфликте с Хрущевым, и в отношениях с Брежневым–Косыгиным. На мои однозначно антисоветские речи мои знакомые референты ЦК тянули: да, ты обижен... мы понимаем. Короче, я тоже был нужен. Заменить меня некем было на моем уровне. Кстати, если обратиться к более глубинным вещам, то возникает почти мистическое чувство, что ангел-хранитель оберегал и отца, и всю нашу семью. Отец был подлинный, чистый патриот, таких людей я встретил уже здесь – с каким-то нутряным ощущением державности, которое, как ни противоречит моему инстинкту современного интеллектуала, мне от отца тоже передалось.

...Еще кое-что о маме. Она была ученицей Вернадского, большой знаток теософии. Откуда и ко мне попали знания, «не положенные советскому мальчику», удивившие в свое время Михаила Бахтина.

– Еще одна легенда: во время войны Вы были смертельно ранены, родители получили на Вас похоронку.

– Нет, это не легенда, это – правда. Был ранен, клиническая смерть, меня потащили в морг... Некоторая бюрократическая проволочка – и похоронка ушла с почты, а я оказался среди живых.

– В последний месяц войны под Веной, будучи командиром взвода, Вы подняли своих солдат в атаку, были тяжело ранены и эвакуированы с поля боя. Двадцать лет Вас не могли разыскать. Говорят, наградная комиссия нашла Вас как раз в тот момент, когда против Вас началась грязная кампания после событий с Хрущевым на Манежной выставке. По совершенно случайному совпадению – в канун празднования 20-летия победы в Великой Отечественной войне. И тут выяснилось, что Неизвестный во время войны был представлен к «Красной звезде» за отвагу. И вы ее наконец получили.

– Да.

О ЧЕЛОВЕКЕ

– Вы говорите о глубинном уровне человеческого существования, о провиде́нии, предсказании, о существовании неких архети-

пов, на основе которых и строится личность. Иными словами – ваяете достаточно сложную скульптуру: Человек. Для вас как для скульптора этот диалог формы и содержания, я понимаю, принципиален. Впрочем, для любого художника – это основной вопрос. Скажем, известный Вам Сергей Голлербах убежден, что форма – первична, и если мы схватываем форму, то через нее-то и обнаруживаем содержание.

– Я думаю, что форма и содержание есть две неотъемлемые части единого целого – произведения, любого произведения. Это старый спор, в нем трудно удержаться от некоторой банализации. Сергей Голлербах – один из самых тонких людей, с которыми я встречался. Но мы в принципе живем во времена банализации. Это началось задолго до нас, когда подспудно начала отступать и уступать герметика. Вообще, когда идея распространяется на широкую аудиторию, демократизируется, она требует некоторого упрощения. В наше время этот процесс достиг предела. Самые сакральные вещи в современном представлении, перестав быть тайнами, якобы теряют свою сакральную суть. Хотя ведь сакральное всегда таковым и останется?

Я – человек веры. В свое время Мираб Мамардашвили дал обо мне интервью, там он признался: «Первое, что меня поразило в Эрнсте, когда мы с ним познакомились на философском факультете МГУ, – его глубинное религиозное сознание». По тем временам, мы о религии не говорили. Я, как и мой отец, – достаточно целомудренный в этих вещах человек. Когда при мне начинают все эти разговоры – камлания, как я их называю, – я сознательно ухожу от них. Хотя с детства читаю именно такую литературу. Отец хранил все книги, ничего не боясь и ничего не выбрасывая: отца Павла Флоренского я прочел в юности, хотя и было сложно, но до сих пор питаюсь этим. У меня была и осталась совершенно детская вера в чудо.

...Так вот, происходит банализация. Не существует базиса и надстройки – существует жизнь во всей ее сложности. Не существует формы и содержания. Существует искусство. В своей книге «Кентавр» я об этом пишу. Форма – уже есть содержание. А хаос, энтропия борется с содержанием, с жизнью.

Я плохо представляю себе художника без религиозного мирочувствования, предчувствия. То, что Мираб называл во мне религиозностью – это ощущение тайны, сакрального, в том, что невидимое значительно больше и важнее видимого.

– А не потерял ли современный человек это ощущение своей объемности, космичности?

– Увы, я это тоже чувствую. Но поскольку я верю в

Божественное провидение, в этом смысле я оптимистичен. Приведу пример. Вот существуют люди, которые едят мясо и хлеб. Они делают дело. Делом назовем любое творческое созидание. Я не ханжа, я не отвергаю творчество даже в самых разрушительных сторонах жизни – скажем, создание различных видов оружия, уж не говоря об оружии массового истребления. Итак, люди, занимающиеся делом, едят мясо и хлеб. Не в банальном ощущении пищи, а в том, в каком пища во всех религиях является сакральным подарком Господа. Но есть люди, которые живут в тени дела. Это разного рода толкователи и объяснители. Тем не менее, они еще на что-то годятся. Но есть люди, которые живут в тени тени дела. И самое главное сегодня, что вот этот третий эшелон выдает себя за первый. Причем, выдает себя, не просто разыгрывая роль, а искренне так ощущая себя. В этом – сегодняшняя трагедия. В этом – псевдодемократическая претензия масс на то, к чему она – масса – не имеет отношения. Гений на рынке искусства – вот что происходит. Маленькое наблюдение. Я жил в городке Новосибирской АН (должен был ставить там огромный монумент, подобие Двери Жизни, – Площадь Мысли, но – не дали). Там я сдружился с такими титанами как Курчатов, Королев, Ландау. Я обращался к ним с провокационным вопросом: вот я – художник, не могли бы вы объяснить на человеческом языке: над чем вы работаете? И они могли объяснить. Потому что они действительно работали. Такие великие как Будда, Фома Акквинский, Серафим Саровский – могли объяснить такую таинственную вещь как вера! Метафизику веры! Почему-то такие титаны как Леонардо, Микеланджело, Делакруа, Ван Гог и даже Репин – не больно глубокий художник, талантливый, но неглубокий, – на адекватном уровне своего таланта объясняются. А можно просто изображать глубину проблемы, где ее вообще нет.

И дело совсем не в старомодности такого подхода, а в восприятии человека себя объемным, космическим существом, участником мистерии жизни. Такой подход очевидно не старомоден, он никогда не выходил на определенном уровне из моды. Здесь речь идет о двух типах мышления: о плоскостном и пространственном.

Когда я был еще мальчишкой, я увлекся образом кентавра, рисовал его. Кентавр позволяет охватить единым понятием самые разнообразные процессы и явления, встречающиеся в деятельности человека, позволяет сочетать взаимоисключающие начала человеческого и животного, совмещать несовместимые начала, словом, это метафора сочетания несочетаемого, особое проявление парадоксов. Потом я создал теорию кентавра, сегодня даже есть наука – Кентавристика. Она пытается сочетать несочетаемые, парадоксальные знания о природе, истории, культуре. Кентавристика, в том числе, подразумевает

взаимодействие понятий и знаний на грани науки классической, эзотерики, герметики и религиозной философии.

Я всегда стремился докопаться до сути. Вспоминаю забавный случай: когда я делал серию «Библейские пророки», я проделал такую работу, что человек высокого сана Православной Церкви сказал: Вам надо в семинарии преподавать. Бахтина я узнал в 60-е годы, мы подружились с ним. Тогда я иллюстрировал Данте и Достоевского и ходил консультироваться к Михаилу Бахтину. Он был уже болен, лежал. Мы подружились, много беседовали. Его официальный отзыв на мои иллюстрации был таков: «Впервые я столкнулся с иллюстрациями, адекватными творчеству Достоевского» или еще: «Творчество Неизвестного имеет адекватное и собственно пророческое значение». Это ценный, очень ценный для меня отзыв, не стану скрывать.

Когда я делал для Калмыкии монумент «Исход и возвращение», я окунулся в анналы буддизма. На меня упало огромное количество – тысячи – изображений прекрасных, чудовищных, странных существ. И я вдруг выяснил: а я их давно знаю, с ними знаком. Я всех их уже рисовал в детстве. В изотерике это называется: знание сразу. Хотя ничего не объясняет. Начинаешь доверять идее реинкарнации, которая для меня и сомнительна, и очень пленительна. Потому что она многое объясняет и в нас, и в неравенстве нашем. Вопрос этот для меня открытый, православию такая идея чужда. Наиболее адекватное и простое объяснение – это коллективное подсознательное по Юнгу. В нас биологически заложены как родовое такие вот тонкие понятия и связи.

Я – не модернист, я – архаик. Во мне от рождения живет некое знание, которому я потом нахожу подтверждение у Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского и т. д. Одновременно это – мои собственные мысли. Таких совпадений очень много. Я – Кассандра. Говорю, что мне хочется, и – угадываю. То, что когда-то Мираб Мамардашвили назвал моей врожденной религиозностью, – есть открытость, доверие чуду. А может, это и есть коллективное подсознательное. Я и книги читаю не для того, чтобы открыть что-то новое, а чтобы утвердиться в том, что я мыслю.

О СВОБОДЕ ТВОРЧЕСТВА

– Когда я смотрю на ваши работы, меня завораживает чувство внутренней свободы, которое исходит от этих форм, если хотите – свободы завершенного высказывания. Вы довольны тем, что Вами сделано?

– Нет, не совсем. Я жил в то время и в той ситуации, когда у критиков искусства не было даже терминологии описать то, что я делал. Обо мне писали крупные мировые искусствоведы. Вот сейчас, ска-

жем, вышла книга Альберта Леонга. Этот человек знает, какие отметки я получал в школе (а мама не помнит), да и вообще ему есть, что сказать. Обычно же искусствоведы занимаются систематизацией: есть определенные шкафчики, и в один из них вас нужно положить. Шкафчик античного искусства, модернизма, поп-арта и т. д. Сегодня, если ты не в общей связке, ты – никто. А я – одинокий волк. Моя свобода – одиночество. По существу, одиночество – моя профессия. Кажется, что-то такое говорил и Мамардашвили. Мы с ним так сжились, что нередко высказывали одни мысли. Вот и Роден написал: художник, не бойся быть один; если ты искренен, то рано или поздно к тебе по тропинкам придут другие. Поэтому обо мне писать трудно. Хотя мне самому интересно посмотреть на себя. Вот спортсмену нужен тренер, чтобы тренер ему сказал: у тебя толчковая не правая, а левая нога. Я же стал тренером самого себя.

А еще нужна смелость. Для того, чтобы творить, вообще нужна смелость. В принципе, я считаюсь смелым человеком. Воевал. Да и позже рисковал. Смею заметить, что такая смелость лежит гораздо ниже интеллектуальной смелости не бояться быть старомодным, не бояться быть непонятым. Поэтому сейчас я легко могу оценить себя как очень консервативного человека. Даже по технологии – не использую компьютерный способ производства скульптуры, работаю, как работали в Древнем Египте, Италии времен Микеланджело... Люблю отливать сам. Временами начинаешь ощущать тревогу, что с хвостом годов ты становишься чудовищем ископаемым. И этот страх надо преодолевать.

Когда я преподавал в Колумбийском университете, ребята молодые сказали мне: Вы такой революционный! Как они могли меня считать революционным? Ведь я претендую лишь на то, чтобы исповедоваться. Конечно, публика при этом присутствует, но исповедь моя – перед моей судьбой!

Так вот, свобода в моих работах – она недостаточна. Я хочу быть более свободным. Но для того, чтобы быть более свободным, надо знать от чего. Приведу пример. Существуют понятия трансформации и деформации. Но вот почему, когда мы смотрим на Филонова, Кандинского, Пикассо, Дали, Дюшамба, то есть отцов авангарда, мы чувствуем некое напряжение в любом их росчерке? – Потому что у этих людей есть классическое образование, они знают классическое искусство, знают человеческое тело, анатомию. Чтобы проломить стену знания – а они смогли это сделать – нужно приложить огромное усилие. Потому что, чтобы трансформировать или деформировать, надо знать *что*. Хлебников – знал. Мандельштам знал. Они не специально деформировали, шли через преодоление грамоты.

Помню, Бродский мне жаловался, что какая-то машинистка, перепечатывая, правила его. Вставляла обратно в школьный уровень русской грамматики.

Напряжение в моих работах – это преодоление моей собственной грамоты. Я леплю не снаружи, я леплю так, как будто скульптура беременна мной. Я – махонький гномик Эрик – нахожусь внутри моей скульптуры и выталкиваю ее формы изнутри. Вот так я сижу и смотрю: это то напряжение, которое во мне? – нет, мы лишь приближаемся. Когда же заканчивать? – Роден на этот вопрос ответил: когда приходит форматор. А вообще – конца нет. Поэтому я никогда не удовлетворен.

ОБ ЭМИГРАЦИИ

– Ваша жизнь была полна чисто внешних, насильственных, социальных передвижений. Эмиграция – то ли испытание судьбы, то ли ее нелепость и абсурд?

– Никогда не хотелось уезжать. Князь Татищев (он был тогда атташе по культуре посольства Франции в Москве) и мой отец кричали, что надо уезжать и таким образом спасать русскую культуру. Хотя папа и был почвенником. Но свое дитя он хотел спасти и потому говорил: «Ты знаешь, надо, наверное, уехать. Смотри, Рахманинов, Бердяев – страдали, конечно, но сколько там сделали... Здесь же тебя добьют, неужели ты не понимаешь?.. Помоги им, убеги сам!» Но я жил в определенном кругу людей, которые меня любили. И в этом смысле мне было очень хорошо. Потому что... как вам сказать... я был защищен. Несмотря на то, что был грузчиком соли, из МОСХа выгнали, 25 лет вообще не был художником, просто выброшен из жизни... Как ни странно, при всех избиениях физических, унижениях, уничтожениях моих работ, я жил в некоей интеллектуальной капсуле. Я был окружен – ну что ж, мы все нуждаемся в этом, – обожанием. Это уважение и обожание не были только со стороны восторженных женщин, нет. Капица был в восторге, Мамардашвили, Бахтин, Зиновьев, Рихтер, Ростропович... Немаленькие люди меня окружали. И это меня согревало. Этот мир был мой мир. Международного мира, как у Ростроповича или Барышникова, у меня не было. Мой мир был миром интеллектуальной элиты и вынужденного социального подвала. Но в подвале этом находились гении. Такова была моя личная повседневная жизнь. Я, скажем, до сих пор сердит на себя, нет мне прощения, – отец Александр Мень хотел со мной встретиться. А я, идиот, привыкший, что приезжают ко мне, сказал: хочет – пусть сам приезжает. Галич, Мираб тянули меня к о. Александру... Это сейчас я зачитываюсь им, кляну себя. Мальчишка! Теперь сержусь и на

Галича, и на Мираба: они должны были взять меня за шиворот и насильно повести! Как будто такое возможно: меня – насильно! А я вообще никуда не ходил. Ну, к Бахтину, а так все у меня толпились.

Словом, я был в некоем интеллектуальном коконе, и в эмиграцию мне не хотелось. И когда меня здесь в Нью-Йорке спросили: «Что вы потеряли в России?» – я ответил: «Я потерял свою интеллектуальную ‘мафию’». Тартуская школа, где я был своим... Это, конечно, невосполнимо. И невосполнимо до сих пор.

Противопоставление же «мы – они», американцы или русские, – чисто эмигрантское и очень вульгарное, провинциальное. Почему? Скажем так. В Свердловске наш дом – папы и мамы – был одним из трех домов, интеллектуальным центром города. Когда я приехал в Москву, мне показалось, что это – пустая деревня. Прошло с десяток лет, пока я понял: это просто большой город, где всё рассредоточено, все кругами: музыканты – одно, а языковеды, семиотики – другое... А уж в Америке!.. Это рассеяние куда как больше. В университете надо выковырнуть какого-нибудь интересного человечка среди моря «аспирантов». По-моему, Бродский этим с успехом занимался: коллекционировал лауреатов Нобелевской премии. Но Бродскому было легче, он оперировал языком, который растет, множится. А моя профессия связана с материальной структурой. Я отсюда, из мастерской, надолго никуда не могу выйти – чтобы оставаться скульптором. Почти любая моя работа – тонны весит. Вот так я и завоевал славу нелюдима, хотя я очень общительный человек, – но выйти не могу. Когда-то Слава Ростропович кричал на меня: может ты и гений, но почему ты должен быть м-ком?! Это когда я не пошел на день рождения к принцессе Грейс. Но по-своему, для меня, я был прав. Потому что тогда мне пришлось бы ее поздравлять каждый год, а я и свой день рождения толком не помню. Кстати, к чести Владимира Путина: когда мы с ним впервые встретились в октябре 2000-го года, он пригласил меня провести следующий день с ним – это был как раз день его рождения. А я отказался, устал. Не хотел обижать, но он и не обиделся.

О РОССИИ И ДЕМОКРАТИИ

– Какой Вам видится Россия сегодняшняя?

– Я абсолютно не могу говорить о сегодняшней России. Я ничего толком не понимаю и не знаю. Я присматриваюсь, я там бываю. Я поставил много монументов, меня продолжают ласкать со времен 1989 года... Я общался с Горбачевым. С Борисом Николаевичем Ельциным мы общались и беседовали много раз, да и с Путиным – довольно долго беседовали... Должен сказать, я никогда не набивался

на эти встречи. Я для них человек, который всегда говорил правду. По открытости характера я не могу врать, я лучше смолчу. Ельцин в результате просто стал моим другом.

А социальных теорий и предложений в данном контексте у меня нет. Я думаю, все формы социального устройства общества себя уже изжили. Изжили в тех формах, в каких мы это знаем. Однажды я эту мысль высказал на русском телевидении в Нью-Йорке и вызвал гнев правых и левых, зеленых и православных, иудеев и оккультистов... Я же просто сказал: «Я не павловская собака, работающая на условных рефлексах: говорят ей – ‘демократия’, она начинает вилять хвостом, а говорят – ‘автократия’, она начинает лаять. Я не принадлежу к таким существам. Были прекрасные демократии – и были отвратительные, были прекрасные монархии – и отвратительные... Дайте мне программу. Я попробую разобраться, что вы из себя представляете. А до тех пор ни вилять, ни лаять ни на один политический термин я не буду». Тут все обиделись. <...>

Наша жизнь расширяется в ритме дыхания. Центростремительные силы – вдох, центробежные – выдох. Так вот, выдох мы сделали в 90-е годы при Ельцине. И выдохнули так, что начали задыхаться в конце. Научились ли мы дышать теперь и чем дышим именно? Пока что никто, с моей точки зрения, никакой внятной программы на следующий срок в России не представил. Правда, говорить научились все. Я великолепно понимаю, что жить-то надо, но как именно жить? Еще раз так жить, чтобы через сто лет новые памятники ставить в Магадане?

Само понятие власти содержит в себе тайну, тайну темную, не светлую. И как бы эта власть ни называлась: монархия, республика, автократия, демократия, – она не может, по определению, быть освобождена от зла. Для тех, кто знает и чувствует историю, важно не название, а реальное содержание, то есть какая власть.

Я, как бывший десантник, знаю закон: надо уметь принимать решения. И даже неправильные решения – лучше, чем непринятие никакого. Почему? – Дело в том, что задача врага – не уничтожение солдата, задача врага – ликвидировать воинскую единицу, которая и составляет дееспособный организм. А офицер – командующий – который не принимает никакого решения, он уже убивает воинскую единицу. Он опаснее врага.

Россия. Несобранность, расстроенность всюду, куда ни приедешь. Я объехал всю страну, был в Воркуте, в Свердловске, в Магадане, да и судьба моя сложилась так, что вырос я не в салонах, – хоть я все время и говорю о своей интеллектуальной скорлупе. Я работал на строительной площадке, каменщиком, литейщиком, груз-

чиком – я видел реальную жизнь. И всюду я слышал слово: порядок. Каждый под порядком подразумевал свое: простой человек – чтоб чиновник не брал взяток, а может даже, чтобы брал – но по понятию; милиционер подразумевает, чтобы выдали дубинки, а пьяница – чтобы дубинками не били... Но всюду хотят порядок. Боюсь, что в России до сих пор путают порядок с законом, закон с понятием, свободу с волей, а волю – с беззаконием.

Конечно, есть положительные перемены, хотя для исторического пространства прошло не более 15 минут. Я помню, что у меня к государству в свое время были не только политические претензии, но – эстетические! Сегодня... иная, но тоже полная потеря эстетического – до оторопи. Настолько изголодались по забытому имперскому великолепию, что в очень дорогих, но драных колготках танцуют «полонез»... Когда я был мальчиком в Свердловке, не было пивного ларька, у которого бы не стоял пьянчушка, лично расстрелявший царскую семью. Теперь я приезжаю в Екатеринбург – все рюриковичи. Ну, на худой конец, потомственные дворяне. Это на Урале-то? Куда простой народ делся?.. Один гламурный журнал. Так было и в Риме известных времен, и во Франции... Вот только скульптуры продолжают распиливать, как при советской власти.

А массовая новая элита?.. Что ж, появление ее, по существу, – закономерно. Демос восстал и – победил. Вспомните купечество, которое мазало медом колеса от телеги... Или побывайте на Брайтонбич.. Пройдите по Сохо – вы увидите массу ностальгических картин. Они невероятно пошлы. Причем, это ностальгия по 19-му веку, по салонной живописи. Это значит, люди хотят вернуться к типа «нормальному», «конкретному» искусству. Но какому именно – еще не поняли. Они уже отвергают, отрицают. В определенном смысле – ностальгия всегда вульгарна. Люди, зрители устали. От концептуализма, от художников с лопатами, роющих землю, – от перформенсов. Люди хотят, чтоб художник – на холсте и кистью. Или там, в материале.

Мировое восстание масс в том всегда, в принципе, и состояло, что люди, которые еще ложкой не научились пользоваться, требовали жизни во дворцах, царской роскоши. А собственно, что ты сделал для человечества?.. А что ты умеешь?.. Это какой-то обратный процесс в демократии, демократия наизнанку. Аристократизм – не в ношении жабо, а в духовном смысле: высокие формы, героическое миросозерцание. Псевдоаристократические потуги современной России, суперБогатство и суперстилизация вызывают подлинное недоумение и опасение. Как мы с Мирабом говорили, Советский Союз – это страна, родившаяся из бумажки. Из идеологии. А сейчас?..

Собственно говоря, то же самое происходит и здесь, в Америке, скажем, в Голливуде. Все здешние псевдокрасивые движения родились из журнальчиков. <...> Меня охватывает ужас – и совершенно не по пуританским мотивам. Мне нужна мистерия, а не реклама по продаже секс-предметов. В самых невинных фильмах, в одном поцелуе любви и эротики порой гораздо больше! И в этом смысле я невероятно старомоден.

Когда меня спрашивают о ностальгии – да, у меня есть ностальгия. По моему индивидуальному кругу. Но это непередаваемо словами. Ностальгия по простым человеческим отношениям – есть. И возвращение к этому надо приветствовать.

О СЕБЕ

...Поставил монумент Сергею Дягилеву в мае этого года в Перми. Только что открылась выставка в честь 30-летия моего музея в Швеции... Проиллюстрировал Библейскую книгу пророков – это огромный труд. Не только художественный труд, но огромная интеллектуальная работа... Мне 82 года... Я рисую мужские капричиос. То есть делаю, что хочу. Чтобы немножко отдохнуть от поисков.

Монологи Э. Неизвестного записала М. Адамович.
Нью-Йорк, 2007.

СООБЩЕНИЯ. ЗАМЕТКИ

Людмила Оболенская-Флам

Двадцатый год Комитета «Книги для России»

Недавно из Нью-Йорка в Москву прибыл от Комитета «Книги для России» очередной морской контейнер, наполненный пожертвованиями, предназначенными для Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Основной груз, как обычно, составляли всевозможные вышедшие в эмиграции книги и другие печатные материалы, в том числе большое количество тиражей «Нового Журнала». Кроме того, среди содержимого контейнера находилось немало художественных произведений и других экспонатов для строящегося при Доме русского зарубежья музея. Среди них – скульптуры работы поэта-модерниста Ивана Буркина. Они пожертвованы живущей в Калифорнии вдовой поэта, которая также передала для Дома картины его кисти и весь богатый архив мужа.

Если посмотреть сегодня в интернете на сайт Дома русского зарубежья (bfrz.ru), то вы увидите, что его библиотечный фонд насчитывает примерно 124,000 экземпляров печатных и других видов изданий; архив – около 90,000 единиц, а музейный фонд – 18,000 предметов. Значительная доля этих поступлений собрана и доставлена в Москву нашим Комитетом. Это в прошлогоднем письме отметил директор Дома В. А. Москвин, написавший: «Ваше сообщество неравнодушных, бескорыстных ревнителей относительно малыми силами достигло громадного результата. Трудно переоценить значение десятков тысяч изданий, множественных архивных материалов, собранных Комитетом за 18 лет непрерывной работы и отправленных в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Это богатство стало уже заметной частью духовно-интеллектуального достояния России. Практически все материалы, переданные Комитетом ‘Книги для России’, доступны, введены в научный и культурный оборот и служат делу просвещения, образования, создания неискаженного образа нашего отечества и его правдивой истории».

Сегодня, год спустя после доставки последнего контейнера, Комитет передает эстафету в другие руки. Впредь сбором пожертвова-

ний будет заниматься дочь известного летописца эмиграции Р. В. Полчанинова Людмила Ростиславовна Селинская в рамках деятельности благотворительного общества «Отрада» (штат Нью-Йорк).

Настало время подвести итоги.

За истекшие годы Комитетом, председателем которого я состояла все эти годы со дня его основания, было доставлено в Россию двенадцать морских контейнеров, длиной 20 футов и высотой в 8 футов, обычно доверху наполненных сотнями ящиков книг, периодикой, архивами и прочим материалом. А это, если говорить только о книгах, – тысячи и тысячи томов. Не все книги остаются в стенах главного адресата – Дома русского зарубежья: Дом регулярно пополняет фонды других библиотек России, в том числе и дубликатами книг, доставленых Комитетом из Америки. Директор Дома В. А. Москвин недавно написал, что благодаря Комитету «сотни тысяч читателей в России смогли прикоснуться к подлинным произведениям русской литературы, открыть для себя строки писателей, поэтов и философов, долгие годы запрещенных на родине <...> Комитет ‘Книги для России’ стал эпохой в истории просветительства, а многие библиотеки в самых отдаленных районах нашей страны обрели комплекты замечательных изданий».

При сборе книг предпочтение отдавалось старым зарубежным книгам и периодическим публикациям. Комитет переслал, и не в одном экземпляре, практически все книги Чеховского издательства и канадского издательства «Заря». К крупным категориям отправленного следует отнести десять полных наборов за 30 с лишним лет «Записок» Русской Академической Группы в США, комплекты уже упомянутого «Нового Журнала» и поэтического альманаха «Перекрестки / Встречи», выходившего в течение трех десятков лет в Филадельфии под редакцией поэтессы Валентины Синкевич. Попутно следует отметить, что она передала настоящую библиографическую редкость – коллекцию книжек так называемого «дипийского» послевоенного периода в Германии, а в будущем обещала отдать также собственный архив, завещав и ряд картин своего покойного друга, художника Владимира Шаталова, включая портрет Гоголя и ее портрет..

После закрытия в Нью-Джерси издательства «Эрмитаж», которое возглавлял И. М. Ефимов, были получены нераспроданные тиражи его книг; так же поступил, закрывая свое издательство «Время и Мы», Виктор Перельман, выпускавший в течение ряда лет толстый журнал с тем же названием.

Свое многотысячное собрание русских книг передала для России заслуженный профессор Гарвардского университета Баяра

Манусевич, а после кончины жившей неподалеку от нее в районе Бостона профессора М. Зарудной-Фридман были переданы все русские книги из ее многотомной библиотеки.

Следует упомянуть и прекрасную библиотеку Марины Викторовны Ледковской, заслуженного профессора Колумбийского университета, вдовы известного церковного регента и композитора Бориса Ледковского, а также обширную библиотеку и архив историка Н. П. Полторацкого, жившего неподалеку от Вашингтона.

Ззаслуживает признательности Ксения Георгиевна Воеводская бывшая в течение целого ряда лет директором Толстовского Фонда; благодаря ее решению Комитет получил в 1998 году дубликаты ранних эмигрантских изданий, находившихся в библиотеке Толстовской Фермы в штате Нью-Йорк.

Уникальным можно считать дар издательства «Musica Rossica» в штате Коннектикут – подарочные, богато изданные на английском языке собрания духовно-музыкальных произведений Чайковского, Рахманинова и др., вышедшие под редакцией музыковеда В. П. Морозана.

Естественно, что среди доставленных за эти годы в Россию книг огромное количество самиздата. В том числе – пример самого раннего даже не самиздата, а рукописной копии, ходившей по России из рук в руки, запрещенного царской цензурой произведения Льва Толстого «Крейцерова соната». В США эта тетрадка попала с дочерью раннего выходца из России Исаака Гурвича, автора книги «Переселения крестьян в Сибирь» (Москва, 1888). Единственный экземпляр этой книги, как и рукописная копия повести Толстого, были переданы Комитету внучкой Гурвича, Фейт Джэксон. Поистине неисповедима судьба книг!

О географическом распределении жертвователей свидетельствуют такие примеры: с дальнего северного острова Кадьяк были присланы старые русские церковные книги, доставленные из России еще в царское время для православных приходов на Аляске. Теперь они совершили обратный путь. На юге, из флоридского города Сент-Петерсбург, доктор Олег Шидловский, помимо собственных книг, организовал передачу книг из библиотеки Русского клуба, большинство членов которого ушли в мир иной.

С американского Юго-Запада, из штата Нью-Мехико, прибыла библиотека покойного историка В. И. Алексеева, включающая его собственные труды по истории Православной Церкви.

Огромное количество материалов поступило в Дом русского зарубежья с Тихоокеанского побережья США, из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Из Лос-Анджелеса поступили не только книги и докумен-

ты, но даже целый кукольный театр «Теремок», созданный руками талантливой художницы Тины Росс (настоящая фамилия Рышко, урожденная Губарь).

А Сан-Франциско оказалось поистине золотым дном: стараниями покойного члена Комитета Святослава Николаевича Забелина, Дом русского зарубежья получил в дар от Общества русских ветеранов Великой войны и Объединения кадетов Российских кадетских корпусов в Сан-Франциско архивные материалы и Библиотеку имени генерал-лейтенанта барона А. П. Будберга. Дело мужа продолжает в Сан-Франциско вступившая в Комитет Ксения Ивановна. Супруги также способствовали передаче собрания книг и замечательного архива историка русской авиации и флота В. М. Томича, включая его рукопись, посвященную раннему воздухоплаванию в России.

Музейную ценность представляет собой комплект книг из Сан-Франциско, пожертвованный Павлом Андреевичем Уртьевым: в годы книжного голода в послевоенной Германии его отец вырезал тексты произведений, печатавшихся с продолжением в русских газетах, аккуратно наклеивал их на страницы самодельных книжечек и сам же их переплетал. Благодаря бережному обращению Уртьева и его сестры Евгении Андреевны эти самодельные книжки прекрасно сохранились. После многих десятков лет они вторично пересекли всю Америку и Атлантический океан, став достоянием хранилища в Доме на Таганском холме в Москве.

Однако среди наших дарителей были эмигранты не только первых волн. Здесь следует упомянуть большую коллекцию книг и архивных материалов (50 коробок) о. Виктора Соколова, переданную по его завещанию вдовой. Литератор, диссидент, в Москве занимавшийся распространением нелегально привезенных из-за границы книг, о. Виктор был одним из поздних эмигрантов. Окончив Свято-Владимирскую семинарию в Нью-Йорке, он стал священником и последние пятнадцать лет служил в старейшем Свято-Троицком соборе в Сан-Франциско. Кроме большой коллекции книг его дар включал редкие архивные материалы по истории Православия в Америке – теме, которой он занимался в последние годы.

С Западного побережья перейдем к Восточному. Неоценимую услугу оказал проживающий в Нью-Йорке упомянутый ранее коллекционер и историк эмиграции Ростислав Владимирович Полчанинов. С самого начала существования Комитета он стал по частям передавать для России не только свои книги и коллекции, но и свой громадный архив. В нем, помимо иных материалов, особое место занимает история русского скаутизма и других молодежных организаций.

Говоря о скаутах: стараниями недавно скончавшегося скаут-

мастера ОРЮР (Организация российских юных разведчиков) А. Ф. Захарьина и его супруги Марины в Москве сейчас находится большой архив основателя русского скаутизма полковника Российской императорской гвардии О. И. Пантюхова. Благодаря кандидату исторических наук А. В. Шмелеву архив был предварительно систематизирован и оцифрован в Гуверовском институте, затем, перед отправкой в Россию, в идеальном порядке возвращен на Восточное побережье.

Любопытное собрание книг пришло из городка Глен-Ков на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк: все книги в одинаковом переплете, с номерами на корешках. То была частная библиотека популярной литературы, в том числе царского времени и переводной, находившаяся в Сан-Пауло, Бразилия, где русские жители города могли по абонементу брать книги на прочтение. Впоследствии книги были вывезены в Америку. Теперь это собрание, проделав почти кругосветное путешествие, нашло пристанище в Москве.

Как часто приходится слышать, что после смерти русских владельцев на свалку попали целые библиотеки. К чести Комитета, нам удалось спасти не одно собрание книг. Иногда это дело случая: если бы проходивший мимо бывшего дома писателя Георгия Гребенщикова русский обитатель коннектикутской Чураевки не увидел, что на улицу выброшены груды книг, то десятки произведений писателя оказались бы на городской свалке. Та же участь, если бы не Комитет, могла постигнуть произведения покойного писателя Виктора Петрова («По Святой Земле», «Изгой», «От Восточной Африки до Огненной Земли», «Шанхай на Вампу», «Российская духовная миссия в Китае», «Россия на Дальнем Востоке»). По счастью, целые тиражи этих исторических произведений удалось сохранить и переправить в Москву.

Помня призыв Александра Солженицына, Комитет прилагал особые усилия по выявлению неопубликованных рукописей и воспоминаний. Вот, в частности, любопытная рукопись Софии Амвросиевны Мансветовой, обнаруженная в Вашингтоне в доме ее покойного сына, литератора Владимира Федоровича Мансветова, среди его собрания редких книг, предназначенных для отправки в Россию. Ребенком Соня попала со своими ссыльными родителями (эсерами) в город Минусинск, на границе с Монголией. Там же отбывали ссылку и Ленин с Крупской, у которых Соня часто бывала. Девочка бойко болтала по-татарски и служила им переводчицей. Став взрослой, Софья вспоминала, что Ленин очень интересовался шаманизмом и даже обратился к Великому шаману минусинских татар, чтобы узнать свою судьбу. Соня присутствовала при этой церемонии «камланья», к которой шаман готовился четверо суток. Ей

хорошо запомнилось все ночное действие: музыка, пляска шамана который, впав в транс, выкрикивал, что видит много-много народу... много-много знамен и воинов без конца, на конях и пеших... и воскликнул: «Мне страшно... я погиб!» Мансветова задается вопросом: что бы было, если бы Ленин, который, по ее словам, находясь в ссылке, помышлял посвятить себя изучению этнографии, занялся научной работой вместо революции? Ответ напрашивается сам собой.

К 50-летию Февральской революции и Октябрьского переворота радиостанция «Свобода» заказала в 1960-х годах историку А. Н. Малышеву провести серию интервью с живущими на Западе свидетелями, а порой и участниками, тех критических в отечественной истории дней. Всего Малышевым было записано на магнитофон более семидесяти интервью. У его вдовы И. А. Малышевой сохранилась распечатка пятидесяти шести. Эти тексты она прислала Комитету для передачи Библиотеке-Фонду «Русское Зарубежье» (прежнее название Дома русского зарубежья). Особенно любопытны свидетельства о разгоне большевиками Учредительного собрания, оркестрованного Лениным. Моя подробная статья об этой уникальной серии интервью опубликована в № 213 «Нового Журнала» (1980) под заглавием «Голоса из прошлого».

Из числа особо важных приобретений следует назвать также архивы коллекционера и искусствоведа Юрия Рябова и юриста Дмитрия Александровича Левицкого, специалиста по истории русского населения Латвии и члена ее довоенной студенческой организации «Рутения», продолжавшей существовать на Западе и после войны. Следует отметить и полученную из-под Вашингтона значительную часть архива Б. В. Прянишникова, автора известной книги «Незримая паутина: ОГПУ-НКВД против белой эмиграции».

По мере того как ширилась деятельность Дома русского зарубежья, раздвигались и рамки деятельности Комитета. Внимание устремилось на получение произведений искусства русских художников в Америке. Первыми прибыли в Россию работы Сергея Голлербаха; часть из них даритель предназначил для Дома, остальные – для художественного музея в Нижнем Новгороде. За этим последовали произведения Владимира Шаталова, Юрия Бобрицкого, Вероники Гашуровой, Галины Пендилль, Евгения Климова, Славы Иляхинского, портретиста Александра Ярона, братьев Виктора и Михаила Лазухиных и др. Трудами старшего сотрудника Дома Инны Евгениевны Розановой их работы уже неоднократно выставлялись, получая резонанс в российской прессе. Одна из выставок состоялась в Рязани.

Для зарождающегося музейного собрания Дома были получены,

в частности, предметы, принадлежавшие авиаконструктору Игорю Сикорскому, присланные его сыном Игорем Игоревичем. Или, например, настольная лампа и допотопная пишущая машинка Василия Аксенова, с которыми писатель приехал в Америку. Из-под ее клавиш вышли в Советском Союзе в шестидесятые годы первые, по тем временам смелые рассказы Аксенова, а потом и его запрещенные произведения, увидевшие свет в «тамиздате».

Объединением кадет Российских кадетских корпусов за рубежом в Америке через Комитет был передан архив, включавший ценные и редкие материалы по истории зарубежного кадетства, формы, ордена, погоны, значки как дореволюционных, так и зарубежных кадетских корпусов, фотографии и прочие материалы.

Филателистов же могут заинтересовать восходящие к 1920-м годам в эмиграции бюллетени филателистического общества «Россика», добытые благодаря его бывшему председателю, ныне покойному Г. Г. Вербицкому.

В видео- и аудиотеку при киностудии Дома русского зарубежья был передан фильм о русском хоре Йельского университета, созданном его долголетним регентом Денисом Мицкевичем в студенческие годы, магнитофонные записи интервью с многочисленными выдающимися деятелями – дар корреспондента «Голоса Америки» Ираиды Легкой, мое интервью с покойной дочерью Льва Толстого, Александрой Львовной, и другие материалы – в частности, большое количество долгоиграющих пластинок русских исполнителей в эмиграции.

При Доме русского зарубежья постоянно проходят всевозможные мероприятия – презентации книг, выступления авторов, приезжих гостей, специалистов в разных областях... Так, например, с нашей подачи в Москву из Америки был приглашен инженер-изобретатель Г. Г. Александрович (кто знает, что это именно он изобрел спикерфон?). Косвенно содействовал Комитет выставке, посвященной калифорнийскому виноделу Андрею Челищеву, наладив связь Дома с проживающими в США близкими родственниками винодела и известного художника Павла Челищева. Выставка – с дегустацией отменных калифорнийских вин – была исключительно успешной.

Следует упомянуть еще одну область деятельности Комитета: при его содействии в издательстве «Русский путь» вышел ряд книг. Назовем переиздание книги Юрия Елагина «Укрощение искусств», «Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко» Д. А. Левицкого, перевод с английского автобиографической книги Елены Якобсон «Пересекая границы», три книги ныне покойного сооснователя Комитета Н. В. Моравского – «Остров Тубабао», «Глазами русского

американца» и, посмертно, воспоминания о его отце В. И. Моравском, известном политическом деятеле времен Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. Секретарь Комитета Г. С. Туник-Роснянская опубликовала в «Русском пути» воспоминания своего отца под названием «Белогвардеец», а также две моих книги: «Вики – княгиня Вера Оболенская» (легшей в основу фильма, сделанного в России), и «Правовед П. Н. Якоби и его семья» (авторская семейная хроника). В сотрудничестве с заслуженным профессором Калифорнийского университета и членом-основателем Комитета Ольгой Раевской-Хьюз в «Русском пути» выпущен сборник «Судьбы поколения 1920–1930-х годов в эмиграции», а в сотрудничестве с ней же и с представителем Комитета в Лос-Анджелесе А. А. Аристовой – сборник, посвященный русским гимназиям послевоенного, «дипийского», периода: «Наставникам, хранившим юность нашу...». В настоящее время к печати готовится расширенное издание книги.

Нельзя не упомянуть также замечательный научный труд, вышедший под наблюдением заместителя директора Дома русского зарубежья по библиотечному делу Т. А. Корольковой: «Валентина Алексеевна Синкевич: материалы к библиографии». Живущая в Филадельфии поэтесса не раз выступала с чтением своих стихов в Доме русского зарубежья. На сайте Дома в июле 2016 года была отмечена роль Комитета «в увековечивании памяти о целом поколении Русского Зарубежья, так называемых DP, – тех, кого трагические изломы судьбы выкинули за пределы родины», кого «государство и часть общества долго считали предателями, а теперь доброе имя многих из них вернулось в российское общественное сознание».

Миссия Комитета встретила в Америке очень широкий отклик. И не только среди русских – скажем, скончавшийся недавно профессор Джон Глэд, заслуженный профессор Мэрилендского университета и переводчик, передал не только книги и ряд музейных предметов, но также сделанные им видеозаписи бесед с русскими писателями. Профессиональный переводчик и автор книг Линн Виссон, которой Комитет обязан щедрой материальной помощью, передала и всю библиотеку своего покойного мужа, социолога Бориса Раббота. А говоря о материальной помощи, надо выразить признательность Игнату Солженицыну, который дал в пользу Комитета фортепьянный концерт в резиденции российского посла в Вашингтоне. Сбор с него на несколько лет обеспечил Комитету возможность оплачивать расходы по пересылке книг внутри страны (океанский транспорт обычно оплачивал Дом русского зарубежья) .

Подводя итоги прошедшим 19 годам, приятно сознавать, что огромное количество материалов, собранных Комитетом, нашло на-

дежное пристанище в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, сделавшись, таким образом, достоянием российских читателей и исследователей. Круги от этой деятельности уже расходятся по России, донося до наших соотечественников подчас неизвестные там имена, и свидетельствуют о том, что и в отрыве от родины не заглохла духовная и творческая жизнь, не были забыты лучшие традиции русской культуры.

Вашингтон

СЕРГЕЙ ГОЛЛЕРБАХ
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ БЛОКНОТ

Мемуары. – Нью-Йорк: The New Review Publishing, 2013. 244 с., илл. На русском

Книга эссеистики Сергея Голлербаха, академика американской Национальной Академии дизайна, посвящена послевоенному Нью-Йорку. Как обживали «лучшую Америку» и «город греха» Displaced Persons, Второй мировой войной «перемещенные лица»?.. Перед вами предстанут нью-йоркские портреты Осипа Мандельштама и Рудольфа Нуреева; вы узнаете, как творил свои романы и писал свои полотна русский Нью-Йорк. Книга богато проиллюстрирована графикой Голлербаха, «летописца в красках» города Большого Яблока.

$ 25.00

SERGE HOLLERBACH
NEW YORK ON MY MIND:

Memoirs. – New York: The New Review Publishing, 2015. 160 pp., ill. In English

During WWII, as a Russian teenager, Serge Hollerbach was sent to a work camp in Nazi Germany; after the war, he refused to return to the USSR. He immigrated to the U.S., where he went from being a worker at a tie-making factory to an academic and national award laureate.

The book is a distinctive story of the post-war and long-forgotten New York. Serge Hollerbach writes about exploring the Big Apple – his stories portray a brilliant sense of style, with the subtle humor of a real New Yorker. There are many illustrations – the artist's drawings created during the last 65 years.

$ 25.95

SERGE HOLLERBACH
FROM A PERSONAL POINT OF VIEW

New York: The New Review Publishing, 2016. 112 pp., ill. In English

Collections of essays on the themes of art, literature, and society

$ 12.00

THE NEW REVIEW PUBLISHING:
The New Review, Inc.
611 Broadway, suite 902 New York, New York 10012
newreview@msn.com 212-353-1478

Марина Адамович

Апология эмиграции, или Роман Борисович vs Роман Николаевич

Говорят же: все новое – хорошо забытое старое. Вот и чувствую потребность вернуться с забытой диатрибе. В век интернета, «чатов» и «фейсбуков», заменяющих не только книгу и реальное общение с реальными людьми, но и подменяющих саму реальность, в том числе и письменного слова – фиксируя на экране компьютера устную речь (становится ли она при этом текстом или остается в формате «слова-воробья»?..), – пусть диатриба послужит мне на печатной странице нашего двадцать первого века. Потому как для меня, человека мирного и асоциального, памфлет слишком резок своим звуком, сатира конктрапунктна моему христианскому всепониманию... Вот и обращаюсь к древним грекам, к их диатрибе. Здесь мне комфортно, и мир обретает прежнюю ясность.

Михаил Гаспаров в своих размышлениях об античной басне пишет: «Диатриба была... импровизацией, возникающей по конкретному поводу и перед конкретной публикой; она развилась из сократической беседы и была немыслима вне прямого общения с аудиторией, обмена репликами, личных выпадов и перебранки» (М. Гаспаров. Античная литературная басня. 1972). Вот-вот. Были и выпады, и перебранки, и мои почти сократические размышления о бренности судьбы и зыбкости истин... Мой жанр на сегодня (или стиль, уточняет Гаспаров, – и мне это нравится) – диатриба. Нравится ее моральная тема (она будет главной в этом тексте); нравится сочетание серьезности и насмешки (повод серьезен, но не могу избавиться от иронии и игры словами, на которые толкает абсурдность ситуации); нравится простота слова и прямое обращение диатрибы к читателю – потому как именно он был обманут и он же – мой последний союзник в осознанной невозможности противостоять «банальности зла» (Hanna Arendt). Итак,

ДИАТРИБА

Много лет назад, в Бостоне, мы с мужем сидели в гостях у нашего доброго друга Наума Коржавина и рассуждали о хитросплетениях судеб и роли лжи, сплетен и поклепов в жизни эмиграции. Не стану называть имен, которые возникали в нашей беседе, но начальный

тезис Наума был таков: правда имеет характер нетворческий, она скучна и статична; а вот ложь может унести нас в такие фантазийные дали, откуда не хочется выбираться, и потому так много клеветников. «Ну, возразишь ты: нет, он не стукач, он не был агентом КГБ, – и что? – размышлял Коржавин. – Ну, не агент – добавить-то больше нечего, скучно, негде страстям разгуляться. А скажешь глубокомысленно: ‘Да он же агент гэбэ...’, подержишь паузу подольше – и пошла гулять мысль, образ на образ наскакивает, фантазия на фантазию, сюжет на сюжет...» В тот вечер мы посмеялись над этой мыслью Коржавина, оценив его доводы и красочные примеры, подтверждавшие творческую природу лжи и клеветы. И менее всего я думала, что спустя почти двадцать лет мне придется наблюдать, как творчески развивается его идея о соблазнительности доноса и красоте клеветы.

А горький повод к этому мне дала очередная телепередача известного журналиста Радио «Свобода» Ивана Толстого на российском телеканале «Культура» («Исторические путешествия Ивана Толстого. Берлинский перекресток» – передача «Жизнь на фукса», эфир 29 июня). Признаюсь, когда канал дал возможность Толстому создать и вести авторский цикл «Исторические путешествия», посвященный истории русской эмиграции в XX веке, – истории богатейшей и неизученной, – я была первой, кто обрадовался. История русского рассеяния двадцатого века не написана, сознательно замалчивалась и искажалась, и, с уходом в мир иной ее свидетелей, она превращается в очередной удобный для всех миф. Словом, такая телепередача представлялась блестящей возможностью рассказать российскому зрителю о людях Зарубежной России (как называли эмиграцию в ее рассеянии), «России в миниатюре» (как писал о ней выдающийся историк русской эмиграции, проф. Колумбийского университета Марк Раев, сам – потомок эмигрантов); о людях – мечтателях и борцах, не без трудов и упорства которых России был дан шанс освободиться от коммунистической диктатуры, шанс на возрождение и обустройство свободного демократического общества.

Был среди этих славных представителей Зарубежной России и Роман Борисович Гуль, – известный публицист, прозаик и политический деятель русской эмиграции. И кто мог предположить, что именно его, прожившего долгую трудную жизнь с честным именем, известного представителя антикоммунистического движения эмиграции, Иван Толстой решит оклеветать в своей передаче, посвященной «Берлинскому перекрестку», – во всем блеске лживых фантазий и домыслов. В те летние дни и я, и корпорация НЖ, и еще живые друзья и единомышленники Гуля, и многие в диаспоре и в самой России пытались возразить Ивану Толстому и напечатать опроверже-

ние, – откликнулся лишь интернет-портал «Свободная пресса», молодые интеллектуалы России заинтересовались нашими проблемами. Но от официальных лиц мы получили вежливые дежурные отписки про незначительность эпизода в их огромной напряженной работе, а от свободной и даже, страшно сказать, оппозиционной российской прессы, – недвусмысленные слова о том, что все это – «не их тема» (вслед за тем напечатав по «чужой» им теме интервью с И.Н. Толстым, где он, уже отвечая мне, настаивал на своих клеветнических посылах). Словом, Гекуба российской прессе оказалась совсем чужда: на кой им иностранка, да и откуда бы взялась у российского парня «испанская грусть»?..

Сегодня модно, ограждая себя от «иноземных» проблем, выстраивать «великие китайские стены»: как это ни нелепо выглядит в начале двадвать первого столетия, стены строятся ну просто по антикварным чертежам, – роются рвы, укладываются кирпичи... Почти символичным выглядит на этом фоне осыпающаяся прародительница – сама Великая китайская: построенная в нужный час и в нужном месте, сейчас она разрушается от старости и невостребованности. И поражаешься жизни конфуцианцев: ну почему у них все вовремя и все кстати?..

Чего не скажешь о нашем постхристианском европейском мире. При всей любви к нему, господствующая в нем концепция деконструкции мне представляется не обновлением (как задумывалось), а ритуалом самоубийцы. Еще Достоевский заметил, что любая великая идея, вытащенная на улицу, уподобляется «площадной девке». Философская идея обновления мира через его деконструкцию, разложение – для очищения и собирания новой конструкции, сама по себе весьма любопытна. Даже продуктивна. Но вот ведь в чем проблема: вытащенная из кабинетной тиши, она перестает быть идеей и становится инструментом уничтожения. Без всякого обременения себя задачей созидания. Простой литературный пример – «Анти-Ахматова». Ну кто в мире догадался бы, что есть такая особа по имени Тамара Катаева, если бы сия дама не решила разоблачить гений Ахматовой? А сегодня ее имя введено в литературный контекст, о ней глаголят энциклопедии... Да какие имена рядом с нею упоминают! – Жолковский, Топоров!.. Кто на этой площади вспомнит хоть одну из их великолепных книг и исследований? – Нет, для простого читателя Жолковский и Топоров навсегда скрылись в роковых объятиях демона-тамары. Ведь проиграл ей весь ученый мир тот бой с анти-Ахматовой! Каждое тонкое, умное возражение утаптывалось ногами многомиллионной массы в фундамент деконструкции великого поэта. Андрей Василевский заметил: «Если представить себе

ахматовский миф как квази-религиозный культ, то Александр Жолковский – это сложный просвещенный ‘атеизм’; Тамара Катаева – грубый ‘атеизм’ типа ‘это всё попы придумали’, ‘Гагарин в небо летал, а бога не видел’». Фраза про Гагарина – точная, из советской действительности. Отец объяснил мне еще в моем розовом детстве, как к ней относиться: «Не туда летал, значит». Мой бедный наивный папа.

Подвергся деконструкции и Борис Пастернак – по Ивану Толстому, например, выходит, в общем и целом, что роман «Доктор Живаго» писался по заказу ЦРУ (народ-то сразу усек суть: и на их деньги, значит. Тварь продажная). Отвечая по другому поводу на письмо корпорации НЖ (было выставлено мною на Фейсбуке, лето 2016), Толстой пишет на своей страничке: «...ровно десять лет назад я, без справок и квитанций, заявил, что пастернаковский роман был выпущен по-русски с помощью спецоперации ЦРУ... А весной 2014 года это самое ЦРУ взяло и раскрыло свои архивы – опубликовало 130 страниц документов, подтвержающих мои беспочвенные гипотезы». То есть он по-прежнему считает, что роман Пастернака – это «заказ» ЦРУ (хорошо хоть, что не КГБ, – здесь ведь нужен только еще один виток фантазии, вроде: *провокация КГБ для выявления оппозиции в Союзе писателей и посадки сией,* – и Борис Пастернак становится агентом всех разведок мира. А чем, собственно, идея с провокацией хуже высказанных толстовских идей? По мне – так еще «деконструктивнее»). И в поле этой деконструкции как-то вообще ускользает от внимания, что роман-то сам не потому и не о том писался, и что вся возня вокруг него, все интриги и все механизмы ведения «холодной» войны – вообще *неважны в контексте художественного текста*, недосягаемого для всех разведок мира и иже с ними! Просто потому, что они существуют в параллельных реальностях: внизу – политика, в горнем мире – текст. И эти парралельные плоскости никакие лобачевские не сумеют соединить. Ну, разве что Толстому по плечу.

Признаюсь, до сих пор остается непонятным – почему мишенью Иван Толстой выбрал именно Романа Гуля, о котором он ничего не знает до такой степени, что упорно называл Романа Борисовича – «Николаевичем». С первой минуты экранного времени и до конца передачи он вдохновенно создавал негативный образ своего «Романа Николаевича»: «...был Роман Николаевич (sic!) не тем, кем он был...» (конечно, «не тем»: он был Романом *Борисовичем*. Возможно, *Николаевич* в подсознании нашего интуитивиста возник из других, воздушных, путей русской эмиграции в США, как предположил один весьма тонкий иследователь истории Зарубежья в приватной беседе

со мной, – но зачем гадать, право...); – «для меня Гуль – *несомненный агент Москвы*», «занимавший *чекистское место*» – эффектно завершает мысль Толстой. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, вот тебе и «берлинский перекресток»... Ведь герой толстовского рассказа объявлен... агентом ГПУ (оно же – ЧК, НКВД, КГБ и пр.пр. – Роман Борисович Гуль жил долго и пережил многих подлецов). А дальше – все по Коржавину: ложь творческая, безудержная, бесстыдная, абсурдная, прекрасная. И деконструкция такова: разложить образ лидера антикоммунистического движения 1930–1970 годов, одной из ключевых его фигур, до антиобраза «агент КГБ» и «провокатор». И – новую книгу написать (в чем признается Толстой «Новой газете» – без всякого раскаяния). Такая вот «тамара».

Читатель не по своей вине, а в силу обстоятельств, мало знает о русской эмиграции и ничего не знает о Р. Б. Гуле, – потому я позволю себе сначала сказать несколько слов о нем. Он родился в Пензе, в дворянской семье. Семья интеллигентная, либеральная, – типичная, наивно и самоотверженно работающая на ниве созидания новой России – демократической, европейской, развитой экономически и культурно. Этот исток заложил основу всего мировоззрения Гуля и определил его путь в эмиграции. После большевистского переворота двадцатилетний Роман с младшим братом ушел в Добровольческую армию сражаться против большевиков: «...в сочельник 1917 года я и брат... решили ехать к Корнилову на Дон... Нас было шестеро ‘толстопятых пензяков’», – писал Гуль. Армия и была первоначально составлена из таких вот мальчишек. Им пришлось пережить все нечеловеческие трудности «первопоходцев» – участников Ледяного похода ген. Корнилова – мало кто выжил из них; и во многом именно благодаря Гулю, написавшему о том подвиге книгу еще в 1920-е, мы вообще знаем первых героев Белого движения по именам, а о самом Ледяном походе говорим как о «знаменитом». После войны Роман попадает с братом в Германию; мать вместе с няней, где на перекладных, где пешком, пройдет всю Россию – до Германии, и найдет сыновей! Не могу не добавить, что последующие годы Роман Гуль будет искать соседку-девочку из Пензы, первую – и единственную – любовь Гуля: оставшаяся сиротой после «красного террора», она с волнами беженцев окажется в Европе, Гуль найдет ее – и они никогда не расстанутся. Можно назвать это дешевым романтизмом – если бы это не было правдой, и если бы сотням тысяч (2 миллиона исхода после 1917-го) не повезло и они не отыскали своих любимых. Читая отчаянные письма постаревшего Гуля в поисках денег для лечения умирающей жены, поражаешься силе любви и воли этого человека и чистоте его чувств (Письма содержатся в архиве Русского центра в

Амхерсте, США). Известный писатель, переведенный на ведущие европейские языки, десятилетия возглавлявший главный журнал эмиграции, лидер антикоммунистической Лиги не имел денег, чтобы заплатить врачу... Впрочем, это ситуация повторяема практически во всех судьбах известных русских писателей-эмигрантов.

В Германии Роман Борисович Гуль занимается писательством, журналистикой и, конечно же, общественной деятельностью. В ранние 1930-е годы, когда немецкий фашизм уже вполне окреп, Гуль оказывается за колючей проволокой концлагеря – за свои книги. Друзьям удается вытащить писателя, тогда это было трудно, но возможно; он бежит во Францию. Довоенная французская жизнь Гуля будет наполнена писанием книг (они переведены на все ведущие языки мира) и киносценариев (в том числе и работа с Марлен Дитрих), журналистикой и, главным образом, участием в антикоммунистическом движении эмиграции. Он работает в милюковских «Последних новостях». Сразу же после войны во Франции Р. Б. Гуль начинает выпускать свой антикоммунистический журнал «Народная правда» – с целью объединить все международное антикоммунистическое движение. На страницах журнала печатаются все видные представители русской эмиграции, а также лидеры антикоммунистического движения стран, попавших под «красную диктатуру» – сербы, болгары, поляки и т. д. В контексте абсурдистского «покраснения» Европы в первые послевоенные годы русская политическая эмиграция создает в Нью-Йорке антикоммунистическую Лигу борьбы за народную свободу (1949) – и Гуль принимает активнейшее участие в ее организации и в ее работе.

Историю Лиги и, в частности, участия в ней Гуля, наш деконструктор-Толстой плохо знает, что очевидно из его рассказа. Вспоминая о письме г-жи Кусковой, одной из «бабушек русской революции», где она описывает ссору с Гулем на некоем заседании антикоммунистической эмиграции, Толстой быстренько начинает «деконструировать» персонажей: мол, не потому ли Гуль поругался с «бабушкой», что его тайной задачей был... срыв собрания?.. Помилуйте, голубчик, чего это Вас на кисленькое потянуло? Какой-то Вы «прокукиш» подсовываете, как говаривали большевички, поминая Кускову и мужа ее Прокоповича. От характера старушки и мать Тереза застонала бы – в те годы только ленивый не упомянул в приватной переписке склочный нрав дамы. Да и у Романа Борисовича характерец был еще тот! И слава Богу, что был, – сколько он с этим своим характером сделал для эмиграции! Да, кстати, прелюдно-то Кускова не обвиняла Гуля никогда. Может, и не за что было? Ну, а в частной переписке да людям эмоциональным – мне ли рассказывать Толстому, как оно писалось в эмиграции... Деконструкция, одним словом.

Вернемся к сюжету. В 1950-е Гуль с женой перебираются в США, где он сразу оказывается в самой гуще политического антикоммунистического движения Америки, а также – в центре литературной жизни русскоязычной эмиграции. Его приглашает сотрудничать проф. М.М. Карпович, гл. редактор «Нового Журнала». Гуль становится правой рукой Карповича, они вместе формируют тот вид эмигрантского «толстого» интеллектуального издания, который на протяжении десятилетий будет служить голосом свободной русской литературы – и сохранит свое лидирующее место в современной диаспоре. Став главным редактором НЖ в 1959 году, Гуль разовьет идеи Алданова-Карповича, но и внесет свою лепту в развитие русской неподцензурной литературы: он первым станет публиковать на страницах НЖ советский самиздат, запрещенных в СССР писателей, будет сотрудничать с американскими публицистами и политологами. Он проработает в журнале почти три десятилетия, возглавляя его четверть века, до своей смерти, вокруг него сконцентрируются все интеллектуальные силы литературной и антикоммунистической эмиграции. Что позволит Андрею Седых, не менее известному представителю эмиграции, гл. редактору «Нового русского слова», сказать: «Новый Журнал – это лучшее, что создала эмиграция». И еще один ценный дар оставит Р. Б. Гуль русской литературе и – демократической мысли: он напишет свою «Апологию эмиграции», трехтомник «Я унес с собой Россию», в котором расскажет всю историю эмигрантского рассеяния в Германии, Франции, США. Это будет первая своеобразная антология по истории Зарубежной России. Более того, этот трехтомник станет подлинной апологией свободы и свободного духа русской культуры. Такова правда о Романе Борисовиче Гуле.

Что же помогло Толстому раскрыть тайные закрома секретных служб? – Может, десятилетиями читал он в архивах документы по Гулю? Может, его пустили прямо *туда,* куда никому нет добровольной дороги?.. Или – о ужас! – он попал туда *недобровольно*... Нет-нет-нет. Все без пыли и угроз. Прежде всего, Романа Борисовича Гуля подвело... лицо. Не понравилось молодому (хотя уже и не очень) Толстому лицо старого Гуля (фотография, показанная на экране – одна из последних). Да-да, именно так; ему несимпатичны – цитирую: «нависающие брови», «презрительно опущенные уголки рта», «хищные ноздри» и «не понравилась душа». Не совсем понятно, как можно узнать душу человека, скончавшегося в 1986 году, которого никогда не встречал и мало что о нем читал, – но исходя именно из формы носа своего героя ведущий делает вывод, что Роман Гуль... был ставленником коммунистической Москвы и работал на «разложение русской эмиграции». Ну, что сказать... По форме носа можно

не только оклеветать, но и убить и закопать, такое бывало в истории XX века. И отнюдь не в переносном смысле. Бывало, что по физиогномике разоблачали и агентов, правда – в прошлые сталинские драконовские времена. Нет бы объявить Гуля немецким шпионом (кровь-то не пропьешь – из немцев предок Романа Борисовича, из обрусевших! И немецкая тема нынче хорошо идет), или, скажем, агентом 007 (жил-то в США, и похоронился, главное, там же!)... Но чтобы различить агента ГПУ – в лидере антикоммунистов? – Нет, это высший пилотаж даже для деконструктора.

Заинтригованные, следим дальше за творческим развитией сей мысли. Ну же, факты – факты, горяченькое давайте, пора, на стол! Но г-н Толстой, не смущаясь, заявляет с широкого экрана: «...у меня нет документов... я не знаю, существуют ли они, но для меня Гуль несомненный агент Москвы» (sic!) Вот так, дословно. Ни документов, ни архивных свидетельств, – ни-че-го. Кроме как «для меня», «мне», «я»... Но если дело столь личное – зачем людей пугать? Однако толстовская мысль – точнее, как признается Иван Никитич в своем интервью: «моя интуиция» – прямиком ведет в глубокие чекистские подвалы, без страха и упрека разоблачает двурушника-эмигранта. Заинтригованная новой методикой изучения истории – «интуитивной» – не могу отказать себе в искушении и поддаться чувственному – не в ущерб фактическому.

Тяжкие для русских беженцев в Берлине двадцатые годы... После Алексея Толстого («красного графа» и кровного предка нашего провидца, вернувшегося в Советский Союз в 1923 году, – и довольно резко, публично заклейменного потом Гулем) на пост редактора *литературного приложения* сменовеховской газеты «Накануне» (Берлин) заступил молодой Роман Борисович и проработал там один год. Это – факт. Гулю – 27 лет, ни у него, ни у брата профессии нет (у Романа – пара лет юрфака Московского университета, – но, вспомним: братья «профессию» на Гражданской войне получали), на руках – мать... Хочется есть. В это тяжкое время эмигранты, беженцы-апатриды, хватались за любую работу – только схватить мало кому что удавалось. А Роман мечтал писать, ему было о чем рассказать, он только что издал свой «Ледяной поход», заканчивает новую повесть из жизни эмиграции... Если без фантазий – чтобы выжить, надо получать где-то зарплату, такая вот правда любой эмиграции, нетворческая. И литературный раздел газеты – не худший вариант в жизни апатрида. Да, философская концепция сменовеховства, рупором которого была та газета, не выдерживает критики: опираясь на весьма распространенную в то время идею эволюции социалистического общества (якобы подтвержденную введением НЭПа в Советском

Союзе), наблюдая в бойне Гражданской войны, как народ раскололся на белых и красных, равно фанатично отстаивающих свое понимание гражданских свобод и идею русской государственности, – горячо сопереживая родине, рухнувшей в бездну, – молодые люди (а их лидеру Устрялову – около 30-ти) решили, что пришла «смена вех». Сменовеховство было отвержено белой эмиграцией. За свои иллюзии и предательства сменовеховцы были наказаны и историей, и (по иронии истории) самими большевиками, отправившими их в ГУЛаг. Хаос идейных метаний молодого поколения эмигрантов межвоенного периода: евразийцы, младороссы, пр. пр. – закономерен, любое общество в состоянии кризиса, тем паче – переживающее катастрофу, склонно как к экстремистским теориям, так и к утопически-эволюционным. Смутное время – смутные идеи. Однако все это на практике... не имеет отношения к Роману Гулю.

Да, Гуль в те годы общался со сменовеховцами (Устрялова Гуль знавал еще в годы учебы в Московском университете), безусловно и то, что, как любой молодой человек, он пытался найти некие идейные опоры в то зыбкое время растерянности и рассеянности; но в душе он, скорее, был «народником» – и, судя по всему, народнические идеалы в нем – еще с юности, с российской глубинки. Игнорировать реальное участие народа в большевистском перевороте и в Гражданской ему не позволяло лично увиденное и пережитое – как солдата Белой армии; он писал о том, что Белое движение «лишено духа народного восстания», он искал объяснений и ненавидел войну, в которой «для себя места не нашел и искать не хочу». Спасли здоровый (немецкий? – впрочем, не будем мы о форме носа) врожденный прагматизм его натуры... и некоторый «пофигизм» по отношению к жизни, выработанный... страданием. Да-да, страдание не всегда, как выясняется, очищает; чаще оно убивает, и выживают только те, чья душа обрастает кожей с мозолями, – что за примерами ходить: Шаламов. Я бы так определила, по-русски, этот «стиль души», захвативший целое поколение молодых русских эмигрантов тех лет: циник, пофигист... В приличном же, философском, контексте это просто человек играющий, ведь жизнь – театр; не удался один спектакль – добивайся роли в другом; выбился на авансцену в одном – не жди успеха в другом; убили в трагедии – посмеешься в комедии... В классические времена эту скептическую отстраненность «человека играющего» от вокруг происходящего называли цинизмом. Но у поколения Гуля природа этого мироощущения имела иной исток: если в двадцать лет вы видите вспоротый живот своего сотоварища по полку, содранную с юнкера кожу, изнасилованного ребенка и распятого мужика, если вам приходится лично участвовать на этой бого-

мильской тризне, – вы начинаете относиться к жизни несколько иначе. После Ледяного похода, после унижений бегства из родной страны, нищеты эмигрантских ночлежек, после твоих собственных мелких подлостей ради куска хлеба... стоит ли продолжать, после чего еще меняется мироощущение молодого человека и он становится «пофигистом»? Вот из какого чувства родилась самая парадоксальная книга Гуля – «Жизнь на фукса», в которой Роман Борисович написал нелицеприятный портрет русской эмиграции той поры – в ее реальной растерянности, униженности и даже ущербности. Страдание не облагораживает, а извращает и делает жалким. И у Гуля, самого переживающего те же чувства и те же испытания, что и персонажи его книги, нет иллюзий на свой счет (знавшие Романа Борисовича помнят об этом его качестве *пересмешника* жизни). В этой книге – горькое разочарование в себе прежде всего, ну – и в мире. Жизнь отныне воспринимается как фатальная игра, в которой погибнешь – или схватишь удачу за хвост. Бильярдное выражение «на фуксá» относит нас к этой философии скептицизма.

Казалось бы, общий высокий культурный уровень г-на Толстого позволял ему дать адекватную интерпретацию этой книги Гуля, сложной для массового восприятия, – но не для исследователя. Ан, автор «Берлинского перекрестка» предпочел остаться в рамках собственных «интуиций»: Гуль – «*откровенный чекист*». Господа, но это утверждение – вполне клевета, вполне – политический донос, этот жанр называется именно так. А не жанром деконструкции. Роман Гуль уже в мире ином – и доносить на него *легко*! И опять – ни одного факта, сплошное: «а я так думаю», «по моим ощущениям», «я так считаю»... Все это напоминает известную ситуацию с травлей Б.Пастернака в сталинские времена: «...книгу не читал, но она – безусловно вредная». А по Толстому – написанная под диктовку ЦРУ (ну, конечно, я утрирую, ну увлеклась, ну простите... Однако как повезло Пастернаку, что у его тогдашних оппонентов не было под рукой «исследования» И. Н. Толстого!).

Поражает при этом абсолютное, неправдоподобное непонимание истории эмиграции и ее сюжетов. «Ворог!» – бряцает доспехами наш Толстой над двумя книгами Гуля, выпущенными в 1927-ом Госиздатом, – переиздание «Ледяного похода» и издание «Жизнь на фукса»: мол, с ГПУ «сговорились о том, что вы эту книгу издаете» (это – «Роману Николаевичу», герою рассказа Толстого), «чтобы госиздательство печатало книгу эмигранта – такого не бывало, И БЫТЬ НЕ МОГЛО!» И могло, и было. Ведь ежели обратиться к реальной истории эмиграции в межвоенный период, то можно в 1920-х обнаружить множество историй еще не прерванных контактов

эмигрантов с родиной (ситуация изменилась лишь в 1930-е гг. – понятно почему). Вот парочка подтверждений:

У **Ивана Бунина** в те же годы выходят в Советской России: «Сны Чанга». – М-Л: ГИз, 1928, «Худая трава». Рассказы. – М.-Л.,. *ЗИФ,* 1928, и «Дело корнета Елагина». – Изд. «Книжные новинки»; тогда же – сб. «Митина любовь»; а так же – «Господин из Сан-Франциско» / Вступ. статья М. Тимашевского «Ив. Бунин». Л.: Прибой, 1926, и статья о самом Бунине – в Литературной энциклопедии, изд. «Коммунистическая академия», 1929 год... У **Аркадия Аверченко** выходят (уже после смерти!): «Моя старая шкатулка». – М.; А.: Земля и фабрика, 1926; «Мужчины». – М.; Л.: Земля и фабрика, 1926; «Ниночка». – М.; Л.: Земля и фабрика, 1926; и еще порядка десяти названий... В межвоенный период в Советском Союзе, по разным причинам и разными усилиями, издавали белоэмигрантов. Очевидно, что, «по Ивану Толстому», Иван Бунин – «агент ГПУ»? Нет, до первого Нобелевского лауреата интуиция Толстого еще не расползлась. До Бунина она должна заняться Бродским и Солженицыным. (Поясню: Нобелевскую медаль Пастернака получал его сын, то есть хронологически мы должны вернуться к Бунину, пройдя по всему списку с конца к началу. А по пути – столько всего для интуиции! Скажем, почему выпустили – а не расстреляли? А почему тот вернулся, а этого поддержали американские слависты на пути к Нобелевской премии? Тут, знаете ли, такая симпатичная интрижка КГБ с ЦРУ вырисовывается... – Молчу, молчу...) А там, в конце великого пути по деконструкции Нобелевских лауреатов, ждет бунинская история с эмигрантским Союзом писателей – там такая переписочка архивная!.. Вот сколько еще книжек И. Н. Толстого в будущем войдет в сокровищницу русской литературы.

Но пока Иван Толстой Бунина ни в чем не подозревает: мол, Бунина издавали без его ведома. Интуиция так утверждает. Понятно, в архивах не сидим. Ну и я не буду занудствовать, потому как не интуиция, а документы меня давно убедили, что большего антикоммуниста, нежели Иван Бунин, трудно было себе представить в русской эмиграции. Разве что – Роман Гуль. Но что я буду чувственную песнь Толстого опять портить скучными фактами? Я ведь тоже хочу о чистом и высоком. Вот и скажу: если в 1990-е Россия смогла освободиться от советской диктатуры – так это благодаря, в том числе, и Роману Борисовичу Гулю.

Человеку очень неудобному, жесткому и бескомпромиссному в своих политических взглядах (ох уж эти брови!) – и до предела преданному свободной русской литературе. Свободу он вообще ценил превыше всего остального – говаривая: «Не задумываясь, я взял сво-

боду, ибо родина без свободы уж не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, м. б. даже страшна, но все-таки – *моя свобода*». И как не зацепился Толстой за эту фразу Гуля? – Наверное, не знал ее, не читал «книжонки»-то. А то бы вообще фантазию свою не сдержал – особенно после слов Гуля, что «физиологического народолюбия с ущемлением моей личной свободы никогда не разделял и не разделяю». – Вот ведь готовый «предатель родины», «белогвардейская сволочь» и «враг народа» в одном стакане... Да, был Роман Борисович в душе «космополит» и в скитаниях по жизни и странам стал выше всего ценить экзистенциальные понятия, интуиции...

За кодекс чести, готовность к самоотдаче – и за писательский талант – оценил своего нового сотрудника Р. Б. Гуля проф. М. М. Карпович, бывший тогда гл. редактором «Нового Журнала». Ах, если бы только Иван Никитич последовал за перепиской Карповича и Гуля, посященной изданию журнала, он бы и сам понял, что Гуль был и правой, и левой рукой Карповича. «Каких авторов он открыл – антисоветских, боевых, ярких?» (sic!) – в своем незнании вопрошает Толстой: «Гуль не открыл ни одного автора, которого хотелось бы читать...» (sic!) Ну не хочет Иван Никитич читать Иосифа Бродского, что тут поделать? – Стихи еще никому не известного ленинградского поэта были опубликованы именно Гулем в сер. 1960-х гг. Не по душе Ивану Никитичу и Георгий Адамович (писавший для НЖ до самой смерти), Георгий Иванов (которого Гуль поддерживал долгие годы материально), и Александр Солженицын (за которого журнал дал отповедь правительству США, – была и такая история в жизни Гуля), и эмигранты третьей волны Наум Коржавин, Марк Поповский, Владимир Максимов... Аркадий Белинков писал Гулю: «Все мы без меры обязаны существованию ‘Нового Журнала’». Получается, не все, – Иван Толстой обязан чему-то другому. А ведь именно на Радио «Свобода» (где работает г-н Толстой) прошло в 1982 году это интервью с Гулем, откуда я цитирую А. Белинкова (беседовала Ю. Тролль). И там же, в беседе с Юлией Тролль Р. Б. Гуль еще раз сформулировал: новожурнальцы «непримиримы к насилью коммунистической диктатуры». Не менял старик своих взглядов всю жизнь – ну и характер! Гуль так и определял свою цель: журнал должен стать «магнитофонной лентой» русской культуры и эмиграции, это «наша посильная борьба с антикультурой большевизма, борьба за свободу». На этой радиоленте – качественная запись, можно прослушать.

Отдельно в ряду стоит имя Варлама Шаламова. Отдельно только потому, что сюжету опубликования «Колымских рассказов» Толстой уделил много времени. Ухитрившись не сказать ни слова правды. Но ведь правда – вспомним, – она нетворческая, она не дает

полета толстовской фантазии, полета в бездну, из которой звучит голос Ивана Никитича: «Гуль уничтожил Шаламова!.. И я, Иван Толстой, отваживаюсь бросить это обвинение в ответ... в неприятное лицо Романа Гуля!..» (sic!)

О нездоровом пристрастии Толстого к лицам, физиогномике, гаданиям, предсказаниям, видениям и собственным пророчествам сказано уже достаточно. Чувственный человек, известно, сам себя заводит. «И я... Иван Толстой...» – стилистически уместнее было бы воскликнуть вполне по-царски: «Мы, Иван...» – и так далее. Но как заметил по случаю один не самый добрый, но замечательно талантливый эмигрант, – «Толстой да не тот». Вот так-то, Иван Алексеевич, – пардон, Никитич. Ведь еще живы люди, которые помнят Романа Борисовича Гуля, которые с ним работали... И говорят они о Романе Борисовиче, как об «одном из виднейших представителей старой русской интеллигенции, проживавшей в Нью-Йорке во вторую половину прошлого века» (Сергей Голлербах). В конце концов, ведь существуют документы... В частности, история публикации шаламовских «Колымских рассказов» задокументирована и описана.

Рукопись передали лично Р. Б. Гулю для публикации в журнале, ибо было известно, что именно Гуль проявляет интерес к неподцензурной самиздатовской свободной литературе в Советском Союзе. Почитайте стенограмму из архива Радиостанции «Свобода», – там этот эпизод тоже описан: «Один известный американский профессор-славист как-то позвонил мне по телефону и сказал, что был в Москве и привез большую рукопись для ‘Нового Журнала’. Я поблагодарил и на другой день профессор привез мне рукопись ‘Колымских рассказов’. Это была очень большая рукопись, страниц в 600. ... Мы печатали Шаламова несколько лет и были первыми, кто открыл Западу этого замечательного писателя, взявшего своей темой страшный и бесчеловечный ад Колымы». Тему сталинских лагерей Гуль затрагивал еще на страницах своей «Народной правды» в 1940-е годы, где печатал уникального эмигрантского писателя Сергея Максимова, отсидевшего в ГУЛаге еще до войны, с его лагерными рассказами и очерками; он считал своим политическим, редакторским и человеческим долгом рассказать правду о советской диктатуре.

НЖ был в те времена, в 1960-е, – единственным литературным центром эмиграции, к нему стекалось все, – и Гуль был в ответе за все и за всех, так себя и позиционировал (кстати, редактировал тексты он сам, сам отбирал и формировал каждый номер журнала. Всю эту тщательную гигантскую его работу сохранил журнальный архив). И когда г-н Толстой говорит, что «Гуль размывает ‘Колымские рассказы’ по номерам журнала, что сборник Шаламова... теряет весь

свой звук» – это свидетельствует лишь о том, что г-н Толстой не только плохо знает историю эмиграции, не только мало знаком с историей публикации Варлама Шаламова, но ничего не понимает и в том, как делается толстый литературный журнал, в чем специфика периодического издания такого формата, как напечатать 600-страничную рукопись; как работал НЖ с самиздатовскими текстами, как и с каким трудом внедрялось имя никому не известного советского прозаика в контекст мировой литературы. Но тогда – с чего бы гнев «наивного, чистого сердца»? А даже и в неуравновешенном состоянии, и в творческом захлебе, не стоило бы говорить Толстому о «Колымских рассказах» как об «ожерелье рассказиков». Сначала переживи то, что там пережито, напиши – так, как Шаламов это написал, бейся так, как бился за эту прозу Гуль... И тогда каждая строка будет дорога сочащейся из нее кровью. После публикации рассказов Шаламова в «Новом Журнале» имя писателя узнали во всех странах (НЖ уже тогда распространялся по всем континентам), и оно вернулось в Россию голосом именно из свободного мира – во всей своей силе. И стало невозможно уничтожить бывшего рядового зека Варлама Шаламова; да, его можно было травить силами советских товарищей-писателей-интуитивистов, – но новой посадки быть уже не могло. Все всё поняли правильно. Кроме Ивана Никитича.

Как вот воспринимать – как клевету, безответственность или словесные игры – такое толстовское: «...этот человек с советской властью не боролся»? (sic!) Лига, митинги, демонстрации, конференции, протестные письма, манифесты, статьи, журналы, в конце концов – реальная вооруженная борьба в реальной Белой армии – все было в жизни Гуля. Руководимый им «Новый Журнал» был запрещен в СССР, служил вещдоком при допросах и обысках, хранился, недоступный, в спецхране – под двумя (!) печатями секретности (доклад российского исследователя Е. Скарлыгиной на эту тему был представлен на конференции в честь 70-летия издания в Колумбийском ун-те). Это литературный-то журнал! Почему под двумя, кстати? Почему был дан высший, «второй уровень», секретности? А кто знает? «Сон разума рождает чудовищ»?.. Видно, страхи были велики. Но... по части иррационального – это к Ивану Никитичу; он ведь тайные мотивировки секретных служб чувствует, ощущает, провидит, интуичит. Это мало кому дано.

Поэтому и трехтомное исследование-мемуары «Я унес Россию. Апология эмиграции» Романа Гуля напоминает нашему визионеру «перечень», «инвентарь», «меню». Ну, у кого какие ассоциации. А в общем-то, даже по собственным признаниям Ивана Никтича, в молодости-то он почитывал эту «книжонку», ходившую по рукам, восхи-

щался «великим Гулем», который его образовывал, развеивая советский миф в голове советского студента, и который у Толстого нового, Толстого великого, вызывает «острое сомнение» – «книжка соглашательская». (sic!) Вот так – одной ухмылкой – перечеркнуть всю Зарубежную Россию, Россию в изгнании, в борьбе, в творчестве. И ведь даже не скажешь, что «неблагодарный ученик» – ну какой он, Толстой, ученик, – урока-то не знает, не доучил, не дочитал, не додумал. Так, сплошные фантазии. Хотя талантлив. И эмоционально аудиторию подкупить умеет, и большой эстет – любитель красивых лиц, пиджаков (это все из той же передачи, это не моя интуиция)... и страхи-ненависти умеет вытащить из подсознания бывшего советского зрителя-читателя (у кого из российских граждан старшего поколения не вызовет тошнотный страх и отвращение слова «агент ЧК», ГПУ, НКВД, КГБ...) И в исстрадавшихся, но не испытавших очищения, душах моих соплеменников образ русской эмиграции (уже неважно – белой ли, дипийской, иль третьей 70-х, иль 90-х, 2000-х...) станет прочно ассоциироваться с негативом «жизни на фукса». Эдакие ловцы удачи, ловкачи и прохиндеи... устроились там... зажрались... продались... А во главе этой номерной колонны профиндеев и сексотов – «Роман Николаевич Гуль», агент всех международных разведок, фуфлан, обустроивший жизнь на фукса.

Что сказать Ивану Алексеевичу... пардон, Никитичу... – ему виднее, он в эйфории деконструкции, предчувствий и ощущений нового дискурса. И вот уже нет ни катастрофы Октября, ни мессива Гражданской, ни константинопольских притонов, ни мора галлиполийской степи, ни болгарских рудников, ни алжирских пустынь, ни бойни Лиенца, ни концлагерей нацистских и гулаговских, – нет ни русского балета, ни Шаляпина, ни Рахманинова, ни Зворыкина, ни Набокова... Бунина уж тем более нет. Напечатался, агентишка, и в 1927, и в 1928, а уж в 1950-х советских... – ловкач, нобеляга... А главное, что ни скажи Толстой – ничем не рискует: так и признается с экрана – мол, Гуля давно уже нет, и мы, потомки, можем свободно все рассказывать. (sic!) И вот уже нет ничего у зрителя, кроме злости ко всем этим двурушникам, – ложь ведь, как антисистемный элемент, несет в себе разрушение сознания и чувства доверия. Совращает, короче.

На Фейсбуке И. Н. Толстой пишет: «Исторические доказательства бывают трех видов: собственное свидетельство, найденные документы и научная интуиция исследователя». Абсолютно согласна. Но в нашем случае ничего этого нет: документов и свидетельств не найдено Иваном Никитичем Толстым, а научная интуация – это немножко иное, чем ворожба и беспочвенная фантазия; научная интуиция – потому и

«научная», что она возникает из фундаментального академического знания, накопленного материала, сотен перевороченных архивов, текстологии и пр. пр. пр. Вот тогда начинаешь чувствовать предмет исследования, тогда интуиция подсказывает, где правильный поворот (и то может подвести – и факты опровергнут догадку). А всё вне этой титанической работы называется иначе: «окололитературные сплетни», клевета, доносы и прочее. Они рождаются вне контекста, вне знания и практически неостановимы. «Хорошо – что никого, / Хорошо – что ничего...» Вот вам, Иван Никитич, кстати, еще один «ловкач» из жизни на фукса. Ну, вы же понимаете, о ком я? Поэт такой, из Парижа, голодный, исстрадавшийся и злой. Подходящая фигура для следующей деконструкции. И физиономия у поэта, обратите внимание: тоже мрачная, худая, глазища какие-то запавшие, – вылитый агент. Интуичите?

Да, нынче – время деконструкции. Но нельзя забывать, что целью деконструкции является обнажение новых смыслов, раскрепощение мысли, ломка стереотипов, очищение от историко-культурных наслоений, – то есть перед исследователем ставится задача *позитивная*. В некотором смысле, этот исследователь – наивный чудак, который рискует и разрушает во имя обновления. Который ради затерявшегося в архивах фактика не одну пару башмаков стаптывает. Однако похоже, что сегодня бал правит провокация. Когда топчат и уничтожают просто потому, что нужен свежий телевизионный сюжет, потому что стало скучно в своем благополучии, потому что это уже совсем другие дивиденды... Одних увлекает деконструкция Ахматовой – и вместо Поэта мы имеем блудницу (Жданов тоже так считал, но она при жизни не далась, а после смерти – это на совести потомков, ее это не пачкает); других увлекает деконструкция Гуля-антикоммуниста и человека – и из пробирки вытаскивается гомункул «Роман Николаевич», фуфлан и сексот...

Мой друг, старый русский эмигрант, известный американский художник Сергей Голлербах рассказал мне такую историю. В первые послевоенные годы на одном из классов в Мюнхенской академии художеств (курс тогда «стоил» юному Сереже, «остарбайтеру», пачку американских сигарет, заработанных рисунками в офицерском клубе) его педагог, известный немецкий профессор живописи, собрал самые бездарные работы студентов и сказал: «Посмотрите. Вы *равняетесь по низам*, а можно – *равняться по верхам*». То-то и оно...

Сергей Голлербах

Вторая волна

Будучи одним из немногих оставшихся представителей второй волны русской эмиграции, то есть тех людей, которых советская власть в свое время называла «изменниками Родины», я хочу сделать несколько пояснений, касающихся этого трагического периода русской истории двадцатого века. Они, мне кажется, необходимы для объективного его понимания и беспристрастной оценки последующими поколениями.

Три исхода российских граждан на Запад совершились в двадцатом веке, из которых первый и третий имеют много общего, а второй разительно от них отличается. Белая эмиграция покинула объятую Гражданской войной Россию и нашла приют на мирном Западе, где война закончилась в 1918 году. Третий исход, третья волна, покидая Советский Союз с начала семидесятых годов прошлого века, встретила радушный прием на Западе, уже оправившегося от разрухи Второй мировой войны. Дипийская же волна возникла в самый ее разгар и претерпела все ее ужасы и последствия.

Вторая волна – это, в основном, те советские граждане, которые не успели или не смогли вовремя эвакуироваться вглубь страны и попали под немецкую оккупацию. Именно с того момента они, оказавшиеся по другую сторону фронта, были объявлены «изменниками», так как формально они «работали на врага». То, что труд этот был принудительным, да и даже просто необходимым для выживания, советской властью и «вождем народов» не учитывалось. Из-под гнета сталинской диктатуры эти советские граждане попали в лапы гитлеровской, ненавидевшей Россию и всех славян. Без вины виноватые, они попали из огня да в полымя. Когда немецкая армия стала отступать, многие, опасаясь сталинской мести, ушли на Запад. Оказавшись в Германии, они невольно подверглись там жесточайшим бомбежкам англо-американской авиации. Мы знаем, что существуют могилы Неизвестного солдата, но нет могилы Неизвестного иностранного рабочего, погибшего во время войны...

Когда война закончилась, над этими советскими гражданами нависла новая угроза – насильственная репатриация, которую требовал Сталин и на которую западные союзники согласились на Ялтинской

конференции. Только возникновение «железного занавеса» и начало «холодной войны» отвратило неизбежное. А потом начался новый исход второй волны – в заокеанские страны. Он был вызван страхом перед возможной победой коммунизма в Западной Европе. Лишь к концу сороковых годов эти страхи улеглись. И можно было бы, кажется, вздохнуть облегченно. Но там, по ту сторону «железного занавеса», остались родные, близкие, друзья, – и мала была надежда их когда-либо встретить. Впрочем, эта беда как раз объединяла все три волны российской эмиграции, а ее последствия ощущаются и по сей день.

Возвращаясь мыслями к годам войны, нельзя не упомянуть один прискорбный факт – коллаборацию некоторой части населения с оккупантами. Уместно сразу же сказать,что такая коллаборация с нацистами происходила и в западноевропейских странах, хотя население там гораздо лучше было осведомлено о сущности нацизма, чем советские граждане. Постараемся разобраться в основных причинах коллаборации. Главной из них следует считать сведение счетов, как идеологических, так и чисто житейских. Следуя макиавеллиевскому принципу «враг моего врага – мой друг», противники нацизма заключали союз с коммунистами, а противники коммунизма – с нацистами. Непредсказуемые и часто вредоносные результаты такой позиции вполне очевидны.

Войны, революции и всяческие социальные перемены вообще дают возможность проявить себя людям, которые в нормальных условиях, ввиду их интеллектуальной и моральной неполноценности, не способны создавать что-то положительное и ценное. Во время войны они мстили самой жизни за свою ущербность – мстили жестокостью, пользуясь неограниченной властью. Известная немецкая журналистка Ганна Арендт, писавшая репортажи о суде над нацистским преступником Адольфом Эйхманом, была поражена его внешностью. Ничего злодейского, человеконенавистнического, в нем не было. По виду он был самым обыкновенным мелким чиновником, – каким и остался бы, не будь в Германии нацистского переворота и войны, давших ему власть уничтожать миллионы невинных людей. Ганне Арендт принадлежит выражение «банальность Зла».

Наконец, существует еще одна категория коллаборантов, самая многочисленная и сложная. Это – невольные коллаборанты, служащие внешнему и внутреннему врагу для спасения не только себя, но и своих близких. Они идут на сделки с совестью, спасая этим родных им людей. Какого характера эти сделки и где их моральные границы – это уже другой вопрос, и ответ на него можно дать только с учетом всех привходящих обстоятельств. Мы знаем, что в человеке борются Добро и Зло, проявляющие себя или по отдельности – или одновре-

менно. Я помню случай, когда одна русская немка, учительница немецкого языка в средней школе, предложила немецкой комендатуре свои услуги как переводчица и пользовалась всеми льготами коллаборантки. Но она и помогала людям, и спасла многих от смерти. Как судить такого человека? Коллаборация, как мы видим, более сложное явление, не подпадающее под общий знаменатель «черно-белого» и требующее рассмотрения каждого индивидуального случая.

В заключение хочу сказать несколько слов о культурных ценностях, которые несли в себе все три волны российской эмиграции. Из них главенствующее место принадлежит первой волне. Значительная часть Серебряного века – художники, артисты балета, писатели, композиторы, музыканты, ученые и мыслители – покинули Россию после революции. Иван Бунин стал первым русским Нобелевским лауреатом по литературе. Третья волна тоже вынесла на Запад часть интеллектуальной элиты и дала еще двух Нобелевских лауреатов – Иосифа Бродского и Александра Солженицына. По сравнению с этими волнами вторая волна занимает довольно скромное место в этой культурной сокровищнице, что и неудивительно. Интеллигентов, людей творческих профессий в том потоке эмигрантов было мало. Но было бы несправедливо считать, что вторая волна не внесла ничего в русскую культуру двадцатого века. Вторая волна вынесла на берег жизни новые имена поэтов, писателей, художников, ученых. Не перечисляя их имен и не определяя их «удельного веса», скажу, что они не только продолжали культурные традиции России, но сумели многое увидеть со стороны; они были вольны от политической цензуры, существовавшей на родине, и сполна использовали дарованную им свободу во благо мировой культуры.

Если представить себе культуру страны как обширную коллекцию драгоценных экспонатов из золота и серебра, то в такой коллекции всегда найдутся экспонаты, ценность которых определяется не драгоценными металлами, а их уникальностью и неповторимостью. Так, например, литература беженских лагерей ди-пи, напечатанная на ротаторах, представляет собой подлинное сокровище. Находясь в лагерях для «перемещенных лиц», русские беженцы хотели сохранить русский язык и культуру для своих детей, растущих вне России, – и создавали русские гимназии, устраивали литературные вечера, открывали храмы... Переселившись в страны Северной и Южной Америки, русские эмигранты второй волны продолжали творчески работать.

Сейчас, когда образовалось единое культурное пространство, творчество эмигрантов смогло вернуться в Россию и стать частью общей русской культуры, привнеся в нее свой неповторимый оттенок.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Глезер Александр Давидович

4 июня 2016 года во Франции скончался Александр Давидович Глезер (1934–2016). Организатор художественных выставок, коллекционер, издатель и поэт, он играл главенствующую роль в движении художников-нонконформистов и диссидентов, возникшем в Советском Союзе вскоре после смерти Сталина. Александр Глезер был одним из организаторов известной «бульдозерной» выставки в Москве, создателем Музея современного русского искусства в изгнании в Монжероне, а в Америке основал журнал «Стрелец». Предоставлю людям, хорошо знавшим Александра Глезера, отдать должное и оценить его творчество во всех деталях, я же просто хочу помянуть добрым словом этого незаурядного человека, с которым меня столкнула судьба.

Должен сказать, что, принадлежа ко второй, послевоенной, волне русской эмиграции (я уехал в Соединенные Штаты в 1949 году), я был целиком отрезан от жизни творческой молодежи в Советском Союзе. Благодаря Александру Глезеру, или Саше, как мы его потом называли, я многое узнал, со многими художниками познакомился и даже сотрудничал некоторое время в журнале «Стелец».

Моя первая встреча с Сашей Глезером произошла в конце семидесятых годов. Будучи в Париже, я узнал, что в городке Монжерон находится коллекция неофициального советского искусства, собранная Глезером, недавним эмигрантом из Советского Союза. Мой друг, известный французский славист и коллекционер Ренэ Герра, и я поехали посмотреть эту коллекцию. Нас встретил сам Александр.

Мое более близкое знакомство с ним началось уже в Америке, в городе Джерси-Сити, где он поселился и стал во главе Комитета по абсорбции советских эмигрантов (по-английски: Committee for the Absorption of Soviet Emigres / CASE). Он был женат тогда на француженке Мари-Терезе Кошен, у них только что родилась дочь Тамара. Мари-Тереза вскоре выучила русский язык и открыла галерею, в которой выставлялись работы русских художников-диссидентов. Добавлю, что в ее галерее прошло и несколько моих персональных выставок. Хочу подчеркнуть, что для Саши Глезера я был его соотечественником, а не чужаком, тридцать лет тому назад покинувшим Россию, – и это было мне очень дорого.

Расскажу теперь об одном забавном случае, произошедшем в Париже. Мари-Тереза, Саша, Ренэ Герра и я решили поужинать в одном русском ресторане, в котором никто из нас до того не бывал. Назывался он «Ле Трактир» и помещался в двух небольших комнатах, к нашему приезду уже почти полных. Хозяин встретил нас с извинениями: «Ребятки, придется подождать, кухонька у нас маленькая, а народу много». Мы уселись, заказали блюда и стали ждать. В соседней комнате закусывала уже изрядно подвыпившая группа французской молодежи, – как оказалось, это был «мальчишник». Поначалу молодежь шумела, хохотала, но потом вдруг запела «Интернационал». Услышав этот коммунистический гимн, Саша вскочил и по-французски крикнул им: «Communisme ce mal!» (Коммунизм – это плохо!). Французы расхохотались и попросили хозяина поставить Саше бутылку шампанского. Саша, русский человек, в ответ послал им две бутылки шампанского. Вскоре пьяные французы выкатились, причем жених, стукнувшись головой о стоявшую машину, рухнул на тротуар.

Интересно было и то, что русский хозяин ресторана, говоря на чистейшем «советском русском», говорил на прекрасном французском языке. Оказалось, что хозяин – сын старых русских эмигрантов, после войны поехал в Советский Союз искать родственников и попал в ГУЛаг. Просидев там лет двадцать, он смог, в конце концов, вернуться во Францию и даже написать книгу о своем пребывании в сибирских концлагерях.

Вспоминаю и другой случай. В начале восьмидесятых годов американка Элла Фрейдус, коллекционировавшая картины Давида Бурлюка, решила устроить двухдневную выставку его работ в своем особняке в городке Cold Spring Harbor, неподалеку от Нью-Йорка. Первый день посвящен был просмотру картин, а на второй день задуман футуристический бал. Решив поехать туда, я взял с собой Сашу Глезера и Вячеслава (Славу) Завалишина, литературного и художественного критика газеты «Новое русское слово». При въезде на участок Эллы Фрейдус нас встретил сын Бурлюка Никифор, указавший нам, где запарковать машину. В самом доме картин Бурлюка оказалось мало и судить о творчестве художника было трудно.

На футуристический бал я решил не ехать, о чем потом жалел. Мне говорили, что он прошел довольно бурно, не без драки, и кто-то даже выстрелил в потолок из револьвера.

Шло время, в России начались гласность и перестройка; потом развалился и сам Советский Союз.

С его концом стало терять свою актуальность искусство худож-

ников-диссидентов. Как правильно сказал крупнейший его представитель скульптор Эрнст Неизвестный: «Диссидентское искусство кончилось, осталось только искусство». Саша Глезер вскоре переехал на жительство во Францию и наши пути разошлись. Со временем я узнал, что он стал болеть и был помещен в старческий дом, где и закончил свою жизнь. В извещении о его смерти, присланном его вдовой Мари-Терезой, приведены его стихи, которые цитирую:

Неласково небо чужое,
В душе и разлад, и разбой.
За смертной, заветной чертою
найду наконец-то покой.

Я слышу дыханье последних
Печальных, прощальных минут,
Коротких, как полдень осенний,
Но полных нежданных
прозрений,
Которые каждого ждут.

«Вернуться в Россию», Вена. Март 1975

С Сашей Глезером я всегда был «на Вы», а он обращался ко мне по имени и отчеству, но сейчас я позволю себе сказать:

Мир праху твоему, дорогой Саша,
я рад, что был знаком с тобой и был, хотя и временно, сотрудником в твоей работе. В истории русского диссидентства ты займешь заслуженное тобою достойное место.

Сергей Голлербах,
Июнь 2016, Нью-Йорк

Редакционная коллегия и редакция «Нового Журнала»
выражают свои соболезнования родным и близким покойного.

Эрнст Неизвестный

Утром 9 августа 2016 года на своей даче около Нью-Йорка скончался в возрасте девяноста одного года выдающийся русский скульптор и график Эрнст Неизвестный (1925–2016). Его следует, мне кажется, считать одним из последних крупнейших мастеров-гуманистов прошлого, столь трагического двадцатого века.

Кем-то было справедливо замечено, что наша западноевропейская цивилизация зиждется на двух традициях – на греко-римской традиции красоты тела и на иудео-христианской традиции красоты духа.

В этой, второй, христианство не противопоставляется иудаизму, а обе религии рассматриваются как единое целое. Что же такое красота духа? Это, конечно, не только духовная, но и моральная и социальная правда. Русское искусство шло именно этим путем поисков Правды, от передвижников до русского авангарда и до творчества художников-диссидентов, в среде которых Эрнст Неизвестный играл большую роль. В документальном фильме о нем, созданном московскими кинорежиссерами, Эрнст Неизвестный говорит о том, что он везде видит крест. Два глаза и нос – это крест; ветви, отходящие от ствола дерева, – тоже крест. Но крест для скульптора – не столько распятый Иисус, сколько распятое человечество.

Тема Распятия – но не в узкорелигиозном, а в общечеловеческом смысле – доминирует в творчестве Эрнста Неизвестного. Одно бронзовое Распятие особенно запомнилось мне. На нем изображена фигура человека с высоко поднятой левой рукой. Это не Христос, а скорее всего, Прометей, ведущий диалог с Богом, страждущий, вопрошающий.

Мое личное знакомство с Эрнстом Неизвестным состоялось в семидесятые годы, когда скульптор прибыл в Нью-Йорк. Но еще в ранние шестидесятые в частном музее американского миллионера Гантингтона Гартфорда я увидел графические работы Неизвестного, произведшие на меня большое впечатление. Впоследствии я имел возможность посещать мастерскую скульптора с моими студентами. Если в живописи главенствующую роль играет цвет, то в скульптуре, помимо формы, – жест. Он – древнейшая форма общения человека с человеком; жестом приветствуют, указывают путь, увлекают, угрожают, требуют. Именно Жест доминирует в творчестве Эрнста Неизвестного и выявляет этим драму человеческого существования.

С распадом Советского Союза прекратилось и диссидентское искусство. «Диссидентского искусства больше нет, осталось одно искусство», повторю я вновь сказанное когда-то мне Эрнстом Неизвестным. И действительно, рушатся империи, изживают себя идеологии, но искусство продолжает жить. Будет жить и искусство Эрнста Неизвестного, основанное на его гуманизме, на его страстном антропоцентризме.

Каждый поистине творческий человек живет не только в Настоящем, но и в Прошлом и Будущем. Из Прошлого он берет знания и опыт, а в Настоящем создает художественные образы, выходящие за рамки времени и смотрящие в Будущее. Эллин, иудей и христианин – так я бы охарактеризовал Эрнста Неизвестного. Из древней Греции он брал не аполлоническое начало гармонии и пропорции, а греческую трагедию; эпоха Возрождения для него – «Божественная комедия» Данте (скульптор иллюстрировал «Инферно» серией прекрасных рисунков пастелью). Настоящее – это распятое человечество, а Будущее – проект монументальной скульптуры «Древо Жизни», смысл которой – содружество и взаимопонимание творческих людей во всем мире.

На Западе, в частности в Соединенных Штатах Америки, широта и глубина творческих замыслов Эрнста Неизвестного не были достаточно оценены, это – дело будущего. Творчество его было мало созвучно протестантскому прагматизму, имеющему здесь большую силу. К счастью, сейчас возникло единое культурное пространство, и творчество русских людей в Зарубежье воссоединилось с творчеством их соотечественников на родине. Покинув Россию физически, Эрнст Неизвестный никогда не покидал ее духовные и культурные традиции.

В заключение скажу, что я благодарен судьбе, давшей мне возможность встретиться с этим большим мастером, познакомиться с его творчеством.

Мир – праху, многая лета – его творческому наследию, которое является достоянием не только России, но всех людей, кому дорога наша западноевропейская культура и будущее человечества.

Сергей Голлербах
Август, Нью-Йорк

Редакционная коллегия и редакция «Нового Журнала»
выражают соболезнования вдове, родным и близким покойного.

БИБЛИОГРАФИЯ

Алексей Белков. Всегда за Россию! История периодической печати Русского Охранного Корпуса. – М.: Галлея-Принт, 2016, 84 с.

Исход Русской Армии из Крыма в ноябре 1920 года не был воспринят белыми как поражение. «Отбоя не было... борьба продолжается», – писал генерал-майор Алексей фон Лампе (Лампе А. Пути верных. Париж, 1960, с. 251). Естественно, в условиях изгнания изменились формы и методы противостояния большевизму, но общим оставалось настроение – при первой возможности возобновить с оружием в руках борьбу за освобождение родины. В этом желании были едины все военные и военно-политические организации Зарубежья (Русский общевоинский союз, Русский национальный союз участников войны, Русское народное ополчение и т. д.), которые могли не соглашаться между собой (а зачастую и враждовать) по множеству других вопросов, связанных, в числе прочего, с организацией и тактикой борьбы. Поэтому не удивительно, что нападение нацистской Германии на Советский Союз было воспринято как шанс возобновления «Весеннего похода» – освобождения России от уз коммунистической диктатуры.

Военный историк Алексей Белков (Москва) рассматривает, как эти чаяния отражались на страницах газет Русского Охранного Корпуса (РОК) – одного из крупнейших воинских соединений, сражавшихся на стороне сил Оси. Следует отметить, что это первая в России и вторая в мире авторская монография по истории Корпуса – после брошюры Antonio Munoz «For Czar and Country: A History of the Russian Guard Corps, 1941–1945» (1999).

РОК был создан 12 сентября 1941 года в оккупированной немцами Югославии главой Бюро по защите интересов и для помощи русским эмигрантам в Сербии (в дальнейшем – Управление делами русской эмиграции) генерал-майором Михаилом Скородумовым. Изгнанники надеялись сразиться со своим извечным врагом на Восточном фронте, но независимая и национально-ориентированная политика Скородумова напугала нацистов – генерал был смещен и на короткое время арестован, а Корпус использовался для борьбы с местным движением Сопротивления (в основном с Народно-освободительной армией Югославии Иосипа Броз Тито).

В конце войны Корпус с боями (в том числе и с частями Красной армии) пробился в Словению, а оттуда в Австрию, где капитулировал перед англичанами. В этой связи необходимо иметь в виду, что, несмотря на требования Москвы, никто из чинов РОК не был насильственно выдан в Советский Союз (в отличие от казаков и власовцев),

а также не был осужден за преступления военной юстицией союзников.

Белков пишет о зарождении корпусной печати, когда 23 декабря 1941 года вышел в свет первый номер «Ведомостей Охранной Группы» (первоначальное название РОК; после 9 декабря 1942 г. – «Ведомости Русского Охранного Корпуса в Сербии»). В июне 1943 года «Ведомости» объединились с еженедельником Управления делами русской эмиграции «Новый путь» и стали выходить под названием «Русское дело». Подобный союз позволил не только изменить формат, став из «военной» газеты стала «военно-общественной», но и, расширив печатную базу, выпускать приложение «Наше знамя». В декабре 1944 года, после объединения с газетой «За Родину», эвакуированной из города Дно (Псковская область), вместо «Дела» в Корпусе начала выходить «Борьба», которая, в силу изменившейся обстановки, печаталась не в Белграде, а в Вене.

После окончания войны, еще в период плена, с мая 1945 года стал выходить основной орган Союза чинов Русского Корпуса – журнал «Наши вести», а с 1957 по 1997 гг. – еще одно печатное издание – «Корпусник».

Что представляли из себя издания РОК? На раннем этапе «Ведомостей» газета главным образом знакомила читателей с официальной информацией (в том числе немецкими военными сводками), которые дополнялись собственной аналитикой, статьями об обстановке в СССР и материалами о службе и быте в самом Корпусе. Возглавил издание полковник Евгений Месснер.

«Русское дело» немного иначе структурировало подачу материалов, разделив их на три раздела: военный (редактор Евгений Месснер), внешней политики (Борис Ганусовский), культурно-просветительский (Виктор Иванов-Гордовский). С десятого номера появился раздел Hipo (Николай Чухнов), связанный с появлением еще одного формирования русских эмигрантов в составе немецких оккупационных сил – отряда вспомогательной полиции (Hilfspolizei) Михаила Семенова (так называемый добровольческий особый полк СС «Варяг»). Материалы, посвященные РОКу, печатались в специальной рубрике «Из жизни Русского Корпуса». Главным редактором «Дела» стал К. К. Миллер. В свою очередь, «русская солдатская газета» «Борьба», которую возглавил Евгений Месснер, имела следующую структуру: новостные и политические материалы (приказы, сводки с фронтов), статьи пропагандистского характера, информация о Корпусе и иных русских вооруженных формированиях в составе немецкой армии (РОА, казаки).

Насколько публикуемые материалы были независимы? Естест-

венно, в условиях военного режима и немецкого контроля статьи и заметки в корпусной периодике не были свободны от цензуры и самоцензуры. Поэтому не удивительно появление на страницах газет «Лекций о национал-социализме» или таких заявлений генерал-майора Михаила Глаголева, которые приводит Белков: «В течение 25 лет обезглавленный русский народ беспомощно, со связанными руками и заткнутым ртом, бился в когтях международной еврейской гидры. И только один великий Адольф Гитлер понял страшную опасность, поднял меч и протянул русскому народу свою благородную руку» (с. 23). Вместе с тем многие статьи в газетах РОК носили ярко выраженный национальный характер. Корпусники признавались, что «испытывали чувство жгучей боли за поруганную родину и глубокой печали о том, что мы не имеем возможности идти вместе с ними (немцами. – *А. М.*)... освобождать нашу далекую Родину» (Ведомости Охранной Группы. 17 июня 1942). На последнем акцентировали внимание и сами немцы, отмечая, что корпус «находится под влиянием руководства русской эмиграции», а его личный состав «подвергается политически прорусскому, особенно монархическому, влиянию, которое имеет место и которое невозможно отрицать» (из письма командующего полицией и СС в Сербии группенфюрера СС Августа Майснера рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру от 23 октября 1942 г. Institut für Zeitgeschichte, Мюнхен, MA 304).

Вопреки нацистской политике руководство РОКа стремилось к объединению с другими антикоммунистическими русскими соединениями. Уже в 1943 г. появляются статьи о Русской Освободительной Армии генерал-лейтенанта Андрея Власова. При этом «белых» корпусников совсем не смущал союз с «красным» генералом, который в итоге и осуществился, когда командир Корпуса генерал-лейтенант Борис Штейфон в январе 1945 года без всяких условий попросил включить РОК в состав власовских Вооруженных сил Комитета Освобождения Народов России (см. ценные воспоминания Павла Буткова о связанных с этим событиях: «Генерал Штейфон у генерала Ассберга в Вене». – «Наши Вести», № 398, 1985).

Отдельный вопрос – насколько морально и юридически был оправдан союз с осужденным на Нюрнбергском процессе нацистским режимом. Ведь в результате корпусники de facto, оттягивая на себя силы антигитлеровской коалиции, освобождали немецких солдат в том числе и для террористической деятельности на оккупированных территориях России.

В конце рецензии остается лишь выразить сожаление, что интереснейшая книга Алексея Белкова написана довольно сжато, и многие важные сюжеты (оценки чинами РОК Красной армии, описания

боев корпусников, культура повседневности) даны, в лучшем случае, лишь штрихами, как «попытка наметить тему».

Андрей Мартынов, Москва

«Вера жена Бориса»: Дневники Веры Алексеевны Зайцевой. 1937–1964 гг. / Авт.-сост., подготовка текста, комментарии, сопроводительная статья О. А. Ростовой. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2016, 752 с.

Чистый, светлый, тихий, пронзительный; наследник традиций Тургенева... Каких только отзывов о себе за свою почти столетнюю жизнь не читал блистательный прозаик Борис Константинович Зайцев. Он покинул обожаемые Москву и Россию в 1922 году и через пятьдесят лет умер в Париже. Его нравственный авторитет был непререкаем, недаром долгие годы Зайцев возглавлял многочисленные русские литературные и общественные организации. Проза Бориса Константиновича, статьи и заметки, которые он беспрерывно публиковал в эмигрантских газетах и журналах, как и строки многих других его соратников по изгнанию, буквально дышали Россией; под виртуозным пером этого писателя все в прошлом приобретало почти магический, светлый смысл. Недаром его так ценил Бунин – правда, жизнь их развела, и они не примирились друг с другом до конца жизни.

Я никогда не забуду, как приезжал в Париже на рю Фрамикюр, и небольшая седая женщина, необыкновенно добрая, с чудными ясными глазами, рассказывала мне о Бунине, о Цветаевой и ее дочери Ариадне Эфрон, на свою беду вернувшейся в СССР, об огромном, манящем мире русского Парижа. То была дочь Бориса Зайцева – Наталья Борисовна Зайцева-Соллогуб. В 2004 году в московском издательстве «Русский путь» вышла книга ее воспоминаний в обрамлении уникальных фотографий из семейного архива Зайцевых «Напишите мне в альбом». Подготовила работу родственница Зайцевых, московская исследовательница Русского Зарубежья Ольга Ростова.

И вот сегодня она представляет свой новый труд, вышедший в издании Дома-музея Марины Цветаевой в Москве. Огромный том – дневники Веры Алексеевны Зайцевой с 1937-го по 1964 гг.

Вера Алексеевна Зайцева, урожденная Орешникова, дочь замечательного нумизмата Алексея Орешникова, долгие годы возглавлявшего Исторический музей, была подлинным ангелом-хранителем Бориса Зайцева. И еще она все время вела дневник. Теперь можно понять, какое бесценное значение имеют эти записи для историков русской культуры, особенно литературы эмиграции. Ведь через

жизнь Зайцева и его жены прошли сотни людей: писатели, священники, просто русские эмигранты. Он сам беспрерывно принимал участие в различных литературных – и не только – мероприятиях русского Парижа. А Вера Алексеевна добросовестно и аккуратно заносила все в дневник. В нем отражались и самые острые вопросы: и похищение русских генералов на улицах Парижа, и немецкая оккупация, и обвинения в коллаборационизме, и ссора между Зайцевым и Буниным после демонстративного выхода Бунина из Союза русских писателей, и трудная послевоенная жизнь… записи прервались, лишь когда Веру Алексеевну сразил тяжелейший инсульт. Борис Константинович ухаживал за ней как мог, и все время старался, чтобы она чувствовала себя востребованной. Они вместе принимали беспрерывных гостей, он продолжал с ней советоваться по поводу своих текстов... он продлил ее жизнь на восемь лет. Под умоляющим взглядом жены – она практически не могла говорить – Зайцев продолжал вести дневник от ее имени. Почти в каждой строке мелькает имя дочери, Наташи. Вообще, этот дневник – памятник не только русскому Парижу, но и семье Зайцевых, их верности и любви друг к другу.

Ольга Алексеевна Ростова проделала титанический труд, подготовив фундаментальные комментарии: сотни персоналий, исторических событий... «Вера жена Бориса» станет настольной книгой любого исследователя литературы Русского Зарубежья.

* * *

Marina Tcvetaeva. Poésie lyrique (1912–1941). Poèmes de Russie (1912–1920). – Éditions des Syrtes, 2015, 922 c.
Marina Tcvetaeva. Poésie lyrique (1912–1941) Poèmes de maturité (1921–1941). – Éditions des Syrtes. 2015, 830 c.

Бывают имена, при произнесении которых, кажется, сам воздух начинает звенеть, настолько обжигают их судьба и наследие. Именно к ним, безусловно, принадлежит Марина Цветаева. Еще очень многие помнят, как пробивались ее строки – капля за каплей – сквозь чугун советской цензуры; как передавали из уст в уста страшные истории об этой невыносимой судьбе, о трагедии мужа; как открывали полуслепые самиздатовские копии дивных стихов и, прочтя, уже не могли их забыть никогда; как взяла в один из новогодних вечеров на телеэкране Барбара Брыльска гитару и голосом мало кому тогда известной Аллы Пугачевой спела цветаевское: «Мне нравится, что Вы больны не мной…» И миллионы советских людей прикоснулись к чуду, к небывалой чистоте и наполненности чувствами каждой строки. Слово Цветаевой заворожило не одно поколение русских

людей в их рассеянии. Одной из тех, кто на всю жизнь поддался чуду этой ворожбы, была дочь русских эмигрантов, вышедшая замуж за Н. Лосского, внука известного философа, основоположника русского интуитивизма и персонализма Николая Лосского.

Когда Вероника Лосская заканчивала обучение в Сорбонне и готовила диссертацию о переписке Чехова с Сувориным, ей попался маленький томик стихов Цветаевой, чудом изданный в СССР в 1961 году. С тех пор накрепко и бесповоротно она связала свою судьбу с творчеством поэта. Она записывала воспоминания людей, встречавших и знавших Цветаеву, ездила в советскую Москву, где навещала Ариадну Эфрон. Та после шестнадцати лет лагерей и ссылок была не слишком приветлива – возможно, просто опасалась, что любая инициатива или встреча может повредить начавшейся публикации стихов матери в СССР. Тем не менее Ариадна Сергеевна предоставила Веронике возможность работать с архивом матери. Результатом стала знаменитая книга В. Лосской «Цветаева в жизни», созданная по примеру Вересаевского «Пушкина». В синтезе различных воспоминаний образ Марины Ивановны оказался более чем далеким от елейности. Но Лосская считала, что Цветаева не нуждается в патоке.

Была еще и книга о Цветаевой и Ахматовой «Песни женщин», и работа по подготовке к изданию дневников сына Марины Ивановны Георгия Эфрона. Их публикация стала огромным событием в культурной жизни последних лет. Долгие годы Вероника Константиновна стремилась донести размах и прелесть Цветаевой до западного читателя. Она занималась переводами цветаевских текстов, стараясь добиться максимального соответствия французскому языку цветаевского «звукового ливня», как написал один из критиков.

И вот недавно многолетний труд Вероники Лосской по переводу цветаевских стихов на французский воплотился в два огромных тома. Первая книга «Лирической поэзии Цветаевой (1912–1941)» – «Стихи в России (1912–1920)» – вышла с предисловием знаменитого слависта Жоржа Нива. Вторую книгу – «Стихи зрелости (1921–1941)» – предваряет статья известной исследовательницы русской культуры во Франции Татьяны Викторовой. Перед нами билингвистическое издание, подготовленное для исследователей русской и французской поэзии. На каждой левой странице – стихи Цветаевой на русском, на правой – их перевод на французский. Со своей задачей В. Лосская справилась блестяще: от огромного полотна первой книги «Вечерний альбом», вышедшей в 1910 г. и отмеченной Гумилевым, – до гениального посвящения Арсению Тарковскому «Все повторяю первый стих...», написанного в роковом 1941-м; поэмы, созданные в России и в эмиграции; плач по раздавленной фашистами Чехии и бессмерт-

ные цветаевские признания в любви... Почти две тысячи страниц. Невероятный мир Марины Цветаевой и фантастический труд Вероники Лосской.

Виктор Леонидов

Марина Гарбер. Каждый в своем раю: Стихотворения. – М.: Водолей, 2015, 160 с.

Необитаемость человека. Его живучесть, его живая участь и то, что остается после. Человек потерянный, он же – найденыш, который просит: пожевать бы чего. Человек – заклятый остров; человек – уголь последний, угольная пыль, память об использованном угле. Человек – это часть суши, отделенная от себя, человек в поисках своего дома, человек, чей порыв, прорыв – раскрывшимися за спиной крыльями – закончится понятно чем; человек – это шелест памяти, это краткость, щадящая тусклость солдатского вещмешка, о котором пишет Марина Гарбер в своей новой книге. Деревья, расправившие крылья, чтобы удариться кронами об лед:

И устремляя в небо сухожилья,
Забывшись в зимнем ледяном бреду,
Твои деревья расправляют крылья
И самоубиваются в саду.

Мне нравится, как оседает в глотке ил, теплохолодная кровь стиха, покашливание рыбаков на берегу, задыхание выловленной рыбы. И, конечно, вжатость стиснутой двери, острота ветра, вообще вещность безвозвратная, «оцинкованные ведра», «изгвазданная дегтем акварель». И еще – эта детскость, порой ломкая, как ветвь в январе, порой изогнутая вся. Для поэта детскость равносильна внезапности, молниеносности удивления, когда ожог, полученный от стихов, неизбежен и неизлечим:

Орнамент каверзен и тонок: крапь, бирюза,
И завороженный ребенок – во все глаза.

Смотри, пока не оторвали от красоты!
Ты вылит из такой же стали – и ты, и ты.

Всё круглится и катится, и взлетает пухом, распрощавшись с силами притяжения. Это поэзия о воздушной, духовной свободе, которую нельзя носить в нагрудном кармане вместе с блокнотом и

авторучкой, местонахождение которой неизвестно, но которая (поэт об этом хорошо знает) имеет место быть:

Но только воздух катится из рук,
И – пухом камышовая ограда,
Прилив – так обессиленный хирург
Идет к тебе, не поднимая взгляда.

Умереть, чтобы восстать, но не говорить об этом; посредством стихов прийти к бытию через небытие, любить недвижимое, застывшее, как бы рассерженное на самое себя из-за того, что воздух весь вышел, и вот стоит дерево, чем-то похожее на холодную оленью шкуру. Камень в кармане, как удостоверение вечности:

Мой ветер, мой мастер, гордец-стеклодув,
В тебя завернусь и усну,
Булыжник в кармане Вирджинии Вулф
Настойчиво тянет ко дну.

Отдельно – о задержанном дыхании, о продленности слов, как, например, здесь: «Не пригодившиеся для растопки щепки», или: «Лишь бы ветер не дул, не смахнул его ненароком», или: «Карандашом выпрастывала обескровленные слова». Слово длится внутри себя, радуют звучащие долготы, и – стихотворный поток останавливается на мгновение. Еще одно напоминание, что над развернутой книгой развернута другая книга – небесная, а под строчками-проводка́ми лежит земля, смысл которой мы пытаемся понять, но не можем. Стихи помогают напасть на след значений и смыслов, и мы за это им благодарны:

Отродясь,
    они сами вылепливали себя,
    не для мамы и папы, вообще – не для,
    высятся, соляные столпы, не огля-
дываясь,
    и двоясь, как дорогой расколотые поля,
    как ручьями распоротая земля,
    обезветвленные тела свои для
и длясь.

Отдельно – о зимних садах: «Серебрятся ветви, как сабли Хачатуряна». И эта роскошь, конечно: «запах коньяка и воды из Кёльна».

Поэзия – тихая плетка, которая хлещет беззвучно по скулам, губам. Стихи Марины для тех, кто виноват, а виноваты все, даже те, кого еще носят под сердцем. Беспомощно слово «боль». Человек беспомощный – может быть, так имело смысл нас всех назвать. Человек, желающий забиться в темный угол, чтобы никто его там не нашел, и чтобы ни слова больше:

Эти кадры монтировал сам Хичкок,
Солнце, попавшееся на крючок, –
Цвет закатный, как чай в стакане.
Берген-Бельзен – глоток – Майданек...

Бытование поэта, выехавшего из Киева в Соединенные Штаты много лет назад, а потом перебравшегося (оказалось, временно) в Европу, свободно владеющего, кроме русского, итальянским и английским языками. Вот (в сторону кричащих «без родины ты – никто») доказательство примата языка и культуры над кривизнами государственных границ. Поэт остается русским поэтом, пока он(а) пишет такое:

Всяк подорожник – материя для заплат,
Всяк стебелек колет острее спицы.
Если пойдешь налево, случится ад,
Если направо – ад всё равно случится.

Собственно, сказанное выше не требует особых усилий при желании понять, что речь можно сохранить, если вцепиться в нее и не выпускать. А еще – освоение, вернее, присвоение пространств, обживание новых миров за окном. Можно и по-другому: родина – это то, что мы видим из окна, надо только найти свой плющ, обвивающий дерево. Это та самая реальность, которая, по слову Целана, не существует сама по себе, – но та, которую ищут и обретают.

Григорий Стариковский, Нью-Сити

Николай Боков. Созерцания и вздохи. – Париж: Editions de la Caverne. 2015.

В Париже вышла новая книга – сборник стихов Николая Бокова. Стихам предшествует предисловие – воображаемая беседа писателя с читателем. Автор уточняет, что опыт такого сборника у него третий, «если не считать самиздатских когда-то в Москве, на папиросной бумаге», и если к «Текстотворениям» 2010 года, изданным в Franc-Tireur в США, добавить франкоязычный «Envie de miracle».

Сборник «Созерцания и вздохи» экспериментален – читатель совершит не одно открытие, при этом «разнообразие мыслей и форм», о котором пишет Николай Боков в предисловии, будет будоражить на протяжении всей книги.

Завораживает и биография Бокова. Николай Константинович живет и работает во Франции с 1975 года. Студентом он был близок к литературной группе «СМОГ» – «Самое Молодое Общество Гениев» – литературному объединению, созданному Леонидом Губановым, куда входили Юрий Кублановский, Владимир Алейников, позднее – Саша Соколов, Вадим Делоне и др. Совместно с художником Константином Боковым выпустил в самиздате сборники «Качели судьбы» и «Альманах N», несколько выпусков самиздатского журнала «Шея». Окончив философский факультет МГУ, он поступил в аспирантуру, но в 1972 году был отчислен как «политически неблагонадежный». С 1973 года был «под колпаком» КГБ; под псевдонимами публиковался в журналах эмиграции «Грани», «Посев», в газете «Русская мысль». С 1972 года начали печататься переводы произведений Бокова.

И вот – Франция. Новый опыт испытания, искушения и очищения – достойный и желаемый опыт для философа. Это отразилось и на последних стихах Бокова.

Ясность восприятия мира – синевы реки, утра; промытость красок пейзажа – все это присутствует и в прихотливых зарисовках с натуры, и в афористичном письме, и в особом «самочувствии» на просторах языка. Это восприятие – и приятие – жизни ощущается и в «тяжелой поступи гекзаметра», и когда «смысл испытанья неясен, как причина похода». В основе такой легкости лежит избыточность чувств, воспоминаний, слов, – опыт души. Когда «молчание не угнетает – прозрачным веет от него и свежим // и колышется дверь, называемая в просторечии смертью». И это преддверие оказывается частью жизни, оно наделяет поэта иным зрением, где вещи и события соразмерны себе – и тем велики и прекрасны. Молчание неторопливо: оно растворяется в «прохладе нетопленой спальни», «где единственный допущенный в дом посторонний называется телевизор – слепой свидетель того, с каким аппетитом едят местные жители вкусный картофель». Молчание созвучно слову, ветру, дождю и смеху Одетты. Может быть, поэтому «в той комнате моего сердца // где живут боль и печаль // сегодня никого нет». И это отсутствие «боли и печали» сегодня вовсе не гарантирует того, что так будет и завтра.

Мгновения радости и полноты чувств ничего не обещают. Напротив, их хрупкость свидетельствует об опыте, о столкновении с жизнью в сознательном риске, «ибо одна эврика восклицает от радо-

сти, // а другая – ее родная сестра – закричит от ужаса» («Воскресная прогулка на велосипеде»). Во время прогулки велосипед медленно едет вдоль рынка поэзии в Париже. Авторское воображение реагирует на лица, звуки, запахи, они перетекают в образы – воронки, вороны, воронка́ – стенок, крыльев, дверей, распахнутых по обе стороны судьбы. «Ужас и радость», счастье и отчаяние – целое, но кто готов выбрать счастье, то есть рисковать? Так поэзия сливается с жизнью и с мыслью, и уже неотделимы они друг от друга. «Тебе не вылечить изъяна // Души, сраженной наповал». Поэзия становится судьбой. «Умение зашло в тупик. Его не нужно боле // Все меньше чувств, все больше // Желающих их выражать // Поскольку выражение приносит средства к жизни // небольшие // А чувствовать рискованно, бывает, и смертельно // Тут нет охотников, тут лишь приговоренные //судьбой».

Мотив подлинности и подмены, так или иначе, звучит у Николая Бокова постоянно, но автор не поучает и не судит – скорее, созерцает. Что рождает особые, свободные, отношения между созерцателем и предметом его внимания. Свобода же может обернуться и каламбуром, и иронией – «Сесть и сидеть, пока не надоест // Пойти и идти, пока не// побежать и бежать, пока // махнуть и махать // чем бы еще заняться». Искусственности словесной игры здесь противопоставлено искусство балансирования – между серьезным и комическим, возвышенным и обыденным, конкретным и безграничным: «Взял бы и выразил невыразимое // произнес бы непроизносимое // помыслил бы немыслимое».

Размышления, «мысли вслух» нередко превращаются в литературные реминисценции: «Вот ночь возобновляется // с каждым часом фонарщик безумнее. Фонари разбивает вдоль улицы // а аптека стоит закрытая // и аптекарша лежит расстрелянная». Блоковское «ночь, улица, фонарь, аптека» словно проступает сквозь случившееся, монотонность разрушается неожиданной концовкой. В другом случае похожие с фетовскими строки: «Старик отчаливал. Опершись на весло» служат мотивом для противоположных по смыслу стихотворений (в сборнике они не следуют друг за другом, хотя, в сущности, представляют собой некое единое целое). В стихе с пушкинской цитатой строка «Причаливай, старик» становится надеждой на спасение; фетовское упование на земные попечения оказывается нелепостью – и «старик» причаливает к берегу разочарований.

Знакомые сюжеты – скажем, миф об Орфее и Эвридике – нередко вплетаются в картину сегодняшнего дня, где образ возлюбленной непрочен, как солнечный блик на стене: «Мне улыбалось колено // высунувшись из- под простыни // ночью я слушал стонущую шмелиную ноту // самолета, пролетавшего высоко над нашим городом // и

замирал от ручейка счастья, пробиравшегося // через сердце» («Счастье Орфея»). История Орфея и Эвридики примеряется на себя, оборачиваясь историей о превратностях любви, ее тайных взаимосвязях, непостижимых запретах, невидимых знаках: оглянуться – значит обозначить; овеществить – значит потерять. Тема хрупкости и потери прозвучит в лирических стихотворениях, которых немало в сборнике.

Автор играет на противоречиях и жизни, и поэзии: «Напрасно приготовил тему: // Ей жизни нет. ей жалко нот // Ее законченность изменой // Готова обернуться, вот», или – «И равнодушно мирозданье. // Над ним горит ужасный Зрак», или – «Я, кажется, не нужен Богу // В благополучном токе дней». Но его роль созерцателя удерживает утерянный смысл и оптимизм «вопреки»: «И вдруг из-под унылой коросты страдания // мелькнет блестящая молодая кожа обновленной // души» – «и медленно восходит радость // Прозрачной неземной зари».

В поэзии Бокова – впрочем, как и в мировосприятии – важна форма. Возвращаясь к авторскому предисловию, в котором говорится о чрезмерном разнообразии мыслей и чувств, ловишь себя на том, что вся эта пестрая картина удивительным образом складывается в единое целое. Не есть ли это – главное завоевание поэта, писателя и мыслителя Бокова: скрепы формы, удерживающие свободу бытия?.. «...Наслаждение чистым ритмом верлибра // когда отложены барабанные палочки рифмы», и отточенная форма мысли ли, чувства, стиха «изысканная простота» наделяет возможностью парения, полета «на воздушном шаре // созерцания // до той высоты (или просто места) // где уже не нужно говорить».

В самом названии сборника «Созерцания и вздохи» скрыта легкая ирония, она угадывается во многих стихотворениях. Вот небольшая зарисовка о жизни в эмиграции: «В ужасном мире всё бывает // А здесь в спокойствии живи // Тебя никто не задевает // Тем более, не убивает // Никто тебя не замечает // Призыв прослушав о любви».

Столь нелегко дающееся современникам поэта христианское смирение у Николая Бокова претворено в самоиронию, которая оказывается спасительной скрепой, хотя завышенные «претензии» к мирозданию становятся несокрушимым препятствием к обретению радости от мира Божьего. Впрочем, читатель волен сделать вслед за автором утешительное открытие: человек в равной степени как глуп, так и мудр («мешает глупость жить // а мудрость – умереть»). И сама жизнь по Бокову – поэту и философу – в сущности, остается хорошо отрежессированным спектаклем, смысл которого зависит не от творца, а от смотрящего.

Ольга Соколова, Самара

ОБ АВТОРАХ

БЛИЗНЕЦОВА Ина (Оренбург). Поэт. По образованию математик. Окончила ЛГУ. Автор книг «Долина тенет», «Вид на небо», «Жизнь огня», «Solea», «Стих и свеча». Печаталась в журналах «Континент», «Литературный курьер», «The Literary Review», «Встречи», «Интерпоэзия», в антологии «У Голубой лагуны» и др. Живет в Нью-Йорке.

БРЕЙДО ЕВГЕНИЙ – филолог, программист, прозаик. В прошлом – научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН и преподаватель МГУ; диссертация по теории стиха. В США занимается вычислительной лингвистикой и автоматическим анализом текста. Проза и эссеистика печатались в журналах «Дружба народов», «Литература», «7 искусств», «Слово / Word» и др.

ВЕРНИК Александр (1947, Харьков). Учился в Киевском университете на русском отделении филфака. Участник Литературной студии Бориса Чичибабина. С 1978 г. живет в Иерусалиме. Печатался в журналах «Время и мы», «22», «Континент», «Знамя» и в литературных альманахах Израиля, России и США. Автор поэтических книг «Биография» (Иерусалим), «Зимние сборы» (Ленинград) и «Сад над бездной» (Иерусалим).

ГОЛЛЕРБАХ Сергей Львович (1923, Царское Село). Художник, эссеист. Академик Национальной академии дизайна, член Общества акварелистов, Общества художников Одюбон. Автор книг «Заметки художника», «Жаркие тени города», «Мой дом», «Свет прямой и отраженный», «Нью-Йоркский блокнот», «New York on My Mind. Memoirs of a Displaced Person», «From a Personal Point of View».

ГОЛИНА Дана (1966, Рига). Поэт. Окончила New York University. Работает психотерапевтом в реабилитационном центре. Публикации в «Новом Журнале», «Интерпоэзия» и других изданиях. В США с 1980 года. Живет в Нью-Йорке.

ДУБРОВИНА Елена. (Ленинград) – поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор книг стихов «Прелюдии к дождю» и «За чертой невозвращения», романа *In Search of Van Dyck*; составитель и переводчик антологии *Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology* (2013). Печаталась в «Гранях», «Континенте», «Встречах», в НРС и др. Состояла в редколлегии альманаха «Встречи» до его закрытия; гл. редактор ж. «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная

Россия: Russia Abroad Past and Present» (США). Ее стихи вошли в антологию английской поэзии *Liquid Gold.* В 2013 году Всемирным СП награждена Национальной литературной премией им. Шекспира за мастерство переводов. В США с конца 70-х. Живет в Филадельфии.

ЗАХАРОВ Сергей Валерьевич, (1976, Беларусь). Окончил в 1998 г. Гомельский Государственный Университет по специальности «английский язык». Работал преподавателем английского языка, переводчиком, служил в пограничных войсках Республики Беларусь, впоследствии был фермером, торговцем, грузчиком, радиотелеграфистом. Живет в Каталонии (Испания).

ИГНАТОВА Елена (1947, Ленинград) Поэт, прозаик, С 1975 года постоянно публиковалась в самиздате и в изданиях Русского Зарубежья. Автор шести книг стихов и двух книг прозы – «Записки о Петербурге» и «Обернувшись». Стихи многократно переводились, включены в антологии русской поэзии XX века, изданные в России, Польше, Германии, США. С 1990 года живет в Иерусалиме.

КРИВОШЕИНА Ксения Игоревна (1945, Ленинград). Член Союза художников, иллюстратор детских книг. Во Франции с 1980 г. Автор романа «Русская рулетка для блаженного Августина», сб. «Судьба века – Кривошеины», книги «Красота спасающая» – о жизни, творчестве и судьбе матери Марии (Скобцовой). Автор сайта «Мать Мария», где собраны уникальные материалы по Серебряному веку и эмиграции, по русско-французскому Сопротивлению. Публикуется в журналах «Звезда», «Нева», Знамя».

КРОФТС Наталья (1976, Херсон). Поэт, переводчик. Окончила МГУ и Оксфордский университет по специальности классическая филология. Автор двух поэтических сборников. Публиковалась в «Новом Журнале», в ж. «Новый берег», «День и ночь», «Интерпоэзия», «Юность», и других. Английские стихи вошли в четыре британские поэтические антологии. Живет в Австралии.

ЛЕОНИДОВ Виктор Владимирович (1959, Москва). Окончил Историко-архивный институт, кандидат исторических наук. Автор-составитель шести книг поэтов Русского Зарубежья и многочисленных статей, посвященных проблемам наследия русской эмиграции. Один из организаторов архива-библиотеки Российского Фонда Культуры.

ЛЮБИМОВ Андрей (1959, Каменка, Ивановская обл.). Историк, краевед. С 1992 г. живет в США. Печатается в периодических изданиях Русского Зарубежья.

МАРТЫНОВ Андрей Викторович (1972, Москва). Окончил МПГУ. Кандидат философских наук. Исследователь культуры эмиграции, военный историк. Автор книги «Литературно-философские проблемы русской эмиграции».

МУСАЯН Ара (1946, Франция). Переводчик, прозаик. Вместе с родителями в 1947 году перехал в Советскую Армению, с 1948 по 1952 гг. семья жила в Абхазии. Вернувшись в Армению, в 1953–1964 гг. учился в ереванской русской школе. В 1964 г. вернулся во Францию, учился на философском факультете Сорбонны. Публиковался в журнале «Орти» в 1979–1984 гг. Пишет по-французски и по-русски. Живет в Париже.

ОБОЛЕНСКАЯ-ФЛАМ Людмила (Рига). Председатель комитета «Книги для России», долголетний сотрудник радиостанции «Голос Америки», автор книги «Вики, княгиня Оболенская» (М., 1996, 2004) и «Судьбы поколения. 1920–30-е годы» (2006). Статьи печатались в РМ, «Посеве» и других изданиях. Живет в Америке с 1954 г.

УЛАНОВСКАЯ Елена (1960, Пермь). Образование высшее техническое, курсы для продюсеров в New York Film Academy. Публикации: «Женский роман», «Шарм» (Израиль, 2003, 2006). Автор сценария и продюсер фильмов: «Русский – тяжелый язык» (Израиль) и «Из России с математикой» (США). Живет в Бостоне с 2009 года.

СИНКЕВИЧ Валентина Алексеевна (Киев). Поэт, литературный критик, эссеист. На Западе с 1942 г. Сб. стихов: «Огни», «Наступление дня», «Цветенье трав», «Здесь я живу», «Избранное», «Триада» (И.Михалевич-Каплан, В. Синкевич, Н. Файнберг), «Поэтессы Русского Зарубежья» (О. Анстей, Л. Алексеева, В. Синкевич), «На этой красивой и страшной земле», «При свете лампы», сборники эссеистики «...с благодарностию: были», «Мои встречи: русская литература Америки».

СТАРИКОВСКИЙ Григорий Геннадиевич (1971, Москва). Поэт, переводчик, специальность – классическая филология. Автор поэтических сборников «Элеутерия», «На углу», «Левиты и певцы». Живет в Нью-Йорке.

СТАРОСЕЛЬСКИЙ Эдуард (1948, Ленинград). Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Режиссер док. фильмов: *PostCards from Hell*, *Shining in the Dark*, «Вот такие пироги», «Боба – сапер Большого Драматического», а также художественных фильмов: *Prime Time*, *My Famely Treagure*, *Life Experians*. Постановщик спектаклей: *The Naked King*, *Fantasy of Pushkin*, *Joan of Arc*, *Gogol in the Subway*, *The Inspector General*. С 1979 года живет в Нью Йорке.

УРЮПИНА Анна Сергеевна. (1981 Москва). Окончила русское отделение филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук, сотрудник отдела рукописных фондов Государственного литературного музея. Автор ряда статей по литературе Русского Зарубежья, публикатор материалов из коллекции Литературного музея.

ШУЛЬБЕРГ Сандра. Продюсер, режиссер. Принадлежит известной семье американских кинематографистов Шульбергов (внучка Б.-П. Шульберга, племянница Бада Шульберга, дочь Стюарта Шульберга). Продюсер фильмов *Quills* (2000), *Undisputed* (2002), *Shadow Magic* (2000). Основатель и руководитель Independent Filmmaker Project (IFP), крупнейшей организации независимого кинематографа в США.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

General Sponsor of The New Review, Inc.: The Zimin Foundation

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:
Benefactors: The Tcherepnin Society, Mr. P. Tcherepnine; Mr. & Mrs. I. Vechesloff;
Sponsors: Mr. S.Hollerbach; Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G.Lukin;
Fellows: Mr. & Mrs. B. Pushkarev;
Friends: Mr. & Mrs. R. Colacicchi; Mr. & Mrs. V. Galitzine; Mr. A. Moussaian; Mrs. L. Obolensky-Flam; Ms. C. Raeff, Mrs. M. Sechkarev, Mrs. V. Sinkevich.

It requires the support of loyal friends for year 2016:

Patron –	$ 5,000 and up
Benefactor –	$ 2,000 and up
Sponsor –	$ 1,000 and up
Fellow –	$ 500 and up
Friend –	$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined, in a letter on March 9, 1990, that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to The NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 902
New York, NY 10012

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Николай Сарафанников – тел.: 7-495-304-4879
Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-812-579-7581
Монреаль, Канада: Генрих Иоффе – тел.: 514-279-1045
Париж, Франция: Виталий Амурский – e-mail: vitaly.amoursky@gmal.com
Израиль: Рина Левинзон – тел.: 2-586-2333
Альберт Фейгельсон – e-mail: nikalbert@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2
Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France
на сайте журнала: **www.newreviewinc.com** (кнопка: Подписка), через **PayPal**
Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: **www/newreviewinc.com** (кнопка: Подписка)
Все дополнительные вопросы: newreview@msn.com